1 р. 90 к. Индекс 70331

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
И ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 года
«ЗНАМЯ» ПУБЛИКУЕТ
РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

Василий АКСЕНОВ. Желток яйца
Борис БЛИНОВ. Виновен
Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия
Олег ЕРМАКОВ. Заклинание против вепря
Вячеслав КОНДРАТЬЕВ. Искупить кровью
Анатолий КУРЧАТКИН. Реквием
Ольга КУЧКИНА. Философ и девка
Амоз ОЗ. До самой смерти
Андрей САХАРОВ. Горький, Москва, далее везде
Александр ТЕРЕХОВ. Зимний день начала новой жизни
Михаил ШРЕЙДЕР. Записки чекиста-оперативника
Артур ХЕЙЛИ. Вечерние новости

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 6. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Июнь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

Содержание

6
ИЮНЬ
1991

Москва
Издательство
«Правда»

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»

Дмитрий Волкогонов

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Течет река времени. Минуло уже полвека с того незабываемого и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения людей. Даже тем, кто окончил войну восемнадцатилетним, теперь за шестьдесят. Но в памяти человеческой 22 июня 1941-го осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны советского народа.

Передо мной документы из военных архивов. Бесстрастные свидетели борения страстей, воль, решений, повлиявших на судьбы миллионов людей. Документов очень много. Перелистаем хотя бы некоторые из них, вернемся мысленно ко времени накануне войны и сразу после ее начала.

За полтора месяца до великой схватки в двух столицах прозвучали речи лидеров государств, которых пока еще связывал договор «О дружбе и границах». Гитлер выступил в рейхстаге 4 мая 1941 года, а Сталин на следующий день. И тот, и другой говорили о войне. О той, что идет в Европе, и очень глухо о войне грядущей. О чем же говорил фюрер? «Фелькишер беобахтер» № 125 за 5 мая 1941 года свидетельствует, что это была очень длинная речь человека, для которого совесть — химера, а человеческая жизнь — ничто.

«Депутаты! Члены немецкого рейхстага! Во времена, когда дела являются всем, а слова ничем, я не имею намерения выступать перед вами, как перед избранными представителями немецкого народа, чаще, чем этого требует необходимость...» Далее фюрер подробно напомнил депутатам, как были разбиты Польша, Бельгия, Голландия, Франция, Норвегия, Югославия, Греция. «Первый ариец» всячески поносил британского премьер-министра Черчилля, не скупясь на самую грубую брань и оскорбления.

В заключительной части речи он заявил, что в ходе покорения Европы «немецкие вооруженные силы поистине превзошли самих себя. Пехотные, бронетанковые и горные дивизии, как и соединения войск СС, соревновались без отдыха в храбрости, выдержке и упорстве в достижении целей. Работа генерального штаба была выдающейся. Воздушный флот прибавил к своей исторической славе еще новые героические подвиги... Для немецкого солдата нет ничего невозможного!»

Читая пожелтевшие страницы перевода этой речи, доложенной Сталину и другим политическим и военным руководителям Советской страны, понимаешь, что Гитлер обращался не только к депутатам рейхстага... Завершающие слова его речи откровенно многозначительны: «Немецкий народ будет крепко держать превосходство своего вооружения и ни в коем случае не допустит уменьшения своего преимущества... Это величайший процесс вооружения в мировой истории.

Необходимые меры в этом отношении будут приниматься и впредь с национал-социалистской решимостью и основательностью... Немецкая империя и ее союзники представляют такую силу, которую не могут превзойти любые коалиции мира. Немецкие вооруженные силы постоянно будут вмешиваться в ход событий тогда и там, когда и где это будет необходимо». И Гитлер заверил депутатов, что он «с абсолютным спокойствием и высшей уверенностью смотрит в будущее».

Сидящие в зале заседаний рейхстага тогда не знали, что слова о «высшей уверенности в будущем» напрямую связаны с замыслом, изложенным в директиве № 21, известной под названием «план Барбаросса». Имя это казалось Гитлеру добрым знамением: военные походы рыжебородого германского императора были так удачны... Правда, возвращаясь из очередного, Барбаросса прозаически утонул во время одной из переправ.

В директиве общий замысел был сформулирован предельно ясно: «Немецкие вооруженные силы должны быть подготовлены, чтобы путем молниеносной войны разгромить Советскую Россию еще до окончания войны с Англией... Сухопутным силам энергичными действиями в сочетании с глубокими прорывами танковых соединений уничтожить сосредоточенные в Западной России войска противника и не допустить отхода боеспособных частей в глубь страны... Конечной целью операций является достижение границы между европейской и азиатской частями России, т. е. линии Волга — Архангельск». Одним из основных разработчиков планов войны в германском генеральном штабе был генерал-майор Ф. Паулюс, чья фамилия после февраля 1943 года стала хорошо известна советским людям.

С этими замыслами советское руководство ознакомилось лишь после войны, когда начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал-полковник Иодль передал представителю советской контрольной миссии в Германии генерал-майору Трусову кипу совершенно секретных документов, «касающихся ведения войны на Востоке».

Сталин, выступая 5 мая в Кремле, на приеме выпускников военных академий, еще не знал о речи фюрера и, конечно, о «плане Барбаросса». Выступление было необычным. Оригинального текста обнаружить не удалось, хотя, как говорит генерал армии Н. Г. Лященко, присутствовавший на этом приеме, Сталин держал перед собой листки бумаги. Но стенограмма велась, и когда после войны начали готовить к изданию 14-й и 15-й тома сочинений вождя, был взят за основу текст записи, сделанной сотрудником наркомата обороны К. Семеновым. Мало кому известно, что, кроме речи, Сталин произнес на приеме три тоста, из которых особый интерес представляет последний. Собственно, это был не тост, а дополнение к здравице «За мирную сталинскую внешнюю политику!», провозглашенной одним генерал-майором. Сталин перебил:

— Разрешите внести поправку: такая политика обеспечивала мир нашей стране. Мирная политика—дело хорошее. Мы до поры до времени проводили линию на оборону — до тех пор, пока не перевооружили нашу армию, не снабдили ее современными средствами борьбы... Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступательным образом... Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, агитацию, нашу печать в наступательном духе. Красная Армия есть современная армия, а современная армия — армия наступательная.

А что же вождь говорил в своей основной, получасовой речи? Поздравив «академиков» с окончанием учебы, Сталин заявил: «Вернувшись в ряды армии, вы не узнаете ее». Изредка взмахивая

здоровой рукой, он сообщил, что армия извлекла уроки из советско-финской войны и событий на Западе. Характеризуя качественный рост армии, Сталин неожиданно сказал во всеуслышание то, что сейфы хранили не просто под грифом «Совершенно секретно», а под более значимым — «Особая папка»: теперь у нас в составе армии 300 дивизий. Он нарисовал оптимистическую картину состояния Красной Армии, представив при этом начавшийся процесс перевооружения новой боевой техникой как состоявшийся.

«Почему Германия сейчас побеждает на Западе?» — задал вопрос Сталин и, обведя зал своими желтыми глазами, не спеша объяснил секрет ее успехов: прежде всего германцы учли уроки своего поражения в первой мировой войне, когда они позволили себе воевать на два фронта. «Военная мысль германской армии двигалась вперед. Армия вооружалась новой техникой». Немцы «политически подготовили» войну, заимев «в достаточном количестве союзников». Уж не имел ли в виду Сталин Советский Союз, который после договора о «дружбе» с Германией превратился как бы в ее невоюющего союзника?

Но тут же Сталин заявил, что германская армия не является непобедимой. Почему? «В германской армии ничего особенного нет ни в танках, ни в артиллерии, ни в авиации. Значительная часть германской армии теряет свой пыл, имевшийся в начале войны...»; «в германской армии появилось хвастовство, самодовольство, зазнайство. Военная мысль не идет вперед, военная техника отстает от нашей... Германская армия потеряла вкус к дальнейшему улучшению военной техники...»

Читатель имеет возможность сам оценить степень аналитической «прозорливости» человека, которого нарком обороны С. К. Тимошенко в своем приказе, подписанном в тот же день, величал не иначе как «великим вождем и учителем».

А ведь Сталин в решающей степени определял политику, военное строительство, стратегию обороны страны. По его указанию начальник Главного управления политической пропаганды Красной Армии А. Запорожец приступил к подготовке новой директивы — «О задачах политической пропаганды в Красной Армии на ближайшее время». К двадцатым числам июня проект был разработан, но его не успел просмотреть Сталин и подписать нарком обороны. В этом документе излагались идеи, высказанные Сталиным в его майском выступлении. «Великий вождь» полагал, что после нападения Германии войну Советский Союз будет вести только наступательно. В проекте директивы говорилось: «Политическую пропаганду нужно поднять на уровень современных задач Красной Армии. Все формы пропаганды, агитации и воспитания направить к единой цели — политической, моральной и боевой подготовке личного состава к ведению справедливой, наступательной и всесокрушающей войны».

Сталин верил, что в случае нападения Германии (а к весне 1941 года он считал такое маловероятным: ведь это же «два фронта»!) Красная Армия будет в состоянии быстро «от обороны перейти к наступательным действиям». Но разве он не знал о «совершенно секретной» директиве наркома обороны № 34678 от 17 мая 1941 года, в которой Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, оценивая результаты проверки боевой подготовки, отмечал: требования, поставленные на «зимний период 1941 года, значительным количеством соединений и частей не выполнены». Главный военный совет, например, подготовку ВВС Красной Армии оценил как «неудовлетворительную». Документы с этими оценками, которые были хорошо известны Сталину, подписали С. К. Тимошенко, А. А. Жданов и Г. К. Жуков.

Специальная проверка в Киевском, Западном, Прибалтийском особых военных округах, Одесском военном округе, проводившаяся с 23 мая по 5 июня 1941 года, установила неудовлетворительную готовность войск. В шифротелеграмме, адресованной военным советам округов и армий, которую подписали Тимошенко и Жуков, дается тревожная оценка состояния частей. Несколько ранее А. Запорожец в направленной Сталину и другим членам Политбюро специальной записке «О состоянии укрепленных районов на наших западных границах» однозначно отмечал, что «укрепленные районы, строящиеся на наших западных границах, в большинстве своем небоеспособны». А Сталин за полтора месяца до начала войны утверждал, что в случае нападения Германии СССР быстро перейдет в наступление!

И по сей день есть немало людей, утверждающих, что страна «благодаря заботе партии» была в основном готова к отражению агрессии и лишь вероломство Гитлера привело к катастрофе в начальный период войны. Но какая же это готовность! Давайте еще посмотрим документы. Вот записка тех же Тимошенко и Жукова, адресованная Сталину, Жданову и Вознесенскому уже после хвастливого выступления Сталина 5 мая. Они честно и мужественно заявляют, что по целому ряду важнейших образцов вооружения и боевой техники «промышленность выполняет план поставки совершенно неудовлетворительно».

Страна готовилась к войне, но не была готова к ней. Советский народ, главный герой и мученик надвигавшейся войны, отказывая себе во всем, прилагал отчаянные усилия для наращивания оборонного потенциала. Духовная решимость защитить Отечество была высокой. Но просчеты высшего руководства во внешнеполитической сфере, господство бюрократии и догматизма, обезглавливание Сталиным армии, беспрекословное подчинение всех воле единодержца, который считался непогрешимым,— все это в огромной степени предопределило крайне неудачное для СССР начало войны.

С конца мая к Сталину по различным каналам шли и шли донесения о концентрации немецких войск на границе. Основывались они на многочисленной информации агентуры и войсковой разведки. Вот, например, выдержки из доклада разведотдела штаба Западного особого военного округа, подписанного 4 июня 1941 года полковником Блохиным и майором Самойловичем: «...На основании ряда проверенных агентурных данных, военная подготовка Германии против СССР за последнее время, особенно с 25 мая, проводится более интенсивно». Далее подробно сообщалось, что к границе непрерывно прибывают все новые и новые воинские части, особенно танковые и механизированные. В частности, отмечалось также: «Все гражданские лечебные заведения в крупных и мелких населенных пунктах генерал-губернаторства (Польши.— Д. В.) — заняты под госпитали... Заканчивается скрытая мобилизация чиновников на будущие должности в западных районах СССР. Эти чиновники во всем предупреждены и ждут только начала военных действий... Функционируют курсы парашютистов для забрасывания в тылы Советской Белоруссии для выполнения диверсионных задач. Возможность начала военных действий немцев против СССР не исключается в июне месяце...» К докладу приложен опросный лист «нарушителя госграницы Френцеля Юзефа Юзефовича, перешедшего на советскую сторону 4 июня 1941 года», из которого явствует, что немецкая армия в ближайшее время нападет на СССР.

Подобных сообщений было множество. Сталин считал, что все эти перебежчики — просто провокаторы, а обилие донесений даже успокаивало его: ну кто будет, не скрывая, готовиться к нападению? На все доводы Тимошенко и Жукова он отвечал односложно: «Не поддавайтесь на провокации... Разве немцы способны вести войну на два фронта?» Он словно и знать не хотел, что после поражения Франции фронта на Западе фактически уже не существовало.

Как рассказывал Г. К. Жуков К. М. Симонову, весной 1941 года, когда поток сообщений о концентрации немецких войск в Польше особенно возрос, Сталин обратился с личным письмом к Гитлеру — просил объяснить положение дел. Фюрер «доверительно» ответил советскому руководителю, что эти сообщения верны; действительно, в Польше сосредоточены крупные войсковые соединения, но, будучи уверен, что это не пойдет дальше Сталина, он должен разъяснить: сосредоточение войск в Польше не направлено против Советского Союза. Мол, территория Западной и Центральной Германии подвергается сильным английским бомбардировкам, поэтому он вынужден временно отвести сюда значительную часть своих войск. Фюрер заверял Сталина, что намерен строго соблюдать заключенный пакт, в чем ручается честью главы государства...

Похоже, говорил Жуков, Сталин поверил этому «аргументу». На самом же деле с начала 1941 года Германия предприняла крупную дезинформационную операцию «Британский лев», чтобы убедить советскую сторону в том, что ведется широкомасштабная подготовка десанта на английские острова. Выразилась эта операция в «случайной» утрате карт немецкого вторжения в Англию и заявлениях германского военного атташе генерала Кестринга, назойливо повторявшего советским должностным лицам на официальных встречах, что немецкие войска в Польше «должны хорошо отдохнуть, прежде чем покончить с Англией», и другой подобной информации.

Под давлением военных Сталин все же разрешил осуществить ряд важных оборонных мероприятий. В мае генерал-майор Василевский, по указанию Тимошенко, разработал «План обороны государственной границы» и доложил его Сталину и Молотову. В этом плане, написанном от руки в единственном экземпляре («Особо важно. Совершенно секретно. Только лично»), говорилось, что «возможное столкновение может ограничиться только нашими западными границами, но не исключена вероятность атаки и со стороны Японии наших дальневосточных границ». После обсуждений в узком кругу в кабинете Сталина пришли к выводу, что в первом эшелоне прикрытия на Западе надо держать 57 дивизий, во втором — 52, в резерве — 62. При этом под давлением Сталина была допущена крупная стратегическая ошибка: главные силы (около 100 дивизий) сосредоточили на Юго-Западном направлении. Равномерное построение стратегического эшелона по глубине, часто на большом удалении от границы, дало агрессору возможность расправляться с отдельными элементами обороны по частям. Предполагали, что главный удар будет нанесен на Юго-Западе, а Гитлер нанес его в центре, на Западном направлении. Впрочем, этого следовало ожидать: во всех прежних военных кампаниях немцы рвались к столицам поверженных государств по кратчайшим направлениям.

После одобрения плана обороны начальником Генерального штаба был назначен Г. К. Жуков. За полгода это был уже третий начальник Генштаба: в августе 1940 года Б. М. Шапошникова сменил К. А. Мерецков, а его теперь — Г. К. Жуков. Едва ли эта чехарда способствовала спокойному стратегическому осмыслению грозной ситуации.

Военным удалось уговорить Сталина пойти на крупный шаг: в конце мая — начале июня на учебные сборы были призваны 739 тысяч военнообязанных запаса; это позволило за две-три недели до начала схватки пополнить часть соединений первой линии. Но

в целом в начале 1941 года укомплектованность частей Красной Армии была недостаточной: средними танками — на 74 процента, тяжелыми — на 31, легкими — на 100, артиллерийскими орудиями — на 76, самолетами — полностью, правда, главным образом из состава старого парка.

Война стремительно приближалась. Судя по разным источникам, Гитлер несколько раз переносил сроки начала боевых действий. В мае последовательно намечались числа 14, 15, 20, а в июне — 15 и, наконец, 22-е. Продолжительность всей войны Гитлер определял максимум в пять месяцев.

Сталин, понимая, что страна не готова к войне, всячески стремился демонстрировать Гитлеру свою лояльность. Когда в июне немецкие самолеты стали в массовом порядке нарушать советские границы, по распоряжению советского руководителя была отдана директива, в которой говорилось: залеты «не носят преднамеренного характера... При нарушении германскими самолетами границы оружия не применять». Если самолеты совершали «вынужденные посадки», экипажам беспрепятственно разрешали взлетать вновь.

Однако сообщения о подготовке Германии к нападению нарастали лавиной. Сталин предложил Молотову осуществить зондаж. 14 июня было опубликовано печально известное «Сообщение ТАСС», в котором советское руководство деликатно упрекало Германию в нарушении условий пакта, но тем не менее заявляло: «Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз...» Сталин и Молотов, по существу, предлагали Берлину новые переговоры, надеясь, что если их удастся затянуть на месяц-другой, то отпадет сама возможность войны в 1941 году.

В тот самый день, когда «Правда» опубликовала «Сообщение ТАСС», Гитлер собрал совещание высшего командного состава, на котором заслушал командующих группами армий о готовности «похода на восток». Он подтвердил новую дату вторжения: 22 июня 1941 года,— но время начала боевых действий было сдвинуто с 3.30 на 3.00 часа. Рейхсминистр пропаганды Геббельс запишет в своем дневнике: «В Москве заняты гаданием», хотя «кажется, Сталин понемногу начинает понимать, что к чему». Но в основном он «по-прежнему глядит (на Германию.— **Д. В.**), как кролик на удава».

В этот день в войсках 7-й, 14-й, и 23-й армий Ленинградского военного округа; 8-й, 11-й и 27-й армиях Прибалтийского особого военного округа; в 3-й, 10-й, 13-й и 4-й армиях Западного особого военного округа; в 5-й, 6-й, 26-й и 12-й армиях Киевского особого военного округа, нескольких корпусах Одесского военного округа все было как всегда. На танкодромах отрабатывалась техника вождения боевых машин; на полигонах рвались снаряды; строились новые аэродромы и укрепрайоны; штабисты в соответствии с распоряжениями Генерального штаба уточняли планы обороны Государственной границы и противовоздушной обороны районов. В соответствии с директивой наркома обороны от 13 мая 1941 года из внутренних округов продолжалось выдвижение четырех армий — 16-й, 19-й, 21-й и 22-й. Завершить их выдвижение планировалось в первой половине июля. В общем, обычная войсковая жизнь, жестко управляемая и направляемая из центра, как всегда в военных системах. Заявление 14 июня внесло, казалось, успокоение в напряженную атмосферу. И все шло своим чередом. На заводе боеприпасов № 80, например, выясняли, почему срывается план поставок; московская комиссия работала на Подольском заводе, допытываясь, почему в бронекорпусах появились трещины; специальные люди «беседуют» с наркомом

судостроительной промышленности Носенко: спрашивают, почему вместо девяти переправочных паромов поставлено в войска лишь три... Но в тот день, 14 июня, занимались и другим.

«Командующему войсками ПрибОВО
Командующему 11 армии

На 18.00. 14 июня арестовано 115 человек. Остались одиночки. Все идет благополучно. Работа идет к концу.

Генерал-майор Куркин».

Речь, по-видимому, о завершающейся чистке в воинских частях «подозрительных» лиц из местного населения...

Роковой день приближался. Как его встретили на немецкой стороне?

Заканчивались последние приготовления к нападению. Проверялась связь Ставки Гитлера, перенесенной в район Ростенбурга с штабами групп армий. В войска поступило обращение Гитлера с призывом «устранить большевистскую угрозу Германии на востоке». Поезда, еще 22 мая переведенные на график ускоренного движения, продолжали подавать войска и военные грузы к границе. Во второй половине дня 21 июня самолеты люфтваффе поодиночке прибыли на приграничные аэродромы. Многочисленной агентуре, заранее заброшенной в приграничные округа, были переданы из частей диверсионного назначения условные сигналы о начале действий. Многие из этих агентов, переодетые в форму военнослужащих Красной Армии, будут бандитствовать на советской земле.

На исходе дня Риббентроп с грифом «Срочно! Государственная тайна!» направил по телеграфу германскому послу Шуленбургу в Москве пространную декларацию, содержание которой тот должен был сообщить утром советскому руководству. В ней говорилось, что советско-германские договоры от 23 и 28 сентября 1939 года «принесли Советскому Союзу огромные выгоды в области внешней политики», но, как выяснилось, «заключение договоров явилось тактическим маневром для получения соглашений, выгодных только для России». В четырехстраничном документе германского МИДа утверждалось, что «действия СССР против прибалтийских государств, Финляндии и Румынии, где советские притязания распространились даже на Буковину», продемонстрировали стремление «большевизировать и аннексировать эти страны», что «оккупация и большевизация Советским Союзом предоставленных ему сфер влияния является прямым нарушением московских соглашений...» Обвинив далее СССР в намерении «с тыла атаковать Германию», МИД сообщал, что «фюрер поэтому приказал германским вооруженным силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами».

Во второй половине того же дня Гитлер обратился к Муссолини: «Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения. Я полагаю, что не вправе больше терпеть положение после доклада мне последней карты с обстановкой в России, а также после ознакомления с многочисленными другими донесениями... Что касается борьбы на Востоке, Дуче, то она определенно будет тяжелой. Но я ни секунды не сомневаюсь в успехе... окончательное решение будет принято только сегодня в 7 часов вечера...»

А что же было 21 июня в 7 часов вечера и позднее в Москве?

Председателю Совета народных комиссаров Сталину его помощник Поскребышев приносил и приносил сообщения с западной границы одно тревожнее другого. В донесении, подписанном начальником штаба ПрибОВО генерал-лейтенантом Клёновым, говорилось, что немцы «закончили строительство мостов через Неман... Гражданско-

му населению предложено эвакуироваться вглубь от границы на 20 километров...» Начальник штаба ЗапОВО генерал-майор Климовских докладывал: «Проволочные заграждения вдоль границы у дороги Августов, Сейны, бывшие еще днем, к вечеру сняты. В лесу шум моторов». Командующий Киевским особым военным округом М. П. Кирпонос сообщал, что перебежчики предупреждают о начале германского вторжения через несколько часов.

Сталин колебался. Он был осторожным политиком. Решения часто принимал после большой внутренней борьбы. Он не хотел сейчас войны, знал, что не готов к ней. Однако бывают моменты, когда надо действовать решительно и быстро. Положение земного бога постепенно так изменило восприятие Сталиным действительности, что он не верил, будто может произойти нечто противоречащее его желаниям и прогнозам. «Вожди» не хотят и мысли допустить, что ошиблись...

Вечером 21 июня Сталин распорядился, чтобы Молотов пригласил германского посла Шуленбурга для объяснений по поводу обстановки на границе. Для того же приказал советскому послу Деканозову в Берлине встретиться с Риббентропом.

Шуленбург, застигнутый вызовом за уничтожением секретных бумаг, с непроницаемым видом выслушал Молотова. Тот с удивлением говорил, что «Советское правительство не в состоянии понять причины недовольства Германии...». Будучи одним из главных архитекторов советско-германской политики, он надеялся услышать успокоительные заверения. Но Шуленбург сухо сказал: «Не могу дать ответа на этот вопрос и передам его в Берлин». А Риббентроп отказался принять советского посла, направил его к статс-секретарю Вейцзекеру. Деканозов попытался говорить о случаях залета немецких самолетов на советскую территорию; статс-секретарь неучтиво перебил его: «...Поскольку у меня совершенно другое мнение, то нужно ждать ответа моего правительства... Ответ будет дан позже». Да, через несколько часов германское правительство дало «ответ»...

После долгих обсуждений в кабинете Сталина с участием Тимошенко и Жукова решили направить в войска директиву Главного военного совета, известную под номером один, которая после шифровки в половине первого ночи 22 июня ушла в штабы округов. В ней, в частности, говорилось: «В течение 22—23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского военных округов. Нападение немцев может начаться с провокационных действий... Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения...»

Но даже эта робкая директива не успела дойти до многих частей. Войска приграничных округов численностью 170 дивизий — более 3 миллионов человек,— дислоцированные на большую глубину, оказались застигнуты тактической внезапностью. Германские войска численностью около 4 миллионов человек, сконцентрировавшись на нескольких основных направлениях, добились на них трехкратного превосходства в силах. Первый удар был ошеломляющим. Западные округа только 22 июня потеряли свыше 1200 самолетов, причем большая часть их была уничтожена на земле. Немцы сразу обеспечили себе господство в воздухе.

Советские войска на границе, застигнутые врасплох, отчаянно сражались, но их усилия были разрозненными, спонтанными, связь, управление парализованы.

Давайте посмотрим на первые дни войны глазами ее участников. После смерти Сталина многие военачальники для обобщения опыта начального периода войны передали в Генштаб свои воспоминания. Вот, например, бывший командующий 8-й армией генерал-лейтенант П. П. Собенников пишет, что уточненный план обороны «до войск не доводился». Никаких письменных приказаний ни до, ни после 20 июня из штаба округа получено не было. «На командный пункт 21 и 22 июня стали поступать противоречивые указания по телефону и телеграфу об устройстве засек, минировании и т. п., причем одними распоряжениями эти мероприятия приказывалось производить немедленно, другими — отменялись, потом опять подтверждались и опять отменялись...» В ночь на 22 июня «я лично получил приказание от начальника штаба фронта генерал-лейтенанта П. С. Кленова в весьма категорической форме — к рассвету 22 июня отвести войска от границы, вывести их из окопов, что я категорически отказался выполнить... Чувствовалась большая нервозность, несогласованность, неясность, боязнь «спровоцировать» войну. Уже на рассвете 22 июня почти вся авиация Прибалтийского военного округа была сожжена на аэродромах». Генерал, которому довелось короткое время командовать даже фронтом, горестно заключает: «штаб армии не был боеспособен...»

Командир 8-го механизированного корпуса генерал-лейтенант Д. И. Рябышев пишет, что к 22 июня из 939 танков, имевшихся в корпусе, только 169 были новых образцов (КВ и Т-34). Остальной парк—устаревшие машины Т-26, БТ-7. После рекогносцировки в районе границы, с целью определения маршрута для прохода танков, Рябышев «наблюдал массовые нарушения границы немецкой авиацией и доложил об этом начальнику штаба 26 армии генералу И. С. Варенникову, высказав предположение о подготовке к нападению со стороны немецких войск. Генерал Варенников в категорической форме отверг мое мнение и заверил, что если что-либо будет серьезное, то мы все получим своевременное подтверждение... Никаких мыслей о войне ни у кого не было». Далее Рябышев пишет, что в первые дни он получал одно за другим приказания штаба фронта и армии, сводившиеся к бесконечным перемещениям корпуса на большие расстояния. Получил распоряжение отвести войска корпуса во фронтовой резерв, начал его исполнять, вдруг приходит новый приказ — ударить по противнику в направлении Броды, Дубно, а колонны уже на марше. «На КП корпуса прибыл член Военного совета Юго-Западного фронта корпусной комиссар Н. И. Вашугин, который потребовал немедленного выполнения последнего приказа командующего фронтом о выходе корпуса в район Дубно, угрожая мне расстрелом». С большим трудом удалось перегруппировать силы корпуса, повернуть его и завязать тяжелые бои, хотя, «как позже было установлено, намечаемое раньше наступление было еще раньше отменено». Части корпуса попали в окружение. Когда наконец его остатки вырвались из вражеских тисков, насчитали лишь десять процентов танков от первоначального состава. «Бесцельные переброски корпуса в течение первых дней,— с горечью пишет Рябышев,— отсутствие устойчивой связи, частая смена задач, без учета реальных возможностей и времени, при отсутствии авиационного прикрытия и взаимодействия с соседями, несмотря на исключительное мужество личного состава», предопределили крупные неудачи и поражения.

Но самое тяжелое положение сложилось на центральном участке советско-германского фронта. После того как было получено известие о нападении гитлеровской Германии, в войска в 7.15 утра пошла еще одна директива, которую подписали Тимошенко, Жуков и Маленков: «Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь, до особого распоряжения, наземными войсками границу не переходить». В Кремле и думать не могли, что через шесть дней немецкие войска будут в Минске...

Сообщения с фронта приходили путаные, отрывочные, и по инициативе Сталина к исходу дня была подготовлена еще одна совершенно нереальная директива военным советам Северо-Западного, Западного, Юго-Западного и Южного фронтов. Она предписывала «мощными концентрическими ударами» окружить и уничтожить Сувалковскую группировку противника; окружить и уничтожить вторгшиеся войска в районе Владимир-Волынского и Броды. «К исходу 24 июня овладеть районом Люблин». Один из пунктов, продиктованный самим Сталиным, гласил: «На фронте от Балтийского моря до госграницы с Венгрией разрешаю переход госграницы и действия, не считаясь с границей».

В одной фразе три раза слово «граница». Сталин нервничал, но еще не был в шоке, который парализует его психологически на два-три дня в конце недели. Это, кстати, подтверждает и тетрадь записи лиц, принятых И. В. Сталиным. После 28 июня до 1 июля — провал: у Сталина никто не был, он никого не принимал. Именно 28 июня ему доложили, что восточнее Минска две танковые группы немцев, соединившись, окружили главные силы Западного фронта. Попавшие в окружение самоотверженно сражались до конца первой декады июля.

После этого сообщения Сталин на два дня уединился на ближней даче. Он был потрясен картиной катастрофического начала войны, которую ему наконец «нарисовали» генштабисты. Танковые группировки противника рвались к Ленинграду, Москве, Киеву. Порой темп продвижения немецких войск достигал 30—40 километров в сутки. Так что разрешение «вождя» на «переход границы» лишь подчеркивает его полную оторванность от реальной обстановки.

Наиболее трагично обстановка сложилась на Западном фронте, которым командовал генерал армии Д. Г. Павлов. Судьба отвела ему и его штабу всего неделю на руководство фронтом, а ровно через месяц после начала войны он сам, начальник штаба В. Е. Климовских, начальник связи А. А. Григорьев, командующий 4-й армией А. А. Коробков были осуждены и в тот же день расстреляны. Командующего артиллерией Н. А. Клича, осужденного вместе с ними, расстреляют позже. Инициативу в выявлении «преступной деятельности» руководства фронта проявил Л. М. Мехлис, и за это он и те, кто его поддержал, получили одобрительную телеграмму Сталина.

Вот о чем повествуют несколько документов, подписанных Павловым и его сотрудниками.

К вечеру 22 июня Павлов и Климовских доложили в Москву, что войска 3-й и 10-й армий лишь незначительно попятились, а 4-я армия «ведет бои предположительно на рубеже Мельник, Брест, Влодава». Не зная из-за потери управления войсками обстановки, руководители фронта по сути и докладывали «предположительно».

Утром 23-го в войска фронта пошла шифровка за подписью Павлова, Фоминых и Климовских: «Опыт первого дня войны показывает неорганизованность и беспечность многих командиров, в том числе больших начальников. Думать об обеспечении горючим, снарядами, патронами начинают только в то время, когда патроны уже на исходе, тогда как огромная масса машин занята эвакуацией семей н/с, которые к тому же сопровождают красноармейцы, люди боевого расчета. Раненых с поля боя не эвакуируют, отдых командирам и бойцам не организуют...»

Еще одна шифровка Павлова — командующему 10-й армией: «Почему мехкорпус не наступал, кто виноват? Немедля активизируйте действия и не паникуйте, а управляйте. Надо бить врага организованно, а не бежать без управления. Каждую дивизию вы знать должны, где она, когда, что делает и какие результаты...»

Через два-три дня войска 3-й и 10-й армий оказались в мешке; с учетом того, что в направлении Минска еще оставался коридор в 50—60 километров шириной, Павлов принял, видимо, верное решение, чтобы спасти войска:

«Командармам 13, 10, 3 и 4.

Сегодня в ночь с 25 на 26 июня, не позднее 21.00 начать отход, приготовить части. Танки в авангарде, конница и сильная ПТО (противотанковая оборона.— **Д. В.**) в арьергарде...

Предстоящий марш совершать стремительно днем и ночью под прикрытием стойких арьергардов. Отрыв произвести на широком фронте. Первый скачок 60 км в сутки и больше...

Павлов
Пономаренко
Климовских»

«Стремительно» совершить отход не удалось. Почти все склады горючего были разбомблены или достались врагу...

Немного документов оставил для истории Д. Г. Павлов. Он храбро сражался в Испании, а погиб бесславно — Сталин свалил на него едва ли не главную вину за катастрофические события первых дней войны. Способствовала этому и записка секретаря Брестского обкома КП(б) Белоруссии М. Н. Тупицина, поступившая через три дня после начала вторжения:

«Обком КП(б)Б считает, что руководство 4 Армии (командующий А. А. Коробков.— **Д. В.**) оказалось неподготовленным организовать и руководить военными действиями... С первых же дней военных действий в частях 4 Армии началась паника. Застигнутые внезапным нападением, командиры растерялись. Можно было наблюдать такую картину, когда тысячи командиров (начиная от майоров и полковников и кончая мл. командирами) и бойцов обращались в бегство. Опасно то, что эта паника и дезертирство не прекращаются до последнего времени, а военное руководство не принимает решительных мер».

Как известно, «решительные меры» Сталин принял, хотя просчеты прежде всего на его совести. Были арестованы генералы Ф. К. Кузьмин, В. А. Меликов, А. Г. Потатурчев, Ф. Н. Романов, И. В. Селиванов, В. В. Семашко, Н. И. Трубецкой, П. Г. Цырульников, И. И. Алексеев, Б. И. Арушанян, В. С. Голушкевич, Ф. С. Иванов и многие другие. Судьба этих людей различна. Одни после кровавой чистки армии накануне войны, не обладая ни знаниями, ни опытом, быстро взлетели на высокие должности и поплатились за это, на других взвалили ответственность за неудачи, которых было ох как много в том роковом 1941-м.

Было бы нечестно писать историю первых дней войны только в черном свете. Подвижничество, самоотверженность не покидали советских солдат и командиров в самые трагические минуты. Начальник Генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдер 29 июня записал: «...Русские всюду сражаются до последнего человека. Лишь местами сдаются в плен... Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и т. п. в плен сдаются лишь немногие. Часть русских сражается пока их не убьют, другие бегут, сбрасывая с себя форменное обмундирование, и пытаются выйти из окружения под видом крестьян». Уже в первый день войны военные летчики Л. Г. Бутелин, С. М. Гудимов, А. С. Данилов, И. И. Иванов, Д. В. Кокорев, А. И. Мокляк, П. С. Рябцев и другие таранили вражеские самолеты.

По-разному поступали люди. И. И. Копец храбро сражался в небе Испании, командуя эскадрильей. Когда вернулся в СССР, ему вскоре поручили командовать всей авиацией Западного особого воен-

ного округа. За первый день Западный фронт потерял 738 самолетов, из них 528 — на аэродромах. Летчик не смог перенести такой удар... В Главное управление политической пропаганды пошла телеграмма:

«В 17 часов 22 июня в своем кабинете покончил жизнь самоубийством командующий ВВС ЗапОВО генерал-майор Копец Иван Иванович. Предположительная причина самоубийства — малодушие вследствие частных неудач и сравнительно больших потерь авиации...»

Обратите внимание на последнюю фразу этой телеграммы, подписанной начальником Управления политической пропаганды Лестевым: уже сразу «малодушие» и лишь «частные неудачи»... Форма объяснений — стандартная на все случаи жизни.

Огромная пробоина в зыбкой диафрагме Западного фронта пугающе зияла на карте, которая лежала на длинном столе в кабинете Сталина. Он посылает на Западный фронт сначала Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова, затем одного за другим еще двух маршалов — Г. И. Кулика и К. Е. Ворошилова, а после окружения фронта оставшихся двух маршалов — С. К. Тимошенко и С. М. Буденного. Но даже столь внушительный маршальский «десант» одним своим появлением мало что мог изменить. Стратегическая инициатива принадлежала немцам, а под рукой у Ставки не оказалось крупных стратегических резервов.

Огненная лавина войны яростно катилась на восток. 23 июня были созданы Ставка Главного Командования из семи членов, возглавляемая Тимошенко; на следующий день — Совет по эвакуации во главе с Л. М. Кагановичем. Еще через день — Советское бюро военно-политической пропаганды, возглавляемое верным сталинцем Мехлисом. На второй-третий день войны заработал механизм подготовки постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР — они следовали одно за другим: «О вывозе из Москвы государственных запасов драгоценных металлов, драгоценных камней, Алмазного фонда СССР и ценностей Оружейной палаты Кремля», «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества», «О переводе из Москвы наркоматов и главных управлений...». Наркоматы полностью или частично должны были выехать в Астрахань, Владимир, Сталинград, Иваново, Киров, Омск, Уфу, Сызрань, Саратов, Томск, Ульяновск, Свердловск, Молотов, Горький, Челябинск, другие города. Сталин все собирался созвать Пленум ЦК, да так и не собрался. Не понадобился он ему и в ходе всей войны. (Лишь один раз, в 1944 году, этот сталинский ареопаг был собран.) Партия была нужна сталинской системе только как исполнительный орган. Как-то сразу оказалась не очень нужна Сталину и утопическая коммунистическая идея, и он обратился к великим теням Невского, Донского, Минина, Пожарского, Суворова и Кутузова, стремясь опереться на мощь народного патриотизма. Ему быстро понадобились и церковь, и национальное самосознание, но совсем ни к чему оказался Коминтерн...

Страна втягивалась в тяжелейшую, изнурительную войну, безжалостные жернова которой перемелют множество человеческих судеб. К середине июля, то есть всего за три недели, войска потеряли около одного миллиона убитыми и ранеными, столько же попало в плен. Две трети тех, кто начал войну на Западе, были убиты, ранены или пленены. В зоне оккупации за эти недели оказалось более 20 миллионов советских людей — им довелось до дна испить горькую чашу фашистского рабства. На поле боя остались сожженными и подбитыми около трех с половиной тысяч танков, более шести тысяч самолетов, много другой боевой техники и оружия. Крупные потери понес флот, особенно на Балтике.

Думаю, ни одна страна, ни одна армия после такого сокрушительного удара не смогли бы продолжать борьбу. Начальный период

войны был вчистую проигран. Но в том и величие советского народа, что он не сдался, не согнулся и не сломался. И когда к середине июля Гитлер, полагавший, что с СССР в ближайшие недели будет покончено, начал назначать гаулейтеров Украины, Белоруссии и Прибалтики, рассчитывая на присоединение к рейху советских земель,— на просторах России, во всех республиках Союза стало подниматься и нарастать великое и неодолимое патриотическое движение за спасение Отечества.

Трагедия начала войны не только в вероломстве Гитлера, но и в порочности системы, где все решал лишь один человек, где монополия на власть принадлежала одной политической силе, где даже промахи и преступления вождя люди убежденно считали «великими деяниями». Прислушайся Сталин к тому же Жукову, Тимошенко, да и Павлову, еще за неделю до рокового дня просившим разрешения привести войска в состояние боевой готовности и заблаговременно занять позиции для обороны, война могла бы начаться совсем по-другому. Ошибки Сталина, олицетворяющего тоталитарную систему, оплачены кровью миллионов советских людей, недоживших, недолюбивших... Если смотреть исторически, то поражения в войне были поражениями сталинской системы, но не народа. Невероятные духовные силы советского народа позволили ему пройти через самый мрачный участок смертельной долины войны, не утратив воли к борьбе и победе. До нее, до победы, было еще страшно далеко. Но сама способность народа вынести неимоверные испытания давала надежду, что рано или поздно агрессор будет повержен.

Когда я вижу пожилого человека с колодочками наград Великой Отечественной на лацкане пиджака, мне хочется уловить в его лице, изборожденном морщинами, в усталых глазах нечто характерное для него **тогда**, в молодости. Это «нечто», наверное, легче представить себе, листая сводки фронтовых донесений в военных архивах, читая пожелтевшие письма с фронта, слушая воспоминания тех, теперь немногих ветеранов, которые встретили 22 июня 1941 года там, на границе. Будто смотришь в перевернутый полевой бинокль — так все удалено. Прошло уже полвека с того страшного дня. Но он навсегда с нами. Ведь вечно лишь прошлое.

Михаил Щербаков

ВСЁ РАВНО НЕ ПО СЕБЕ...

* * *

Идет война. Лютует враг. В опасности Свобода.
Горит земля. Гудит пожар. Кипит святая месть.
На смертный бой за отчий край
идут войска народа.
И верим мы, что это так, ведь это так и есть.

Мы твердо знаем, кто не прав, поскольку сами правы.
Победа к нам благоволит. Свобода спасена.
Но снова в бой, ровняя строй,
идут войска державы.
И вздор, что кончилась война. Не кончилась она.

Гудит пожар. Горит земля и кашляет от дыма.
Кричит труба: «Прощай, прощай!» И стонут провода.
На смертный бой за вечный рай
идут войска режима.
За громом пушек не слышна чужая правота.

Когда во всем права война, природа виновата.
Колонны стынут на ветру, знамена шелестят.
Устало тянутся полки.
Идут войска диктата.
Текут века. Никто не прав. Никто не виноват.

Мое королевство I

По осенним годам тяжела тишина,
Словно кто-то вот-вот постучится.
И пускай уж зима, если будет весна.
А не дай Бог, весны не случится!

И уже не спасают ни дом, ни очаг,
Не влекут корабли и вагоны.
И то слева, то справа на штатских плечах
Проступают погоны.

Михаилу Щербакову 28 лет. Окончил филфак МГУ, печатался только в сборниках бардовских песен, иногда выступает с концертами, живет в Москве. Предлагаемая публикация — дебют молодого поэта в периодической печати.

Впереди темнота, позади ничего.
И горит человек в беспокойстве.
И гудят беспокойные мысли его
Об ином социальном устройстве.

Он прочел, разбирая санскрит и латынь,
О властителях вольных и диких.
Он, скитаясь, бродил по обломкам святынь,
По руинам империй великих.

Меж времен и племен он искал без конца
Вариант идеального строя.
Но нигде не нашел для себя образца
И не встретил покоя.

И теперь в захолустье, в трущобе, в дыре,
Отыскав подходящее место,
Совершенно один на пустом пустыре
Он возводит свое королевство.

Кропотливо, ценою большого труда,
Он рисует проекты и карты.
Он один воздвигает свои города
И свои водружает штандарты.

И, шагая под знаменем скорбной любви,
Он навек упраздняет погоны.
Как январь, белоснежны его корабли
И прекрасны законы.

И, хотя он не скрыт от порочной среды
И от мрака жестоких наследий,
Если грянет беда, то причиной беды
Будет только коварство соседей.

Он один, беззащитен, высок, умудрен,
Мастерит, укрепляет и лепит.
А потом отрешенно восходит на трон,
И в душе его трепет.

Мое королевство II

О, Боже, благодарствуй! Я в царствии твоем
Свое построил царство и ныне правлю в нем.
Хрупка моя обитель, заботы круглый год.
Я сам себе правитель. Я сам себе народ.

Согласно вечных правил — почет со всех сторон.
Я сам себя поздравил, когда взошел на трон.
Я все награды рóздал, я все чины раздáл,
Я сам все это сóздал, я сам это все создáл.

Хожу к себе с докладом, воззвания пишу,
Командую парадом и знаменем машу.
О, сладость произвола! О, вольный дух казарм!
Я сам себе крамола, я сам себе жандарм.

Что хочешь растолкую, решу любой вопрос.
Одной рукой бунтую, другой пишу донос.
Стою, как есть, единый на плахе бытия,
Единый подсудимый, единый судия.

Когда же опускаю топор что было сил,
Прекрасно понимаю, что сам себя казнил.
Во имя государства глава моя легла.

О, Боже, благодарствуй за все твои дела!..

Трубач

— Ах, ну почему наши дела так унылы?
Как вольно дышать мы бы с тобою могли!
Но — где-то опять некие грозные силы
Бьют по небесам из артиллерий Земли.

— Да, может и так, но торопиться не надо.
Что ни говори, неба не ранишь мечом.
Как ни голосит, как ни ревет канонада,
Тут — сколько ни бей, всё небесам нипочем.

— Ах, я бы не клял этот удел окаянный,
Но — ты посмотри, как выезжает на плац
Он, наш командир, наш генерал безымянный,
Ах, этот палач, этот подлец и паяц!

— Брось! Он ни хулы, ни похвалы не достоин.
Да, он на коне, только не стоит спешить.
Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин,
Он — лишь человек, что же он волен решить?

— Но — вот и опять слёз наших ветер не вытер.
Мы побеждены, мой одинокий трубач!
Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер.
Что тешит тебя в этом дыму неудач?

— Я здесь никакой неудачи не вижу.
Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом зовись.
Я ни от чего, ни от кого не завишу.
Встань, делай как я, ни от кого не зависы!

И, что бы ни плёл, куда бы ни вел воевода,
Жди, сколько воды, сколько беды утечет.
Знай, всё победят только лишь честь и свобода,
Да, только они, всё остальное — не в счет...

* * *

Итак, друзья, какие будут мнения?
Пришла пора решать без промедления.
Сегодня же я должен наши выводы
Представить королю для общей выгоды.
А он в делах военной безопасности
Всегда вникает в мелочи и частности,
Поэтому — держитесь беспристрастности,
Секретности, конкретности и ясности.
Войны, конечно, нет и не предвидится.
Но так писать нельзя: король обидится.
Напишем, не утратив должной смелости,
Что есть война и войско наше в целости.
Плевать, что мы цивильные чиновники:
В бумагах мы — всесильные полковники.

Напишем, что приложим всё умение,
Чтоб разогнать машину наступления.
Машина никакая не завертится.
Но так писать нельзя: король рассердится.
Напишем, что, ввиду решенья твердого,
Мы выступаем завтра в полчетвертого.
Мы в тактике не смыслим и в баллистике,
Зато весьма натасканы в лингвистике.
И главный фокус в том, что мы действительно
Решенье соблюдем неукоснительно.
Но войско пусть ведет кто побездарнее.
Мы выступим прекрасно и без армии.
А чтоб поднять значенье марша нашего,
Присвоим мне, к примеру, чин фельдмаршала:
Известен я и ревностью, и честностью,
Нельзя пренебрегать такой известностью.
Король мне доверяет, как родителям,
Я буду вам достойным предводителем.
В итоге, не творя вреда родной стране,
Мы высадимся где-нибудь на острове,
И там, перемежая труд весельем,
Мы станем заниматься земледелием,
Отваживать туземцев от язычества
И ждать, когда помрет его величество —
Или когда он спятит окончательно,
Что более вероятно, но менее замечательно.

Завещание безумца

Спешите видеть: небывалый номер, зрелище,
курьезный феномен!
Я, Имяреков, обыватель с виду, лирик,
не противник перемен —
имею способ, не вставая с кресла, молча и
с такой же простотой, с какой дышу,
в устройство мира привносить добро и разум,
совершенство и покой. И привношу.

Уже немало результатов важных дал мой труд,
а сколько еще даст!
Я снизил смертность, холода смягчил,
улучшил очертанья государств.
Я поднял храмы, углубил колодцы, ночь укоротил,
отправил вспять десятки вьюг;
плюс медицина, просвещенье, транспорт —
можно продолжать перечислять, но недосуг.

Родимый город вправе спать спокойно,
ибо — я увел не только крыс,
но также кошек — до единой, подчистую всех —
и многих сам загрыз.
Теперь он смело, то есть город, может чувствовать себя
как вольный рай среди степей!
Ты слышишь, город? Нет, увы! Ты как всегда не слышишь.
Ладно, почивай. Дыши ровней...

Спешите видеть: уникальный случай, новый,
невозможный при царе!
Движеньем мысли я бужу окрестный сумрак,
точно кочет на заре.

Я, мнемотехник, домосед завзятый, баловень,
любитель серых дней и теплых зим,
смещаю горы, времена дроблю
и всё одной фантазией своей. Ничем иным.

Но подождите: пробегут столетья,
мир грядущий встанет к рычагам.
И мы посмотрим — мне ли он свое спасибо скажет
или же вот вам,
вам, президенты, ветераны партий, кормчие, гиганты,—
или мне, кто слаб и мал
и в чьих твореньях надлежит
к любому слову прибавлять частицу «не».
Я все сказал.

Буря на море

(ария)

Конечно,— гибель поначалу
страшит. Тем паче с непривычки.
Но мы же вас предупреждали —
еще тогда, на твердой суше,—
что рейс под силу лишь нахалу,
что в трюме течь и нет затычки;
и вы свое согласье дали
на всё. Так не мелите чуши.

Какой маяк? Какие шлюпки?
С ума сошли вы иль ослепли!
Ни зги вокруг, мы в центре
бездны,
и души наши очень скоро
взовьются к небу, как голубки,—
хотя скорей им место в пекле...
Короче, будьте так любезны
молчать — и гибнуть без позора!

Молитесь — если не нелепо
в минуту страха или горя
взывать к тому, кто сам когда-то
не избежал смертельной чаши:
едва ли выпросишь у неба,
чего не выпросил у моря.
Смешна стихиям эта трата
словес. Но, впрочем, дело ваше.

Меня же ждут мои творенья,
мои труды, мои бумаги.
Пойду готовить их к печати,
чтоб не пропали в царстве
рыбьем:
стекло подарит им спасенье,
сургуч предохранит от влаги...
На всякий случай — все
прощайте.
Но если выплывем, то выпьем.

* * *

Отчего в России мало авторских талантов?

Карамзин

1

Мой несчастный друг, господин Н. Н.,
Не попасть тебе на скрижаль.
Пролетит твой век, и забвенья тлен
Поглотит тебя, как ни жаль.

Не возник в тебе ни второй Вольтер,
Ни, тем более, Робеспьер...
А служил бы ты в юнкерах, мон шер,—
Офицер бы стал, например.

В тайном обществе словеса бы плел
О монархии и добре.

Ну, а там — как знать? — и войска бы вел
На Сенатскую, в декабре.

Проявил бы пыл, за других скорбя,
Доказал бы, что гражданин.
И тотчас же враз — под арест тебя,
В каземат тебя, в равелин!

И тюрьма — не рай, и Сибирь — не мед,
Но зато — почет меж людьми,
Что и век живет, и другой не мрет.
Не в дворянстве суть, ты пойми.

И мужик иной, хоть и вечный раб,
Хоть и глуп и слаб, хоть и вор,
А, глядишь, восстал, да и стал — сатрап!
Косолап кацап, но хитер.

И казнят его, и ведут в острог,
И в клочки его, и в кнуты...
Но и он герой! Только ты — не смог,
Только ты один, только ты.

Не свергал столпов, не крушил кладбищ,
Мимо войн прошел, не задет.
Проиграл бы хоть, что ли, двести тыщ
Государственных,— так ведь нет!

И потомок твой, жизнь отдав борьбе,
Образцом тебя не сочтет.
И поэт других предпочтет тебе,
И историк пренебрежет.

Разгребать никто не пойдет руин,
В коих ты исчез без следа.
Только я один, как всегда, один,
Только я один, как всегда...

2

Призвав решительность
и строгость,
Язык бахвальству отрубив,
Я признаю свою убогость
Перед величием других.

И сколь бы тонко мне ни льстили,
Какой бы мне ни пели вздор,
Как джентльмен, свое бессилье
Я сознаю — с тех самых пор,

Когда мы, новый мир построив,
Причем действительно с нуля,
Произвели на свет героев,
Каких не видела земля.

А мой герой был скромный малый,
Существовал по мере сил.
Не познакомился с опалой,
Но и фавора не вкусил;

Юнцом не ползал по окопу,
Не лазил к барышням в альков,
Не эмигрировал в Европу
Из-за незнанья языков;

Был самоучка по культуре
И по натуре — робинзон.
Чему в реальной конъюнктуре
Едва ли сыщется резон.

Когда кругом волненья тысяч
И политический процесс,
Кого ни тронь — Иван Денисыч
Куда ни плюнь — КПСС,

Он размышлял об Эмпедокле,
Читал Мюссе, ценил Массне
И по зиме гулял в монокле,
А по весне носил пенсне;

От слабых легких ждал подвоха,
Искал спасенья во враче...
Я бы о нем не думал плохо,
Если бы думал вообще.

А так как я о нем не думал,
Не посвятил ему труда,
Не сделал шага, в ус не дунул,
Не двинул пальцем никогда.—

Вот и не стал он ни примером,
Ни назиданьем, ни лучом.
Так он и канул неприметным,
Так он и сгинул — ни при чем.

Так он и умер — у вокзала,
В экспрессе, едущем на юг...
Ах, отчего в России мало
Талантов авторских, мой друг?

1990

Как варяг, наблюдающий нравы славян,
Я вхожу в перепутья своей стороны,
Будто в омут, смущаясь отсутствием дна
И дивясь: отчего до сих пор не тону?
Разрушенья встречают меня тут и там,
И ненастье ложится на сердце мое...
Помрачнев, я исследую местных князей;
Столь курьезны, нелепы и странны они,
Что какой-нибудь звероподобный тиран
Рядом с ними, наверное, был бы красив
(Если б нечисть могла обладать красотой)...
Коли так, то чего ожидать от рабов?
Всякий проблеск у них обращается в дым,
Словно тайна, поведанная дураку,
Или сказка, рассказанная невпопад...
Бедный сказочник! Лучше бы ты онемел.
Здесь недолго творенье твое проживет.
Этим людям присущ разрушительный зуд —
От природы, измлада до самых седин;
Как доныне они расчленяли и жгли,
Так и завтра пойдут расчленять и сжигать...
Досмотрю, как уходит из мрака во мрак
Девяностый с начала столетия год;
Осознаю, что не был он легче ничуть
Предыдущих восьмидесяти девяти, —
И печали умножатся в сердце моем.
Хоть немало печально оно и теперь...

* * *

Нет, нет!..
Твое ли дело — облака! Господь с тобою.
Кто вообще тебе внушил, что атмосфера
С ее бесплотным колдовством — занятье женщин?
По всем законам ты должна любить предметы,
Размер которых невелик и постоянен.
А с облаками как-нибудь и сам я справлюсь...

Вдобавок ты еще слаба и неприлежна,
В твоих ли силах совладать с таким простором?
Живи в долине, вышивай, веди хозяйство.
А я тем временем займусь своей работой.
И будут частыми мои исчезновенья —
Пока не сложится их ритм и не окрепнет...

Нет, нет!..
Я их числа не сокращу. Хотя и мог бы.
Но изученье облаков — особый случай,
Оно не терпит баловства и дилетантства.
И всякий раз, как я с тобой, меня волнует,

Что кучевые племена остались где-то
Вне наблюденья моего и без присмотра...

Но вряд ли правы будут те, кто предположит,
Что поведенью облаков закон не писан.
Напротив, каждый их узор закономерен
В своем стремленье быть иным, чем предыдущий.
Во всем же прочем — положусь на местный климат,
Поскольку климат не поэт и лгать не станет...

Нет, нет!..
Тебе не место в облаках. Учти к тому же,
Что я и сам еще не столь владею ими,
Чтоб демонстрировать другим свои хоромы.
Терпи, покуда замок сей достроен будет
И расцветут в его стенах комфорт и нега...
Тогда, быть может, я тебя возьму с собою.

А впрочем, нет, нет!..

Николай Шмелев

СИЛЬВЕСТР

РОМАН

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя

Ф. И. Тютчев

«ВО ИНОЦЕХ СПИРИДОН»

Монастырь спал. Давно отошла полунощная служба, давно улеглась и успокоилась братия. Замолк и лишь тихо посапывал во сне мальчик-послушник, пристроившийся на подстилочке в углу, подле дубовой двери в эту низенькую и узкую, как гроб, келью...

Долго шла в этом году зима. Нескончаемо долго! Но, наконец, пришла. Перестали лить нудные, изматывающие душу осенние дожди. Отшумели, отвыли ноябрьские бури и шквальные ветры. Затихли отяжеленные снегом вековые ели в дремучих тысячеверстых лесах, протянувшихся от скалистых берегов студеного Белого моря до самого Дикого поля, до заокских степей, где кроме коршуна в небе, да курганов, да злого татарина в седле испокон века нет и не было ничего.

Безлюдье и безмолвие, безмолвие и безлюдье... Господи, Творец всего сущего на земли! Да сбудется воля Твоя, да приидет царствие Твое... Да есть ли они вообще, люди, в этой оцепеневшей от холода, обессилевшей от своих немыслимых, невероятных расстояний, по грехам своим, видно, позабытой Тобой земле? Есть ли, жива ли еще хоть одна христианская душа на ее просторах, в бесконечных лесных дебрях, в глухих чащобах и буераках, в этой белой, укрытой плотным снежным саваном пустыне, где нет и следа человеческого жилья?

Долго шла в этом году зима. Но, придя, расположилась так, как будто бы и не уходила отсюда никогда. Совсем, кажется, недавно стал лед на Белом море, но уже крепка, недвижима ледяная броня, сковавшая морскую гладь от Варзуги и от Кеми до Соловецких островов и дальше до Холмогор. И уже намело вокруг по берегам и скалам и у стен Соловецкого монастыря сугробы высотой в человеческий рост. И уже не пройти, не проехать никому по глубокому, по пояс, снегу на море и в лесах, если ступишь хоть на шаг в сторону с наезженного монастырскими обозами пути.

А если еще, не приведи Господи, вдруг вскинется ни с того ни с сего пурга, если завоет, засвищет опять свирепый ветер с Колы, и тяжелые низкие тучи закроют небо, и понесет, завертит со всех сторон колючая снежная мгла... Молись тогда, человек, чтобы не выдали тебя твои святые заступники, не дали погибнуть лютой смертию без покаяния и прощения! Будто и не заслужил ты у Бога на земле ничего, кроме белого холмика в бескрайней снежной пустыне, откуда, если повезет, может, и откопают тебя, мертвого, по весне. А может быть, даже и этого тебе, горемыке, не суждено: раздерут тебя еще задолго до весны голодные волки либо песцы, оставив на снегу, на потеху воронью, лишь кучку дочиста обглоданных костей, и так и уйдешь ты потом вместе со своею лошадкою, и санями, и со всем случившимся при тебе добром под весенний лед, на морское дно, в вечный покой и тишину.

Журнальный вариант.

Но сегодня там, за стенами монастыря, нет ни ветра, ни метели. Мерцают Божьи звезды в вышине, потрескивает, покряхтывает мороз, молчат, не шелохнутся высокие ели и сосны, тесной толпой обступившие с трех сторон древнюю северную обитель. Прибирается, прихорашивается, готовясь к празднику, одетая в белые ризы земля, метет, неслышно переползая с камня на камень, легкая поземка по берегу Святозера, где кое-где еще, под скалами, притаился выброшенный осенними бурями из воды разный старый хлам.

Близится, близится Рождество Христово! Близится тихий, звездный праздник, отмечаемый миром в память благословенного в веках дня, когда тоненькой свечечкой в ночи затеплилась жизнь Спасителя — Того, кто взял на себя тяжкую ношу всех людских скорбей и страданий, кто вымолил у Всевышнего прощение всему буйному, неблагодарному человеческому роду и погиб, непонятый и отвергнутый, на кресте. А зажглась та свечечка, православные, ни много и ни мало — 1570 лет назад...

Спит Соловецкий монастырь. Спят его храмы и постройки, спят монахи по кельям, спит, прихрапывает, ворочается во сне многочисленный пришлый наемный люд, истомившийся за день в работе по монастырским кузницам и заводам, мельницам и сыроварням, по плотницким, оружейным, корабельным и прочим мастерским, налаженным еще трудами и попечением чудного в житии, великого светлым разумом своим игумена Филиппа — спаси и сохрани его, Господи, ежели он еще жив, от царского гнева, а пуще всего от злого умысла свирепых царских кромешников, им же ныне несть числа на святой Руси.

Молчит монастырь. Молчит звездная ночь за узеньким, выдолбленным в стене окном этой крохотной кельицы, упрятанной в самом дальнем, тюремном крыле монастыря. Сюда, в это крыло, а тем более в эту кельицу без разрешения игумена либо келаря хода нет никому: согласно давнему, строго соблюдаемому в монастыре порядку живут здесь, замаливая свои грехи, те, кого, по государевой воле, надлежит всячески смирять, а посему держать в великом бережении и тесноте. А кто, какой отчаянный человек даже и здесь, в тысяче верст от Москвы, решится без крайней нужды нарушить государев указ? По нынешним временам одна ведь только кара за то и есть — смерть!

Темно и зябко в этой кельице, похожей скорее на могилу, чем на человеческое жилье. Ни звука не доносится сюда из внешнего мира, из-за ее толстенных, сложенных из небеленого камня стен. Лишь потрескивает фитилек в маленькой серебряной лампадке в углу, под образом Пресвятыя Богородицы, да шуршат, возятся, попискивают мыши под прогнившим полом, радуясь ночному безмолвию и возможности без опаски бегать по своим мышиным делам.

В мерцающем неверном свете лампадки с трудом можно различить грубую, почерневшую от старости столешницу под окном, на ней раскрытое Евангелие и рядом потухшую, до половины оплывшую воском свечу. И еще можно различить низенькую лежанку у стены, и еще две еле угадываемые в дымной, колеблющейся полутьме человеческие фигуры: послушника, свернувшегося калачиком у порога, и укрытого тулупом, привалившегося спиной к подушкам в изголовье лежанки старца — сморщенного, усохшего до костей, с жиденькой спутанной бородкой и седыми, сильно поредевшими волосами до плеч. Выцветшими, невидящими глазами старец смотрит прямо перед собой, в дальний угол кельицы — туда, куда не достает свет от лампадки и где стоит густой, непроницаемый мрак — и бледные, без кровинки губы его шепчут что-то невнятное, слышимое только ему одному. Изредка длинные, сложенные двуперстием пальцы его делают движение, будто пытаясь дотянуться до лба, но каждый раз исхудавшая до прозрачности рука, чуть шевельнувшись, тотчас же бессильно падает поверх тяжелого тулупа, прикрывающего это немощное, вечно зябнущее тельце, из которого почти уже ушла жизнь.

А ведь было, было время, когда старец сей был велик и славен! Когда имя скромного протопопа московского Благовещенского собора

Сильвестра, принявшего девять лет назад постриг под именем Спиридон, было известно множеству больших и малых людей не только в Русской земле, но и далеко за ее пределами; когда жизнь и людские страсти буйным морем кипели вокруг него; когда царь, и бояре, и даже воинские люди во всем спрашивали его мудрого совета, а он учил их и наставлял...

Ах, как давно же это все было! Как много воды утекло с тех пор — и в мире, и в этой крохотной кельице с забранным ржавой решеткой окном... И ничего не оставила ему судьба от тех славных времен, кроме воспоминаний, да вот еще этого образа Пресвятыя Богородицы в углу чудного псковского письма. «Прости, Господи, мои прегрешенья и слабость мою!..» — Снял он тогда его украдкой, в последний свой день в Москве, со стены Благовещенского храма и спрятал, чтобы только не оставлять божественную святыню на поругание столь долго дожидавшимся и, наконец, дождавшимся его падения многочисленным своим врагам.

Но скоро... Теперь уже, наверное, скоро и он, Сильвестр, тоже простится с этим миром. Нынешнюю зиму ему не пережить... Пора! Ноги его уже не ходят, глаза почти не видят, язык онемел и лишь с трудом повинуется ему. И если бы не мальчик-послушник, как сын, заботящийся о нем — ему бы, наверное, не дотянуть и до Рождества... А может, и так не дотянуть... Слишком долго бегал он, Сильвестр, от смерти. Слишком везло ему, недостойному, особенно в последние годы, когда столько безвинных голов вокруг скатилось с плеч. Везло? А как же не везло!

А еще... А еще, может быть, и потому он, Сильвестр, уцелел, что есть, существует, люди добрые, высокая справедливость на свете! Есть, существует Судия, у которого в руках весы, и точнее Его весов нет и не может быть ничего во всей Вселенной — ни на небе, ни на земле, ни в недрах земных... Кому он, Сильвестр, сделал какое зло в своей жизни? Кого обидел, кого оскорбил, кого оттолкнул локтем или пхнул ногой? Кому не протянул он куска хлеба или не сказал доброго слова в утешение, коли была в том нужда? Много грехов у него на душе, многим он виноват перед Господом, но в чем другом, а в этом совесть его чиста... Зато... Зато и люди ему чаще всего платили тем же. И если и удалось ему дожить до глубокой старости, в покое и тишине, и если и умрет он теперь в своей келье, в своей постели, а не под топором палача — так это тоже только благодаря им.

Много, на удивление много их было, добрых людей, на его пути! Поивших его и кормивших, утешавших и оберегавших, прятавших его от лютого царского гнева, от ненасытной злобы царевых кромешников, с риском для себя... И прежде всего, конечно, игумен Филипп Колычов, тогда настоятель Соловецкого монастыря, а потом, спустя шесть лет — митрополит всея Руси.

Как привезли его, Сильвестра, сюда той зимой с Белоозера полумертвого, обезумевшего, потерявшего всякое человеческое обличье, как приволокли его волоком в келью к настоятелю и бросили ему в ноги — одно только и сказал ему тогда игумен Филипп: «Живи, отче Сильвестр. Отмаливай свои грехи. А об остальном не тревожься. Пока я жив, здесь тебя не обидит никто...» Господи, прости врагам нашим и умыслы, и деяния их! Ибо не ведают они в злобе своей, что творят... Да разве думал тогда царь, ссылая верного советчика своего в Соловки на муки мученические, на погребение заживо, что не казнью станут эти годы для него, а лучшим, что было в его жизни?

Быстро привыкает человек к четырем стенам! Быстро привыкает он к тоненькому лучику света в крохотном оконце, к полутьме, к жесткой, как камень, постели, к скудной, чтобы только ноги не протянуть, монастырской еде. А еще быстрее привыкает он к тишине, покою, думам своим бесконечным — о Боге, о себе, о людях, о том, что прошло и не воротится больше никогда.

Но зато сколько мудрых, возвышающих душу книг прочел он, Сильвестр, за эти годы, в этой маленькой кельице, при свете оплывающей свечи! И сколько их переписал он своею рукою для монастырской братии, для новых поколений, кто понесет светоч веры и знания дальше, сквозь тьму веков, во имя и славу Господа нашего Исуса Христа... И книги ему

можно было здесь читать. И работать в своей кельице. И на службы церковные ходить... Правда, не одному, а всегда в сопровождении двух чернецов, с самого начала приставленных к нему... Ну, так ведь и помехи от них особой, по совести говоря, не было никакой. Так только, стояли за спиной, дышали ему в затылок... Но и к этому он тоже довольно скоро привык и почти перестал их замечать. Да и они, надо признать, держали себя всегда почтительно, не дергали, не докучали ему, а бывало, что и надолго оставляли его одного: молись, отче, стой на коленях хоть до утра — куда ты отсюда убежишь?

И воздухом подышать, побродить окрест монастыря — правда, под их же присмотром — тоже ему иногда позволяли: полюбоваться на травку зеленую, на птах небесных, на волны морские... И в чистоте, и в одежде его не обижали. И обиход ему был такой, как положено по старости и болезням его... А что писем ему нельзя было писать, по цареву указу — так кому ему и было их писать? Друг его верный, испытанный, жена, Богом ему данная, слава Тебе, Господи, померла по-христиански, своей смертью, когда он был еще в силе. Соратники и сподвижники его все давно в гробу. А сын Анфим? Что ж, спасибо судьбе и на том, что пощадил, не тронул его царь, лишь не велел жить на Москве да торговать ему запретил... Но ведь живым оставил! Живым!

И в келью... И в келью к нему ходили часто. Почитай, что каждый день... Сам ли Филипп, или старцы, или кто из молодых послушников по разрешению игумена либо келаря — за советом, за наставлением отеческим, за тихой беседой о делах Божественных, а иной раз и о земных... Филипп особенно любил его! Да и старцы его почитали, и молодежь... За что? Надо думать, было за что... За то, наверное, что царя грозного, со дней младенческих своих свирепого, сумел обуздать больше, чем на десяток лет. За труд его, Сильвестра, великий, подвижнический, вместе с товарищем и наставником его, с митрополитом Макарием — упокой, Господи, его праведную душу в горних селениях Твоих! — за составленные ими «Четьи-Минеи», без которых ныне ни священствовать на Руси, ни самому кому дорогу к Богу искать уже больше нельзя. Ибо в них — мудрость веков, мудрость святых отцов церкви, великих богословов, великих ученых. И каждое слово их свято и незыблемо, и каждое из них — от Бога, а не от суеты и тщеславия человеческого. И каждому их слову жить теперь и дальше в веках, пока стоит мир.

И еще... И еще, конечно, за «Домострой». За плод этот размышлений его мучительных, бесконечных бдений его ночных, завет его всем — и тем, кто живет, и тем, кому еще только предстоит жить... Как надо жить человеку, чтобы не мешать никому, как Богу молиться, как содержать ему себя и своих близких, чтобы дом его был крепок и чтобы успех и благополучие всегда сопутствовали ему. И чтобы любили его и ближние его, и соседи, и ровня его, и неровня, и не сторонились его, а шли к нему за помощью и советом. И чтобы в смертный час его, когда настанет время прощаться со всем, что было дорого ему на земле, совесть его была чиста — и перед Богом, и перед людьми, и перед самим собой...

— А здесь почему свое не пишешь, отче Сильвестр? Почему только других переписываешь? — сердясь, выговаривал ему, бывало, Филипп. — Помнишь притчу евангельскую о таланте, зарытом в землю? Грех на душу берешь, святой отец. Великий грех... Кому ж, как не тебе, писать сегодня о страданиях земли Русской? О грядущем ее великом разорении, а может статься, и погибели? О Навуходоносоре новоявленном, царе немилостивом, побившем всех сильных во Израиле? Ты один сегодня остался, кто видел все и знает все, кто был и свидетелем, и участником, и подсказчиком, и деятелем. И кто стал первой жертвой сатанинских сил, неведомо откуда и за какие грехи обрушившихся вдруг на нашу землю... Молчишь? Что же ты молчишь? Или страха ради иудейска зарок себе такой дал — молчать? За жизнь свою дрожишь, не веришь теперь никому... И мне, небось, не веришь... Не выдам, отче Сильвестр! Не выдам, клянусь тебе святым крестом. Не выдам я тебя никогда и никому — ни на дыбе, ни на исповеди, ни в беспамятстве на смертном одре, когда придет и мой час... Напиши только! Для народа русского: для потомков наших и ближних, и дальних — напиши! Пусть знают православные, как один безу-

мец, облеченный страшной, нечеловеческой властью, может стать проклятьем целой земли и погубить святое дело отцов и прадедов своих, по грехам, видно, нашим либо по проискам Сатаны попавшее в его кровавые руки... О, Господи! Верую в благую волю Твою! Верую — помоги моему неверию... Пусть знают наши потомки и берегутся его, этого безумца! Ибо может статься, что не в последний раз пришел он в мир. Силен враг человеческий, и долго еще человеку бороться с ним — до самого, видать, Судного дня... Напиши, отче! Все, что напишешь, схороню так, что ни один опричник, ни один доносчик царский не будут никогда знать, что́ я схоронил и где. Старцам-молчальникам, святым схимникам в пустынях лесных накажу беречь твой труд, как зеницу ока. И если сами не доживут до светлого дня, когда избавит нас Господь от этого исчадия адова — пусть передадут твое писание из рук в руки самым верным, самым надежным ученикам своим. И так из поколения в поколение, пока не очнется, наконец, Русская земля от этого наваждения, от этого тяжкого, страшного сна...

Горяч был игумен Филипп! Ох, как горяч... Вот ведь и в зрелых летах был человек, и жизнь, и людей повидал, и ума был светлого, высокого, и в науке книжной всего достиг и все превзошел, а говорил да и поступал иной раз, как сущее дитя... «Спрячу, схороню, никто не узнает...» Эх, отче Филипп! Да не только я — сам ты был всегда и во всем под неусыпным оком государевым, сам денно и нощно был окружен соглядатаями царскими, следившими за каждым шагом твоим. Ближайший же твой ученик, ближайший помощник твой отец Паисий был, как оказалось, и первым же доносчиком на тебя царю! А сколько их других, доносчиков и злопыхателей, обнаружилось сразу же, в один день, в этой Богом хранимой обители, достигшей нынешнего своего величия и славы только лишь, считай, заботами и попечением твоим? Когда вдруг понадобилось царю оболгать тебя перед Освященным Собором, обличить в неведомо каких «воровских скаредных делах», согнать с митрополичьего престола и заточить тебя, непокорного, в тюрьму... Диву даешься, где, по каким норам и щелям таились они здесь от людского глаза, от гнева Божия, верша свои черные дела! И хлеб свой вкушали из твоих рук, и трудились, и молились с тобой рядом, и милость твою кроткую каждый день ощущали на себе — а вот подиж ты... Предали! В одну ночь, как нагрянули сюда — вспомнить страшно! — князь Темкин, а с ним пьяные царские опричники, до смерти напугав весь монастырь своими дикими криками, и шипящими факелами во тьме, и звериным своим обличьем... Всего одна ночь, — а целый короб доносов собрали на тебя!

Дак это ты, отче Филипп! Слава и надежда святой церкви... А я? Что же тогда говорить обо мне? Думаешь, по старости своей я не замечал, как изо дня в день, из года в год кто-то все время роется в книгах моих и бумагах, под постелью, везде, где я мог бы спрятать хоть листок? И думаешь я, дряхлый старец, не понимал, кто ходит ко мне по влечению души, в поисках Божественной истины, а кто за тем только, чтобы, если повезет, поймать меня на какой-нибудь ереси или крамоле и тотчас же отписать об этом царю?.. Прав! Прав ты был, Филипп. Страха ради иудейска... Но кто сегодня решится бросить за это камень в меня? Найдется ли хоть один такой отчаянный человек во всей нашей безмолвно вопиющей земле, во всей оцепеневшей от горя и ужаса Руси?

И может быть, потому, отче Филипп, и жив я пока, и умираю своей смертью, на своей постели, а не на дыбе в царской сыскной избе или на Лобном месте, на Торгу, что ничего я о царе нашем неправедном так и не написал, несмотря на все увещевания твои... А может быть, и просто потому жив, что никому я здесь не мешал, ни начальствующим, ни братии, ни самому последнему нищему, добравшемуся сюда, на край света, в поисках куска хлеба и сострадания к несчастьям своим. Почему-то же ведь не выдал меня Паисий царским слугам! Нет, не выдал — ни в первый их налет сюда прошлой весной, когда они увезли с собой в Москву один лишь тот короб с доносами на Филиппа, ни во второй, той же осенью, когда, в придачу к бумагам, они поволокли за собой в цепях, на верную смерть, еще и с десяток самых почитаемых в монастыре старцев, известных всем строгим житием и подвижничеством своим. На них как на доб-

рохотов Филиппа Паисий показал, а на него, на Сильвестра — нет! И никто другой не показал. Во всем монастыре... Темна человеческая душа! И никогда не узнать никому, отчего иной раз злоба из нее рвется лютая, звериная, а иной раз слезы льются чистые, младенческие, будто это уже и не тот же самый, а совсем другой какой человек.

О, какой же страшной была та ночь! Господи, владыка живота моего... Да воскреснет Бог, и да расточатся враги его во тьме... Крики, шум, лошадиное ржанье! Сполохи, как от пожара, в окне, гулкий топот множества ног, мечущихся из конца в конец, по выложенным камнем проходам и переходам, по всему монастырю... А потом еще и кто-то ударил в колокола...

Помнится, он все еще лежал тогда на своей лежанке, напряженно вглядываясь во тьму, не в силах понять, что же произошло. Внезапно дверь в его келью распахнулась, и на пороге, со свечой в руке, запыхавшийся, с безумными глазами, вырос один из тех двух чернецов, что были приставлены к нему. Другой большой черной тенью угадывался у него за спиной.

— Скорее... Скорее, святой отец... Собирайся! Живей...

— Куда? Что вы? Что нужно вам, нехристи, от меня? Мало вам дня, теперь и ночью покоя от вас нет?

— Не спрашивай ни о чем, святой отец... Молчи... Потом! Все потом объясним тебе. Бери тулуп свой, бери Евангелие... Да скорей же, скорей, святой отец! Не медли, ради Бога, не медли! Тебя, жизнь твою спасаем. Бога потом будешь благодарить за нас... Ну, скорее же, отче! Скорей!

Да, так оно и было: тулуп и Евангелие — вот и все, что он сумел тогда захватить с собой... Потом, освещая себе путь большой, прикрытой ладонью свечой, они долго вели его по каким-то осклизлым лестницам, по тайным, заросшим мохом лазам и ходам, о существовании которых он за все эти годы даже и не подозревал. Потом был темный, хоть глаз выколи, лес за монастырской стеной, камни, корни, тяжелые разлапистые ветви елей, хлеставшие его по лицу, потом берег Святозера, старенькая, рассохшаяся лодка, спрятанная под камнем, потом его долго везли по озерам, по протокам, еле различимым сквозь туман в предрассветной мгле, потом был опять лес и, наконец, почерневший и покосившийся от времени уединенный скит. Там его встретил старец-пустынник, похожий на лешего, так и не проронивший ни слова за все месяцы, что они прожили на том островке вдвоем. Тихо прожили, мирно, душа в душу: Богу молились, хворост в лесу собирали, травки разные искали...

Потом уже здесь, в монастыре, те чернецы сказали ему, что игумен Паисий не только не выдал его тогда опричникам, не только велел спрятать его подальше, где бы никому его было не сыскать, но и пошел на прямой обман, заверив царских слуг, будто его, Сильвестра, давно уже и на свете-то нет, и похоронен-де он в скудельнице, вместе с нищими и всякими другими какими людьми, кому судил Господь помереть безвестной смертию здесь, вдали от отечества и близких своих. И никто во всем монастыре, кишевшем доносчиками и соглядатаями царскими, не выдал ни его, ни Паисия. Ни из монахов, ни из послушников, ни из работных людей — никто! А он ведь, Сильвестр, видит Бог, никого из них об том не просил, не умолял, ни у кого не валялся ради того в ногах...

Долго тянется зимняя ночь! Нескончаемо, невыносимо долго... Сколько передумаешь всего, лежа так один, в темноте, сколько вспомнишь и светлого, и печального. Сколько знакомых голосов услышишь вновь... А сна все нет и нет! Вот и огонек в лампадке стал мигать, того и гляди, погаснет совсем. А может, и нет, может быть, и не погаснет, и дотянет так, мигая и чадя, до самого утра. Наверное, недолго уже осталось до заутрени, до первого удара соборного колокола, скрипа открываемых дверей, торопливых шагов по каменным переходам. А утром мальчик-послушник опять дольет лампадку до краев, да и в оконце появится пусть и серый, и слабенький, но все-таки хоть какой-то свет.

Ах, не так бы, не так ему умирать! Не в лютый холод, не в кромешной ночной тьме, когда сердце сжимается от тоски... А умереть бы ему вольно, празднично, светлым солнечным утром либо погожим летним

днем, вдали от людей, на зеленом скошенном лугу либо у воды, на берегу морском, прижавшись спиной к какой-нибудь одинокой сосне... Взглянуть в последний раз на Божий свет, сотворить последнюю молитву, вздохнуть на прощание полной грудью — и тихо отойти...

И возликовала бы... И возрадовалась бы тогда душа его, изболевшая, истомившаяся, долгожданному своему избавлению! И подхватят, и понесут тогда ее ангелы небесные на крылах своих трепещущих к престолу Всевышнего, к Свету несказанному, к правде высшей, на строгий допрос и суд Его. И припадет тогда он, раб Божий Сильвестр, в слезах чистых, восторженных, к стопам Судии сего Всевидящего, взывая к милосердию Его, и омоет слезами своими ноги Сына Его распятого, Господа нашего и Спасителя Исуса Христа, сидящего одесную Его, и протянет руки свои дрожащие в мольбе к Матери Божьей, пресвятой деве Марии, Владычице и Заступнице людской за все грехи наши тяжкие, вольные или невольные, по умыслу совершенные или без него... И скажет тогда он, Сильвестр, одно только слово — слово выстраданное, заветное, звучавшее в сердце его всю жизнь, от дней младенческих до последнего вздоха его на земле:

— Господи! Это я...

— Вижу... Вижу, что ты, Сильвестр, — ответит тогда ему Господь. — Что ж... Пора. Давно я тебя жду... Что-то замешкался ты там, на земле... Ну, что? Как ты жил? Как исполнял волю Мою и заповеди Мои? Как священствовал? Как оберегал ты стадо свое послушное, пастырь духовный, служитель храма Моего, учитель и наставник царский? Что сумел ты в жизни? Что не сумел?

— Жил, Господи! Жил, как люди живут... В трудах и заботах, в печалях и радостях, уповая на милость Твою и промысел Твой... Заповедей Твоих, Господи, не нарушал: никого не убивал, не крал, не прелюбодействовал, ближнему не завидовал, не лжесвидетельствовал, веровал лишь в Тебя, Бога истинного... Ни ворожбой какой, ни чародейством, ни другими какими делами черными, бесовскими, совесть свою не омрачил... Учил людей в храмах слову Твоему животворящему, святому Евангелию, службу правил церковную, как умел, за души человеческие молился, детей крестил в веру нашу православную, исповедовал, причащал, усопших отпевал... Книги душеспасительные писал... Бывало, и в мирские дела мешался, словом и делом — от крови людей отводил, от мятежа, от злобы их ненасытной... А вот царя грозного, немилостивого, его же поручи Ты мне, Господи, не соблюл... Не соблюл, Господи, не удержал, руку его кровавую не остановил! И так пытался, Господи, и эдак: и хитрил, и изворачивался, и к имени Твоему взывал, и карами Небесными ему грозил, и на коленях молил его, и людей к нему верных, богобоязненных, великих в мужестве и достоинствах своих, всеми мерами приближал, и защищал их, и от гнева его укрывал — а соблюсти не сумел... Слаб я оказался, Господи, ума не хватило... Вот и вырвался зверь на волю, и пошел громить — терзать землю Русскую... А за какие ее грехи — Ты, Господи, веси. Не мне, недостойному, про то судить...

— А скажи мне, Сильвестр, — спросит тогда его Сын Божий, Спаситель и Избавитель наш Исус Христос, склонив к нему голову свою в терновом венце. — А скажи ты мне, благовещенский протопоп: верил ли ты сам во Святую Троицу, в жертву Мою ненапрасную и во Второе пришествие Мое? И было ли слово твое обо Мне к людям от сердца, от веры чистой и бесхитростной, и было ли оно крепко, без шаткости, или же лукавил ты предо мной и паствой своей? И жил ли ты сам согласно заветам Моим, прощая врагам своим и не отвечая злом на зло и насилием на насилие, или же уста твои исповедовали одно, а сердце и разум другое, и на амвоне ты был одним, а в делах своих — иным?

— Верил! Верил я в тебя, Исусе! Верил в правду Твою и муки Твои горькие на кресте, верил в жизнь Твою и в смерть, и в светлое воскресение Твое... Верил и верую в грядущее в веках Царствие Твое и на небе и на земле, верю, что Ты и есть свет и жизнь вечная, что Ты и есть любовь... Ты! Только Ты один, Господи, спас людей от всеконечной погибели, от гнева Божественного, справедливого, за все те мерзостные дела и злодейства, что они из поколения в поколение творят на земле... Спрашиваешь, платил ли я добром за зло? Подставлял ли я левую щеку, когда били меня по правой? Было. И это было, Господи... Бывало, и платил, бывало, и подставлял... И все мельтешил, все суетился чего-то... Все пытался людей всех примирить, чтобы все довольны были, чтобы ничья не взяла, чтобы все вместе были, соборно, и никто бы не мешал никому, жизнь бы ничью не заедал... Унимал, Господи, уговаривал, увещевал... Но ничего из этого путного не вышло, Господи! Все развалилось, все рассыпалось в прах... И настали в земле Русской мерзость запустения, и стон, и плач, и скрежет зубовный... Что с нею теперь будет? Куда ее теперь заведут царь и верные псы его? И сколько же еще им надо крови христианской, чтобы захлебнулись они в ней?

— А теперь ответь мне, Сильвестр, — скажет ему тогда Владычица и Заступница наша Небесная, пресвятая дева Мария, блеснув на него очами своими кроткими, материнскими, навеки затуманенными слезой. — Ответь мне, старец древний, видевший столько горя и страданий вокруг себя... Жалел ли ты сам ближних своих? Любил ли ты жену, и детей, и домочадцев в доме твоем? Творил ли ты милостыню именем Божиим, пригрел ли ты когда калеку убогого, странника истомленного, нищего в дырявых лохмотьях его, презираемого и отвергаемого людьми? Были ли от тебя радость и утешение людям, и помощь им в болезнях и несчастиях их? И пожалел ли ты сердцем хоть раз собаку бездомную, или кошку приблудную, или другую какую Божью тварь?

— Жалел! Жалел я людей, Владычица. Может быть, и мало, но жалел. А о жене своей и до сих пор скорблю... Не она бы, не память о ней — не выдержал бы я, наверное, участи своей тяжкой, отчаяния своего бездонного, когда все, над чем трудился я столько лет, рухнуло в одночасье в тартарары. Мог бы, наверное, и руки на себя наложить... И сына я, Матерь Божия, вырастил доброго, послушного, стойкого и в вере, и в долге своем. И соседям, Владчица, я помогал, и нищих привечал... И живности всякой всегда у меня был полон дом... Было! И это было... Но не о том я скорблю сейчас, Заступница наша, что мало жалел я людей. Не о том болит мое сердце. А о том оно болит, Матерь Божия, что не знаю я до сих пор: а надо ли было их жалеть? Может, не царь, не силы темные, сатанинские, виноваты в том, что с ними приключилось и что творится теперь там, на святой Руси? Может, сами они виноваты во всем? Сами не приемлют ни слова кроткого, увещевательного, ни дел благих — а только дыбу и кнут? Истинно, истинно, Матерь Божия: О, Иерусалим! «Сколько раз Я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» Так, может, и действовать тогда надо было так же, железом и кровью, ради них же самих?

— А и дерзок же ты... А и дерзок же ты, Сильвестр! И дерзостны речи твои..., — сдвинет тогда грозные брови свои Бог-Отец. А может быть, и не сдвинет, может быть, лишь усмехнется на нелепые, мятежные слова его в великом милосердии Своем. — Так у нас здесь не говорят... Но... Но да будет и с тобой милость Моя! Есть и у тебя перед Небом заслуги, не одни только грехи... Что еще... Что еще ты хочешь спросить у Меня? Говори.

— А еще... А еще, Господи, всю жизнь, сколько помнил я себя, хотел я Тебя спросить об одном... Боже великий, Господь милосердный! За что?! За что обречен каждый из нас, смертных, на горе и страдания в юдоли своей земной? Виноват ли он в чем, не виноват... Грешен ли он пред Тобой, или это дитя малое, неразумное, не успевшее даже помыслить-то еще ни о чем, не только что совершить... За что людям и муки, и слезы, и тоска черная, неизбывная, и глад, и мор, и болезни, и разорение великое, и смерть? И детям безвинным, и женам непорочным, и калекам, и старцам согбенным... За что, Господи?!

— Так... Так, раб Божий Сильвестр... Что еще?

— А больше ничего... Больше мне нечего спросить, Господи... Я все спросил... Куда укажешь мне теперь? В ад кромешный, в геенну огненную? И это приму, Господи, безропотно, без слез и стенаний, уповая лишь на милосердие Твое в день последнего Твоего Суда... И это приму, Господи, ибо заслужил...

— Нет... Не туда теперь путь твой, Сильвестр, — ответит ему Господь. — Не в ад. Но и не в рай... В пространства межзвездные теперь твой

путь, и быть тебе там до срока, до того грядущего в веках Дня, когда свершатся, наконец, судьбы мира и восстанут мертвые из гробов... Ибо и Я пока не знаю, раб Мой верный Сильвестр, истинную меру вины человеческой... И меру подвига тех немногих, кто во всем следовал воле Моей и заповедям Моим... Дал Я человеку жизнь, и дал Я ему землю, чтобы трудился он на ней в поте лица своего, и украшал ее, и любил ближнего своего, и жил в мире с ним и согласии, и думал о душе своей бессмертной, и сторонился сам и других отводил от всяческого зла... Но свернули люди с этой прямой, светлой дороги куда-то не туда, и выбились они из воли Моей... И даже когда послал Я им Спасителя, Сына Моего Небесного Исуса Христа — они не приняли Его и прогнали Его прочь... Куда они дальше пойдут? И к чему придут в гордыне своей, и тщеславии, и недомыслии своем? Но одно Я твердо знаю, протопоп, — и одно скажу тебе: уже назначен срок, назначен День великий — День страшного, последнего Суда над миром... Иди, раб Мой Сильвестр! Иди и жди того великого Дня... Жди, и Я призову тебя...

Тихо в маленькой кельице. Тихо в монастыре... И тихо, не шелохнется веточка, не треснет сучок на морозе в вековом, дремучем бору за монастырской стеной. Все вымерзло вокруг, все застыло в оцепенении, скованное стужей и сном. Глубокая ночь на дворе, и до рассвета еще далеко.

Нет, не дотянула до утра лампадка! Задрожал, зашипел в последний раз огонек у нее на дне и погас. Теперь что смотреть во тьму, что не смотреть — все одно. Истинно, истинно, как в гробу... Господи, так когда же? Когда же, наконец, блеснет в этой тьме Твой свет? Пора... Пора, Господи... Стынет, вязнет кровь в жилах его, и уже холодеют его члены, и уже не слышит он больше сам сердца у себя в груди... Нет у него больше сил цепляться за жизнь! Неужто не выпил он еще до дна чашу свою?.. Утомился я, Господи. Слишком много было всего...

И опять мутится, плывет, уплывает куда-то сознание его. И темное знакомое забытье вновь подбирается к нему, и медленно, тяжело окутывает его сон — мутный, колеблющийся, похожий на смерть... А может, это и есть смерть? Значит, так и не удалось ему дожить до светлого Христова Рождества, так и не удалось в последний раз услышать дивный ликующий благовест монастырских колоколов — о рождении Того, кому суждено было спасти мир?.. А, не жалко! Не жалко даже и этого. Не жалко теперь уже больше ничего... Слава Господу нашему Исусу Христу! Слава сыну Божьему, вознесшемуся на Небеса!.. Так вот оно, значит, как... Так, значит, это и есть она — смерть?!

Скоро, скоро пробьет соборный колокол, возвещая утро. Вернется, отстояв заутреню, в кельи свои соловецкая братия, и мальчик-послушник принесет ему горячего сбитню и ломоть хлеба и осторожно, жалея его, тронет его за укрытое ветхим тулупом плечо. Ибо давно уже старец сей древний не встает со своего одра, и не переступает порога кельи, и не посещает никаких монастырских служб... А тронув — вскрикнет, испугается, всплеснет руками: как ни видим был всем близкий конец старца, как ни ждали скорого ухода его в жизнь вечную, а все-таки смерть есть смерть, и никогда не привыкнет человек к ней. Омоют его, уложат в сосновый гроб, отпоют, похоронят — и не останется больше от него на земле и следа.

БУНТ

Такого пожара Москва еще не знала никогда! И раньше горели, конечно, — всякое случалось, не без того. Немудрено: г род-то деревянный, каменных строений в нем, кроме церквей, по пальцам можно было пересчитать, домишки стояли плотно, один к одному, загорелся сосед — не минует и тебя. Но чтобы так, чтобы в одночасье и Кремль, и Китай-город, и Белый город, и Замоскворечье, и за Яузой, и все дотла? Нет, такого еще не случалось на Москве.

Весна в 1547 году была ранняя, снег сошел еще в начале марта,

а в апреле, на Пасху, уже начали гореть. Ни одного дождя не было до самого Троицына дня, солнце палило нещадно, трава во дворах и лист в садах, только-только пробившись, уже успели пожухнуть и омертветь, и достаточно было лишь слабенькой искорки, как вспыхивало и занималось так, что ни водой не залить, ни баграми растащить.

В первый раз, в апреле, выжгло всю Никольскую улицу и всю Лубянку: еле-еле удалось не дать перекинуться огню в торговые ряды. Во второй раз пожар истребил Зарядье и все слободки по Яузе-реке, от устья ее и вплоть до Андроньева монастыря, там, где издревле селились московские кожевенники и гончары... Господи! Царю Небесный! Страх-то был какой, страсти-то какие! Набат над Москвой, дым, смрад, жар — не продохнуть, крики, рушащиеся крыши, рушащиеся стены, шипящие, стреляющие во все стороны головни...

Ну, а в третий раз уже и набата не слышал никто. Да и некому было бить-то в тот черный, страшный день в колокола. Поначалу еще было загудело у Арбата, и в Кремле, и на Рождественке, а за ними и по другим большим и малым окрестным церквам. А потом, когда помчался невесть откуда взявшийся свирепый вихрь вдоль улиц и площадей московских, когда взметнулось пламя выше крыш, выше башен кремлевских, выше Ивана Великого, когда потонуло все в черном дыму — смолкли колокола. Ибо и по колокольням никому от жара, и удушающего смрада, и страха смертного оставаться стало невмочь.

Может, и звонил еще кто где, особенно по окраинным монастырям, — Симонову, и Новинскому, и Андроньеву, — но в городе их звон уже не был слышен. Вой огня, грохот и треск погибающих в пламени хором, и амбаров, и домишек посадских, и стен церковных, оглушительные, страшнее грома небесного взрывы пороховых запасов в толще кремлевских башен и стен — они поглотили собой все. И опять крики, и стоны, и плач, и конское ржанье. И опять давка и смерть от удушья, и от огня, и под копытами взбесившихся лошадей, и от сыплющихся с неба раскаленных бревен, и от скрученных, свитых в огромные огненные жгуты соломенных крыш, сорванных вихрем с домов и гонимых вдоль тесных улиц и переулков. И теперь уже ни спрятаться, ни убежать никуда было нельзя: со всех сторон горело, со всех сторон ждала смерть, всюду шипел, вертелся, извивался огненный змий, изрыгая пламя, и не было нигде хотя бы малого островка, куда бы не доставало адское дыхание из кроваво-красной его пасти. И даже в каменных церквах не было никому спасения: огонь врывался и туда, полз по окнам, по стенам, сжирая деревянные алтари и всякое иное церковное украшение, и если не затопчут, не задавят тебя там, то все едино погибнешь от дыма и нестерпимого жара, от которого лопались глаза и в мгновение ока истлевали и бороды, и волосы на голове.

Беда! Ох, беда... Не бывало еще такой беды на Москве! Не только посад — и хоромы царские со всеми несметными богатствами их, и Казенный двор, и конюшни дворцовые, и Оружейную и Постельные палаты испепелил в тот день Господь в гневе Своем. Даже Успенский собор — и тот не смогли отстоять, выгорел и он весь изнутри дотла, пришлось оттуда и Макария митрополита, и всех ближних его спасать задохнувшихся, без чувств. Спустили старца дряхлого на веревках с кремлевской стены к реке, да не удержали, уронили его, страдальца, оземь, зашибся сильно, так в беспамятстве, чуть живого, и увезли в Новоспасский монастырь.

Сгорел белокаменный Кремль! Остались лишь черные, прокопченные стены его с проломами во многих местах — там, где хранился взлетевший на воздух пороховой запас. Да остались обезглавленные, обугленные остовы великого множества его церквей, некогда радовавших глаз благолепием и дивной красотой своей. А уж про посад-то и говорить нечего! Все, подчистую смело пламя. И не осталось ни улиц, ни изб, ни усадеб, ни лавок купеческих — одни пепелища, да обгорелые печные трубы, да чадящие головни. А еще мертвые тела, — где поодиночке, а где кучей, — которые и прибрать-то было некому, да трупы лошадей и всякой другой домашней скотины, да воронье на ветлах, в их черных растопыренных во все стороны ветвях, слетевшееся на пир... Посчитали потом: с лишним двадцать тысяч семей остались без крова и пристанища. А жило в ту пору в Москве, в городе и на посаде, по писцовым книгам, на все про все чуть больше ста тысяч человек.

Как выжили, как спаслись от стихии огненной те, кто все-таки остался тогда в живых? Чудом выжили. Чудом да Божьим благоволением — знать, не исполнилась еще мера прегрешений людских. А выжил прежде всего тот, кто, как занялось, кинулся вон из города, бросив и дворы, и скотину, и рухлядь свою, кто успел добежать до лугов и топких болот по берегам Москвы-реки, пока еще можно было пробиться к ним сквозь пламень и дым. А еще выжил тот, кто осенив себя крестным знамением и во всем положившись на волю Божию, схоронился во тьме, в подвалах холодных и погребах, вытерпев муку смертную, и страх, и удушье, и душераздирающие рыданья жен и малолетних детей своих. Да еще спаслись юный царь и дружина его, успев ускакать из Кремля через Боровицкие ворота в подмосковное село Воробьево, на горы Воробьевские, прокладывая себе дорогу сквозь обезумевшую, мятущуюся толпу где криком, а где и плетьми.

Только к вечеру стих знойный, свирепый ветер и только к вечеру стал униматься понемногу огонь. Улеглось, обессилело пламя, и потянулись из лесов, и из окраинных деревень, и с заливных лугов московских погорельцы. И начали вылезать из погребов и подвальных ям темные шатающиеся тени, все равно как мертвые из могил.

О, лучше бы им и не возвращаться, лучше бы им и не вылезать из убежищ своих! Ибо ничего, кроме смерти и разрушения, не осталось на Москве, еще недавно, еще лишь утром того страшного дня и богатой, и шумной, и праздничной, и кипящей жизнью. Тихий плач на пепелищах, да вой собак, да груды дымящихся угольев, да мертвые тела на каждом шагу — вот и все, что в гневе Своем оставил на месте ее Господь. Все, все пропало: и дома, и скарб, и скотина, и что лежало по сундукам, и всякий запас житейский. Да и соседей, с кем жизнь прошла, не осталось почти что никого — кто погиб в огне, кто с ума сошел от горя, потеряв и детей, и близких и все имение свое, а кто, махнув рукой, так и побрел куда глаза глядят, ища себе иную жизнь и иную долю.

Как теперь жить? Как кормиться? Где найти крышу над головой, чтобы жен и детей своих уберечь от осенних холодов, от стужи зимней? В землянке, ведомое дело, долго не протянешь, а новую избу поставить — сколько ж нужно на то трудов и сил?

За что?! За что, Господи?! За что гнев Твой на люди Твоя? За что казнь Твоя, и мучения, и разорение, и смерть? Где же милосердие Твое, где любовь Твоя и сострадание к детям Твоим, беспомощным и бессильным пред стихиями земными, подвластными лишь Тебе? За какие такие страшные грехи, Господи, сжег Ты без разбору и правого, и виноватого, и злодея ведомого, и праведника смиренного, добывавшего хлеб свой в поте лица своего, и детей его безвинных погубил, и жену трудолюбивую, и родителей его престарелых, немощных, обессилевших в заботах и трудах?

Нет, не настолько был грешен, не настолько виноват православный люд московский перед Господом — Отцом нашим Небесным! Не заслужили люди кару столь неслыханную, небывалую, чтобы не пощадил Огонь Небесный ничего — ни терема высокие, ни жилища убогие, ни лавки с товаром всяческим, ни церкви святые, ни древние монастыри... Не обошлось здесь без нечистого! Не обошлось без Сатаны и слуг его земных! Околдовали Москву чародеи! Околдовали, оборотни, подручники дьяволовы, околдовали, враги святого креста и древлего благочестия московского... Ищите их, православные! Ищите! И да воздастся им смертию за смерть!

И растерялась Москва. И замутился тогда разум людской, и пришел терпению народа московского конец... Где они, кто они, злодеи потаенные, сгубившие колдовством своим Москву? Кто, кто наслал ворожбой, и наговором, и волхованием дерзостным все силы адовы на смиренных жителей ее? Где гнездо их сатанинское? И кто начальники их?

Нет, не простых умов то дело неслыханное! Тут больших, тут высоких людей вина. Лишь у них, у высокоумных, могла подняться рука на такое небывалое злодейство! Это ведь не соседа запалить в минутной злобе, во вражде житейской — весь город, со всех концов, со всеми людьми его предать огню. И не свой, не русский человек то дело задумал и сделал! Лишь чужой, лишь чужестранец безродный мог решиться на такой великий и страшный грех.

А среди них набольший кто? Анна Глинская, бабка царя, сербиянка надменная — то ее, ее, проклятой, вина! То она, ненавистница всякого обычая русского! То она, прислужница дьявола, известная всей Москве волшебством и чернокнижием своим... Она, она, ведьма хвостатая! Она летала накануне на помеле по всей Москве! Видели ее! Видели многие люди московские, как разрывала она когтищами своими могилы на погостах, как вырывала сердца у мертвецов и мочила их в реке, а потом кропила тою водою окровавленной и дома, и церкви святые, и монастыри... Она, она наворожила! Она, бабка царская, накликала беду! Мало им, Глинским, богатства их несметного, и палат их каменных, и поместий княжеских. Мало им, ненасытным, власти над народом русским... Мало им, худородным беглецам литовским, и чинов боярских, и пышных выездов, и почета доселе неслыханного, мимо всех родов московских, славных древними заслугами своими... Мало награбили они, старая ведьма да алчное отродье ее, князья Михайла да Юрий Васильичи, казны государевой, мало вотчин исконных поотнимали у служилых людей московских, мало народу всякого звания поуродовали, да потоптали, да поубивали они в безумной гордыне своей... Вконец решили, злодеи, извести Москву! Вконец погубить народ русский, а церкви все православные порушить, а землю всю отдать литовскому королю... Смерть им! Смерть всему роду Глинских, и всем соплеменникам, и всем прислужникам их! Ищите, ищите, православные! Поднимайся, Москва! И нет на вас, люди московские, греха! Ныне отпущающе: нет, не бунт, не грех то, православные, — то святая месть!

И восколебашеся черные люди московские аки юродии... Кто, откуда бросил первым клич громить цареву родню, громить Глинских — так и не дознались потом. Но, как новый огненный вихрь, как новая страшная беда, взметнулось в одночасье в разных концах города отчаяние народное, закружило, понесло, выхлестнуло из берегов — и некому было удержать его, ибо Москва в те дни, спаленная огнем и покинутая царем, была безвластна. Разгромила ревущая, пьяная от горя и крови толпа палаты Михайлы и Юрия Глинских, разнесла и разграбила дочиста и амбары, и подклети, и кладовые их, полные всякого добра, сожгла в усадьбах их все, что пощадил накануне огонь, побила до смерти великое множество и дворян их, и слуг, и холопей кабальных да и иных многих случившихся при том людей, на кого кто показал, что тоже Глинским доброхот. А разгромив Глинских, бросилась толпа крушить по Москве все, что ни попадалось под руку: пропади, пропадай ты все пропадом! Однова живем! Пусть хоть раз да отойдет душа христианская! Пусть хоть раз да отольются слезы ее горькие! Все в прах, все в щепу, все в огонь, православные! Ничего не щади, ничего не жалей! Семь бед — один ответ!

Страшен, Господи, гнев толпы неистовствующей, впавшей в безумие! Страшен и неудержим. И нет на свете силы, что могла бы остановить разъяренную толпу, пока буйство ее не иссякнет само собой... Ни кремлевские стены, ни грозная стража дворцовая, ни святость храма Божьего, белокаменного собора Успенского — ничто не смогло удержать ее. Дознались люди московские, что Юрий Глинский схоронился там в алтаре, под защитой святого креста, а дознавшись, ворвались, бесчинствуя, всей толпой в собор, раскидали и клир, и сторожей, выволокли рыдающего, взывающего о пощаде князя на мощеную Соборную площадь, и тут же, на месте, забили его насмерть дубьем и каменьями, превратив и лик, и тело княжье в одно сплошное кровавое месиво, так что и родной матери его потом было не узнать.

Прикончив же Юрия Глинского, бросились искать по темным подвалам и тайникам кремлевским мать его княгиню Анну и брата его лукавого, князя Михаила. Долго искали, долго рыскали по подземельям, пока не сказали толпе знающие люди, что увез царь бабку свою в село Воробьево, спрятал ее там от гнева народного, а князь Михайла, страшась содеянного, сам де ускакал в пожар в калужское имение свое и там сидит, дожидаясь, пока утихнет на Москве. А может — как знать? — и дальше уже потек, оборотень, на запад, в литовские пределы: давно ведь был слух, что замыслил князь со многими детьми своими боярскими измену, давно хотел он, сума переметная, перекинуться к врагу веры истинной, православной — литовскому королю.

А на другой день, наутро, двинулся народ московский в село Воробьево, где на горах, на высоком правом берегу Москвы-реки, стоял лет-

ний царский дворец. Не охладила ночь буйные головы посадские, не улеглись еще страсти, не отрезвели, не смягчились сердца, опьяненные кровью и всемогуществом безначалия. Все так же кипели яростью люди московские, все так же жгла, сжигала их ненависть, все тем же мрачным огнем полыхала в них еще неутоленная жажда мести за все обиды и несчастия, обрушившиеся, по злой воле Глинских, на Москву.

— Анну! Анну, бабку цареву! Анну, ведьму проклятую! На плаху! В огонь ее! — ревела толпа, и, заслышав этот рев, прятались, кто куда мог, все начальники, все, кто обладал властью на Москве. И некому было встать на пути этой страшной толпы, вооруженной дрекольем, и топорами, и бердышами, а то и пищалями, отнятыми накануне у воинских людей. А за воинством тем народным, кашляя, и ругаясь, и задыхаясь в пыли, тащились юродивые, и нищие в лохмотьях и язвах своих, и калеки убогие, и лихие разные люди, чуя поживу. А за ними, крича и толкаясь, бежали босоногие мальчишки, вездесущие дьяволята, кому и пожар был не в пожар, лишь бы куда-нибудь бежать. А за ними в великом и многоголосом множестве своем шли толпой бабы в платках и кокошниках, а кто и простоволосые, не успев второпях снарядиться, как следует, либо потеряв в день пожара все имущество свое бабье в огне.

Пыль столбом стояла на всей Калужской дороге, и было видно ее издалека. И такая же туча пыли двигалась вдоль берега Москвы-реки с другой стороны, из Дорогомилова. И эта туча тоже медленно, но неумолимо приближалась к царскому дворцу...

Нет, невезуч был юный царь московский! От самого рождения своего невезуч... Мало ли что венчан на царство всего полгода назад! Коль не повезет — так не повезет. И уж если он обречен судьбой своей злосчастной на гибель, на растерзание потерявшей всякий страх и рассудок толпой — так почему же и служилые его люди, не повинные ни в чем, должны гибнуть вместе с ним? И разбежалась, попряталась по окрестным лесам стража дворцовая, едва завидев приближающуюся с двух сторон в тучах пыли мятежную толпу. И остался царь-государь московский, брошенный всеми, с этой страшной толпой один на один.

Уже выломала толпа дрекольем и топорами ворота тесовые, сокрушила во многих местах дубовый тын, окружавший царские терема. Уже ввалились, крича и буйствуя, люди московские на царский двор, уже принялись они сбивать замки на амбарах, и кладовых, и конюшнях. Уже подступили самые горластые, самые отчаянные из них под царево крыльцо, сотрясая и стены, и окна дворца своим неистовым ревом. «Анну! Анну, ведьму проклятую! Выдай нам Анну Глинскую! На плаху ее, хвостатую! В огонь!» — ревела и бесновалась толпа, наседая, и тесня друг друга, и поднимаясь шаг за шагом по ступеням крыльца.

Еще немного — и ворвется она, изрыгая ярость свою, в хоромы царские! Еще немного — и разбежится она по палатам и лестницам дворцовым, круша, и разбивая, и сметая все на своем пути... А где-то там, в глубине дворца, в верхних покоях его, забившись в угол, и плача, и тоскуя, и моля Господа о пощаде, прижались друг к другу юный царь и столь же юная царица его, готовясь принять свой мученический венец. А где-то там, в темном дворцовом подземелье, упав на колени пред образом Пречистыя Богородицы, прощалась с жизнью суровая, властная старуха, бабка царя, понимая, что пришел и ее конец.

И вдруг... И вдруг распахнулись настежь двери, ведущие на царево крыльцо. И выбежал из тех дверей невзрачного вида старичок, в рясе поповской, но простоволосый, высоко подняв над собой животворящий крест. И заблистал, засверкал тот крест в сиянии полуденном над толпой.

— Назад! Назад, люди московские! — что есть силы, крикнул он. И так решителен, так грозен был голос его, что народ, запнувшись от неожиданности, и вправду попятился назад. — Прокляну! До седьмого колена прокляну всех страшным проклятием моим! Гибель черную нашлю на животы ваши и детей ваших! Погибнешь, народ московский, от слова моего! — гремел он, продолжая наступать на оторопевшую, пятящуюся назад толпу. — Погибнешь, ибо сила мне дана и власть над вами! Был мне глас Божий с Небес: погибнет Москва, погибнет народ ее в безумии своем, коли я не спасу его! Назад, чернь! На колени! На колени, народ московский! Моли Господа нашего Исуса Христа, чтобы смилостивился он над безумием твоим! Это я вам говорю, Сильвестр, богомолец ваш! Ибо сам страшусь я силы своей, Богом мне явленной, и сам ужасаюсь я власти моей над вами, несчастными!.. На колени! Ино прокляну-у-у-у!

И подался назад, и посыпался в страхе с крыльца дворцового черный люд московский. И замолкли, охваченные внезапным ужасом, даже самые неистовые голоса. И повалилось на колени, один за другим, все мятежное воинство народное, бросив оземь и дубье, и топоры, и пищали с огненным боем. А за ними пали ниц и жены их, и дети малые, чистые сердцем, и старики, и нищие убогие, будто пораженные все громом небесным, не смея поднять головы свои от земли. Вздохнула единым тяжким вздохом толпа, подчиняясь слову Божьему, и установилась на государевом дворе тишина.

Но, как оказалось, не один Сильвестр не убоялся гнева народного, не один он сохранил присутствие духа в той опасности смертной, что столь грозно нависла над юным царем и близкими его. Толпа еще стояла на коленях, страшась пошевелиться и ожидая себе кары неминуемой с Небес, как выкатились, неведомо откуда взявшись, две пушечки легкие, одна от левого, другая от правого крыла дворца, а при них пушкари-молодцы с фитилями зажженными, а впереди пушкарей двое юношей статных с ликом архангельским, со взором начальственным, как две капли воды, похожие друг на друга — говорили потом, молодые стольники царские братья Алексей да Данила Адашевы, из костромских дворян.

Разом рявкнули пушечки, опалив дыханием своим смрадным оцепеневшую толпу. Просвистели ядра каленые над склоненными ниц головами. Грохнуло где-то там, позади всех, взметнулась до небес черными комьями земля, резанул в ушах чей-то отчаянный женский крик — и побежали люди московские с царева двора вон, крестясь, и падая, и вопя, и топча тех, кто замешкался у них на пути. А вдогонку им из лесов окрестных вырвалась со свистом и гиканьем верховая стража царская, и пошли нагайки и плети хлестать по спинам и головам, и много потоптанных и побитых было в той обеспамятовавшей от ужаса толпе, и гнали ее слуги царские вплоть до самой заставы Калужской, все более свирепея при виде беспомощности людской и мстя им за недавний свой позор и страх.

И получаса не прошло, как улеглись все страсти и волнения, как вновь воцарились повсюду мир, и полуденный зной, и сонная тишина. И если бы не трупы затоптанных, валявшиеся то здесь, то там в дорожной пыли, да поброcанные колья и топоры, да поваленный в иных местах дворцовый тын — никому бы и в голову не могло прийти, что только что здесь вопила и буйствовала, и крушила все подряд разъяренная толпа...

Тихо скрипнула дверь царской опочивальни, и на пороге ее, в мягких сапожках и коротенькой собольей душегреечке, появился юноша, почти отрок — худой, нескладный, бледный, еще безусый, с трясущимися губами, с прядью потных волос, прилипших ко лбу. То и был Иван IV, царь и великий князь московский, и владимирский, и тверской, и смоленский, и черниговский, и иных многих славных земель и стран самодержец и государь.

— У-ушли? — чуть-чуть заикаясь и озираясь по сторонам, спросил он, обращаясь к невзрачного вида человеку в лиловой поповской рясе, стоявшему у подслеповатого, забранного слюдой окна. Кроме этого попа да еще двух рынд с топориками на плечах, застывших в молчании у царских дверей, в большой, полутемной горнице, примыкавшей к опочивальне, не было никого. Куда подевались, куда попрятались бесчисленные слуги царские, как посмели они бросить государя своего в такой беде — это еще предстояло узнать тем, кому по должности положено было то знать. Многим, многим нерадивым рабам его, царя московского, висеть сегодня же вечером на крюке в Пытошной избе, многим, многим из них проклинать под бичом палача тот день и час, когда имели они, горемычные, несчастье появиться на Божий свет...

— Ушли, государь... На сей раз, похоже, что ушли, — вздохнув, ответил поп, и в тихом, тусклом голосе его прозвучала печаль. — Радуйся избавлению, державный царь! Радуйся и благодари заступницу твою, Пресвятую Деву Марию, вновь простершую над тобой, недостойным, милосердную десницу свою...

— Но они еще придут! Придут! — вдруг возопил поп, вскинув сжа-

тые кулаки, и неистовство, и гнев, и боль отчаяния засверкали в его глазах. Голос его стал тверд, спина распрямилась, и взор его пылающий, обращенный к царю, был теперь решителен и смел. — Придут, нечестивец! И горе тогда тебе! Опомнись, Иван, опомнись, окаянный! Что делаешь ты, безумный, ты, губящий и душу свою бессмертную, и народ твой долготерпевший, неповинный ни в грехах, ни в недомыслии твоем?! Опомнись, царь! Не отрок, не юноша ты уже — на тебе венец державный... Есть ли Бог для тебя, своевольного, для тебя, беззаконного? Или и вправду ты уверовал, что ты выше суда Его?

— К-кто ты? Я не узнаю тебя, — не сказал, а скорее прошептал помертвелыми губами своими царь, невольно попятившись назад и ища глазами защиты себе от этого бесноватого, растерзанного попа, неизвестно как и откуда попавшего сюда, в верхние покои дворца. Но никого сейчас — ни бояр, ни дядек, ни стольников его — не было вокруг царя, и лишь безмолвные рынды, словно окаменев, продолжали стоять у дверей опочивальни, поблескивая своими топориками в полутьме. И была, была в голосе того попа какая-то нездешняя, нечеловеческая сила, которая удержала царя от того, чтобы приказать рындам немедля вытолкать его вон.

— Я?! Я тот, кого послал Господь наш милосердный спасти тебя, царя беспечного! Тебя, закосневшего в грехе! А вместе с тобой и всю державу твою, гибнущую по твоей вине... Богом я послан тебе, царь. Богом! И Богом дана мне власть над тобой, государем московским. И покоришься ты! И будешь послушен ты мне до самого того дня, когда очистится душа твоя от скверны, и милосердие войдет в сердце твое, и поймешь ты, злое и беззаботное дитя, что царь ты! Царь и хранитель народа своего, а не гуляка беспутный и бессердечный, неведомо зачем забравшийся на царский трон...

— П-почему? Почему ты, смерд, так говоришь со мной? И кто дал тебе право хулить меня, государя твоего? — бледнея, и теряясь, и чувствуя какой-то новый, доселе неведомый ему страх, прошептал Иван.

— Небо, царь! Небо дало мне власть над тобой! Не сам я сюда явился — Отец наш Небесный послал меня. Был глас мне сегодня на заре: «Встань, Сильвестр! Встань, раб мой послушный! Встань и спаси Ивана-царя, ибо замыслили люди московские убить его. Спаси его от смерти лютой и позорной, и скажи ему Слово Мое, и смири его, и научи его долгу его предо Мною и пред державой. Ибо глух он и слеп! И не внемлет он ни предостережениям, ни знамениям Моим, и нет в нем страха Божия, и никак не отстанет он от своих безумств. Пал конь его верный ни с того, ни с сего — он и ухом не повел. Сорвался великий колокол в Кремле, висевший еще при прадедах его, разбился на куски — а ему и горя нет. Сгорело на Пасху все живое по Яузе-реке — он лишь смеется и забавляется, и дурачится вместе с холопями своими, как дитя неразумное, радуясь огню. Наконец, спалил Я Москву от Кремля до самых окраин ее — и что же? Ни слез, ни стенаний, ни покаяния Я не слышу от него. И нет на уме его ничего, кроме похоти, и веселья, и медвежьей травли, и скоморохов, и других разных бесчинств, недостойных венца и имени царского его. И даже страшная смерть Юрия, дяди его, не научила злого мальчишку ни чему... Встань, Сильвестр! Ступай и скажи ему: пришел долготерпению Моему конец! Либо смирится он, окаянный, либо сокрушу Я его! И нет тогда ему ни пощады, ни прощения — ни на земле, ни на последнем Страшном Моем Суде! Ждут! Ждут его котлы кипящие, и крюки железные, и гореть ему, нечестивому, в адском пламени до скончания всех времен!»

— Это... правда? Это правда, поп? — отделившись, наконец, от дверей опочивальни и робко, мелким неуверенным шагом приблизившись к нему, проговорил царь.

— Правда, государь! Святая истинная правда! Клянусь тебе душой моей бессмертной... И сейчас еще плечо мое горит от того Божественного прикосновения! И сейчас еще в ушах моих звучит тот голос властный, голос трубный, что разбудил меня на заре... Страшен был голос тот, царь! И страшны были слова его, и покорился я участи моей. Не волен я в себе теперь, государь! Не волен! Ибо должен исполнить я волю Вышнюю, волю Того, Кто послал меня к тебе... Исполнить — либо погибнуть... Плачу я, царь, и скорблю, и страшусь горькой судьбы моей, но ослушаться Пославшего меня не смею. Кто я? Червь! И мне ли судить про то, что свершается на Небесах?.. Дана мне отныне власть над духом твоим, царь. Повелел мне Господь быть наставником твоим, доколе не отстанешь ты от безумств своих, доколе не навыкнешь ты, царь, править державой своей, за нее же в ответе ты пред Богом и перед людьми... Страшная власть дана мне, царь! Тяжкая власть. Не приведи Бог такого никому. Но что я могу, Иване, дитя мое? Если не я — то кто? Кто спасет тебя, погибающего в грехе? Кто извлечет тебя из бездны адовой, из сетей дьявольских, коими опутал тебя Сатана?.. Воля твоя, государь. Я все сказал. Как знаешь теперь: хочешь — поверь, хочешь — казни слугу своего верного, смиренного протопопа благовещенского, Сильвестром нареченного, готового и жизнь, и душу свою положить во благо твое...

— А почему... А почему, поп, грехи мои так тяжелы? Чем прогневил я так Господа моего? И... И что успел я, сирота, в свои семнадцать лет совершить такого, что превышало бы меру Его?

— И ты еще спрашиваешь?! О, горе, горе тебе, дитя беспечное... И горе нам, грешным, коим судьба послала тебя в цари... Семнадцать лет, говоришь? Всего лишь семнадцать лет? А сколько уже смертей на совести твоей? Ты их забыл, Иван? Но Небо тебе их не забыло! Мера? Какая мера, царь? Не знаешь ты ни Божеской, ни человеческой меры, и нет тебе удержу ниоткуда в злодеяниях твоих... Скольких холопей своих верных ты побил до смерти, ради одной лишь забавы твоей? Скольких их, товарищей детских игр твоих, ты столкнул с высоких крыш дворцовых затем только, чтобы посмотреть, как будут они, несчастные, корчиться в муках, распростертые на земле? А сколько черного народу потоптал ты до смерти конем своим на площадях и торжищах московских? А скольким мудрым советникам своим ты уже успел головы снести не по их вине, а по пустой прихоти твоей? А за что, изверг, посадил ты на кол двух юношей дивных, славных благородством и мужеством своим — князя Ивана Дорогобужского и князя Федора Овчину? Кто был ближе к тебе, чем они? А за что ты сам, своими руками, бороды палил псковичам — смиренным челобитчикам твоим, и бесчестил их, и грабил, и мучительствам разным подвергал?

— Я царь, поп... И не тебе давать мне отчет...

— Царь?! Ты — царь?! Ты царь лишь по имени, не по делам своим... Что знаешь ты, безумный, ты, расточитель жизни своей, о долге царском, о заботах державных? Возложил Господь Вседержитель на тебя Мономахов венец и повелел тебе пасти стадо твое послушное, и оберегать его, и приумножать народ твой и земли твои, и блюсти в государстве твоем мир, и тишину, и суд праведный, и церкви Божие строить, и веру укреплять христианскую, и агарян, безбожных врагов твоих, сокрушать... А ты? Что делаешь ты, нечестивец? В державе твоей стон, и плач, и скрежет зубовный, на дорогах разбой, в людях вражда, в судах лихоимство, а казна разграблена, а земля вся роздана Бог знает кому и за что. Наместники твои либо спят, либо воруют. Торговля на Руси захирела, народ оскудел. Церкви Божии запустели, вера зашаталась... И нет покоя державе твоей ни в чем! Казань опять осмелела, опять бесчинствует в древних вотчинах твоих, и людей полонит, и домы их грабит, и города твои жжет. И ногаи, и крымцы дикие опять что ни лето скачут по степям и дорогам твоим, сея повсюду смерть. И Литва опять грозит тебе войной. А в войске твоем разброд, и содержать его не на что, и начальники твои службу свою забыли и воюют лишь друг с другом за милости твои и за места... А ты?! Ты веселишься, царь! Одни игрища да утехи плотские у тебя на уме. И при живом царе трон твой пуст! Пуст!

— Что должен делать я, поп? Научи... Научи, если знаешь... Если речи твои не просто хула, а вправду глас мне Божий с Небес... Научи, и я поверю тебе.

— Что делать, Иване? Прежде всего делать, а не сидеть! В дела вникать. В Думу ходить. Челобитчиков твоих слушать, а не гнать их со двора взашей. Земле твоей управу дать во всем. Войско твое устроить. С государями иноземными совет держать, а вражду с ними утишать. А татар поганых, и казанских, и астраханских, и крымских, навалившись всею землею Русской, наконец, раздавить! Чтобы и головы поднять не смели, племя проклятое, больше никогда... Что делать, говоришь? Много дел у тебя, царь! Много, и одному тебе их не одолеть. Людей себе в по-

мощь искать, молодых, о державе твоей болеющих, преданных и тебе, и делу твоему. Помогут люди тебе, Иван! Помогут, если будешь и ты милостив к ним... Но помни, царь: выше разума человеческого должность твоя на земле! И лишь Небо знает твой путь. Молись, Иване! Молись, и Господь не оставит тебя!

— А ты... А ты, поп, не покинешь меня? Не бросишь в тяжкую минуту, не предашь? Никому я не верю, поп. Всех боюсь. Отовсюду жду гибели себе... Клянись святым крестом, отче Сильвестр! Клянись душой своей бессмертной и Именем Того, кто послал тебя ко мне, что отныне ты мой и ничего мимо меня тебе в жизни не искать...

— Клянусь, государь! Я твой, Иване! И буду твоим до последнего часа, до последнего дыхания моего...

— Добро... Добро, поп. Хочешь, я назначу тебя моим духовником? Или... Или прими постриг, и я посажу тебя митрополитом на Москве... Макарий дряхл, немощен. Надо думать, дни его сочтены...

— Ничего мне не надо, государь! Ничего — ни богатств, ни чинов церковных, ни посоха святительского... Дай мне только право говорить с тобой! Дай мне право утешать тебя, и наставлять, и печалиться вместе с тобой, и людей для тебя искать, кто мог бы и свое плечо подставить под тяжкую ношу твою, ибо одному тебе с ней не совладать. Дай мне право молиться за тебя, царь, и просить у Всевышнего удачи тебе во всем, и если вновь будет мне глас либо знамение с Небес, бестрепетно тебе о том сообщать... Ничего мне не надо! Ничего. Была бы тверда держава твоя, великий государь. И были бы в добром здравии ты и царица твоя. И прекратились бы мятеж, и смута, и раздоры всяческие на Москве... А устроится земля твоя, царь, успокоится народ, и войдешь ты в мужество свое, и утвердится власть твоя по всей державе твоей — отпусти меня, смиренного, в монастырь, душу спасать да Бога молить за тебя и за весь народ христианский. Ибо с младенческих самых лет таким, а не другим видел я в мечтаниях моих свой конец...

— Добро! Будь по-твоему, отче Сильвестр. Верю я тебе и словам твоим. Верю! Пока... А теперь иди. Я устал. Разум мутится. И ноги мои не держат меня... Благослови, отче Сильвестр! Благослови сына духовного своего... Но из Москвы, поп, смотри, никуда не отлучайся! Скоро... Скоро, наверное, ты понадобишься мне.

...Тих и задумчив был царь, когда вновь закрылись за ним двери царской опочивальни. И тих, и кроток, и полон любви был взор юной царицы Анастасии, встретившей на пороге господина своего.

— Они... Они ушли, Иван?

— Ушли. Поп тут один, неведомо откуда взявшийся, остановил их. А пушкари прогнали... Теперь они далеко. Думаю, уже в Москве.

— Матерь Божия, Владычица Небесная! Ушли? Иване, Иване, сердце мое, значит, мы спасены? Значит, мы будем жить? И ты опять будешь со мной, и будешь любить меня? Мы спасены, Иван! Спасены!

Вскрикнула царица, всплеснула руками и затихла в объятиях царственного супруга своего, молча гладя его по груди, по вискам, по слипшимся от пота волосам.

— Да, Настенька! Да. Спасены. И я опять царь, и опять в державе моей все спокойно и все подвластно мне. А сделал это все один бесноватый поп! И этот поп ругательски ругает меня, и грозит, и кричит, что он послан мне Небом, чтобы спасти меня...

— А если так? Если так оно и есть, Иван? Если он и вправду послан нам с тобой Небом? А ты...

— А что я?

— А ты отринешь его, и Небо обрушится на тебя, и мы погибнем, и держава твоя погибнет с тобой... Иване, Иване — мне страшно! Я жить хочу! Я хочу любить тебя, хочу, чтобы у нас были дети, внуки, я хочу состариться с тобой на одной подушке... Я царствовать хочу, Иван! Я хочу, чтобы люди до скончания веков поминали тебя добром, а вместе с тобой и меня, верную рабу твою!

— Думаешь... Ты думаешь, он действительно нужен мне, этот поп?

— Нужен, Иване, нужен! Вспомни, как рыдали, как прощались мы с тобой всего час назад, не чая избавления себе. О, как страшен был рев безумной толпы! Господи, как страшен... И вдруг — тишина! И будто и не было ничего... Как же могло такое статься без воли Ее, Заступницы нашей Небесной? Она, она послала нам этого попа! А мы отвергнем его? Ты царь, Иван, и не мне в простоте моей советовать тебе. Но я люблю тебя, Иван! И не разум, а сердце мое женское, вещее говорит мне: поп тот послан спасти нас обоих. Иване, Иване, покорись воле Божьей! Приблизь попа, возьми его в совет. Чует мое сердце — много еще добра принесет он тебе...

— Приблизь! Легко сказать — приблизь... А кто допустит его ко мне? Даже если мы с тобой этого захотим? Не прорваться, не пробиться ему, худородному, сквозь бояр моих. Вытолкают они его взашей: куда, де, ты, невежа, затесался? Кто тебя, кутья прокисшая, здесь ждал?.. Да тот же дядя Михаил, князь Глинский. Сама знаешь... Да и твои братья Захарьины...

— Дяде твоему, Иван, теперь конец. Больше подле тебя ему не быть. Пусть Бога благодарит, что хоть живой-то остался. А мои... А мои пока еще и в силу не вошли, чтобы перечить нам с тобой. Не только твоя — и моя воля пока еще для них закон... Да, Господи, о чем мы говорим?! Ты царь, Иван! И все в державе твоей — твое. Одно твое слово, и покатилась с плеч любая голова, хоть Глинских, хоть Захарьиных, хоть Челядниных, хоть кого еще... Забудь! Забудь, наконец, о детских страхах своих, о смутьянах и властолюбцах, измывавшихся над тобой, сиротой, столько лет... Теперь ты царь! Ты наместник Бога на земле! И слово твое равно слову Его, и воля твоя — Его воля!

— Не могу... Не могу я, Настенька, забыть. Ни о чем не могу забыть. Даже когда я с тобой, когда ты в объятиях моих... Все чудится мне где-то там, за спиной, некто черный, страшный, с ножом либо кистенем. И рука его уже занесена надо мной, и никуда мне ни убежать, ни спрятаться от него, и он — моя смерть...

— Иване, Иване — я знаю! Знаю! Но это пройдет, Иван! Я знаю — пройдет! Я жизнью своей отмолю у Владычицы нашей Небесной покой душе твоей и избавление от страхов твоих. А людей, кто страшит тебя, кто напоминает тебе о днях сиротства твоего — прогони. Прогони, Иван! Кончилось их время. Прочь! В поместья отдаленные, в города украинные — прочь! Новых позови, новых набери, Иван. Новых, чистых душою, не запятнанных перед тобой ничем. Преданных тебе, готовых дело делать вместе с тобой...

— И первого — попа?

— Да, Иван. И первого — его.

Буен, горяч был великий государь и в отрочестве, и в ранней юности своей! Много злых, греховных дел успел он совершить, многих людей обидел, несмотря на юный возраст свой. И от разврата темного, потаенного, не уберегли его наставники царские, и от вина хмельного не сумели удержать, и от скоморошества, и от игры в зернь, и от других многих постыдных, не подобающих чести его забав. А вот женился государь — и стал меняться на глазах.

Нет-нет! И людей, бывало, еще травили медведями на царском дворе одной потехи ради. И боярина почтенного, седовласого, служившего еще отцу его, случалось, царь иной раз насильно напоит допьяна, а потом его же и срамит, и потешается над ним. И девкам дворцовым все еще опасно было попадаться ему на глаза: схватит иную, стиснет, и тут же в чулан, и не закричишь тогда, не позовешь на помощь никого — царь!.. Но уже стали примечать ближние люди, что куда как реже случались теперь вспышки беспричинного гнева царского, и речь, и взор его смягчились, и поступь его стала наливаться державной тяжестью и силой. И в дела понемногу начал царь вникать, и не по чьей-то подсказке, а сам, по одной лишь охоте своей. И ревность к Богу, к молитве истовой, к чтению душеспасительному вдруг проснулась в царе, и многие церкви новые повелел он заложить, и в Троице-Сергиев монастырь уже пешком ходил он на богомолье с юной царицею своею, даром что и месяца со дня их свадьбы не прошло, и молился там, и постился, и с братией беседовал о Боге, о душе, о жизни нашей бренной.

А все она! Она, лебедь белая, она, красавица наша Анастасия Романовна, ангел Божий во плоти, заступница всех скорбящих и обиженных, всех убогих и покинутых... Она любовью, и лаской, и кротостью своею

ангельской растопила сердце царя, уже успевшее ожесточиться во дни горькой юности его, во дни смуты, и мятежа, и нестроения великого на Руси. Она улыбкой своею светлой и речью приветливой укротила буйный нрав и свирепые порывы его. Она вселила в сердце царственного супруга своего терпение державное, и помыслы высокие, и снисхождение к рабам его... Молитесь, православные, во здравие благоверной царицы нашей Анастасии! Да ниспошлет Господь ей мир, и покой, и долгую счастливую жизнь в радости и тишине. Молитесь! Ибо пока жива она — живы и мы.

Страшен был гнев толпы народной! И страшна была смерть, впервые так явственно дохнувшая в лицо царственной чете. А все-таки... А все-таки семнадцать лет есть семнадцать лет! Еще не вся и пешая, и конная стража вернулась из погони, еще валялись, неприбранные, тела потоптанных и задавленных на царевом дворе и вдоль дороги. А уже чистым звонким колокольчиком раздавался смех юной царицы на высоком дворцовом крыльце, уже заскрипели резные качели в саду под сафьянным ее сапожком, и уже несла старая мамка царская румяное налитое яблочко на серебряном блюде, чтобы попотчевать свою любимицу, побаловать ее, затейницу... И уже забыл царь Иван, глядя на юную, веселую жену свою, страх и тоску, и смертный пот, заливавший ему глаза всего час назад. И уже вновь готов он был дурачиться и веселиться, радуясь молодости своей и силе, и уже вновь чувствовал он поднимающийся жар в крови и ненасытную тягу к этой гибкой, ласковой, смеющейся женщине, что одной лишь любовью своею за полгода превратила его из угрюмого, ненавидящего всех подростка в самого счастливого человека на земле.

Нет, воистину то был великий день! День, когда прозрел юный государь и увидел бездну адскую, разверзшуюся у ног своих, и ужаснулся той бездне, и понял меру грехов своих и долг свой высший пред Богом и перед людьми. Надвинулась туча грозная на царский дом, и грянул гром с небес, и ударила молния оземь, прямо у трона царского, и попадали замертво многие близкие к нему люди и советники его, испепеленные Божественным огнем. Но как надвинулась туча неизвестно откуда, так и откатилась неизвестно куда, повинуясь одному лишь слову какого-то бесноватого попа, заслонившего грудью и царя, и его семью. Откатилась туча, и ворчит, гремит теперь где-то там, за семью холмами московскими, и не страшна она уже больше никому. Но отныне никогда не забыть царю того животного страха, что превратил его, венценосца державного, в жалкого, извивающегося червя, молящего Господа о пощаде. «И от сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моа...»

И никогда не забыть ему тех жгучих слез благодарности, что хлынули из глаз его, когда он понял наконец, что только этот бесстрашный поп да пушкари-молодцы спасли его. И никогда не забыть ему той мягкой, нежной женской руки, что отерла хладный пот с чела его и одним прикосновением своим успокоила мучительную, постыдную дрожь, сотрясавшую его с ног до головы: «Все, Иван. Успокойся. Все прошло. И не вернется больше никогда».

Утихла дрожь. Но не утихла беспокойная мысль царя. Нет, не за тем он заглянул в глаза смерти, чтобы опять вернулось все на круги своя. И не затем молил он Небо о прощении, слыша рев толпы мятежной, и оплакивал участь свою горькую, и проклинал бездумную юность свою, чтобы опять и в доме, и в царстве его воцарились лень, и оцепенение, и тупая покорность жизни. И не было отныне на троне московском беспечного и злого мальчишки, а был великий государь и самодержец всея Руси — пусть неумелый, пусть робкий еще, но уже одухотворенный твердой решимостью дать новую жизнь и новую надежду народу своему. Очистилась душа его в грозе и буре огненной, пронесшейся над Москвой, и познал он страх Божий, и покаялся, и умилился сердцем, и сказал ему ангел его: «Иди, царь! Иди, и да будет праведен твой путь».

А в дворцовом подземелье, освещенном лишь слабенькой восковой свечечкой, рыдала, припав к киоту, седая старая старуха, бабка царя, сербиянка, проклиная тот день и час, когда занесла ее судьба в эту чужую, страшную страну. Вновь, в который раз Небо сжалилось над ней. Но кто может поручиться, что завтра же эти дикие орды взбунтовавшихся рабов не вернутся назад и не выволокут ее, старуху, из ее убежища, и не бросят с крыльца на копья или не растерзают, еще живую, как сына ее родного, на куски? И кто может поручиться, что завтра же ее — больную, старую, мечтающую лишь о том, чтобы в тишине дожить свой век — не заколют кинжалом где-нибудь в дворцовых переходах, или не отравят, как отравили они дочь ее, Елену Глинскую, или не посадят на цепь здесь же, в этом подземелье, подыхать от голода, как поморили они князя Юрия и князя Андрея, братьев зятя ее, великого князя всея Руси? О, Боже, что за страшная страна, что за дикий, бесчеловечный народ! Поделом ему все муки его — и непроходимые снега, и непролазная грязь, и голод, и мор, и тяжкий смрад в его жилищах, и рабство, и убожество его, и татарская плеть над ним, и литовский меч! Поделом, ибо ничего иного он не заслужил... Проклятье этой стране! Проклятье этому народу! Пусть вечно жгут они, эти русские, друг друга огнем, и убивают друг друга, и подыхают в грязи, и нищете, и невежестве своем! Пусть претерпят они, и дети, и правнуки их все муки ада еще здесь, на земле! И пусть не будет им успокоения даже там, за гробом... Господи, верю я в справедливость Твою! Нет, не может быть и там, в Царствии Твоем, места для них. Не для них оно!

И солнце еще не село, и даже к вечерне еще не звонили нигде, а на другой стороне реки, за Девичьим полем, в дотла спаленной пожаром Москве уже стояла тишина. Отходчив был народ московский! Пошумели, побуянили, отвели душу — что ж, пора и честь знать. Надо дальше жить. Бог с ней, с Анной Глинской, ведьмой хвостатой, Бог с ней, с царевой родней... По домам, православные! По домам! Ну, а тем, у кого огонь все отнял, у кого не осталось ни кола, ни двора...

Этим тоже дорога известная, дорога торная — в кабак.

ДОМОСТРОЙ

Вот бы, наверное, подивились люди московские, только что бежавшие от гнева того простоволосого, расхристанного попа, когда увидел бы кто его недолгое время спустя мирно вкушающим вечернюю трапезу среди своих домашних, во главе стола, в собственной, добротно срубленной избе, чудом уцелевшей от огня в глухом переулке, близ Зачатьевского монастыря, у самой Москвы-реки.

И этот чистенький, румяный, благостный старичок с голубыми глазами и душистой, расчесанной надвое бородой — это и есть тот грозный пророк, что одним лишь мановением перста своего остановил утратившую всякий рассудок толпу?! Где торчащие дыбом седые патлы его? Где взгляд безумный? Где голос его хриплый, страшный, от одного звука которого повалилась на колени там, на царевом дворе, взбунтовавшаяся московская чернь?

Тихо сидит себе старичок за столом, жует, черпает ложкой из дымящейся чашки перед ним, щурится, улыбается, поглядывает из-под густых, уже тронутых сединой бровей на дебелую попадью свою, и красавицу-невестку, и на сына-молодца, ссутулившего над столом могучие свои плечи, и на слуг своих добрых — на старую ключницу, на девушек сенных, на работников своих усердных, сидящих за тем же столом, на дальнем конце его.

Тихо, неспешно журчит его покойная речь, и столь же тихо, не торопясь, отвечают ему его домашние. Мерцает малая лампадка перед киотом, горит, потрескивает свеча на поставце, оплывая воском, неслышно скользят и ломаются тени по стенам от двух молчаливых помощниц поварихи, подающих к столу. Все чинно, степенно, благородно... Он? Нет, не может быть, чтобы это и был он.

Но это был именно он, протопоп Благовещенского собора Сильвестр, спаситель царя и царевой родни — человек, не убоявшийся мятежной толпы московской и один на один остановивший ее, вооружась лишь верою своею кроткой во Христа и всеконечное милосердие Его. А теперь опять установились на Москве покой и тишина, и кончились волнения, и опять

он был у себя, в кругу ближних своих, вдали от шума жизни, от буйных человеческих страстей.

Любил поп дом свой. Любил домочадцев своих. Любил он хозяйство свое обширное, и порядок в дому, и достаток в амбарах и клетях на своем подворье, и скотину всякую, и работы и ремесло домашние, и чистоту в доме и на дворе, и сад свой цветущий яблоневый, и лица вокруг себя приветливые, довольные жизнью, и песни девичьи, и смех безмятежный, и почет от соседей своих, чтивших его за мудрость не только в делах Божественных, но и земных.

А не любил поп пуще всего безделья, и лжи, и всяческого небрежения и непорядка в жизни. А еще не любил он дурости людской, непонимания выгоды своей ни здесь, на грешной земле, ни там, в жизни вечной. Зачем кровь? Зачем резня, обман, мучительство, воровство, когда никому они не дают ничего, кроме всеконечного убытка — убытка по всем статьям? Ибо, по вековым законам мира, за каждым таким богопротивным делом идет неминуемая и скорая расплата. И даже не там, за пределами земными, а еще и здесь, в жизни нашей быстротекущей... Соблазнил жену ближнего — сын твой возлюбленный ни с того ни с сего вдруг сгорел в одночасье в лихорадке. Ограбил вчера соседа, отнял у него имение — завтра сам нежданно-негаданно получил в спину себе нож разбойничий либо стрелу татарскую. Над нищим, над убогим надсмеялся, в подаянии ему отказал — так что ж ты тогда в затылке-то чешешь: отчего бы это амбар твой сгорел, либо скотина у тебя на дворе пала?

И нет никаких исключений из этого Закона жизни — ни для простых смертных, ни для царей! Как ни вертись человек, как ни пытайся обмануть судьбу свою, а ни одно твое неправедное дело не останется без ответа. И воистину ты, и только ты и есть кузнец своего счастья! Все в мире поровну, все взвешено на весах Судии того Недремлющего: от доброго дела прибыток, а от худого убыток, и в этом и есть вся наша жизнь. И если качнутся вдруг Его весы не в ту вроде бы сторону, не по заслугам твоим — не обольщайся, человече! Оглянуться не успеешь, как все опять встанет на свои места: праведному — по правде его, а неправедному — по неправде его. И Закон этот незыблем, как сама земная твердь, только людям в суете их и вечном мельканий по жизни все недосуг это понять.

«Мне отмщение, и Аз воздам...» Воздаст! Непременно воздаст Господь — и рабу, и господину его, и последнему пастуху, и самому прегордому царю. Только как и когда воздаст, этого никому из смертных не дано знать. И мера воздаяния у Него своя, и о ней нам тоже ничего не дано знать. Кто решится сказать: минута тяжкого страдания не равна жизни целой в довольстве и избытке? Кто из нас знает, о чем думает, что вспоминает человек на смертном одре и в какую меру мерит он жизнь свою в свой последний час? А может быть, этот час и есть то мгновение, когда во всем выравниваются весы жизни человеческой, если почему-либо не выровнял их Господь еще прежде, еще до наступления его?

Давно живет поп Сильвестр на свете. Многое видели его уже начавшие выцветать глаза. И знает поп, что бесполезно взывать к человеческому милосердию, и к доброте, и к жалости во имя всеобщего блага здесь, на земле, либо спасения Там, в жизни вечной. Слаб человек, и глухо сердце его, и душа его пока еще дремлет. И не нуждается человек, замученный и задавленный житейской заботой, ни в Божественной истине, ни в заветах Христовых, ибо не по силам они пока ему. Стучись, не стучись в это каменное сердце — что толку? Разве что рухнет в умилении какая-нибудь старая старуха пред иконою Богородицы, зальется слезами, вспомнит на минуту всю горькую жизнь свою, либо ухарь какой, тать полунощный, устав от душегубства, пожертвует Богу пудовую свечу, даже не помышляя при этом отстать от злодейств своих,— вот и все, что можно извлечь молитвой кроткою и словом увещевательным из человеческой души. И не винит поп за то никого. То не вина людей, то их беда, и пройдут, наверное, века, прежде чем люди начнут понимать язык сердца и лишь по умилению одному избудут от безумств и злодеяний своих.

Но если глухо сердце их, если нет в нем жалости и сострадания к ближнему, то хоть выгоду-то свою должен понимать человек? Простую, понятную, ощутимую, — выгоду себе, дому своему, своей семье? Трудись, веди себя достойно, щади ближнего своего, не делай ему ничего, чего не

желаешь себе — и благо ти будет, и будешь ты угоден Богу, и наполнятся до краев закрома и житницы твои. Чего, казалось бы, проще? Ан нет! Не тут-то было. Дурость человеческая пределов не знает — ни внизу не знает, ни вверху.

Немало жил поп Сильвестр на свете. Многое понял он, до многого дошел и сердцем, и разумом своим. Но от дней своих младенческих и до самых седых волос двух вещей не мог он никак понять вокруг себя. Почему повсюду такая грязь, почему такое убожество, и бестолковщина, и непорядок в домах и хозяйствах и у простых людей, и у больших? Почему люди не хотят жить, как люди? А другое — почему они все так ненавидят друг друга, почему они тратят столько сил на вражду к соседу своему? Когда кругом такое множество еще не сделанных дел — непостроенных домов, невспаханных земель, невсаженных садов, когда рядом с ними столько еще горя, и боли, и нужды, и слез?

Всю жизнь думал над этим поп, и не раз он убеждался, что и грязь, и нищета вокруг, и всеобщая вражда — это все одно и то же. Одна и та же это болезнь, и лечить ее надо одними и теми же средствами. Какими? А все теми же! И других не выдумал никто: выгодой, милосердием, кротостью, щедростью, уступчивостью, снисхождением к страстям и заблуждениям людским. И еще — словом сердечным, обращенным к тому доброму, что лежит на дне в душе каждого человека. Ино, верил поп, «всяк добру ревнует», и откликается человек прежде всего на добро, а не на кнут.

Именно этому и учил поп всю свою жизнь. И в Новгороде Великом учил, еще в юные годы свои. И здесь учил, на Москве.

Ах, какой дом, какое хозяйство крепкое было у батюшки его покойного в славном городе Новгороде! Какие хоромы дивные, какие амбары, какие лавки богатые — и на Торговой, и на Софийской стороне! Какой порядок и благолепие царили всегда в доме родительском, как любили батюшку и жена, и дети, и работники его! И как счастливо жил он с соседями своими, помогая им, чем мог, и сам принимая от них помощь посильную, когда была в том нужда... И стены в доме его были крепкие, и скотина у него на дворе всегда здоровая, и стол ломился от яств, и подвалы его всегда были полны солений всяких, и муки, и копчений, и браги, и медов. И сундуки его, бывало, не сядь на них — не закроешь нипочем: до того много было в них уложено и холстов, и камки, и сукна добротного, и посуды серебряной, и узорочья всякого, и другого разного добра.

А как весело шла торговля его! Как радушно встречал он всех, кто бы ни зашел в лавку к нему! И как ценили торговые люди его слово, и каким кредитом пользовался он у них — и у своих, новгородских купцов, и у московских, и у ливонских, и у ганзейских гостей. И торговал батюшка, и земля у него была своя в Шелонской пятине, и рыбные ловли были у него на Ладоге, и на Ловати, и в иных местах... А еще держал батюшка у себя на подворье ремесло всякое: и плотничали, и столярничали люди его, и кузнечному, и гончарному делу были обучены, и пряжу девушки у него пряли, и ткали, и вышивали, и кружева затейливые плели. И шло это все потом на продажу, в дальние края, за море либо на низ, в московские города.

А каких сыновей добрых, каких дочерей послушных, работящих родила ему матушка покойная! От самых юных лет своих уже торговали сыновья его вместе с отцом, и в лавках его сидели, и за море с товаром ходили, и по делам городским исправно служили, и в ополчении, в том большом походе литовском, голод и нужду всякую терпели, и раны их не миновали, и наградами князь великий Василий Иванович их службу верную не обошел. А когда вернулись сыновья из похода, то не захотели отделяться, не захотели жить своим домом, а стали жить, как и прежде, все вместе под крышей родительской, понемногу перенимая у отца дела, ибо батюшка тогда уже стал слабеть.

Один только он, Сильвестр, младший сын в семье, пошел по иной, не по торговой дороге и, почитай, еще безусым был рукоположен архиепископом новгородским, наставником и благодетелем его Макарием в сан священнический. Но и то было по воле батюшкиной, по его согласию, ибо заметил родитель покойный в нем с ранних лет тягу к учению книжному, к размышлениям возвышенным о Боге, о душе, о спасении в жизни вечной. А был батюшка и сам истинно верующим во Святую Троицу и в Гос-

пода нашего Исуса Христа, и была ему за то удача во всех его делах, и выгода, и прибыток в хозяйстве, и мир в доме его. И сыновья его все в люди вышли, и дочерей своих родитель выдал замуж за достойных людей, в семьи крепкие, именитые, во всем соблюдая обычай христианский. И жили потом дети его со своими женами и мужьями всегда в любви и согласии, и никто никогда не сказал худого слова ни о ком из них.

Часто, часто вспоминал благовещенский протопоп безмятежную юность свою! И дом родительский вспоминал, и долгие вечерние молитвы в кругу семьи, и сад их обширный на берегу Волхова, и тишину полуденную, и травы высокие на лугу, и запахи медвяные на маленькой их пасеке, куда, бывало, посылал батюшка его на целые дни, оберегая сына своего любимого от трудов и забот обыденных, не подобающих высокому предназначению его. Да будет благословенна память его! И с тех пор, как он, Сильвестр, помнил себя, так и жили они в сердце его вместе — слово Божее и образ покойного отца, именитого купца новгородского, с лишним тридцать лет назад благословившего сына своего любимого на труд священнический, на подвиг многотрудный и неблагодарный — души человеческие спасать.

Закончилась трапеза. Прибрали со стола домашние, расстелили на нем чистую скатерть, обмахнули полынным венчиком под лавками и по вощеным половицам, зажгли еще свечи, зажгли большую, венецийского синего стекла лампаду перед киотом, вынесли вперед аналой под шитым серебром покровом и тихо встали, кто где привык — кто у стены, кто по углам, а кто и перед самым аналоем, дожидаясь в молчании, пока хозяин дому сему не завершит свои приготовления к вечерней молитве. «Всякое ныне житейское отложим попечение...» Строго соблюдали и сам поп, и домочадцы его святой обычай христианский: каждый день начинался в Сильвестровом доме с молитвы, и каждый день ею же и кончался. Ибо, как учил поп, «всякий день вечером мужу с женою, и с детьми, и с домочадцами, кто знает грамоту, — отпеть вечерню, повечерицу, полунощницу и в тишине, и со вниманием, со смирением, и с молитвою, и с поклонами петь внятно и согласно, а после службы отнюдь не пить и не есть».

И твердо знали даже самые беспечные из домочадцев его: коли три года подряд будешь читать по утру и по вечеру какие подобает молитвы, то после первого года вселится в тебя Исус Христос, Сын Божий, а после второго — Дух Святый, а после третьего — сам Бог — Отец. А буде нарушишь порядок сей, то сам себе враг и пеняй сам на себя, и никто в погибели твоей неповинен, а меньше всего повинен наставник твой духовный. «Я тогда к вашим проступкам и греху не причастен, — говаривал, бывало, поп. — То вина не моя: я ведь благословлял на благочинную жизнь, и думал, и молил, и поучал».

А отпев последний псалом и благословив и жену, и детей, и домочадцев своих на сон грядущий, удалялся обычно поп в маленькую, тесную, словно монастырская келья, комнатеночку об одно окно, примыкавшую к большой горнице. Там на потемневшей от времени столешнице лежали стопкой листы бумаги; слева исписанные, а справа чистые, и стояла свеча, и стояла склянка с чернилами и рядом другая склянка с воткнутым в нее гусиным пером. Еще по углам комнатушки возвышались два больших кованых сундука, в которых хранилось множество книжных свитков, древних и новых, списанных и здесь, и в иных землях — то была домашняя библиотека Сильвестра, известная многим на Москве. И тут же вдоль стены стоял узенький топчан с наброшенным на него овчинным тулупом. Под этим тулупом поп, утомившись от ночных трудов, нередко и засыпал, не в силах добраться до своей постели там, в верхних покоях, куда к тому же надо было еще взбираться по крутой, скрипучей лестнице, пугая тем скрипом своих домашних, а поп этого не любил.

Много ночей просидел в той тесной комнатенке Сильвестр! Много книг и духовных, и мирских прочитал он в тишине, под еле слышимое в ночи кряхтенье и вздохи дома своего, объятого глубоким сном. И много истин высоких познал он, открыв их в писаниях святых отцов церкви и древних философов, греческих и римских, славных в веках мудростью своей.

Но чем больше он читал, тем больше тревожила и волновала его одна мысль.

Велика была вера отцов церкви! И, спору нет, глубоко постигли они и сердцем, и разумом своим Откровение Божее, Слово Господа нашего Исуса Христа. И высок был дух знаменитых философов древности, и знали они высший порядок мира и скрытые от людей законы движения Небесных сфер. Но знали ли они человека — того, к кому были направлены все вдохновенные слова и все грозные увещевания их? Знали ли они жизнь его тяжкую, непосильную, и заботы его земные, и несчастия, и болезни, и слабость его, и вечный страх?

Нет, похоже, что не с того конца подступались они все к жизни и к человеку! Божественное у них было само по себе, а земное само по себе. И между тем и другим проложили они пропасть, которую не в силах преодолеть человек, вечно погруженный в заботы о хлебе насущном, о жене, о детях своих, о хозяйстве — о том, как бы прожить, не погибнуть ему в волнах моря житейского, среди бушующих стихий, что, как щепку, швыряют его из стороны в сторону всю его жизнь. Но пропасть эта — заблуждение! И корень того заблуждения, несомненно, в гордыне, в высокоумии, в забвении человека и тяжкой доли его. Нет никакой пропасти между тем миром и этим. И порядок в мире один — и для того мира, и для сего. И оторвать эти миры друг от друга нельзя, ибо едины они, как един сам Бог.

А раз так, то и путь к человеку, к сердцу и разуму его, лежит через жизнь его земную, ибо порядок мира начинается для него здесь, с первым вздохом его на земле. Нет-нет! Ни в едином слове не спорил Сильвестр с отцами церкви, с великими и мудрыми предшественниками своими. Истинно, истинно писание их: Божественное выше земного — то вечность, а то миг. Но миг этот, нельзя забывать — вся жизнь человеческая от рождения его и до смерти, от колыбели и до гробовой доски.

И если всю красоту Божественного, всю радость жизни вечной уже давно объяснили человеку святые отцы церкви и многие иные властители человеческих дум, то земным устроением они, по гордыне своей, пренебрегли. А должно знать всякому человеку, что красота и стройность всего сущего во Вселенной — это не только Закон Неба, но и Закон земли. Но если на Небе Закон сей блюдут силы горние, Божественные, то на земле некому его блюсти, кроме как самим людям. И потому должно пастырю духовному учить свою паству, учить всякого человека от младости его и до седых волос этому Закону. Ибо беззаконие, беспорядок, нестроение людское — мать всех страданий и несчастий на земле.

А имя тому порядку, на коем зиждется жизнь, — «Домострой». Ибо строит всяк человек жизнь свою, дом свой сам, своими руками, но в согласии с Законом, сообщенным ему святой апостольской церковью и наставниками его духовными, кому в заботу душу его нетленную вручил Господь.

А «Домострой» тот написал он, смиренный протопоп благовещенский Сильвестр! Вернее, почти уже написал... И будет жить тот «Домострой», пока жив на земле человек, пока стоять будет во славе своей святая наша церковь, а стоять ей века, до самого Второго Пришествия в мир Господа нашего Исуса Христа! И станет тот «Домострой» звездою путеводною для всех, кто истинно радеет о душе и о доме своем, о жизни своей загробной и о жизни земной, среди себе подобных. Ибо не только Божественному, вечному учит сия книга, но и простому житейскому обиходу, жизни праведной и справедливой, и удаче в доме своем и в делах своих, и тишине, и порядку, и счастию семейному, и дружелюбию к соседям своим. И не к насилию, не к побоям и рабству взывает сия книга, а учит людей словом добрым, увещевательным, как детей, чтобы были всегда упокоены, сыты и одеты, и в теплом дому, и всегда в порядке.

И отдаю вам, живущим по-христиански, писание это на память и вразумление вам и детям вашим! Перво-наперво, чтите, чада мои, Господа нашего Исуса Христа, и Святую Троицу, и Пречистую, и святых угодников и мучеников во Имя Господне, и церковь Божию чтите, и наставников духовных своих. И творите молитву усердную по все дни, и гоните от себя помыслы греховные прочь, и блюдите душу свою и тело свое в чистоте и опрятности — и благо вам будет и здесь, и в жизни вечной.

А еще должно всякому человеку, и жене, и детям, и домочадцам его всегда и во всем помнить самое наиважнейшее, на чем стоит и будет стоять весь порядок жизни христианской: не красть, не блудить, не лгать, не

клеветать, не завидовать, не обижать, не наушничать, на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, не высмеивать, не помнить зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть послушным и покорным, к средним — дружелюбным, к младшим и убогим — приветливым и милостивым, всякое дело править без волокиты, а наипаче всего не обижать в оплате работника, всякую же обиду с благодарностью претерпеть ради Бога: и поношение, и укоризну, если поделом поносят и укоряют, с любовью принимать и подобного безрассудства впредь избегать, а в ответ не мстить.

И не будь никому лиходеем, человек! Вглядись в беду людскую, и скорбь, и нужду ближних и дальних твоих и, насколько можешь, им помогай. И работников своих, и странников, и нищих, убогих корми и содержи, как самого себя, ибо то Богу в честь, а тебе во спасение. И остерегись, чтобы отнюдь не входило бы в дом твой ничего из насилия, ни из грабежа, ни из взятки, ни из ростовщичества, ни из доноса либо клеветы, ни из неправедного суда.

И блюди, человек, порядок в доме твоем, и в делах, и в хозяйстве, и в имуществе своем! И живи по средствам, без зависти, соизмеряя приход свой и расход, и гони алчность из дома твоего прочь. Но и выгоду свою не забывай, ибо труд человеческий, и бережливость, и смекалка в делах угодны Богу, ими же крепка есть всякая земля. Из грязи родится только грязь, а из беспорядка — только беспорядок, и смута, и вражда, и злоба человеческая, и кровь.

И не думай, человек, что кадушка попусту сгнивших огурцов у тебя в чулане — то пустяк! Нет, то тяжкое зло, великий грех, и этот грех на тебе, и только на тебе. И покосившаяся крыша, и грязь в доме твоем и на дворе, и разруха в твоем хозяйстве, и просроченные долги, и худая скотина у тебя в хлеву, и пьяная, нечесаная жена, и дети, отбившиеся от рук, и скудные разумом, впавшие в детство престарелые родители твои, лишенные заботы и ухода, и ссоры с соседями, и брань, и разврат, и безделье работников твоих — все грех, все на тебе, человек! И за все будешь ты держать ответ перед Богом. И не будет тебе счастья и удачи ни в чем, ибо счастье и удача — дело рук человеческих, и не можешь, не смеешь ты гневаться и роптать на судьбу свою горькую, коли сам себе ты всю жизнь был враг.

И помни, человек: милосердием, а не злобой держится жизнь твоя и жизнь близких твоих — и в малых делах, и в больших. Спору нет, совсем без силы в жизни не обойтись, и коли не слушают слова твоего кроткого, отеческого — нет в том греха, чтобы иной раз и силу употребить. И детей своих держи в строгости, и домочадцев, и работников своих, но и здесь знай меру, и здесь не давай волю слепому гневу и ярости своей. И за любую вину ни по уху, ни по глазам не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, ничем железным либо деревянным не бить. А наказав по вине сына своего либо раба ленивого — приласкай его потом и пожалей, ибо тогда вина его будет еще горше для него, а обида в сердце его вскорости сама собою утихнет и пройдет.

И слова эти не только к людям, не только к пастве моей, жаждущей опоры в жизни своей земной и надежды в жизни вечной — но и к тебе, сын мой возлюбленный Анфим! Добрый вышел из тебя человек, здравый и разумом, и телом своим, и послушный, и верный, и богобоязненный, и не в чем мне, отцу твоему, пока упрекнуть тебя. Но длинна, длинна дорога жизни! И многие еще соблазны ожидают тебя на ней. Быть ли тебе в государевой службе, или пойдешь ты по торговой части, или потянет тебя к земле, хлеб растить и стада пасти — везде, сын мой, живи по Закону Божьему и человеческому, и помни всегда, и в радости, и в нужде: как ты к людям, так и они к тебе.

Первое: никого, чадо мое, не презирай, и живи так, как прожили век свой отец твой и мать. Никто не вышел из дома нашего голоден или печален, и всякому человеку мы, как могли, нужное все давали Бога ради, и страждущего утешали, и печального словом вылечивали, и ссужали каждого, чем могли. И видел ты сам, чадо мое возлюбленное, как были мы с ней всеми почитаемы и всеми любимы, всякому в нужде угодил я и делом, и служением, и покорством, а не гордыней, и порочащим словом не осуждал никого, не насмехался, не укорял, не бранился ни с кем, а пришла

от кого обида — мы Бога ради терпели и винили себя, и потому становились враги друзьями.

А другое, Анфим, — помогай где можешь и как можешь освободиться человеку от рабства, от оков тех и цепей, коими сковали его либо люди, либо злые татарове, либо случай, либо воля сильных мира сего. Помни: из темниц больных и пленных, и должников из рабства, и во всякой нужде людей по силе своей выкупал я, и голодных как мог кормил, и рабов своих всех освободил я и наделил их, а иных и из рабства выкупил и на свободу пустил, и все те наши рабы свободны, богатыми домами живут... Многих ничтожных сирот, и рабов, и убогих, мужского полу и женского, и в Новгороде, и здесь, в Москве, вскормил и вспоил я до зрелости, обучил, кто чему достоин, многих и грамоте, и писать, и петь, которых иконному письму, а которых и книжному искусству, тех серебряному делу и прочим всем многим ремеслам, а кого разной торговлей научил заниматься. А мать твоя воспитала в добром наставлении многих девиц и вдов, ничтожных и убогих, обучила рукоделию и разному домашнему обиходу и, наделив приданым, выдала замуж, а мужчин поженили у добрых людей, — и все те, дал Бог, свободны, живут состоятельно, многие в священническом и дьяконском чине, и в дьяках, и в подьячих, и во всех чинах: кто во что уродился и в чем кому благоволил Бог быть, — те занимаются различными ремеслами, а многие торгуют в лавках, многие и в купечестве в различных землях ведут торговлю.

А еще, Анфим, во всех делах не скупись, не ленись ладить с людьми и плати за все наперед добром. Не сомневайся: окупится твоя доброта сторицею, и будет тебе всегда и во всем прибыток — и в торговых делах, и во всех иных. Никому и ни в чем, Анфим, не лги, не обманывай, и слова своего никогда не отменяй, и долги свои всегда отдавай в срок. Гостей приезжих всегда встречай хлебом-солью, а с соседями своими храни мир и дружество, и в помощи, и в хлебе, и в займе не отказывай им никогда. А сам пойдешь куда в гости, подарки вези — недорогие, но всегда: подарки дело обоюдное, а дружба навек. Сам знаешь, чадо мое, как мы жили: слава Богу, обошлось в жизни без клеветы, и без судебного пристава, и без всякой кручины: все, что было, улажено хлебом, да солью, да питьем, да подарком и всякою добродетелью, да терпением своим.

Но... Скажет, конечно, иной пустой, легкомысленный человек, прочтя строки сии смиренные: «Что ж ты, отче Сильвестр? На Небо через корысть людскую попасть хочешь? И других за собой зовешь? Плутуешь, святой отец! За добро свое от других воздаяние ждешь, да еще с прибытком... А где же чистота души твоей бессмертной, кротость младенческая, вера твоя безоглядная и бескорыстная в Господа нашего Исуса Христа? Все расчет да расчет... Нет уж, коли ты истинный пастырь стаду своему, так ты и сам облачись в ризы светлые, без единого пятнышка, и нас одень во все чистое, чтобы и грязи не было нигде. Вот тогда и пойдем за тобой...»

Скажет, скажет так иной недалекий человек! Непременно скажет. Скажет — и будет прав... Плутует поп Сильвестр! И знает сам, что плутует. Но не от корысти, не от змеиной хитрости то его плутовство, а от отчаяния его бездонного, от невозможности найти прямую, без петляний, дорогу к сердцу человеческому. Да и как сохранить ризы светлые в их нетронутой чистоте посреди моря житейского? В миру ведь живем, православные! А как в нем без грязи обойтись?

Послушайте лучше, люди московские, притчу древнюю, многосмысленную, от святых отцов к нам пришедшую. Может, хоть она вас просветит, коли уж своим умом вам до правды не дойти.

Призвал как-то Господь святого Николая и святого Касьяна пред очи Свои светлые, Божественные, и назначил им точный срок. Припозднились святые угодники, торопятся, солнце уже садится, а им еще идти да идти. И вдруг видят они: валяется у дороги, в грязи, опрокинувшаяся телега с поклажей, и волнуется, суетится возле нее какой-то мужичонка самый что ни на есть завалящий. Лошадь-то он выпряг, а телегу обратно на дорогу выпихнуть не может — сил нет.

— Давай, подсобим, — говорит святой Николай святому Касьяну. — Жалко мужика. Одному ему с телегой не совладать.

— Что ты, брат! — отвечает ему святой Касьян. — Ты забыл, к Кому

мы идем? И ты в чистых ризах, и я. Попачкаемся, Господа нашего прогневим.

Да не послушался его святой Николай. Поплевал на руки, влез в самую грязь, и вытащил-таки телегу того горемыки обратно на дорогу. Ну, понятно, перемазался весь с головы до ног, да делать нечего, каков есть — таков и есть, надо дальше поспешать.

И вот приходят они к Господу. Видит Господь: стоит перед ним святой Николай грязный, оборванный, прячет от него глаза, стыдится себя, а рядом с ним святой Касьян в белых ризах, и ни пятнышка на них, и лицо его светится светом праздничным, восторженным, и взор его полон любви.

И подивился тогда Господь виду их столь несхожему. И спрашивает Николая: что, дескать, произошло?

— Да так, мол, и так, Господи, — отвечает Ему святой Николай.

— Ну, а ты, Касьян? — спрашивает Господь.

— Да так, мол, и так, Господи, — отвечает и он Ему.

И сказал им тогда Господь: «Что ж, и ты прав, Николай, и ты прав, Касьян. Но правда ваша разная. И за твою правду, Николай, люди будут праздновать имя твое дважды в год. А твое, Касьян — только в четыре года раз».

Вот так оно и повелось с тех пор: дважды в году, по весне и зимой, чествует народ христианский имя святого угодника Николая, а имя святого Касьяна — только раз в четыре года, 29 февраля. Как говорится, имеющий уши да слышит! А больше к притче той и добавить нечего: в ней, православные, вся наша жизнь.

...Догорает свеча на столе. Усталость клонит долу голову Сильвестра, смежаются глаза его. И не помнит поп уже ни кровавых пожарищ московских, ни толпы на царевом дворе, ни забот своих домашних, — сладко спит он, уронив свою многодумную голову на руки и улыбаясь самому себе во сне. И тихие, нездешние голоса вновь начинают звучать в его ушах, и душа его уплывает в иные миры, где нет ни печалей, ни скорбей, а есть только добро и свет. А вместе с ним безмятежным, праведным сном спят и жена, и дети, и домочадцы его, очистив душу и совесть свою молитвой кроткой и бесхитростной к Богу.

Но, видно, не судьба была в ту ночь Сильвестру хоть ненадолго да забыть о мире сем суетном и беспокойном. Еще стояла глухая темь на дворе, еще и светать не начинало, как кто-то тихо, крадучись, постучал кнутовищем в его слюдяное окошечко, освещенное изнутри дрожащим светом свечи. Вздрогнул Сильвестр, вскинул голову, озираясь по сторонам и не понимая, где он и что с ним. А поняв, столь же тихо стукнул в ответ по слюде — мол, иду, и пошел открывать.

Темно, беззвездно было на дворе, и месяц лишь угадывался сквозь дымную пелену, уже несколько дней висевшую над сгоревшей дотла Москвой. Набухшие сном, стариковские глаза Сильвестра не сразу и различили в темноте какого-то закутанного в черное с ног до головы человека, прислонившегося к резному столбику крыльца.

— Кто ты? — спросил Сильвестр.

— Стольник царский Алексей Федоров сын Адашев. От государя к тебе, святой отец.

— Что приказал с тобой государь, сын мой?

— Приказано тебе великим государем, отче, сей же час пожаловать к нему к ранней заутрене. А после нее хочет он, государь, иметь с тобой беседу тайную с глазу на глаз о его, государя великого, великих и тайных делах. И еще приказано мне, отче, от сего дня блюсти тебя и без присмотра моего либо людей моих тебя не оставлять ни на шаг, поелику ты теперь ему, государю великому, и всему дому его царствующему самый близкий человек. И должно тебе государю служить, а нам тебя всячески оберегать и от врагов твоих сохранять.

— Кто ты, чадо мое? Откуда ты возник? И почему я раньше тебя не знал? Дивно мне: ты же еще совсем молодой человек! А доверие к тебе, государево-то доверие не к юноше, а к человеку из первых в синклите его.

— На то воля государева, святой отец! Не мне о том судить... А рода мы, Адашевы, старинного, из костромских дворян. А батюшка мой в окольничих был еще у благоверной государыни нашей Елены Васильевны, а я у него старший сын и в службе царской почитай что с младенческих

лет. И с батюшкой моим в посольстве российском в Царьград к турецкому султану ходил, и многие муки там претерпел, и живой вернулся, и с тех пор вот состою неотлучно при дворе. А велено мне теперь государем великим ведать его, государя великого, Челобитную избу, что приказал он вчера поставить без всякой волокиты и промедления в Кремле, возле Чудова монастыря. И приказал мне государь великий в той избе сидеть и челобитные от всего народа русского принимать, и по разуму и по достоинству моему управу и ответ по ним давать. А буде случатся какие из них выше разума и достоинства моего, то велено мне тебе, богомольцу нашему, нести и советоваться с тобой, как для пользы и тишины в государстве Российском с ними быть. А что и нам с тобой вдвоем будет не под силу, то велено докладывать государю и ближней Думе его. И как они присудят, так по их указу и поступать...

Негромкой была речь царского посланца — негромкой и печальной. И не было на бледном лице его никаких признаков восторга от неслыханной удачи, нежданно-негаданно свалившейся на него по прихоти царя. Нет, не о суете житейской, не о славе и богатствах, ожидавших его, думал сей юноша дивный! А о том испытании великом, о долге тяжком, что возложил на него Господь.

Сильвестр жадно вглядывался в суровые черты юноши, в его лицо, окаймленное кудрявой бородкой, в черные зрачки глаз, поблескивавшие в предутренней полутьме. И чем дольше он смотрел, чем дольше слушал этого юношу, тем светлее становилось у него на сердце. Велик Господь! И есть еще на земле надежда! Есть еще в мире сем буйном и беззаконном люди, кому не безразличны страдания и слезы человеческие, и разруха жизни, и заботы, и горе, и труды, и вечное стремление к правде малых сих, беспомощных перед лицом Божественных стихий.

— Так, значит, быть нам с тобой, сын мой, отныне и присно заодно?

— Я слуга твой, святой отец! Ты голова, я руки твои. И оба мы — слуги государевы. Сегодня надежда его на тебя да на меня. А завтра... А завтра, отче, видно будет, как там все пойдет. Молод еще государь и переменчив в нраве своем. Но судьба дала нам с тобой, отче Сильвестр, случай что-то сделать для пользы Отечества, для всего народа христианского. Так неужели упустим его?

— Истинно, истинно говоришь, Алексей! Нельзя нам упускать ничего. Слишком тесным кольцом окружили звери алчные державного отрока, слишком плотно обложили они со всех сторон древний трон российский. Нет, ничего нам с тобой упускать нельзя! Слышу глас Господен в сердце своем: вставай, Сильвестр! Иди, час твой пришел!

— Так поспешай, святой отец. Кони ждут. Успеем до переправы, пока рассветет... Одно только хочу спросить у тебя, отче Сильвестр. И не гневайся на сомнения мои.

— Спрашивай, Алексей Федорович. Сумею — отвечу.

— Ты и вправду... Ты и вправду слышал глас Божий с Небес, отче Сильвестр? Истинно было вчера знамение тебе? Или то было самим тобой придумано, чтобы остановить мятежную толпу?

— Не знаю... Не знаю я, сын мой, что и сказать тебе. Не знаю я, Алексей, что это было. И было ли это и вправду Свыше или лишь в сердце моем... Одно я знаю: не своей волею прибежал я на царский двор, не своей волею выскочил я тогда на царево крыльцо с распятием в руках... Сам я, Алексей, тихий человек, книжный человек. И мне ли по жизни моей соваться в такие дела? Да вот, поди ж ты: вскинула меня какая-то неведомая сила, понесла! А как так случилось, откуда что взялось — и сам я не знаю ничего. хочешь верь, Алексей, хочешь не верь. А больше мне и нечего тебе сказать...

— Верю, отче. Верю! И как я могу не верить тебе, когда лишь от единого слова твоего утих мятеж московский? И когда лишь по слову твоему в одну ночь царь стал иным? Не могло то статься без воли Божьей. Ты ведь тоже всего лишь человек, отче Сильвестр! А человек не может творить чудеса, коли не пошлет ему на то силы Своей Господь... Благослови! Благослови, отче Сильвестр. Благослови сына своего духовного на помощь и службу тебе в великих деяниях твоих...

Нехотя, пробиваясь сквозь мглистую тьму и гарь, вставал над Москвой рассвет. Дымились остатки пожарищ, чернели во дворах обгорелые

печные трубы, и смутно, как в тяжком сне, торчали по сторонам остовы сожженных деревьев, а сквозь скрюченные, без листвы, ветви их бледно просвечивало вверху небо. На улицах и площадях не было видно ни души: измученный свалившейся на него бедой, город еще спал. Лишь редко издалека доносился заунывный собачий вой, оплакивавший чью-то несчастную судьбу, да где-то за обуглившимся тыном вдруг хрипло, словно спросонок, начинал голосить чудом уцелевший от огня петух, предвещая утро.

Странное, наверное, зрелище представляли со стороны эти два всадника, пробиравшиеся сквозь дебри спаленных огнем московских улиц к Девичьему полю, где еще с ночи ждала их лодка с гребцами, высланная царем. Юноша-то, видно, родился в седле и в нем же, надо думать, и умрет! Но этот коренастый, плотный старик-священник, мешком сидевший на своей кобылке? Нет, по всему видать, не его это было дело — скакать куда-то сломя голову на лошадях, да еще в такую рань. Сидеть бы ему, старцу почтенному, у себя дома, за каким-нибудь древним свитком, под тихо оплывающей свечой, или лежать себе на печи, под боком у попадьи, мирно доглядывая свои предутренние сны...

И куда тебя несет, старик? Вернись! Вернись, пока не поздно. Не лезь ты в эти дела, не для тебя они. «Богу Богово, а кесарю — кесарево...» Знай Бога своего, паси своих овец, утешай и укрепляй душу человеческую в безмерном одиночестве ее — и этого хватит тебе до гробовой доски! Что знаешь ты, неуемный, ты, самонадеянный старик, о власти? О тайных пружинах мира сего? О возвышении и гибели народов, век за веком, волна за волною, бредущих куда-то, не ведая ни цели своей, ни пути?

Остановись, отче Сильвестр! Вернись домой, вернись к своей попадье, к детям своим, к «Домострою», что лежит, еще не конченный, у тебя на столе... Нет, поздно! Первый луч солнца уже скользнул у них за спиной, и впереди заблистала Москва-река, а на ней, у самой кромки тумана, лодка, уткнувшаяся носом в песок, и кто-то из гребцов уже машет рукой, заметив двух всадников, поспешающих к ним.

Поздно! Что ж, сам ты выбрал, старик, свою судьбу! Никто тебя не заставлял. Ну, а коли так — не обессудь.

ПРИМИРЕНИЕ

Нет, не так представлял себе царь Иван этот Собор! И не этого ждал он от князей русской православной церкви, собравшихся по призыву его в Москве в феврале 1551 года. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Воистину вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Нет предела, видно, алчности человеческой. И не защита человеку от когтей дьявола ни сияющая митра, ни черный монашеский клобук...

А как хорошо, как славно начиналось все два года назад! Какая чистая радость, какие надежды переполняли тогда сердце юного царя! И как верил он тогда в примирение, в братскую любовь всего народа русского, очнувшегося вдруг от тяжкой смуты, от долгого беспамятства своего. И сейчас еще слезы умиления подступали у него к горлу, когда он вспоминал те дни: как вышел он, юный, стройный, во всем царском облачении и при всех клейнотах царских, на Лобное место, как снял с головы своей державный венец, как поклонился в пояс всей многоголовой толпе московской, с утра на лютом морозе терпеливо дожидавшейся его.

— Прости, народ христианский! Прости и пожалей своего царя. Грешен я, люди, перед вами, и лишь на милость Господню уповаю я, стыдясь беспечности и непотребств моих...

И замерла толпа. И установилась повсюду недоуменная, тревожая тишина. И повалились вдруг все от мала и до велика в снег, на колени, обливаясь слезами, и радуясь, и страшась, и сокрушаясь о грехах своих вместе с ним.

Такого еще не бывало на Москве! Царь, самодержец, наместник Бога на Земле просит прощения у людей, кается, скорбит, винит себя — и перед кем?! Не перед вельможными боярами, не перед синклитом церковным, а всенародно, на Торгу, на Лобном месте, перед посадскими и черными людьми, перед простыми воинниками, перед бабами, стариками, нищей братией, перед детьми! Матерь Божия, царица Небесная! Услышь наши молитвы! Неужто сбудутся надежды наши, неужто обратил Господь сердце царское к людскому горю? Неужто и вправду встает над Москвой новая заря — заря успокоения, и правды, и любви? Ибо молод царь, и бездонна печаль его, и слезы его чисты, и бесхитростен он в раскаянии своем, как малое дитя.

— Знаете вы, люди московские, что с малолетства остался я, горемычный, сиротой, — говорил царь. — И не было мне, государю великому, от бояр и советников моих воли ни в чем. И рос я, сирота, в забвении и небрежении, в обидах и слезах и, бывало, что и досыта не ел. А казну нашу царскую, рачительством предков наших великих нам оставленную, бояре наши расхитили и по домам своим разнесли. А земли и угодья наши и холопей наших, вольных землепашцев, бояре кому хотели, тому и раздавали, кому в вотчину, а кому в поместье. И многие обиды от такого их бесчинства учинились и детям боярским, и воинникам нашим, и всему православному христианству. А слово наше царское было что пустой звук, и ни послушания, ни смирения мы не видели от бояр наших, пока не привел нас Господь в совершенные лета. И в ни которые дела нас, государя великого, не пускали бояре наши никогда — все чинили на Руси самовластием и своеволием своим. И оттого воцарились по всей земле нашей смута и беззаконие великое, и раздоры, и скудость, и шатание, и разбой. И оттого ожесточилась душа моя, и злонравие поселилось в сердце моем. Многими неправедными делами отягчил я, грешный, совесть свою, думая, отвергнутый и презираемый всеми: как вы, так и я — око за око, а зуб за зуб. И в том, народ русский, моя вина. И в том прощения я прошу у вас у всех...

Молча внимала царю толпа, и лишь тихие всхлипывания да глухой, натужный кашель нарушали порой морозную тишину, сковавшую площадь. Недвижно, словно окаменев, стояла стража, плотным кольцом окружавшая Лобное место. И молча, понурив седые бороды и потупив взор, стояли за спиной царя бояре, и военачальники, и митрополит, и духовенство, и разные дворцовые чины. А перед ними, покуда хватало глаз, простиралось море склоненных спин, и никто в той оцепеневшей, простершейся ниц толпе не смел ни пошевелиться, ни оторвать голову свою от земли.

— Велика вина и обидчиков моих, — говорил царь. — Но не к мести зову я вас, православные! Не мести жажду я, не крови виновных передо мной и перед тобой, народ московский... Прощения! Прощения и примирения жаждет душа моя! И не кровью, не топором, а любовью и кротостью будем мы крепить державу Российскую, врученную нам Богом. Да воцарится в земле нашей правда, да обрящет всяк живущий в ней милосердие и милость царскую по делам и заслугам своим! Да прекратятся в городах и весях наших насилия, и бесчинства, и неправедный суд злых наместников, и да станет весь народ русский заодин! Клянусь: ни единая обида, ни единая слеза убогих и обиженных не пройдут впредь мимо меня. Но и тебя прошу, народ московский: отложи брань и междуусобие, и корысть, и злобу к соседу своему, и всякую другую неправду. И не думайте, сильные мира сего, живущие в бесстрашии, что призыв мой от слабости моей! Кончилось ваше время! Кончилось ваше своеволие. Отныне и впредь одна только воля и есть в державе Российской — то воля моя, господина вашего, помазанника Божия, царя и самодержца всея Руси! Либо пойдете вы вместе со мной, куда поведу я вас, пастырь, Богом вам данный, либо опала вам и гнев мой! И не ждите тогда пощады ни от меня, ни от народа моего. Не ждите! Бога, народ московский зову в свидетели — не будет вам ее!

Умолк царь. Умолкло и улеглось где-то там, у древних стен кремлевских, эхо от юного, звонкого голоса его. И сейчас же взорвалась, взметнулась заснеженная площадь ликующими кликами, и вскинулись люди московские с колен, и бросились к подножию Лобного места, тесня стражу и не обращая внимания на бердыши, чтобы только протянуть к нему, го-

сударю великому, молящие руки, чтобы только коснуться носка его сафьянного сапога.

И плакал царь, не скрывая и не стыдясь своих слез. И плакали седобородые, многое повидавшие на своем веку бояре его. И рыдала, всхлипывала, выкрикивала бессвязные слова толпа, охваченная неведомым ей прежде чувством единения и братской любви. «Слава! Слава! — гремело на площади. — Живи, государь! Царствуй на благо державы своей! А мы все дети и слуги твои...»

А потом в Кремле, в Грановитой палате, чудной красотой и благолепием своим, заседал Собор лучших людей Русской земли — и митрополит, и епископы, и думные бояре, и дворцовые чины, и дети боярские, собранные из Москвы и иных городов по царскому прибору, смотря по заслугам и достоинству кого. Многие дни сидел тот Собор, прозванный людьми «Собором примирения». И о многих великих и многотрудных делах говорилось на том Соборе. И о многих надеждах и намерениях своих поведал тогда царь ближним своим людям.

Сидели бояре и первосвященники, думали, потели в шубах своих, качали бородами, пряча от царя и друг от друга сомнение, что то и дело вспыхивало у них в глазах в ответ на горячие, непривычные задором своим речи царские. Больно уж прям, больно уж настойчив был царь в вопросах своих! И каждый ждал себе в них подвоха. Но не было в его речах ни подвоха, ни укоризны никому. А была лишь боль и горькая печаль о великом нестроении российском.

А в дальнем конце палаты, ниже всех, на угловой скамье, сидел незаметный тихий человек — малознакомый кому прежде благовещенский протопоп Сильвестр. А рядом с ним на той же скамье сидел другой, тоже малоизвестный человек, стольник царский Алексей Адашев — ныне постельничий царя и начальник Челобитной избы. Но хоть и не велики оба они были по достоинству своему, а нет-нет да и бросали многие родовитые бояре и могущественные иерархи церковные тревожный взгляд то на одного, то на другого из них, пытаясь угадать, что же у них на уме. Знал Собор, что и речь царя на Лобном месте, и речи его на самом Соборе готовил тот тихий протопоп. И знал Собор, что никакие важные дела не шли теперь мимо того сурового, строгого юноши, включая и самые тайные бумаги, что сносились обычно прямо к царю, в его постельничью казну.

Легко, светло было на душе в те дни у царя! И ясными, простыми казались тогда ему все цели его, и прямым, как летящая вдаль стрела, виделся ему его путь. Нет, конечно, и тогда уже не был он наивным ребенком! И тогда уже видел он и сомнения, и даже насмешку на лицах многих советников своих. Но, как сказано в Писании, «кто не против вас, тот за вас». Ни единого слова, противного замыслам царя, не было произнесено на том Соборе. И никто ни из высших иерархов церковных, ни из бояр, ни из воинских людей не перечил ему ни в чем, что бы он ни предлагал.

А предложил тогда царь многое. Прежде всего предложил он отступиться от векового обычая русского — кормления наместников царских за счет тех городов и сел, что входили в их наместничества, и лишить их, наместников, права высшего суда и над лучшими, и над черными людьми во вверенных им владениях. Многие тяготы и утеснения народу христианскому были от того кормления и от того наместнического суда. И редко кто из сановников царских, посылаемых в кормление, мог удержаться от соблазна играючи, в кратчайший срок, нажить себе богатства несметные за счет государевых тяглых людей, отданных ему в управление. И пришло государство Российское от лихоимства и алчности тех кормленщиков в великую скудость и разорение, и надо было тот обычай менять.

Покряхтели, пожевали губами бояре и князья, почесали в затылках, но в конце концов порешили: быть по сему! Но только не в раз, не в одночасье, а смотря по надобности и по удаленности земель и стран российских от Москвы.

Еще предложил царь начать выдавать городам и волостям московским, которым пристало, губные грамоты, чтобы решали жители их — и служилые, и посадские люди, и вольные хлебопашцы — дела свои сами, соборно, по рассуждению и приговору своему, и пóдать бы в казну собирали, как по государеву обложению подлежит, и войску бы царскому радели, и людей бы в походы царские всем миром снаряжали, кому сколько царь укажет, и дороги бы строили, и мосты мостили, и от пожара бы береглись. А суд бы свой вершили тоже сами, малые дела, через выборных присяжных людей — старост и целовальников своих. А большие бы дела, которые о душегубстве, или о разбое с поличным, или о колдовстве, сносили бы в наместнический либо царский суд, смотря по вине.

Высоко вознеслась тогда мысль царская! И далеко в даль веков проник он взором своим! Напомнил царь тогда боярам, и служилым людям, и всему Собору земскому, что тем правом давно уже пользуются многие города во многих землях христианских, а начался тот обычай в городе Магдебург. И какая есть причина, вопрошал царь советников своих, чтобы и в Русской Земле тому обычаю наконец не быть?

Долго потом толковали о сем великом деле бояре и чины церковные, тряся бородами и хваля царя за мудрость его. Но не одна лишь хвала звучала в их речах: так-то оно так, говорили они, дело, спору нет, нужное, и многие выгоды сулит оно и державе Московской, и царской казне, и всему народу христианскому. Но пойдет ли, приживется ли такой обычай на Руси? Не привык русский человек сам собой управляться, сам за себя решать. Испокон веков полагался он во всем на промысел Божий, да на волю царскую, да на власть и силу ближних людей государевых — наместников и волостелей его. А ну-ка сами не примут люди московские такую новизну, сиречь тот дивный обычай иноземный? А коли примут, так опять не по-ихнему, а по-нашему, и опять начнутся на Руси смута и шатание, и опять всяк потянет к себе. Было уже так на Руси! Было — и Новгород Великий с буйным вечем его, и Псков, и другие, поменьше, города. А где что оно теперь? Нелегкое дело затеваешь ты, государь! Не надорваться бы, не раскачать бы пуще прежнего державу твою... А все ж попробовать, надо думать, стоит! Верим мы в счастье твое, государь, и в юность твою, и в десницу Всевышнего, простертую над тобой! Ну, а коли не пойдет то дело великое, так ведь всегда можно и назад поворотить. Жили деды и прадеды наши без того права магдебургского, лишь по воле государей своих — проживем и мы!

И еще предложил Собору царь отменить тамгу, что взымал с торговых людей каждый наместник на заставах и дорогах, ведущих во владения его, и отменить всякий сбор с торговли и других каких продаж на местах, и заменить то все единым для всей Руси налогом на торговлю и на промыслы городские, взымаемым в собственную его, государя великого, казну. А нужно то все за тем, говорил царь, чтобы мог всякий человек, не опасаясь, ходить по Руси с товаром своим, куда его Бог наставит, и чтобы никаких препятствий и утеснений не чинилось ему нигде ни от наместников, ни от дьяков, ни от иных приказных людей по произволу и корысти их. И еще призвал царь бояр и начальников своих отложить всякий спор о местах в походах царских, и быть на войне без мест, и служить по всей правде и без всяких препирательств под началом того, кого поставит царь во главе полков своих, смотря по заслугам и воинскому умению, а не только лишь по чести и родовитости кого.

И на все на то дал Собор царю свое полное согласие. И умилился царь такому единодушию и единомыслию всех лучших людей земли московской. И возликовало сердце его, и впервые в жизни поверил тогда он, государь великий, в счастливую свою звезду. И умилился вместе с ним весь Собор московский, видя перед собой не мальчика, не злое и своенравное дитя, погрязшее в грехах и буйных прихотях своих, а мужа доблестного и зрелого, сознающего высокую правоту свою. И даже самые спесивые, самые знатные и могущественные из бояр и князей московских, прирожденные Рюриковичи, равные достоинством и происхождением своим царю, а кто, может быть, и выше его — даже и они не могли удержаться на Соборе том от слез, радостных слез надежды. Господи, неужто пробил час Земли Русской? Неужто воспрянет, наконец, и она от векового своего сна?

И совсем уж безудержный, не сравнимый ни с чем восторг охватил Собор, когда в последнее его сидение богомольный царь вдруг предложил расширить чин святых русской православной церкви, включив в него многих новых святителей и чудотворцев российских, славных в веках житием, и деяниями, и муками своими тяжкими во имя Господа нашего Исуса Хри-

ста. Плакали бояре и первосвященники, и обнимались, и лобызали друг друга, и славили юного царя за великую веру, и благочестие его, и за попечение его отеческое о благоденствии и спасении народа своего в жизни вечной.

Мало кто знал, однако, что и эта мысль тоже была подсказана царю Сильвестром. А ее задолго до того многажды вечеров подряд обсуждал тот неугомонный поп с преосвященным митрополитом Макарием — старцем дряхлым, но мужественным и неутомимым в радении своем о величии святой православной церкви и о могуществе державы Московской. Сказано же у Дионисия Ареопагита: «каждый из окружающих Бога чинов богоподобнее того, кто отстоит далее, и тем более приемлет и может передать света, чем ближе к истинному свету». И то будет державе Московской во благо, а странам и землям ее в примирение и любовь, коли Бога за них будут молить не один благоверный князь Александр Невский, но и святой великомученик князь Михаил Тверской, и не одни лишь чудотворцы московские митрополиты Петр, Алексей и Иона, но и новгородские угодники Нифонт и Евфимий, и Стефан Пермский, и Савва Вишерский, и другие великие наставники и оберегатели Русской Земли.

И лишь в одном из многих дел, обсуждавшихся в те дни в Кремле, тень вражды и неудовольствия все-таки омрачила всеобщее согласие, царившее на Соборе. Порывист и простодушен был юный царь в святом нетерпении своем. И малоопытен он был еще в страстях и слабостях людских, что от века раздирают душу человеческую на радость дьяволу, а ей на погибель.

Предложил царь исправить по старине Судебник — главный Закон земли Русской, данный ей еще в царствие блаженной памяти деда государева, великого князя Ивана Васильевича. А исправив многие темные места в том Законе, которые привыкли люди московские толковать и вкривь, и вкось, каждый корысти своей ради, надо бы, говорил царь, дополнить его новыми установлениями, ибо много воды уже утекло с тех пор, как трудились над ним государев дед и советники его.

И на то дело великое бояре и чины церковные тоже выразили полное свое согласие и постановили, чтобы быть новому Судебнику готову к следующей весне. Но когда юный царь для скорости того дела предложил поручить его протопопу Благовещенского собора Сильвестру и стольнику царскому Алексею Адашеву, которые-де превзошли всех на Москве и грамотой, и разумом, и усердием своим, Собор зашумел.

— Знал бы поп службу свою по все дни, а в государевы дела чего ему встревать? — кричали многие ближние люди царские, повскакав со своих мест. — И откуда он взялся, тот Адашев, что ему такая честь? Он и так сверх всякой меры взыскан тобой, государь! А ведомо всем — от гноища взят. Хватит ему и Челобитной избы! И так вон какую силу забрал — не подступишься мимо него к тебе. Молод еще, молоко на губах не обсохло! И постарше, и поумнее его есть у тебя слуги!

И быть бы великой грозе на том Соборе, кабы не мудрый старец, Макарий митрополит. Всех помирил, всех утишил, и сделал все так ловко и складно, что и те, кому обидно было, умолкли, и царя от гнева и брани удержал, и при деле остались те, кого государь хотел, — протопоп Сильвестр да Алексей Федоров, сын Адашев.

— Возлюбленные чада мои! — тихим, вкрадчивым голосом обратился преосвященный митрополит к Собору, поднявшись со своего места по правую руку от царя. — Нет в том порухи ничьей чести, что призвал государь к такому великому делу новых людей, но его, государя великого, усмотрению. Люди они родом и достоинством своим и правда молодые, но талантом обоих Господь Бог не обидел. Не первый уже день знаем мы ревность их по Бозе и преданность их державе Московской. И кому, как не им, послужить государю великому, Бога моля за высокую милость его? Да хорошо бы придать им в помощь и других людей, известных на Москве ученостью своею, дьяка Ивана Висковатого, да печатника Никиту Фуникова, да иных каких добрых людей, кто к делу сему пригоден и грамоте горазд. Тут ведь не одну старину нашу надо знать, тут надо бы поискать, что в иных землях делается и как оно там заведено — может, найдется, что и нам не вредно бы перенять? Знаю я, что Сильвестр разумеет греческий, а Алексей — латынь, и немецкий, и турецкий языки... Но правда также, чада мои, и то, что без совета лучших и ближних людей государевых делу тому великому статься нельзя. Ибо мало здесь знания книжного, а надобно мудрость иметь житейскую, и опытность, и рассуждение высокое о пользе государственной — без опасных мечтаний, а по возможностям и силам нашим: что может быть в Русской земле, а что пустое и по нынешним временам быть не должно. И потому дело Сильвестра со товарищи — лишь начальное, а главное дело будет в Верху, в Ближней думе царской, у постели государевой. И как, вопрошаю я вас, может пройти то дело великое мимо таких столпов державы Московской, как Иван Михайлович Шуйский, либо Никита и Данила Романовичи Захарьины-Юрьевы, либо Иван Васильевич Шереметев, либо Иван Петрович Федоров-Челяднин? А еще предлагаю я, пастырь ваш духовный, по окончании всех трудов, собрать новый Освященный Собор, чтобы благословила святая наша апостольская церковь тот новый Судебник и чтобы знали все люди московские, что отныне то есть не только Закон земли, но и закон Неба.

Всех, все царство Московское примирил тот приснопамятный Собор! Утихли страсти. Утихло междуусобие. Сник и погас мятеж в душах людских. И настала в Земле Русской тишина.

О, какие то были счастливые дни! Как радовался он, Государь московский, державной силе своей! С каким восторгом встречал он вместе с юною царицею своею каждый новый день и каждый новый свой успех! Какие толпы возбужденных, радостных, плачущих от счастья людей сбегались при виде его везде — и в Успенском соборе, и на площадях московских, и в пути, по дороге в иные русские города... И какой покой и благолепие царили в душе его, когда он перед сном преклонял колена пред образом Пречистыя Богородицы, прося благословения Ее на новые труды! Христолюбив и набожен был государь в ту славную пору. И многие истины открыл он в смиренных молитвах своих, и многие книги духовные он постиг, и во многие святые монастыри ходил он пешком с царицею своею на богомолье, и постился там, и жертвовал, и с братией о жизни и о правде вечной рассуждал.

А более всего любил он, государь великий, затвориться у себя в Верху, в опочивальне, с протопопом благовещенским Сильвестром, и там сидеть, и беседовать с ним, внимая душеполезным речам его, ибо никто на Москве не знал так Священное Писание, и жития святых, и другие книги церковные, как тот Сильвестр. И «Домострой» Сильвестров он, государь великий, читал — себе в наставление, а государству Российскому во благо, и дивился мудрости и книжному умению попа, и была книга та у государя под рукой по все дни. И, бывало, многие прехитрые вопросы спрашивал царь в тех долгих беседах, и поп его учил, юности и любопытства его ради: как Господу молиться, как службу править церковную, как достоинство и сан свой царский блюсти, и как жену свою, государыню Анастасию Романовну, любить, чтобы дому царскому и чести его порухи не было ни в чем.

И милостив, и снисходителен был царь в те дни к подданным своим в больших и малых винах их, и прощал им даже то, за что прежде никогда и никому не прощалось на Руси.

И с большими боярами были у царя в ту пору мир, и согласие, и во всех наместничествах, и в вотчинах, и в удельных владениях слово его царское было закон, и ослушаться его, государя великого, не смел никто. И обычай кормления боярского стал понемногу исчезать. И лихоимство в судах притихло, поскольку судили теперь наместники во многих местах вместе с выборными земскими людьми, а в малые судные дела и вовсе не вступались. И оттого разбоя и воровства стало на Руси меньше, а покоя людям больше.

И, радуясь тишине, вновь стали оживать в Русской земле и мирное хлебопашество, и рыбные ловли, и лесные промыслы, и солеварение, и ремесло всякое, и торговля. И вновь потянулись в московские города торговые гости и разные иные сведущие в науках и ремеслах люди из далеких стран. И оттого вновь наполняться стала царская казна, оскудевшая было во времена боярской смуты.

А коли дохода казне стало больше, то и его, государя великого, государские дела пошли по-иному! И Москву, и Кремль, и монастыри московские поднимал государь из пепла на деньги из своей государевой казны.

И церкви Божии и в Москве, и в иных городах строил. И хлебный запас повелел по всем городам собрать на случай неурожая, либо мора, либо войны. И корабли на Волге и на Ладоге приказал строить, чтобы могли они и с товаром, и с людьми, и с нарядом воинским ходить в дальние страны, куда он, государь, пошлет. И государям соседним поминки богатые посылал — и в Литву, и Римскому кесарю, и Датскому королю — братской любви ради, чтобы пожаловали они, не мешали бы мастеровым людям из своих и других стран приходить на Русскую землю, и железо, и пушечный припас, и другой какой потребный товар беспрепятственно бы в русские торговые города пропускали, где какой торговле великий государь быть укажет.

Но, конечно, и тогда не все было так, как хотелось того царю. Бывало, что и тогда приходилось ему отступаться от своего... А досаднее всего было то, что не удалось ему, государю великому, вернуть обратно в казну, что была разграблена боярами в пору его младенчества. Где оно все теперь? Ищи ветра в поле! Да и людей уже тех нет в живых, кто грабил, а наследники их лишь плачут да жалуются на скудость и разорение свое, да молят его, государя великого, пожаловать, отпустить им те старые родительские грехи. И вотчины, что похватали себе тогда бояре из государевых казенных земель, тоже отобрать назад никак не выходило. Каждый на коленях вопил о службе своей и о заслугах родителей своих, и попробуй, перекричи их всех, когда их вона сколько, и каждый либо от Рюрика, либо от Гедимина считает свой род. Кого ни тронь — за всякого вся родня, вплоть до седьмого колена, все свойственники, все дружки...

— Забудь! Забудь и о казне пропавшей, и о землях тех, государь,— утешал его Сильвестр, когда, распаленный обидой и сознанием своего бессилия, царь метался по опочивальне, гневно сжимая кулаки.— Что казна? Казна дело наживное! Слава Богу, не оскудела еще Русская земля ни людьми, ни хлебом, ни пенькой, ни воском, ни мягкой рухлядью, ни рудами подземными. Чего в ней нет? Чем обделил ее Господь? Главное, чтоб тишина была, чтобы овцы твои были целы. А шерсти с них ты еще немало настрижешь... И о вотчинах не печалься, великий государь! Нужны тебе вельможи твои? Нужны помощники в деле твоем царском? Нужны. Без них тебе державу твою в повиновении не удержать, и войско твое не собрать, и врагов твоих, соседей твоих алчных, не сокрушить. Что же ты хочешь? Ничто в жизни сей даром не дается, и за все надо платить. И за верность платить, и за усердие, и за любовь к тебе слуг твоих, ибо слаб человек и корыстен, и коли не видит он выгоды своей, никакого доброго дела от него ждать нельзя... Конечно, те вотчины, что самочинно захватили тогда, в безвременье, слуги твои — то убыток тебе и ведомое беззаконие. Но не себе ли дороже будет отобрать их сейчас назад? Опять зашатается Русская земля, опять наступят смута, и вражда, и несогласие в людях твоих. А то ли сейчас тебе нужно? Вот обложить их, слуг твоих, новым каким обложением — это было бы дело! Это они стерпят. А какая тебе разница, каким обычаем будет прирастать казна твоя — прямым ли доходом с казенных земель либо по обложению вотчинников твоих?

Слушал царь попа — наперсника дум своих тайных, и верил ему, и соглашался с ним. И бывало, что и ночи целые г пролет просиживали они так вдвоем в тишине дворца, беседуя либо про Божественные, либо про мирские дела... Но не может дьявол, погубитель рода человеческого, смотреть без зависти, как отступает в людях злоба и ненависть, а вместо них утверждаются согласие и любовь. Нет, не создан мир сей для тишины! И чем спокойнее течет жизнь, тем упорнее Сатана и все силы его, и тем изощреннее козни их, и тем ближе человек к погибели своей.

Поп уходил, и, успокоенный и просветленный, царь засыпал. Но редко когда сон его был тих и долог. А бывало и так, что едва только прикасалась голова его к подушке, как какая-то неведомая, страшная сила подбрасывала его с постели, он вскакивал и больше уже не мог, как ни бился, сомкнуть глаз своих до самого утра. Часами сидел он тогда, венценосец державный, в тоске, на краю постели, вперив взгляд свой во тьму. И все страшилища несчастной юности его собирались вновь к нему отовсюду, и оживали все страхи детские его, и не верил он тогда никому — ни Богу, ни себе, ни другим. Ибо ничто в жизни нашей не проходит без следа, и нет

такого лекаря в мире, кто мог бы излечить душу человеческую, коли она больна.

А бралась та черная тоска прежде всего от нетерпения царя.

Хоть и молод был царь Иван, но он рожден был на троне. И с младенческих самых лет своих он знал, что воля его — это воля Бога. А кто противится воле его царской, тот противится воле Всевышнего, а ей противиться не должно сметь никому — ни человеку, ни дьяволу, ни самим стихиям земным... Как же так? Сказал он, царь: быть по сему! И должно оно так быть! Трава должна расти в пустынях каменных по единому слову его, огонь угасать, моря расступаться, реки поворачивать вспять! А про людей и говорить нечего. Кто есть человек? Червь! И ему ли противиться Божьей воле, сиречь воле помазанника Его? Моисей морю Чермному приказал уйти с дороги народа его, и оно повиновалось. Исус Навин само солнце остановил единым мановением руки своей. А он, царь великий и могущественный, господин и самодержец всея Руси?! Что может он? И где они, удачи и победы неслыханные, что сулил ему тогда, в тот памятный день, Сильвестр? И куда, в какую зыбь уходят все державные повеления его, от которых, казалось бы, сама земля должна дрожать, не только что люди?

Нет, не пристало ему обманывать себя. Нет у него успехов. Нет! А есть лишь тина, да пески зыбучие, да морок ночной, в котором все расплывается, все исчезает. И нельзя ни ухватить ничего рукой в том бесплотном, ускользающем дыму, ни заставить ничто быть.

Конец кормлению на Руси? Конец своеволию боярскому и алчности наместников царских? Кормлению, может, и конец. Да только от того конца корму для наместников стало на деле больше, а не меньше. Ибо, как доносят соглядатаи и поверяльщики его царские, пуще прежнего свирепствуют наместники в наместничествах своих, изобретая все новые поборы и сборы и с торговли, и с крестьянства, и с посадских людей. И все то, понятно, в тайне от Москвы, благо до нее на Руси отовсюду далеко... И земское правление шатается, никак не может утвердиться нигде. Великий Устюг вон молит пожаловать, вовсе свести с него наместника царского, а Карачев да Пермь, наоборот, просят быть всему опять по старине и наместников им вернуть, чтобы прекратились вражда и несогласие среди посадских и пашенных людей, и черный народ не обижал бы лучших людей, не зная над собой ни страха Божия, ни его, государя великого, властной руки...

И даже и в разрядных делах — кому на какой службе государевой быть — все как было, так оно и есть. Иначе разве поставил бы он, царь, во главе последнего похода казанского эту развалину, князя Дмитрия Бельского, что опять столько народу по бестолковости своей погубил зазря? То у него мороз, то оттепель и пушки не стреляют, то по дорогам не пройти и подвоза нет, то еще чего. А казанцы как сидели у себя в Казани, так и сидят, насмехаются над ним, царем московским, и над всем славным воинством его, способным лишь песни петь да баб и детей малых пугать.

А пуще всего охватывала его, государя великого, тоска, когда ехал он в возке своем царском в какой-нибудь дальний монастырь на богомолье, либо войско свое смотреть, а то и просто ради прохлады его государевой по улицам и слободам московским, поглядеть, как люди его живут. Отчего так томилась тогда душа его, и рвалась неведомо куда, и глаза наполнялись слезами, и сжимала сердце его печаль? Была ли то боль от сознания бессилия и ничтожества своего перед лицом Всевышнего — Того, кто один лишь знает путь каждого смертного на Земле, будь то царь или простой смерд? Или тревожил его багряный закат, догоравший в небесных просторах, за колокольнями московскими, напоминая о каких-то неведомых дальних далях, куда не достигала ни мысль, ни воля царская его? Или то были бесконечные снега, и овраги, и бескрайние леса, пугавшие его вековой тишиной и безлюдьем своим? Или грязь непролазная, и бездорожье, и нищета избенок убогих, и люди в лохмотьях, и покосившиеся заборы, и сор на улицах, и тяжкий смрад — то, что помнил он, царь великий, от дней младенческих своих и что видел он вокруг себя и сейчас, и что так же и было, наверное, и при татарах, и при Владимире-крестителе, и при Рюрике, и до него.

И все то была Русь. И не было в ней радости никому нигде. А были лишь простор да вечная тоска.

А, вздыбить бы, вздрючить бы это сонное царство, стегануть его, что есть силы, нагайкой, заставить его закричать от боли, и проснуться, и начать жить! Чует, чует он, царь, силы в себе великие! Да что толку? И указы его, государя, верные — все во благо народа христианского; и величественны, и стройны замыслы его, и знают он и ближние люди царские, что нужно, чтобы процветала держава Московская и ныне, и в грядущих веках. Но дело — дело-то будет делать кто? Куда ни кинь взор — одни замшелые пни вокруг, одни беззубые рты да седые бороды, да шубы собольи, да спячка, да лень, да спесь непомерная. И какое дело тем пням ни поручи, все сделают не так, а то и вовсе не сделают ничего.

Людей! Людей надобно ему, царю московскому — новых людей, бойких, усердных, бескорыстных, преданных ему и делу державному его... Множество людей! А где их взять?

Подал как-то с год назад Алексей Адашев ему челобитную одну. Любопытная это была челобитная! Будто сам он, царь, себе же и писал — настолько то, о чем печалился неведомый никому простой воинник Ивашко Пересветов, отвечало тайным думам и помыслам его.

Первое, писал тот Ивашко, «не мочно царю без грозы быти; как конь под царем без узды, так и царство без грозы». И то была самая сокровенная, самая заветная дума царская, что пока таил он даже от ближайших советников своих. А потому таил, что поклялся тогда, по молодости лет, на Торгу, пред всем народом христианским, править русской землей без грозы, одной лишь милостью своей. Да, похоже, что зря поклялся. Только грозой, видать, и можно разбудить то сонное болото, что зовется Русской землей! И лишь грозы, лишь кнута они и боятся, смиренные подданные его, чьим царем угораздило его стать. Кнута — и ничего кроме него!

А второе важное, что писал Пересветов — «воинником царь силен и славен». А вельможеством, живущим в бесстрашии и своеволии, он слаб, и то царство обречено и погибнет, где сила не у царя, а у вельмож его. И тех воинников простых должен царь всячески приближать и оберегать, и держать их на полном своем жалованьи, чтобы знали они лишь его государеву службу, а других никаких дел им не знать. А чем больше их будет, тех воинников, тем державе его будет лучше, и должно все дела и службы в государстве передать им. А боярам, да князьям, да вельможам ленивым дел никоторых доверять нельзя, ибо не о пользе государственной радеют они, а только лишь о себе и самовольстве своем.

— Ты знаешь его? Кто он такой, тот Пересветов? И где он сейчас? — спросил тогда царь у Адашева, возвращая ему ту челобитную.

— А в яме сидит. За долги. Прикажешь, государь, отпустить?

— Отпусти. И долги из казны оплати. А после и к делу какому-нибудь приспособь. Может, пригодится еще... А сам-то ты что думаешь о писаниях его? Дело пишет, по-твоему, или то пустое все?

Суров был сей ближний помощник царский, и никогда не отводил он глаз под взглядом повелителя своего. И знал царь Иван: никогда этот бледный, молчаливый юноша не скажет и не сделает ничего, что было бы не по совести его. А еще ценил в нем царь, что не докучал он ему, государю великому, с пустяками: уж если принес он что на доклад ему и ближней Думе его, значит, то дело было великое! И ведомо было также царю, что никаких взяток, никаких посулов ни от кого постельничий его, и казначей казны его царской, и Челобитной избы его начальник Алексей Адашев никогда не брал. А уж ежели кто наветом либо обманом досаждал царю в челобитных своих, был он, Адашев, на то крут и на расправу скор: коли уличит кого в навете или обмане, тот больше челом не бей, и быть тому в тюрьме либо сослану, смотря по вине.

И, бывало, что и больше благовещенского попа слушал его царь. Поп — тот вечно петлял, и крутился, и все рядил, все взвешивал: может, оно и так, а может, и эдак... А Алексей был прост. Сказал, как отрезал — либо да, либо нет.

— Ну, так как же, Алексей? Дело пишет твой челобитчик али нет?

— Дело, государь.

— Вот и я тоже думаю — дело. Давно и я думаю о том же... Ну, а раз

дело — готовь, Алексей, указ: перебрать во всех наместничествах и землях наших всех детей боярских, и буде кто сгодится, то поверстать тех в ближнюю службу царскую, в особый государев полк. И имя тому полку будет «московская тысяча», а жить им всем в своих поместьях подле меня и быть всечасно готовыми ко всякой моей службе, по воинским делам либо по земскому устроению. И чтобы от Москвы до любого из них посыльному на добром коне ходу было не более дня. А как сверстаем мы с тобой, Алексей, ту первую тысячу, то и дальше пойдем, и в других наших землях заведем такие же полки, мимо наместников, и князей, и бояр наших. И будут все те люди мои, царские, на моем государевом жалованьи, и никаких иных начальников им над собой, кроме Бога и меня, не знать и ни в какую другую службу не вступать.

— А платить... А платить тем людям чем ты будешь, державный царь? Казны твоей, сколь ни велика она, на то не хватит. И земли у тебя тоже не так уж много. Особливо вблизи Москвы. И надо еще ее, землю, для такого великого дела добывать.

— Добудем.

— Где?

— Надо добыть, Алексей Федорович. Надо. Давай вместе думать, где.

— Отнять у бояр твоих, у вельмож могущественных? Сил пока на то нет у тебя, великий государь. Без крови не отдадут.

— Не отдадут.

— У татар? У соседей твоих, у хищников тех алчных? Слов нет, воистину то «подрайская землица» под боком у тебя. И по справедливости она твоя. Но как ее возьмешь?

— Возьмем. Но не сразу.

— Тогда одно лишь тебе остается, великий царь — монастыри. Почитай, треть земли в державе твоей у них. И не дело монастырям владеть землею и людьми — то еще Нил Сорский, святой угодник, старец Заволжский, учил. Но решишься ли ты, государь, на такое?

— Решусь.

— Не легко будет, государь!.. Не ты первый. Вспомни Иосифа Волоцкого. Вспомни, как ощетинилась тогда вся церковь против деда, да и против родителя твоего...

— И все равно — решусь! Макарий — не Иосиф. И о державе болеет, и о душе своей взыскует — что ж ему святому делу не послужить? Ну, поупрямится, конечно, не без того. Но куда ему деться? Сколько раз он сам жаловался мне, что в монастырях неблагочиние, и разврат, и мужеложество, и пьянство, и обжорство, а все отчего? О Боге забыли, о душе своей нетленной! Монахи все выгоду ищут, словно мужики торговые. Торгуют, людей кабалят, деньги в рост дают... А Сильвестр, как мыслишь, поддержит нас с тобой?

— Поддержит, государь. Он тоже говорил: негоже монастырям земли вокруг себя собирать. То дело мирское, не Божественное.

— Тогда вот что... Тогда вот что мы сделаем, Алексей. Собору, что благословением своим будет в феврале утверждать новый Судебник, представим мы заодно и вопросы наши царские... Мол, доколе нам терпеть то поругание веры христианской, те бесчинства и непотребства, что творятся ныне в церквах и монастырях во всей нашей земле? И пристало ли по вере нашей святоотческой монастырям землею владети, и вотчины прикупать, и к себе принимать взаклад и на помин души, и деньги в рост давать, и людей к себе переманивать из сел и деревень окрестных и дальних, и на пашню у себя сажать? А вопросы те пусть составит Сильвестр. Он лучше знает, как с попами да с чернецами говорить.

...И вот сидел он теперь, царь — государь московский, у себя в Верху, в опочивальне своей, один. И смотрел в бессилии и злобе на длинный пергаментный свиток, свисавший у него с колен. И опять душила его тоска.

Нет, не было на том Освященном Соборе ни угроз, ни проклятий, к чему он так готовил себя! Смирно сидели чины церковные, потупив взор и понурив головы, кряхтели, вздыхали, а иной раз и сморкались в рукав и слезы утирали с глаз своих тайком в ответ на попреки и укоризны царя. «Ох, непорядки великие! Ох, срам и поношение нам, грешным! Зашаталось православие, заколебалась вера святоотческая в людях московских... А все потому, что священство российское долг свой по Бозе стало забы-

вать, легкой жизни ищет! Иной какой поп и Писания не знает, и службу путает, и пьян по все дни — а люди смотрят, дивятся: нешто то и есть пастырь духовный, Богом нам данный, за души наши ответчик? Нет, прав государь — надо, надо наконец и строгость употребить, очистить и церкви Божии, и монастыри от скверны духовной, от блуда, и пьянства, и любостяжательства, и от невежества горького, потому что всему православному христианству оттого один соблазн...»

И постановил тот Освященный Собор, прозванный людьми московскими Стоглавым: службу всю и чин церковный держать по старине, и двуперстное знамение, и сугубую аллилуйю, и хождение посолонь повсеместно утвердить и впредь сомнений в том никаких не допускать. А церковное устроение чтоб было благообразно, чисто и непорочно; а священники чтобы уговаривали детей своих духовных чаще ходить в церковь, особенно по воскресеньям и по праздникам: и должно священникам в церквах являть собою пример всякой добродетели, благочестия и трезвости; а на пирах, во всенародном собрании и на всяких мирских беседах должно священникам духовно беседовать и Божественным Писанием поучать людей на всякие добродетели; а праздных слов, кощунства, сквернословия и смехотворения отнюдь бы самим не допускать и детям своим духовным то делать запрещать; а где будут гусли, и гудошники, и потехи хульные, от этих игр бесовских священники должны удаляться, а сами на них отнюдь не дерзать. А в корчмы им не входить, и которые священники, дьяконы либо монахи станут по корчмам ходить, упиваться, и по дворам скитаться пьяные, и сквернословить, и драться, то таких бесчинников хватать и заповедь на них царскую брать.

А еще строго-настрого запретил Освященный Собор злые ереси, и чернокнижие, и тайную ворожбу: рафли, шестокрыл, астрономию, задей, Аристотелевы врата. А пуще всего запретил он новоявленную ересь черную, душегубительную — воронграй.

И было на том на всем согласие полное и царя, и бояры его, и митрополита, и епископы, и всех иных духовных чинов. Но как начал царь розыск свой, каким таким обычаем монастыри столько земли к себе в державе его прибрали, и пристало ли им той землей владеть и из службы царской ее выводить — заскучал, закручинился Стоглавый Собор.

Обо всем поведали святые отцы в те дни царю, все вспомнили, ничего не забыли — и Божественное Писание, и предания святоотческие, и обычаи славные в других народах и странах христианских. И никогда доселе не приходилось ему слышать столь многие величания его царскому имени, и мудрости, и доблестям державным его. «Тебя, государя, Бог вместо себя избрал на земле и на свой престол, вознесши, посадил. Тебе поручил Он милость и живот всего великого православия!» — пел Макарий митрополит. «Тобою, государем пресветлым, крепка Русская земля, Тобою, помазанником Божиим, утверждается святая наша вера христианская, и церкви Божии, и монастыри. Имя твое, державный царь, всякий день на устах и первого вельможи твоего, и страдника убогого, и всех богомольцев твоих — и белого духовенства, и черного, и святых затворников в самых дальних лесных скитах», — вторил ему владыка новгородский, а за ним и троицкий архимандрит, а за ними и другие многие голоса.

Но ни Макарий митрополит, ни владыка новгородский, ни другой кто из высших иерархов церковных — никто в тех сладостных песнопениях так и не сказал ничего прямого в ответ на главный вопрос царя. Каждый петлял, каждый юлил и плел свою хитрую паутину, призывая в помощь себе всех святых, всех патриархов и пророков библейских — и праотца Авраама, и Моисея, и Давида-царя, и каждый ссылался на древность и нерушимость Законов земли Русской, от святого Владимира-крестителя и до наших дней.

И ругался царь, и бранился, и грозил, и молил, и посохом в сердцах стучал о подножие трона царского! А они все свое: так-де повелось при дедах наших и прадедах и так тому и дальше быть — не нам-де обычай тот древний менять. Да и гоже ли мирским властям вступаться в Божественное? Ибо все то имение монастырское есть вложения Боговы и Пречистой Богородицы и великим чудотворцам вданы в наследие вечных благ, и принадлежит то имение не людям, не монахам смиренным, а Господу нашему Исусу Христу.

А когда же потерявший всякое терпение царь потребовал, наконец, чтобы завтра каждый из присутствовавших на том Соборе поименно высказался, быть ли угодьям и землям монастырским впредь за монастырями либо не быть, святые отцы и вовсе разбежались и попрятались кто куда мог, так что и сыскать их потом нигде было нельзя. Нет их — и все: кто болен лежит, у кого лошадь пала или возок на ухабах разнесло, кто в метели заплутал, едучи с подмосковного своего подворья или из гостей, а кто и так просто исчез, Бог его знает, где.

И сдался царь, видя, что иного выбора у него нет.

А, разодрать бы в клочья весь этот проклятый свиток, что лежит сейчас у него на коленях! В клочья! Все в нем есть. Ничего не забыли, ничего не упустили святые отцы! Кроме одного: где ему, государю великому, землицы добыть, чтобы испоместить вблизи себя тех новых людей, кому строить иную, новую Россию — его Россию! Одно только и удалось ему вырвать у Освященного Собора — согласие на то, чтобы впредь монастырям без доклада царю ничьих вотчин не покупать и на помин души не брать. А что есть уже земли за монастырями, то так тому и быть, и крестьянству монастырскому по-прежнему сидеть на монастырской же земле и пашню пахать, а переход монастырским крестьянам по старине, с уплатой пожилого на Юрьев день, как то издревле повелось.

Где он? Где поп тот благостный, что ночи напролет толковал ему, царю московскому, о нестяжательстве церковном, о монастырской тишине? Где он, лукавый старик, вместе с Алексеем Адашевым подбивший его на этот позор?

— Эй, слуги! Кто там есть? Позвать сюда Сильвестра-попа! Да поживей... А буде во дворце не сыщется — под землей найти!

Но искать Сильвестра было незачем. Тем-то и велик был мудрый поп, что всегда он был под рукой, всегда знал, когда есть или будет в нем нужда. Здесь же за дверями, в соседней горнице, он и сидел в углу на скамеечке, шепча молитвы и медленно перебирая пухлыми своими пальцами длинные янтарные четки, свисавшие у него с руки. Крутой, высокий лоб его тускло отсвечивал в дворцовой полутьме — как всегда, поп был простоволос.

— Ну, вождь слепой, слепых ведущий? И куда же ты завел меня, нестяжатель ревностный? Как быть, что делать мне теперь, отец святой? Говори! — вскинулся царь, едва грузное, плотное тело советчика его протиснулось в дверь.

— Горюешь, государь?

— И ты еще спрашиваешь? Ты что, поп, издеваешься надо мной?

— Нет, государь, не издеваюсь. Скорблю, видя печаль твою.

— А что я должен делать, по-твоему? Радоваться?

— Радоваться, государь.

— Чему?!

— Исполнилась воля Божья, великий царь! Вновь явил Он миру милость Свою к тебе. Отныне и впредь будет править в государстве твоем Закон. И судьи твои будут судить людей твоих не по произволу своему, а по Судебнику, принятому всей землей. А ты...

— А я как был ни с чем, так и останусь ни с чем! Мне земля нужна, поп. Понимаешь? Земля! Что мне раци твои? Не дал мне земли Собор. Не дал, поп! И опять я, как перст, один в державе моей...

— Бога гневишь, государь! Не один ты. Вокруг тебя люди. И эти люди готовы жизнь свою положить за тебя.

— Что мне они? Что мне их жизни, поп? И что мне все эти ваши лукавые словеса? О, вожди слепые! Лицемеры проклятые! Где земля моя, поп? Где?!

— Ты царь, Иван. И вся земля в державе твоей твоя.

— Врешь, отче Сильвестр! Врешь! Не царь я, а холоп холопей моих.

— И вновь говорю тебе, царь: Бога гневишь ты в безумной гордыне своей! Неужто не видишь ты, неблагодарный, что счастливо царствие твое? Что Божественная десница простерлась над тобой, оберегая и храня тебя?.. Заупрямился Собор? Ну, и что? Может, запрос твой был слишком высок по нынешней жизни нашей. И не приспело еще время твое, и не готов еще народ твой к твоим новизнам. А может, и ошиблись мы с тобой.

Может, оно и к лучшему, что уперся Собор и земли монастырские в казну твою не дал...

— Ты что, спятил, поп? Что ты несешь? Ты же сам...

— Нет, государь, я не спятил! Я в своем уме. И, как прежде, считаю, что не духовное, не Божественное то дело монастырям землею владеть и крестьян за собой держать. Но одно дело, что любо мне, смиренному служителю церкви. А другое дело, что нужно тебе, великий царь. Тебе и державе твоей.

— Мне земля нужна, поп! Что ты все крутишь, что ты все вертишь? Я совсем перестаю понимать тебя...

— Сейчас, сегодня — что нужнее всего державе твоей, великий государь? Тишина. И доход казне твоей. Как примирился ты с боярами своими и дал управу земле своей во всем, так настала в земле Русской тишина и зажили люди твои, не опасаясь, наконец, единоплеменников своих. Ну, а доход? А казна твоя? Сам рассуди: где доходнее крестьянину хозяйствовать, где легче тягло твое государево тянуть? За большим ли боярином либо за монастырем или за каким воинником из худородных, кто по бедности и убогости своей и со своего крестьянина последнюю шкуру сдерет? И оттого не прибыток будет казне твоей, а лишь скудость и державе твоей один вред...

— Так что же, по-твоему, поп, бросить, оставить то дело великое? Забыть о нем?

— Оставить, государь. По крайней мере до поры. А дальше там видно будет, что и как.

— Нет, отче Сильвестр! Без земли мне не обойтись. Мне земля нужна, поп. Понимаешь? Земля!

— Есть земля, государь. Казань! Иди на Казань, иди на Астрахань, иди на Крым — там и землю найдешь. И Отечество свое от разорения и от набегов варварских, наконец, освободишь. Чего не смогли совершить ни дед, ни родитель твой... Казань, государь! Перво-наперво Казань. И ни о чем другом теперь не должен ты думать, великий царь. За спиной у тебя, наконец, тишина и мир в людях твоих. А перед тобою одно — Казань!

— А если не одолею, поп? Что тогда? Не верю я в счастие Русской земли. Триста лет над нею татарская плеть...

— Должен верить, царь! Должен! Это я тебе говорю, наставник духовный твой. Из ночи в ночь посещает меня теперь ангел Господен. И из ночи в ночь твердит он одно и то же: «Пора! Пора государю твоему подниматься! Пора ополчиться ему вместе со всею землею Русской на безбожных агарян. Настал его час! И благословение Божее — на нем».

Ах, тяжка, горька доля царская! И нет ему, властелину державному, ни воли, ни покоя ни в чем. Слушай того, слушай этого, того уважь, этого пригрей, а с тем помирись, а с тем не бранись, а этого про запас береги — может, пригодится когда потом. А проснешься утром — и пальцем пошевелить не смей, даром что царь! Не смей, не моги, потому как за каждый палец, за каждый волосок на голове твоей ухватилось множество цепких рук, и каждый держит, не пускает, и каждый тянет к себе... Самодержец! Какой он самодержец... Истинно холоп холопей своих! И вертят они им, как хотят. И поп вертит, и Макарий митрополит вертит, и Дума ближняя противится, и Собор упрямится. А там еще и вся земля: и воеводы, и приказные люди, и черный народ! И все норовят жить самовластно, по воле и скудному разуму своему, будто и нет над ними ни Бога, ни царя, ни заботы государственной, а есть лишь своя нужда да ближняя корысть.

Одно ему, сироте, спасение! Одно прибежище душе его измученной, истерзанной — царица его. Настенька, Настенька, свет мой, голубка моя, ангел мой и утешение мое! Только тебе и можно голову положить на колени, только ты и поймешь, и пожалеешь, и укрепишь меня, убогого, в тоске и изнеможении моем...

Тяжка, горька доля царская! Но не легче и доля духовного наставника его. Слишком многое на себя взял. И чем выше вознесся он, тем страшнее будет падение его. Много их было, таких, как он, и в древних царствах библейских, и в Риме, и в Византии, да и в Русской земле. Много их было, безродных баловней удачи, вершителей судеб людских, — а где и как кончали они свои дни? Хорошо, если в опале да в ссылке. Но чаще всего иной им был конец — под топором либо в петле. Скоро, скоро подрастет твой питомец, отче Сильвестр! Скоро встанет он на ноги свои — и страшной будет поступь его! И тогда помогай тебе Бог, поп... А сколько еще не сделано в Русской земле! Сколько еще даже и не начато! Сколько еще замыслов благих и мыслей светлых у него в голове. И все то на пользу державе Российской. И все то прахом пойдет в тот же самый день, как прогонит его царь. А что он, духовный наставник царский, Богу потом скажет? Как оправдается он перед Ним в бессилии и неумении своем? В том, что так и не сумел он, жалкий поп, распорядиться той властию духовной над царем, что даровал ему Господь?

Ах, зачем, зачем его во все это занесло? Нет — домой! Скорее домой, к домашним своим, к молитве вечерней, в ту крохотную комнатеночку, к книгам и писаниям его... Скорее домой! Ибо только там, дома, в тишине, среди родных и близких, и может он, усталый пленник судьбы своей, набраться сил и крепости душевной, чтобы и дальше безропотно нести тот крест, что взвалила на него жизнь...

Бежал, колыхался поповский возок по московским ухабам, то пропадая в сугробах, то вновь выныривая на Божий свет. Скользили и разъезжались полозья его по укатанной санной колее, поскрипывала на морозе тугая упряжь, отфыркивалась, тряся и мотая кудлатой головой, заиндевелая лошадка, соскучившаяся долгим ожиданием там, под царевым крыльцом. Москва уже спала. И за Неглинной, и в Чертолье, и в глухих извилистых переулках близ Зачатьевского монастыря все ворота были на запоре. И лишь редкий стук колотушки, да собачий лай, да мерцающий слабенький огонек где-нибудь в оконце под самой крышей говорили о том, что и в этом безмолвии тоже таилась и теплилась какая-то своя, спрятанная от посторонних глаз и не известная никому жизнь.

Полно, да так ли уж и не известна была она, эта жизнь? Тем более ему, кому пришлось на своем веку стольких исповедовать, стольких утешать, стольким отпускать их грехи в их последний час... Всегда и везде и во всякие времена жили люди так, как живут они и сейчас там, за этими заборами и наглухо закрытыми ставнями: в болезнях, и трудах, и скорбях, не зная и не понимая ничего от рождения своего и до гробовой доски. И почему так трудна, так бестолкова и безысходна их жизнь — спрашивать надо не у них. А у Того, кто создал этот мир.

А как о том спросишь у Него? И как достучаться, докричаться до Него, чтобы Он услышал тебя?

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Как ни хотелось любимцу царскому Алексею Федоровичу Адашеву избежать шума и торжеств по случаю рождения первенца своего, а не удалось. И с отцом Сильвестром сговорился, чтобы крестить наследника не в Кремле, а в маленькой домовой церкви в усадьбе Адашевых на Арбате. И в восприемниках просил быть брата своего Данилу и тихую, робкую жену его, что сама лишь недавно родила, тоже сына. И гостей решено было не звать, отпраздновать сей день лишь в кругу домашних своих, по-семейному, без всяких пышностей и затей.

Да прознали про то царь и благоверная царица его Анастасия Романовна! И вот уже торжественно несут слуги царские в дом Адашевых серебряную купель — дар царя новорожденному крестнику своему, а за ней ларец с ожерельем дивного жемчуга заморского — дар матери его, а за ним короб лубяной, а в нем сорок соболей — то отцу младенца, а за ними и иной всякой рухляди великое множество — то поминки царя окольничему своему Федору Адашеву, и сыну его Даниле, и всей Адашевой родне.

И вот уже бежит, толкается, суетится по двору дворцовый служилый люд, расстилая по снегу от самых от тесовых ворот до высокого крыльца шемаханские ковры, чтобы проложить дорогу царственной чете. И вот уже стучат ножи в поварне, и мечутся слуги, и ключники, и иные прочие домочадцы по всему дому Адашевых, готовя пиршественный стол, и душа

у них обмирает от страха, и гордятся они честию великою, коей удостоил царь — государь московский верного слугу своего и его семью. И уже перекрыла стража царская все пути и проезды на Арбат и на Сивцев Вражек, и уже стоят по всем углам и закоулкам и на самой усадьбе Адашевых государевы стрельцы — кто с пищалью, кто с бердышом, а кто и во всеоружии на коне.

Одно только и удалось Алексею Федоровичу: царь приехал сам-третей с царицею своею да с князем Дмитрием Курлятевым-Оболенским, ближним думцем государевым и большим приятелем всей Адашевой семьи. Уважил государь своего постельничего: хоть и любил он сам, властелин державный, пиры раздольные, и песни, и пляски, и скоморохов, и застольный шум, а едучи к Адашевым, приказал он всему своему шутейному воинству и всем ведомым бражникам дворцовым, по всякий день готовым к гульбе, только позови, оставаться по домам да по избам своим и Адашевым не докучать. А может, и не своим умом дошел он до того, может, и Анастасия Романовна присоветовала то ему.

Тих и задумчив был царь, и тихо стоял он во время службы в маленькой церквушечке, окруженный Адашевой родней, и с улыбкой милостивой и кроткой принял он от отца Сильвестра на руки свои новорожденного младенца, с любопытством глядя на его сморщенное, крошечное личико, зашедшееся в крике. И тихо стояла рядом с ним государыня Анастасия Романовна, и не веселие светилось на дивном лице ее, а грусть. Кто знает, может, и не о Боге, не о таинстве святого крещения думала она, глядя, как пухлые руки отца Сильвестра опускают крохотное розовое тельце ее крестника в серебряную купель. А о том, что неполной до сих пор была любовь ее, неполным счастие ее женское. Пятый год уж пошел браку их с царем Иваном, а наследника трону российскому все нет и нет.

А окрестив младенца, уселись гости и хозяева в большой светлой горнице за накрытый стол. И пировали, и веселились, и беседовали промеж себя о многих больших и малых делах, и шутили, и хвалили хлебосольную хозяюшку за усердие и доброту, и желали всему дому Адашевых добра.

Постарался верный окольничий царский, постарались молодые сыновья его! Чего только не было за тем столом: и вина тонкие заморские, и стерлядь, и белужий бок, и пироги с вязигой, и фазаны, и жареные лебеди, и засахаренные груши, и изюм, и иные многие сладости и печенья, так и таявшие во рту. А первую чашу выпили во здравие государя-царя, а вторую во здравие государыни-царицы, а третью за новорожденного крестника царского, Андреем нареченного, а потом и за родителей его, а потом уж, бессчетно, за здоровье и благополучие всех, кто близок дому сему, и за славу рода Адашевых, и за все православное христианство, и за величие державы Московской, да хранит ее Господь.

А последнюю чашу царь Иван поднял за учителя и наставника своего, за отца Сильвестра, встав из-за стола и поклонившись ему в пояс:

— Прими от меня, отче, низкий поклон за науку твою и за попечение твое! И живи, и здравствуй, святой отец, многие лета, и Бога моли за нас, грешных, как молил ты в дни юности и горького сиротства моего. Знаю я о тяжкой доле моей, и знаю я, что одному мне с ней не совладать. Нуждаюсь я в помощи твоей, святой отец. Нуждаюсь я в узде твоей крепкой ради непотребств моих и неистовых моих нравов. Не предавай меня, отче Сильвестр! Не предавай и ты, Алексей, и ты, Данила, и ты, князь Дмитрий... Не предавайте меня! И щедрой будет плата моя за ваше добро...

Странны были сии слова царя! И странно было слышать их в самый, казалось бы, разгар того мирного веселья, что так счастливо и долго царило за этим столом. Тень тревоги и недоумения пробежала по лицам присутствовавших. И не у одного из них в мгновенно замершем от испуга сердце тяжело шевельнулось предчувствие какой-то неясной, но грозной беды.

Но не грозны, а светлы и милостивы были очи царя, когда осушил он свой последний заздравный кубок. И улыбался он, и улыбалась царица его. А когда пожелал он, царь-государь великий, посмотреть дом своего любимца, посмотреть собрание его книжное, известное многим на Москве, смятение в сердцах притихших было сотрапезников царя и вовсе улеглось.

Было что показать хозяевам дома сего! Было чем погордиться им перед людьми. Много диковин и редкостей заморских привез домой окольничий Федор Адашев, когда ходил он послом к турецкому султану при государыне Елене Васильевне Глинской — матери царя. Привез тогда он, Федор, многих мраморных богов языческих из некогда славных богатством и великолепием своим греческих городов; и драгоценную утварь церковную, купленную им на шумных константинопольских базарах или в пришедших в запустение древних православных монастырях; и узорочье богатое; и иконы древнего письма — и Христа-Пантократора, и Богоматерь-Одигитрию, и Николу Мирликийского, и иных многих угодников и святых; и невиданной красоты ларцы индийские из слоновой кости; и кубки дивного венецейского стекла; и ятаганы турецкие, и сабли дамасские, и шлемы рыцарские, и арбалеты, и пищали малые, ручные, с искусной серебряной насечкой по бокам. И все то было хранимо в доме Адашевых с любовью и великим бережением. И всему тому немало дивились царь и царица его, и хвалили хозяев, и радовались за них.

А всего больше дивился царь, с малолетства своего любивший и почитавший премудрость книжную, богатствам библиотеки Адашевых, что Алексей, любимец его, начал собирать еще в бытность свою вместе с отцом в посольстве в Константинополе. Каких только свитков, каких только книг редчайших не было в той библиотеке! Божественных и светских, на пожелтевшем пергамене или на украшенной затейливой вязью и разводами бумаге, в роскошных сафьяновых переплетах или заботливо перевязанных и перетянутых тесьмой, на славянском языке, на греческом, по-латыни, на немецком, на французском, по-польски... Много сокровенных дум, много тайн и мечтаний человеческих вместил в себя дом Адашевых! Много горя людского, и надежд, и опыта печального хранилось на тех полках и в сундуках. Так много, что никому, наверное, из смертных не по силам было бы все то знать. А может быть, и не стоило знать.

Долго, с любовью и волнением, перебирал царь длинными своими пальцами все эти богатства, и долго вглядывался он в диковинные чужие письмена, пытаясь угадать их смысл. Тихо, сдерживая дыхание, стояли вокруг него и гости, и хозяева, опасаясь нарушить неведомое им течение державной мысли. Наконец царь поставил на место какой-то очередной фолиант и с сокрушением вздохнул:

— Нет, Алексей Федорович! Ты богаче меня. Такого, что у тебя здесь, у меня в моей казне нет.

— Бога гневишь, государь. Я знаю твою библиотеку. Ни одно собрание книжное во всей Москве не может сравниться с ней... Только у тебя все больше Божественное. А у меня и то, и то.

— Ладно! Божественное, Алексей — не твоя печаль. На то есть вот он, богомолец наш, отец Сильвестр. А ты... А ты дал бы мне что-нибудь другое, а? О мирском, об иных землях, об обычаях их — что там люди думают, как живут... Не все же мне, грешному, Богу молиться да Четьи-Минеи читать... Вот это, к примеру — что?

— Доктор Эразмус. Из Роттердама. «Похвала глупости».

— О чем?

— О том, что от века и поныне лишь глупость людская правит миром, государь.

— А! Это, значит, про нас. Про тебя, да про меня, да про народ наш православный, Богом спасаемый... Нет, этого нам не надобно. Этого и так полным-полно на Руси... Ну, а это что?

— Николо Макьявелли, державный царь. Ныне знаменитый во всех странах вельможа флорентийский. А книга его именуется «Государь». Наставление государю своему, великому князю флорентийскому, как и лучших людей, и черный народ в узде держать.

— Ну, и как же их держать?

— Умом, и силою, и хитростию, и неверием никому. А главное, пишет он, коли цель твоя благая — все средства хороши.

— Все?

— Он рассуждает — все.

— А ты?

— Я думаю — не все.

— Не все? А какие же, по-твоему, не хороши?

— О том, государь, в Писании все сказано: что хорошо, что можно человеку — а что нет.

— В Писании, говоришь? Ты прав! Много о чем сказано в Писании... А эта книга, — она по-латыни?

— По-латыни, государь.

— Сумеешь перевести?

— Если и сумею, то плохо, государь. Больно затейливо написано. А есть у меня один толмач, государь, сильно грамотный — он тут, при доме моем обретается. Коли будет на то твоя царская воля — он переведет. И хорошо переведет.

— Твой холоп?

— Нет, государь, он вольный человек. По своей охоте да за жалованье помогает мне... У меня ведь холопей нет, государь. Мои люди — люди вольные. По своей охоте в доме моем живут. Я кабальных своих давно на волю отпустил.

— Всех?

— Всех, государь.

— Всех?! И я об этом не знаю ничего? Что же ты молчал?

— Не гневайся, государь! Прости мне, слуге твоему, невольную вину мою. То не по умыслу, а от небрежения житейского... Не знал я, что это удивит тебя, государь. Ведь уже многие на Москве живут таким обычаем. И давно живут...

— Алексей не один такой, великий государь, — вступился за хозяина дома Сильвестр. — И я своих холопей давно на волю отпустил. И князь Дмитрий, я знаю, отпустил. И другие такие есть...

— И ты? И князь Дмитрий? И другие? И я по сю пору не знаю ничего?

— Запамятовал ты, видно, государь, — не сдавался поп. — Я как-то докладывал тебе. И в «Домострое» я про то тебе писал...

— Да вы что, сговорились?! Князь Дмитрий! А ты что молчишь?

Дороден был князь Курлятев-Оболенский и горд древним происхождением своим от славного в веках государя литовского Гедимина. И было время, когда не склонял он головы ни перед кем, коли знал за собой правду. Да помяла жизнь и его: еле уцелел князь в смутах дворцовых, что раздирали боярство московское в малолетство Ивана-царя. И лишь случаем да, видать, заступничеством святого покровителя своего Дмитрия Солунского спасся он от ярости мятежной толпы во дни падения Глинских. И долго не было ему потом веры от царя, и всечасно молил он теперь Бога за вновь обретенную милость царскую и за новое возвышение свое. Сжалось сердце княжье под взглядом царя, и мелькнул страх в глазах его, спрятанных под кустистыми бровями. Но пересилил князь себя.

— И у меня кабальных холопей нет, государь. Только вольных и держу.

— Так. Значит, и ты князь. И вы, Адашевы. И ты, отче Сильвестр... А почему?

— Так лучше, государь. И по-Божески, и по-человечески, — ответил за всех Алексей Адашев. — Расходу меньше. А усердия от вольного человека больше.

— А в деревнях твоих?

— А в деревнях оброк.

— И то вам всем выгоднее? Так? Так я понимаю тебя?

— Так, государь.

— И что же: и на конюшне у тебя, и в кузне, и в домашней работе, и в сторожах — все вольные?

— Все вольные, государь.

— Занятно! Занятно, Алексей Федорович... Ну что ж, не прогневайся тогда за любопытство мое. Веди нас, показывай, какая у тебя тут жизнь. Может, и я, убогий, что-нибудь нужное в хозяйстве моем сведую тут от тебя... А книгу ту латинскую смотри, Алексей, не забудь! Как уговорились — переведи.

Всю усадьбу постельничего и казначея своего исходил в тот день царь! Все облазил, всюду побывал. И на конюшне был, и в амбарах, и в работной избе, и в кузне, и в саду, и на погребах. А везде видел лишь одно: порядок, и бережение, и чистоту. И люди Адашевых были все сыты и здоровы, и одеты справно, и взгляд их был весел, и лица приветливы, не измучены. И премного доволен остался царь-государь тем, что видели пресветлые его царские очи. И довольной осталась царица его.

А когда уже возвращались они к возку своему царскому, заметил государь чуть в стороне от амбаров и клетей дворовых одно приземистое строеньице, по самую, казалось, крышу вросшее в снежные сугробы. Да и не заметил бы он его, наверное, кабы не мелькнуло там в дверях чье-то лицо и не спряталось тотчас же, едва увидев на дворе гостей.

— А там у тебя что? — спросил царь своего любимца.

— Сейчас мертвецкая, государь, — поколебавшись мгновение и потупив слегка взор, ответил Адашев.

— То есть как?

— То холодная изба, государь. По летним надобностям. А сейчас там мертвецы лежат, целая семья. Угорели третьего дня. Да ради такого праздника, государь, не стали их вчера хоронить. Завтра отпоем.

— А в дверях там кто был?

— Наверное, дьячок. Псалмы читает над усопшими...

— А... Ну, нет, туда мы не пойдем... Что ж, благодарствуй Алексей Федорович! И смотри, береги крестника нашего! Придет время — спрошу я тебя о нем...

Уехал поезд царский. Уехал и князь Дмитрий в своем возке. А как скрылись из глаз царские сани, скрылись последние всадники из охранной сотни, всегда и повсюду сопровождавшие царя, — снялась и стража дворцовая, истомившаяся и иззябшая на морозе.

Опустел двор Адашевых. Один лишь святой отец задержался еще в гостях. Не любил благовещенский поп ни крика, ни гиканья, ни взмахов плетей по головам и спинам почтенных жителей московских, а без этого не обходился ни один выезд царский, ни летом, ни зимой. Тесна была столица российская! Вот уляжется суета, вернется жизнь на площадях и улицах ее в обычную свою колею — вот тогда, помолясь, тронется и он, грешный, благо и некуда теперь ему, смиренному служителю Господа, спешить. Ибо, окрестив дитя, исполнил он уже сегодня долг свой пред Богом и людьми, и не грех ему теперь, годов его преклонных ради и отдохнуть.

— Алексей, — вдруг остановился поп, когда возвращались они вместе с хозяином от ворот к крыльцу. — Нет, не мертвецы у тебя там, в том строеньице. Там что-то иное у тебя... Солгал?

— Догадался, отче? — поднял на него глаза Адашев. — Многое же ты видишь, отче Сильвестр. Иной раз и то, что не надо бы видеть тебе... Да, святой отец. Солгал. Ради страха солгал. Но не за себя — за царя...

— Страх? Какой страх, Алексей? Что там у тебя?

— Что? А хочешь сам убедиться, отче Сильвестр, что? Коли не испугаешься — пойдем, покажу...

Не сразу подалась тяжелая, обитая войлоком дверь, когда толкнулись они в выстуженные морозом сени этого приземистого строеньица, где, по слову Адашева царю, обитали лишь мертвецы. И не сразу глаза и ноздри их привыкли к дымной полутьме, к тому прокисшему, застоявшемуся духу давно обжитого человеческого жилья, которым встретила вошедших большая, но об одно оконце горница, населенная, как оказалось, совсем не мертвецами, а людьми. А еще вернее — какими-то существами, похожими на людей.

Многое видел в жизни своей Сильвестр! Много болезней, и увечий, и ран, и горького убожества людского довелось ему встречать на своем веку. А такого не видал. По каким же грехам, за какие же такие дела и преступления, Господи, ввергнул Ты этих людей еще при жизни их земной в ад кромешный, в геенну огненную, в мучения безысходные, превышающие всякую меру страданий и несчастий человеческих?!

Кто они, эти люди? И откуда они? Тела скрючены, вместо лиц — какое-то месиво в страшных наростах, и провалах, и буграх, вместо рук — обрубки, вместо ног — у иного обмотанная в тряпье культя, а у иного и вовсе нет ничего... Лепра! Проказа гибельная! И лежачие, и ходячие, и сидячие, и дети есть, и глубокие старики, и женщины, не наружностью, а лишь одеянием своим похожие на женское свое естество... То-то прав был

Алексей, говоря царю о мертвецах! Истинно, истинно мертвецы еще при жизни своей!

И содрогнулся поп. И замерло сердце его, когда понял он, куда привел его постельничий царский. Вскинул поп тревожный, растерянный взгляд на своего провожатого, но ничего — ни испуга, ни отвращения — не увидел он на бледном лице его. Знать, давно уже привык Алексей Федорович к зрелищу сему, и давно уже не тяготило и не пугало оно его.

— Мир вам, убогие! Храни вас Господь, — сказал Адашев, перекрестившись на киот с крохотной неугасимой лампадкой в углу.

— Здравствуй, батюшка Алексей Федорович, здравствуй, кормилец наш! Спаси тебя Христос, — прошелестели по избе в ответ нестройные голоса.

Но никто не сдвинулся с места, не приблизился к ним, когда переступили они порог сей обители смерти. Лишь умолкло жужжание прялки под низеньким оконцем да оборвался мерный стук сапожного молотка, что зажал в беспалой, расщепленной в кости руке своей длинноволосый парень с вытекшим глазом, пристроившийся на полу. Да еще запнулся на полуслове дребезжащий старческий голос в углу под лампадой, что-то читавший вслух. Одна лишь девочка лет пяти с пока еще чистеньким, но, если вглядеться, уже тронутым болезнью личиком, улыбаясь и лопоча что-то свое, подбежала было к ним. Но рука Адашева даже не успела коснуться льняной ее головенки, как одна из женщин, видно, мать ее, оттащила девочку назад и усадила рядом с собой на скамью.

— А что Иван, старец праведный? — спросил Адашев. — Как он, жив еще? И в памяти ли?

— Жив, жив, боярин! Жив он, кормилец ты наш, — зазвучали голоса. — Он без тебя не умрет, он тебя ждет... Утром еще был в памяти. Вон он на полатях — может, спит, а может, так лежит...

И правда: в темном углу за печью, укрытый лоскутным одеялом, лежал и смотрел на них весь почерневший, ссохшийся старик. С головы на окостеневший лоб его свисала слипшаяся от пота седая прядь, в груди его что-то клокотало, беззубый, широко разинутый рот хватал и не мог ухватить воздух.

И вряд ли в могиле череп его как-нибудь отличался бы от того, чем была сейчас его голова. Болезнь обглодала старика до самых костей, не оставив ему ни носа, ни бровей, ни даже, казалось, кожи на щеках.

— Здравствуй, Иван, — сказал Адашев, склоняясь над стариком. — Узнаешь меня? Видишь, я попа тебе привел. Будет кому за тебя Бога молить.

— Спаси тебя Господь, боярин, — с трудом, задыхаясь, прохрипел ему в ответ старик. — Только поторопился ты... Я не сегодня, я завтра помру... Завтра, как солнышко сядет, так и помру...

— Откуда ты знаешь, дед? На все воля Божья. И никому ее не дано знать.

— Знаю, боярин. Знаю... Я долго жил... Я много такого знаю, чего не знаешь ты...

— Ну, а коли знаешь, тогда самое время и о душе подумать. Исповедуешься, причастишься, душу свою очистишь от греха... Далеко ведь ты собрался, дед. И нелегок туда путь...

— Мне не в чем исповедоваться, боярин. Нет на мне греха...

— Так не бывает, дед. Все мы грешны перед Господом нашим. Все мы в ответе перед Ним.

— Вы — да... И ты, боярин, грешен. И поп, что пришел с тобой, тоже грешен. А на мне нет греха... А за что мне кара сия, болезнь моя черная, и за что страдания мои, и за что покарал Он малых сих, безвинных перед Ним, что приютил ты, боярин, у себя... То я у Него спрошу. А не Он у меня...

— Прими святое причастие, сын мой, — не выдержав, вмешался хранивший дотоле молчание Сильвестр. — Отложи гордыню свою. Отложи гнев и мятеж в сердце твоем, и словеса богохульные твои. Ибо не дано нам знать промысел Его, и не нам судить о Нем... Смягчись, гордый человек! И забудь об обидах твоих. Со смирением и покаянием должно встретить всякому христианину конец свой в юдоли его земной. И воздастся тогда ему по вере его...

— Нет, святой отец... Ступай себе с Богом. Не утруждай себя... Не надо мне причастия церковного. И не тебе, поп, понять меня, не тебе быть заступником моим пред Господом нашим Исусом Христом... Вон Евфимий, старец убогий, там сидит. Он из наших. Он меня и причастит...

Старик замолчал. Молчали и сожители его. И долго длилось то молчание, нарушаемое лишь потрескиванием фитиля в лампадке да тяжкими, от вздоха до вздоха, хрипами у старика в груди.

— Ну, раз так, Иван Егорыч, значит, так тому и быть, — сказал наконец Адашев. — Ты вольный человек. И не мы, а Он тебе судья... Скажи только: покойно тебе? Боли не мучают? Может, вина прислать для облегчения или иного чего?

— Спасибо, боярин, спасибо, милостивец... Не надо вина. Ничего мне теперь не надо... Ноги, ноги мои горят! Ноги жжет огонь дьявольский... Ах, в воду бы их... Вели, боярин, воды ушат принесть... Может, хоть полегчает чуть-чуть...

Кивком головы Адашев приказал сидевшим в молчании на лавке бабам принести воды. Когда же они втащили из сеней большой ушат с плавающими в нем поверху льдинками и поставили его у полатей, Адашев скинул с себя кафтан, закатал по локоть рукава и, чуть приподняв невесомое тело старика, привалил его к стене. Затем, опустив исхудавшие, в язвах, со съеденными болезнью ступнями ноги его в ушат, он вытащил из кармана какую-то тряпицу, смочил ее и осторожно, двигая рукою сверху от колен к голеням, стал обтирать их, стараясь как можно меньше нажимать на лопнувшую в иных местах кожу. Движения его были ловки, сноровисты — видно, это все было ему не впервой.

Пока Адашев делал свое дело, глаза старика были закрыты. Сведенные судорогой черты лица его смягчились, дыхание выровнялось — похоже, что огонь в ногах от студеной воды и вправду начал стихать. Один лишь раз, когда Алексей все же чуть сильнее, чем следовало, нажал на какое-то особо болезненное место, старик застонал, но сразу же смолк.

Наконец Алексей вытер ноги старика насухо и, вновь приподняв его, уложил на спину на постель. Старик молчал — казалось, он начал засыпать. Но когда Адашев уже было повернулся, чтобы уходить, он застонал опять:

— Боярин...

— Что, Иван Егорыч? Или все еще жжет?

— Нет, не жжет. Отпустило... Спаси тебя Христос, благодетель ты наш... Завтра... Завтра, боярин, приходи. Перед заходом солнца... Я тебе еще не все сказал. Я тебе последние свои слова еще не сказал... Вижу я жизнь твою, боярин! Далеко вижу... Многие люди московские будут Бога молить за тебя, за правду и милосердие твое. Но тяжек твой крест. И велика жертва твоя... А я... А я знаю, боярин, как обойти тебе твою судьбу. Пусть и под самый твой конец. Не она тебя сломит, а ты ее. Коли послушаешь меня... Приходи завтра, боярин. Как солнце начнет садиться. Я хочу проститься с тобой... А попа с собой больше не бери...

Не сразу потом пришел благовещенский протопоп в себя от виденного, и долго еще сидели они в молчании в доме Адашевых с Алексеем Федоровичем вдвоем. Одно что и сделал постельничий царский, возвратясь из смертной той избы, — вымыл руки и ополоснул лицо свое теплой водой из кувшина, что принесла ему одна из сенных девушек. Да еще переменил кафтан свой на легкую душегреечку, подбитую собольим мехом.

— Не боишься, Алексей? — спросил, наконец, Сильвестр. — А если она прилипчива, немочь та черная?

— Боюсь, святой отец. Как не бояться? Оттого и царя отговорил туда ходить. Правда, сказывали мне знающие люди еще в Царьграде, что-де редко когда проказа пристает к лекарям, пользующим ее... Да кто ж то может доподлинно знать?

— А коли не знаешь, чего ж судьбу испытываешь? Ты же не один, у тебя семья.

— Все мы, отче, под Богом ходим. И сам ты знаешь: ни един волос не упадет с головы человека без воли Его.

— Все так, сын мой! Знаю. Не упадет... Да зачем тебе здесь-то, у себя на дворе страсти такие устраивать? Ну, деньгами бы пожертвовал, приют бы где устроил, коли уж душа так за них болит... А самому в это

вязаться? Ноги им обмывать? Ох, боюсь, Алексей, что то гордыня твоя великая! Выше меры людской хочешь стать, выше всех нас, грешных, вознестись... Так? Или я не прав?

— Нет, отче. Не прав... То не гордыня, то иное. А что — и сам не сумею тебе сказать... Кабы не случай, ведь и ты бы, отче, про строеньице то не прознал... Нет, то дело между мною и Богом, а не между мною и людьми...

А за служение мое убогим тем кому-кому, а не тебе бы, отче, мне пенять! Сам-то ты как живешь? Скольких людей ты из рабства выкупил, скольких от смерти голодной спас, скольких пригрел, скольких приютил? Так что ж ты удивляешься, что я десяток-другой прокаженных у себя на дворе прячу? Совесть и у меня, отец святой, есть. Я ведь тоже Бога боюсь.

— Я, Алексей, другое дело! Я человек Божий. На мне сан. И что мне Господь не простит — тебе простит... Ты в миру живешь. Молись и кайся, греши и снова кайся — какой еще с тебя спрос?

— Какой, отче? Такой же, какой и с тебя. Только ты с Господом напрямую говоришь, а мне еще и с самим собой надо договориться. А это, сам знаешь, иной раз потруднее, чем с Ним...

Лукавил благовещенский протопоп! Конечно же, лукавил он, мудрый змий, испытывая юного друга своего. Долго жил поп на свете, и много сил душевных, много слез и упований потратил он в своей жизни зазря, пытаясь достучаться до людских сердец. Оттого-то и детей своих духовных учил поп все больше не прямо, а как бы заходя со стороны и взывая более к житейской выгоде их, чем к искре Божией в окаменевших их сердцах.

И как же было не радоваться ему, старику, ему, священнослужителю вечностоящей церкви Христовой, что не за монастырской стеной и не в потаенном лесном скиту, а посреди моря житейского, в самом средоточии людских страстей и пороков еще теплились, оказывается, милосердие и сострадание к ближнему. Истинно, истинно: одним праведником деревня держится, а одним мучеником — весь род людской! И не погибла еще Русская земля, коли жива еще совесть в ней!

Храни тебя Господь, Алексей Федорович! И да пребудут вечно с тобой чистота твоя, и целомудрие душевное, и щедрость, и снисхождение к малым сим. И доколе крепка вера в сердце твоем, и доколе видит взор твой горе человеческое и небезразлично оно тебе — власть твоя людям не страшна!

...Уже стемнело на дворе. Уже отзвонили вечерню у Николы на Песках и по другим арбатским церквам. А двое ближних советников царских, правивших державой Российской «заодин», все никак не могли подняться из-за стола... Нелегка служба царская! Все дела да дела! Да заботы, да сиденье — то у царя в Верху, то в Думе, то в Челобитной избе у Чудова монастыря, то по приказам царским. А так посидеть, потолковать вдвоем, дать отдохнуть душе — все недосуг да недосуг.

— А если боюсь я, отче, прокаженных тех, и, бывает, сам не рад затее моей, а все-таки иду к ним? Как считаешь, это ложь? А коли ложь, то перед кем: перед Богом или перед собой? — спрашивал Алексей.

— Ложь, сын мой, — отвечал ему поп. — И перед Богом ложь, и перед собой. Но не перед людьми! То святая ложь, Алексей. И без этой лжи миру бы не стоять, и людям друг с другом не жить, а давно бы погибнуть всем по грехам своим.

— А как ты думаешь, отче, было ли святое Евангелие словом Божиим лишь к избранникам Его? Или и к простому всенародству, неповинному в тяжкой жизни и печалях своих земных? И может ли когда-нибудь царство и жизнь человеческая, обыденная, устроиться по заповедям евангельским или то одна лишь мечта? — спрашивал Алексей.

— Может, сын мой! Верю, что может. И ты, я знаю, тоже веришь, только страшишься сомнений своих. А ты не страшись — без них тоже нельзя, — отвечал ему благовещенский протопоп, глядя с улыбкой ласковой и кроткой на юность его ..

А за окном, за высокой оградой усадьбы Адашевых, спала Москва. И не было ей никакого дела до того, кто там, какие там мудрецы пытались угадать ее судьбу И не знала она да и не хотела знать, что кто-то, измученный собственной совестью и состраданием к людям, взывает к Богу, прося благословения и милости Его всему всенародному христианству: и черным людям, и лучшим, и старым, и малым, и вдовам убогим, и последнему бродяге, заночевавшему где-нибудь в поле, в чужом стогу.

И может быть — кто знает? — в самом неведении том и было ее счастие. Много обещаний, много заверений жарких и искренних слышала Москва на своем веку. И давно уже не верила она никому. А жила, как живется: не заглядывая в завтра и не поднимая головы от земли — в суете, да в толкотне, да в злобе и заботах сегодняшнего дня.

А может быть, в неведении и неверии том и была ее погибель.

БОЯРСКИЙ МЯТЕЖ

Свершилась, наконец, воля Божья! Свершилось то, чего ни много, ни мало — три столетия ждала Русская земля. Пала Казань.

От века в век, из поколения в поколение грабили и пустошали поганые святую Русь, и уводили в плен великое множество жителей ее, да не из одних лишь украинных земель, а бывало, что и из-под самых стен Москвы. С незапамятных времен и в городах, и в селах стращали русские люди детей своих злым татарином, что, аки тать, крадется в ночи. А стращая, молились всем святым, чтобы оно и вправду не обернулось так на следующее же утро, ибо набег тех диких орд, и визг их, и крик, и свист безжалостных плетей ожидались повсюду в Русской земле во всякий день и во всякий час. И уж не чаяли люди московские, что придет, наконец, день, когда услышит Господь молитвы их... Ан день этот все-таки пришел!

Вся Москва от мала до велика высыпала 29 октября 1552 года встречать царя, возвращавшегося из Казанского похода. От самого села Тайнинского и от Яузы-реки вплоть до Сретенки, и до Лубянки, и до стен древнего Кремля стояли по обе стороны царского пути многотысячные толпы москвичей. Никогда прежде не видела Москва такого ликования народного. И никогда прежде не знала она столь восторженного единения всех обитателей ее в радости, и славе, и гордости за Отечество свое — и простого всенародства, и белого духовенства, и черного, и всех лучших людей.

«Дивен Бог творяй чюдеса!» Лишь Его, Всевышнего, промыслом, да счастием юного царя, да усердием воевод его отважных — Александра Горбатого-Шуйского, Михайлы Воротынского, Андрея Курбского, Василия Серебряного и иных преславных военоначальников, да еще трудами великими, и кровью, и мужеством, и страданием всего воинства российского погибла Казань. И не подняться больше ей, гнездилищу сил сатанинских, никогда — и ныне, и присно, и во веки веков!

Толкались, пересмеивались, переминались с ноги на ногу люди московские, горя нетерпением увидеть царя и славу его. И был в той толпе всякий человек соседу своему друг и брат, и позабыли люди в сей великий час и заботы свои, и вражду, и вечный страх перед жизнью и тайнами ее. И даже московские воры — и те отложили до времени дерзостный их промысел, страшась нарушить праздник в душе своей и опечалить ближнего своего. А буде кто в простой простоте своей шепнет на ухо соседу какую нелепицу, вроде того, что будто бы царь в осаде той казанской оказался робок и малодушен и все больше на коленях стоял перед иконами, а не татар поганых воевал, то и такого шептуна бездельного не хватали, не тащили по начальству, а лишь шикали да отмахивались от него: дескать, будет тебе зря пустое молоть, али Казань не взята? А коли кому мало и Казани в свидетельство милости Божией на нем, венценосце державном, так что ж тогда сказать про рождение долгожданного наследника его, царевича Димитрия, что всего две недели назад отметила колокольным звоном вся Москва?

А когда показался у стен Сретенского монастыря пышный поезд царский, повалился весь московский крещеный люд на колени, как один. И взревело, застонало, заголосило великое многоголосье народное. И мно-

гое множество простертых в самозабвенном восторге рук всплеснулось над толпой. И закружились, заметались над куполами и колокольнями московскими тучи трепещущих крылами своими голубей.

Блажен тот, кого сподобил Господь увидеть сей день вечной славы России, день великого торжества ее! Юн, и весел, и величествен был царь в золотых одеждах своих, восседавший на белом, как снег, скакуне. И печальны были лица царственных пленников его, что, окруженные толпой бритоголовых татарских мурз и князей, пешие следовали за ним. И блистали оружием, и доспехами воинскими, и дивной красотой горячих коней своих чиноначальники царские и верная стража его. И высоко над толпой развевались на ветру древние, омытые многою кровью христианской хоругви славных его полков. И не было видно конца длинной веренице повозок и телег, просевших под тяжестью золота, и серебра, и шелков, и кованых сундуков с иным разным добром, добытым воинством российским в том смертном бою.

А навстречу царю двигалась другая процессия — Макарий митрополит с иконой Владимирской Божьей Матери в трясущихся от старости и волнения руках, а за ним высоко вознесенный над головами людскими животворящий крест, а за ним архиепископы, и архимандриты, и игумены, и белое священство, и черноризцы смиренные из многочисленных московских монастырей. И возносились ввысь, к престолу Небесному, древние их хвалебные гимны и песнопения, и плакали, и крестились святые отцы, и возглашали осанну царю и всему боголюбивому православному воинству — спасителям и избавителям народа христианского от плена египетского и многовековых мук его.

А когда сошлися царь и митрополит, и принял царь святое пастырское благословение от возлюбленного отца своего духовного, и обнялись, и облобызали друг друга они, и возблагодарили Господа, и сказали склоненной ниц, замершей в благоговении толпе приветственные слова — пуще прежнего возликовали люди московские, воистину поверив, наконец, в долгожданное избавление свое. И много радостных слез было пролито в тот славный час на улицах и площадях Москвы, в толпе народной. И до самых врат Успенского собора в Кремле сопровождала царя громокипящая радость его счастливых подданных, и перекатывалась волна за волною по всему его царскому пути, и растекалась потом тихими, журчащими ручейками по московским улицам и переулкам — и по высоким боярским хоромам, и по домам купеческим, и по убогим избенкам черного народа, и по настежь открытым в тот день московским церквам.

Три дня пировала Москва! Три дня угощал, и чествовал, и бессчетно дарил царь в древних палатах кремлевских верных сподвижников своих. Много злата-серебра, много кубков фряжских, и оружия, и бархатов, и шуб собольих, и коней, и поместий обширных было роздано в те дни — и митрополиту, и всему священству российскому, и воеводам царским, и дворцовым чинам, и простым воинникам, кто ранен был или прославился в битвах тех яростных и страшных у неприступных казанских стен. А на четвертый день повелел царь великий заложить у Фроловских ворот кремлевских девятиглавый храм Покрова Пресвятыя Богородицы в ознаменование победы русского оружия над извечным врагом России — Казанской Ордой. И вновь собралась вся Москва на торжественный молебен в честь того дела великого и Богу угодного, и вновь на коленях благодарили Господа и царь, и митрополит, и все жители московские за неизреченную милость Его, и молили Его о даровании тишины, и покоя, и безопасной жизни державе Российской на вечные времена.

И дивился тогда, в те счастливые дни, народ московский, приученный к вечным смутам, и несчастиям, и нестроению людскому, сколь мирной и покойной могла быть жизнь. Ни врагов ниоткуда не видать, ни про мор и голод не слыхать, и не грабит никого никто, и в Пытошную избу не волочет, и привоз товару всякого отовсюду обильный во все дни. А люди смотрят весело, и в гости друг к другу ходят без опаски, и дети рождаются здоровые, и пьянство лютое, отчаянное поутихло, и смерть прибирает лишь тех, кто по старости и дряхлости своей давно уже ждет ее. И царь спокоен, и слуги его милостивы, и человека вроде как и не неволит никто.

Жить бы так и жить людям московским в богоспасаемом граде Москве вечно! В тишине, и любви, и трудах усердных, Бога славя да царя

своего благочестивого, и радуясь жизни, и не опасаясь ниоткуда себе беды... Да не дремлет Сатана! Не дремлют силы адовы: горше нет для него, для дьявола, зрелища, чем покой человеческий, и хитер он, и дерзостен, и изобретателен в кознях своих. А человек слаб — и духом и телом, и нет ему иной защиты от козней лукавого, от когтей его алчных, кроме молитвы смиренной к Господу. Да всегда ли она, молитва та, до Него дойдет?

И полугода не прошло сей жизни счастливой, как разразилась над Москвой новая беда.

Занедужил вдруг царь. То ли квасу испил после бани чересчур студеного, то ли сколдовали его злые колдуны, напустив из дальних урочищ лесных, из убежищ своих тайных порчу гибельную, то ли опоили его, самодержца Российского, свои же слуги каким-нибудь зельем заморским. А кто опоил, каким злодейским обычаем — попробуй то узнай.

Еще утром был он, венценосец державный, бодр и весел, и шутил с царицею своею, и таскал по комнатам дворцовым младенца-сына своего спеленутого, наследника своего долгожданного, смеясь и подбрасывая его на руках. А к вечеру слег. Да так слег, что пришлось звать к нему попа: горел царь, и задыхался, и стонал, и метался в горячке огненной по постели, то и дело теряя сознание и вновь приходя в себя.

Билась в слезах, и молилась, и ломала руки царица Анастасия Романовна, видя заведенные глаза, и оскаленный рот, и смертный пот на челе юного супруга своего. Толкались, суетились у царского одра насмерть перепуганные лекари дворцовые, то пуская ему кровь, то прикладывая ко лбу и к груди его холодные примочки, то пытаясь разжать его плотно стиснутые зубы и влить в них очередную ложку какого-то известного лишь им одним целебного снадобья. Вздыхали, качали бородами ближние бояре царские, братья царицы — Никита да Данила Романовичи, да Василий Михайлович Захарьины-Юрьевы, рассуждая вполголоса, откуда такая напасть и что еще надо было бы предпринять, чтобы отвести сию нежданно-негаданно свалившуюся на всех беду... А царь, очнувшись на мгновение и вновь проваливаясь во тьму, твердил одно: «Попа! Попа мне... Душу спасти...»

Послали за Сильвестром. Мужествен и тверд был духом своим наставник царский, и привык он всего ожидать от судьбы. Но и он дрогнул, и он замер, пораженный, увидев безжизненное тело царя, распростертое на постели, и осознав, что, похоже, и вправду кончается он, самодержец российский, в расцвете сил и юности своей. Трясущейся рукой перекрестил поп царя, прошептав что-то, не слышное никому, и понурил седую голову свою, дивясь неисповедимым путям Господним.

Долго стояли вкруг постели умирающего царя братья Захарьины и благовещенский протопоп. И долго длилось молчание их, нарушаемое лишь сдавленными рыданиями царицы Анастасии Романовны, в бессилии и изнеможении уткнувшей простоволосую голову свою в неподвижные колени царя. Наконец, государь открыл глаза:

— Худо мне, отче... Отхожу... Пришел мой час...

— Положись на Господа, царь... Ты молод, силы твои велики... Не должно, сын мой, никому из смертных терять надежды. Как пришла она, болезнь твоя нежданная, так и уйдет...

— Нет, святой отец. Знаю, не подняться мне уже... Лишь на то уповаю я, грешный, что есть еще время для меня принять схиму... Ионой... Ионой назовите меня тогда — слышишь, Сильвестр?

— Воля твоя, государь, закон. А мы все слуги твои.

— Но это еще не все, отче Сильвестр... Не могу я уйти, не устроив царство свое... Что в духовную записать? Кому власть, кому венец свой передать? Нуждаюсь в совете твоем, святой отец...

— На все воля царская твоя, государь. Как скажешь ты, так тому и быть.

— Не крутись, святой отец! Хотя бы перед концом моим близким, прошу тебя — не крутись... Сыну моему, младенцу сущему, и матери его, царице моей благоверной, блюдя обычай российский? Или брату моему возлюбленному, князю Владимиру Андреевичу, мужу зрелому и властному? Или еще что присоветуешь? А, Сильвестр?

— Не знаю я, государь... Не знаю. Поверь мне, убогому... Сам по-

суди: мыслимое ли то дело мне, смиренному служителю церкви Христовой, мешаться в такие великие дела? Как наставит тебя Господь — так и поступай...

— И вновь прошу, вновь молю тебя, отче: перестань петлять... Не крутись, не до того сейчас... Как быть мне, святой отец? С чем предстану я пред Господом моим? И какой ответ дам Ему в долге моем царском, в державе моей, Он же, благий, вручи мне ее?

— Иване, Иване... Сын мой духовный! Или не видишь ты, что не по силам мне, недостойному, ноша сия? Зачем понуждаешь меня? Зачем возлагаешь на меня бремя решений властных, не подобающих ни сану, ни худородству моему?

— Негоже говоришь, святой отец... Нехорошо говоришь... Или не ты был пастырь и наставник мой во всех делах моих, мало не со дня воцарения моего? А теперь? Бросаешь меня?

— Нет, государь! Нет! Коли так... Коли так, то дозволь мне тогда, смиренному, молитву сотворить здесь, при постеле твоей? Дозволь воззвать к Господу — может, просветит Он меня?

— Молись, отче. Молись. Я подожду... Бога зову в свидетели: без совета с тобой волю свою последнюю я не оглашу... И духовной моей не подпишу.

И упал благовещенский поп на колени пред лампадою, пред ликом Господа нашего Исуса Христа, что висел в углу царской опочивальни. И осенил себя размашистым крестным знамением, и воздел очи свои горе. А перекрестившись, уроннл поп многодумную голову свою на грудь, и прикрыл веки, и затих, погружаясь в сокровенные тайны своего сердца.

Молча, сдерживая дыхание, смотрели на него все, кто был в царской опочивальне — и братья Захарьины, и лекари дворцовые, и сама царица, привставшая в тревоге и смятении с постели умирающего супруга своего. Лишь один царь, казалось, был безразличен ко всему. Откинутая в изнеможении голова государя недвижно покоилась на подушках, и бессильны были длинные, за один лишь день до синевы исхудавшие руки его, вытянутые вдоль одеял, и лоб, и остро вздернутый кверху кадык его были мокры от пота. Но мутные глаза царя оставались раскрыты, и по легкому дрожанию их век можно было понять, что царь в памяти и тоже ждет, на что наставит верного богомольца его Господь.

Что мог сказать повелителю своему благовещенский протопоп? А вернее, что должен был он сказать? И какова она, воля Господа? И какова она, воля царя? А самое главное — как лучше будет оно для Русской земли, коли и вправду не сегодня-завтра призовет Всевышний питомца его пред светлые Свои очи?

Не готов был поп к такому испытанию. И не думал он никогда, что настанет в его жизни день, когда придется ему отвечать на столь великий и страшный вопрос. И застонал, и заметался поп в горькой тоске, качая седою своею головою и кладя один за другим земные поклоны до самых до дубовых половиц...

Что может хотеть царь? И что может быть в той духовной? Одно из двух. Либо престол российский наследует первенец царя царевич Димитрий, пеленочник малый и беспомощный, а правительницей при нем до совершеннолетия будет государева вдова, царица Анастасия Романовна. Либо передаст царь престол двоюродному брату своему князю Владимиру Андреевичу Старицкому, мужу славному и воинскою доблестью, и умом своим высоким, государственным, а царицею при нем будет мать его, богомольная княгиня Евфросинья. И сомнения нет, что царь хотел бы в согласии с московским обычаем оставить трон прямому наследнику своему. Но тут есть опасность для блага державы Российской. И опасность та воистину велика! Не Анастасия Романовна будет править, а лихие и алчные братья ее, бояре Захарьины. И вельможество российское, конечно же, не потерпит их над собой, и оттого будут на Руси опять несогласие в людях и мятеж. Но таких же бед и несчастий должно ожидать, коли царем станет Владимир Андреевич, только мятежной стороной тогда будут Захарьины, и вся их многочисленная родня, и все могущественные московские роды, близкие к ним. И как бы ни был достоин царского венца князь Старицкий, не миновать и при нем раздоров, и смуты, и великого нестроения в державе Российской. А что оно означает — не раз уже видели то люди московские. И не дай им Бог снова увидеть его.

«Господи, просвети! Господи, яви мне волю Свою! — молился поп. — А если не то и не то? А если Мономахов венец младенцу, а правителем при нем до прихода его в совершенные лета — государев брат? Вестимо, ни Захарьины тогда не будут сыты, ни Владимир Андреевич доволен... Но как же иначе избежать смуты, и шатания, и произвола многих сильных на Руси? Захарьины как были ближе всех к трону, так и останутся, и вся сила, и все богатства их будут при них, только править не будут. А Владимир Андреевич будет многие годы владеть и править самовластно и блюсти государство московское твердою рукой: светел он, князь, мыслию своею, и благочестив, и о благе державы всечасно радеет. Так неужто нельзя его уговорить не искать царского венца, обязав крестным целованием и строгой заповедью церковною хранить волю царя?.. Ах, перережут, перережут они, окаянные, друг друга! Перережут? Могут перерезать. А могут и нет. И если всем все растолковать, всех примирить и обязать святым крестным целованием жить друг с другом в согласии и любви — не может же быть, чтобы не поняли они, лучшие люди земли московской, в чем их долг, и в чем их спасение по Бозе и по совести своей?.. Но примет ли умирающий царь выбор сей разумный? А если не примет? А если последним мановением перста своего велит бросить его, попа бестолкового, его, слугу своего недогадливого, псарям? Господи, спаси! Господи, сохрани!»

Бледен был поп, когда поднялся он с колен. Но еще более того побледнели лица царицы и братьев ее, когда услышали они слова его дерзостные и поняли, что предлагает он.

— Предал, дедушка?! И мужа, и меня, и сына моего? А я так верила тебе! — только что и могла, всплеснув руками, вымолвить царица, пораженная таким неслыханным отступничеством. И кого?! Ближнего друга и покровителя духовного своего!

— Ты что, поп, рехнулся? Что ты несешь! Или перекупили тебя Старицкие? Или жизнь твоя надоела тебе? — стеной надвинулись на него, и зашумели, и затрясли кулаками братья Захарьины, горя негодованием против умысла сего коварного, что обрекал их на милость Старицкого князя и ведомой всем суровостью и властностью своею старухи — матери его.

И был крик, и была брань великая в царской опочивальне, у постели умирающего царя. Будто забыли братья царицыны, что близится, близится для царя час великого таинства Божия — смерти его безвозвратной здесь, на земле, и ухода его в жизнь вечную. И будто забыли они, что должно всякому христианину со смирением, и покаянием, и со вздохами печальными встречать приход ее, куда бы ни явилась она — в хижину убогую или в чертоги царские. И будто забыли они в гневе и злобе своей неистовой о присутствии главного лекаря дворцового и помощников его, коим не должно было знать ничего из великих тех дел, что вершатся у государя в Верху.

Тихо плакала в неутешном горе своем царица, прислонившись к смертному одру царственного супруга своего. И ругались, и грозились братья ее, требуя от попа отречения от его бездельных, изменнических слов. А поп упрямился, и возражал, и перечил им, пытаясь убедить могущественных своих противников, что все то будет во благо не только державе Российской, но и им же самим.

А царь... А царь молчал. Глаза его были закрыты, обострившиеся черты лица неподвижны, и можно было подумать, что сознание вновь покинуло его. Но нет, царь был в памяти и слышал все, что происходило у постели его.

Вся жизнь его недолгая, все печали, и радости, и несбывшиеся мечты промелькнули в те краткие мгновения перед ним, в лихорадочном, воспаленном болезнью его мозгу. И жаль ему было себя пронзительной, горькой жалостью, и не хотелось ему, юному, умирать, и сжималось сердце его в тоске и тревоге за младенца-сына и любимую жену свою. Что будет с ними, горемычными, когда покинет он их? И что будет с державой его, коли пресечется в ней прямой корень царский и прервется связь времен, и вместо твердого, освященного Богом и обычаем порядка опять воцарится в ней многомятежная воля народная, не знающая ни удержу, ни узды в ги-

бельных страстях своих?.. Господи! Почто Ты оставил меня? Почто отвратил лик Свой светлый от раба Своего? Неужто и вправду грехи мои выше меры Твоей? Помилуй мя, Господи! Помилуй и прости. Видно, и впрямь велика вина моя пред Тобою, коли попустил Ты быть раздорам, и дележу, и брани сей у одра моего, пока я еще жив.

— Зовите дьяка Ивана Висковатого... Духовную писать,— открыв глаза, прошептал, наконец, помертвелыми губами своими царь. И сразу смолкли возбужденные голоса споривших, и опять установилась в опочивальне царской тишина.— Да зовите князя Ивана Мстиславского и князя Владимира Воротынского — быть им душеприказчиками моими... И спасибо тебе, отче Сильвестр, за прямоту твою. Вижу, что ничего ты не утаил от меня, что было на душе твоей. Но... Но тебе, отче, советовать, а мне решать... А воля моя последняя царская такова, и вам всем, и всему вельможеству московскому, и всей державе Российской крест целовать на ней: трон наш царский, великими предками нашими нам завещанный, оставляем мы законному наследнику нашему царевичу Димитрию Иоанновичу. А государыне царице нашей Анастасии Романовне быть при нем правительницею, доколе не придет он, царь Димитрий, в совершенные лета. А вам всем, боярам и ближним людям нашим, наследника нашего и мать его оберегать, и слушаться во всем, и служить им прямо и бесхитростно, по всей правде, и душу, и живот свой положить за них, коли придет в том нужда... Да пошлите, не мешкая, за боярами и за всеми думными людьми, чтобы ехали тотчас же сюда, во дворец, крест целовать на воле моей. А ко кресту их приводить душеприказчикам моим, князю Ивану да князю Владимиру, а при них быть дьяку Ивану Висковатому с духовною моею. А сам я, немощи моей и близости смертного часа ради, выйти к ним не могу. Сил моих больше нет... Да не забудьте послать за князем Владимиром Андреевичем! Пусть и он целует крест наследнику моему, царевичу Димитрию... А теперь оставьте меня. Я устал...

Но и посылать ни за кем не надо было. Уже давно бояре, и епископы, и иные чиноначальники московские, прослышав, что умирает государь нежданною смертию, толпились в передних палатах дворца. Были тут и седые, старые слуги государевы, служившие еще отцу покойному его, и новые люди, возвысившиеся лишь в новые времена. Были и те, кого держал царь на отдалении от себя, и самые близкие к нему, делившие днями и ночами заботы и думы царские у него в Верху.

И всяк, кто бы ни был в час тот скорбный у дверей царской опочивальни, думал лишь об одном, забыв о делах и заботах своих: что происходит там, за этими дубовыми дверьми? Как он, что с ним, с государем великим? И неужто верен он, тот слух о близкой кончине царя, что с быстротой молнии, за полдня, разнесся сегодня по Москве?.. Вот отворились двери опочивальни, вот пробежал оттуда с безумными глазами еще один лекарь царский... Вот вынесли лохань с кровью — видно, жилы отворяли царю... А это Иван Висковатый, дьяк, с чернильницей и свитком прошел в опочивальню. Неужто духовную велено писать?.. А это братья царицыны все трое вышли. И поп Сильвестр с ними. И с князем Иваном Мстиславским, и с князем Владимиром Воротынским говорят... А это аналой зачем-то притащили, и Святое Писание, и распятие на нем... Так, значит, правда? Значит, ко кресту будут приводить? Новому царю присягать? А кто он — тот новый царь? Пеленочник малый или Владимир Андреевич-князь?

А когда огласил дьяк Иван Висковатый зычным голосом своим последнюю волю царскую, совсем замешались бояре и чины дворцовые, не зная, как им по той воле быть. Обычай, конечно, обычаем, да как присягать малому мимо старого? И что ждет их, лучших людей московских, и семьи их и вотчины, и должности, службою усердной добытые, коли присягнут они младенцу несмышленому, в пелена завернутому? А на деле — коварным и властолюбивым дядьям его? Ах ты, Господи... И откуда она, по каким грехам напасть сия негаданная? И что сулит царству Российскому, и вельможеству, и народу ее многострадальному эта новая беда?

И не успел дьяк Висковатый окончить чтение той духовной, как разгорелась в ближних людях царских вражда. Загудели голоса под сводами дворцовыми, замахали кулаками, затрясли бородами бояре, и схлестнулись в яростном споре и брани сосед с соседом и брат с братом, забыв в гневе своем про всякое благочиние и приличествующую месту и часу се-

му печальному тишину. Много горьких и злых слов, и укоризн, и обвинений в измене, в забвении долга и блага государственного прозвучало тогда в толпе взволнованных, взбудораженных государевых слуг, сгрудившихся у царских дверей. И много застежек затейливых и узорочья заморского поотрывали бояре друг у друга с кафтанов в горячке спора и возбуждения. И много досады учинили они умирающему царю, ибо даже тяжелые дубовые двери царской опочивальни не могли заглушить от него их крик.

А накричавшись вдоволь, разделились бояре и чины дворцовые надвое.

Одна, большая часть, пошла ко кресту, и целовала крест царевичу Димитрию, благословляя волю царскую и отдавая себя и детей своих на милость Бога и государя во всем. И был первым среди них набольший боярин и сродственник царский князь Иван Федорович Мстиславский, а за ним князь Владимир Иванович Воротынский, а за ним Иван Васильевич Шереметев, и Михайло Яковлевич Морозов, и трое братьев Захарьиных-Юрьевых, и Иван Федоров-Челяднин, и князь Дмитрий Палецкий, и иные многие бояре, и князья, и думные люди царские. А последним, соблюдая древний чин и порядок российский, подошел к кресту постельничий царский окольничий Алексей Федорович Адашев, не проронивший ни слова во всех спорах тех жарких — то ли по молодости и невысокому достоинству рода своего, то ли по иной какой причине, ведомой лишь ему.

А не пошли ко кресту тоже люди великие и в державе Российской известные. Не пошел гордый князь Владимир Андреевич Старицкий со всеми боярами своими, не желая служить пеленочнику малому и его родне. Ибо был князь государю двоюродный брат, и по древней старине российской, а не по обычаю князей московских, все права на престол были его, как старшего в царствующей семье. Не пошел князь Иван Михайлович Шуйский и князь Петр Щенятев не пошел, и князь Иван Турунтай-Пронский, и Семен Ростовский, и Дмитрий Оболенский-Немой, рассуждая, что негоже грудному младенцу быть царем, а царем должно быть князю Владимиру Андреевичу по чести и воинским доблестям его. Но что особо поразило многих — не пошел и Федор Григорьевич Адашев, отец любимца царского: этот-то почто заартачился? Али мало ему, худородному, милостей царских? Али мало ему чина боярского, что был обещан уже ему? Или так просто не пошел, спроста, по стариковской дурости своей?

Не удержался князь Владимир Воротынский, душеприказчик царский, коему велено было приводить вельможество московское к кресту, попрекнул злыми и непочтительными словами князя Владимира Андреевича в гордыне и мятеже его. И вскинулся Старицкий князь в ответ, побагровел от гнева, слыша такие укоризны дерзкие себе:

— Как смеешь ты, холоп, браниться со мной? Кто ты такой, чтобы распоряжаться здесь, у трона Российского?

— Смею! Смею, князь! — отвечал ему Воротынский.— Смею не только браниться, но и драться с тобой, коли придет нужда. То не прихоть, а долг мой, усердного слуги моих и твоих государей, Иоанна и Димитрия! И не я, а они повелевают тебе исполнить последнюю волю господина твоего... Не станешь целовать крест — пеняй, князь, на себя! И виноватых в судьбе своей потом уж не ищи.

И снова вспыхнули в древних палатах дворцовых брань и многоголосье великое — между теми, кто целовал крест царевичу Димитрию, и теми, кто целовать его не хотел. Гулко, страшно звучали за дверьми опочивальни ожесточенные, охрипшие от крика голоса спорящих. Словно вновь подкатилась к самому царскому порогу та волна мятежа и гнева народного, что столь памятна была царю со дней юности его. И не выдержал умирающий царь того крика, и, как бы ни был он немощен и слаб, повелел он, самодержец российский, позвать пред очи свои государевы главных зачинщиков смуты и неповиновения в людях своих — князя Владимира Андреевича, да князя Ивана Михайловича Шуйского, да старца того строптивого, отца постельничего царского Федора Григорьевича Адашева.

Печальное зрелище открылось им, когда ступили они, ослушники воли государевой, на порог царской опочивальни. И если бы не знал каждый из них царя со дней его младенческих, может, и не узнали бы они его — до того исхудал царь за недолгие часы болезни своей, до того истончилось,

и обострилось, и помертвело лицо его, и до того беспомощен и жалостен был он, венценосец державный, неподвижно простертый на одре своем среди скомканных подушек и одеял.

— Брат... Брат мой возлюбленный...,— задыхаясь, и тоскуя, и борясь со слабостью своею, прошептал, увидев их, государь.— Почто упрямишься? Почто предаешь и сына моего, и царицу мою, сестру твою? То грех великий, брат! И взыщется он на тебе...

— Нет, Иван,— отвечал ему с твердостью пышущий силой и здоровьем Старицкий князь, чья голова мало что не доставала до потолка царской опочивальни.— За державу Московскую болею. За нее страшусь. И младенцу бессловесному присягать не могу.

— Вижу, вижу, что ты задумал, брат! Трона моего ищешь? Сам державою моею владеть хочешь, мимо наследника моего? Бойся Всевышнего, брат!

— На все воля Божья, государь. А мне пеленочнику несмышленому не служить.

— Что ж... Бог тебе судья, брат. Он, Всевидящий, рассудит нас с тобой... Ну, а ты? А ты, князь Иван Михайлович? Ты, верный наш слуга, кому привык я доверять, как себе? Ты-то почто бунтуешь? Чем прогневили мы тебя?

— То не бунт, государь,— смутился славный честью и заслугами своими князь Шуйский, слыша не брань, не властный окрик себе от царя, а лишь жалостный человеческий стон.— Воля царская твоя для меня свята! И сам знаешь, никогда не перечил я ни матушке твоей покойной, ни тебе... А только невместно нам, Шуйским, присягу ту принимать от Мстиславских да Воротынских! Мы Рюриковичи, а они кто?

— Они душеприказчики мои, князь... А коли так, коли при них не хочешь — целуй крест при мне... Только всех других с собой не веди. Сил моих на то нет... Ну, а ты, Федор Григорьич? Ты, обласканный мною сверх всякой меры? Ты, отец ближайшего подручника моего? Ты-то как посмел?

— Посмел, государь! Посмел, потому что не гораздо учинил ты по воле своей! — затряс седою головою старый Адашев, не смиряясь, а лишь сильнее ожесточаясь на укоризненные те слова царя. Видно, уже прощался он, упрямый старик, с миром сим бренным, и не о выгоде житейской, а о правде вечной скорбела его душа.— Тебе, государь, и сыну твоему царевичу Димитрию усердствуем мы повиноваться во всем. Но не Захарьиным-Юрьевым! А ведь то они, не иные кто будут властвовать на Руси именем младенца бессловесного, коли и вправду призовет тебя Господь к Себе. А мы, сам знаешь, уже испили во дни малолетства твоего всю чашу бедствий от правления боярского, и алчности, и беззакония их. Не должно то опять повториться на Руси. Не должно! А по сему лучше было бы, если бы написал ты в духовной не только сына своего, наследника трона Российского, но и законного правителя при нем. А иного достойного правителя, кроме брата твоего, в государстве твоем нет...

— Ты, я вижу, Федор, как Сильвестр! Да не бывать тому! Нет на то воли моей... Есть закон, есть обычай земли Московской. Не воля людская, а Бог его блюдет. И не должно вам, гордецам, восставать на волю Его... Идите. Идите все... Думайте ночь... А завтра быть опять всем во дворце. Даю вам последний срок...

Далеко за полночь разъехались бояре, далеко за полночь опустел Большой царский дворец. Город уже спал. Но спали лишь те, кто далек был от волнений и страхов державных: чья возьмет, кому владеть престолом Российским — какая в том разница для них, в поте лица своего добывавших хлеб свой насущный? До Бога высоко, а до царя далеко! Кто бы ни сидел на троне, ни жизнь от этого не станет легче, ни болезней и горестей не будет меньше, ни радости ниоткуда не прибавится никому. Сколько их было, добрых и не добрых, умных и не умных, милостивых и не милостивых на царстве московском? И где они? А жизнь как шла своим чередом, так и идет.

Спала чернь. Но не спали лучшие люди московские. И мало что не до утра во многих теремах и хоромах боярских светились окна. Сидели хозяева тех хором, думали, охватив многодумные головы свои руками: что делать? К кому примкнуть, чтобы не промахнуться, не потерять ничего из того, что есть, а может быть, если повезет, то и приобрести?

А с утра закипела Москва! Заволновался народ, заспешил на Торг, и в Кремль, и ко дворам тех сановников царских, кто отказался вчера присягать грудному младенцу. У кого не было дел никаких, кто привык к праздному шатанию — а таких всегда полно было на Москве! — бросился, чуя поживу, туда, где, по слухам, уже начали зачинщики смуты дворцовой раздавать людям деньги, и даровое угощение, и вино, чтобы кричали они на царство князя Владимира Андреевича. А у кого они и были, какие дела, те тоже побросали их ради такого случая, стремясь не отстать от соседа и не упустить выгоды своей. Да и всегда было то в обычае жителей московских: уж коли бегут люди куда, значит, и тебе туда бежать.

Больше всего народу толпилось на Варварке, у хором князей Старицких. Сама старая княгиня Евфросинья раздавала там деньги и детям боярским, и стрельцам, и черным людям, при том случившимся, приговаривая: «Будя владеть нами Захарьиным! Хватит, нацарствовались они! Не допустите, православные, делу тому сбыться, чтобы быть на троне младенцу бессловесному мимо сына моего, законного государя вашего. А мы вас всех обещаем на том жаловать, и дарить, и державу нашу Московскую в великом бережении хранить...»

А в Кремле, на Соборной площади, и на Торгу возле Лобного места волновали народ князья Щенятев, да Турунтай-Пронский, да Оболенский-Немой. И они тоже подбивали людей московских кричать на царство князя Владимира Андреевича, говоря: «Лучше старому служить, чем малому! Не хотим раболепствовать перед Захарьиными! Не хотим ярма себе на шею! Погубят Россию они!»

И от того, от слов тех мятежных да денежных, да винных раздач, начала разгораться смута великая на Москве. И о том, конечно же, быстро сведали через доброхотов и слуг своих братья Захарьины-Юрьевы. И не преминули доложить про то царю.

Но если мятежные бояре в гордыне и ярости своей вышли прямо на площадь, в народ, то благовещенский протопоп предпочел действовать поиному. Первым делом бросился поп к другу своему, постельничему царскому, умоляя его употребить все влияние свое на царя. Но лишь грустно покачал ему в ответ головой Адашев:

— Нет, отче Сильвестр! Должно нам покориться воле Божьей. И как говорили римляне, пусть погибнет Рим, но восторжествует закон. А закон этот — царевич Димитрий и мать его! Не Старицкий князь! Не суетись, отче. Чему быть, того не миновать...

А от него побежал поп на Торг, на площадь, уговаривать бояр отстать от опасной и беззаконной своей затеи, а вместо того поддержать его, Сильвестрову, мысль. Но бояре не стали даже и разговаривать с ним: мол, знал бы ты, поп, свое место и не совался бы ты, поп, не в свои дела. Вот ужо накостыляет тебе в шею князь Владимир Андреевич, когда взойдет он на царство! Кончаются твои денечки: он не Иван, он не даст тебе собою помыкать!

Но и это не остановило попа. Не добившись ничего от них, побежал он с Торга прямо к Старицкому князю и матери его, рассудив, что, кроме них, теперь и нет больше никого, кто мог бы отвести беду сию от Москвы. Ну, а уж если и здесь ничего не выйдет — значит, так тому и быть! Значит, судьба. И тогда помогай несчастной державе Российской святые заступники ее! А ему, убогому, как Понтию Пилату, остается лишь одно — руки умыть да от греха отойти.

— Попроси брата, князь, поговорить с тобой наедине,— умолял поп Владимира Андреевича.— Поклянись ему святым крестом блюсти престол его по всей правде, и быть отцом и оберегателем малолетнему наследнику его, и вдовую царицу во всем почитать, и трона Российского под ним, младенцем державным, не искать. Отступись, князь, от мечты своей! Спаси Москву! Спаси народ наш многострадальный от новой смуты, ибо иначе не миновать ему ее! Или мало крови и несчастий гибельных видела на своем веку Москва? Или столь огрубело и очерствело сердце твое, князь, что не осталось в нем жалости к народу нашему христианскому, не повинному пред тобой ни в чем?

Долго противился, долго не хотел уступать честолюбивый и гордый князь Владимир Андреевич мольбам благовещенского попа. И вправду, то

была великая мечта его! С тех самых пор, как сидели они с матерью в темнице царской, и тосковали, и всечасно ждали себе смерти от голода либо от руки палача. Еще тогда затаил князь мятеж в сердце своем, еще тогда возмечтал он самому сесть на московский трон и воздать гонителям и обидчикам своим. А тут еще и мать его, старая княгиня Евфросинья, набросилась на попа:

— О чем печешься, отче? За кого вступаешься? За Захарьиных? А я-то думала всегда, что ты дому нашему радетель и друг... А может, купили они тебя, Захарьины? Где это слыхано: пять месяцев младенцу тому, а его на трон?!. Кровь, говоришь? А коли будет кровь, значит, и на то воля Божья! Кровь, кровь... А чего ее жалеть? Без крови великие дела не делаются... Бог простит! Отмолим потом.

Но упрям был поп. И разумны были речи его. И трезвым был его расчет, что станется и с царствующим домом, и с самими Старицкими, и с державой Российской, коли встанет вся земля стеною друг на друга ради того, кому на Москве быть царем. И согласился в конце концов, скрепя сердце, Старицкий князь. И согласилась наконец даже и мать его, бранясь и кляня людскую злобу, и царя московского, и всех приспешников его. А согласившись, порешили они, что в тот же вечер князь будет говорить с царем наедине.

Но и Захарьины не дремали, пока шумел народ московский на площадях, и мутили его бояре, и метался благовещенский протопоп меж двор, пытаясь всех примирить и всем угодить. Как только чуть полегчало вроде бы царю, и пришел он, венценосец державный, ненадолго в себя, вновь набились они все трое в его опочивальню, а с ними и душеприказчики царские князь Иван Мстиславский и князь Владимир Воротынский, а с ними и Иван Висковатый, государев дьяк.

— Прости нас, государь! Не должно нам тебя тревожить... Но дело это великое. И без тебя нам его не решить,— обратился к царю князь Иван, подавив скорбный вздох, чтобы лишний раз не опечалить умирающего на смертной постели его.— Что делать, государь, с ослушниками твоими? Что прикажешь ты нам, слугам твоим?

— Что? А сами вы не знаете — что? — отвечал ему царь, задыхаясь, и хватая воздух ртом, и блестя горящими глазами своими на бледном, как сама смерть, лице.— Князь Иван! Срок мой последний им назначен. И либо присягнут они, изменники наши, сегодня же вечером, либо... Либо опала им всем и смерть! А вы все, кто дал уже клятву умереть за сына моего и царицу мою — вспомните клятву ту, когда меня не будет! Не допустите изменникам моим извести царевича, спасите его, коли встанет на Москве мятеж. Бегите с ним и с царицею моею в чужие земли, куда укажет вам Бог... А вы, Захарьины, чего замешались, чего испугались? Или сами не знаете, как поступить? Поздно вам щадить мятежников! Они вас не пощадят, вы будете от них первые мертвецы... Либо вы, либо они! Умрите, но не дайте сына моего и сестру свою на поругание изменникам моим... Скликать всех немедля во дворец! А кто не пойдет — силою привести! И Владимир Андреевич чтоб своею ли охотою, неволею ли — но был...

Уж смеркалось, когда вновь собрались бояре и иные чиноначальники московские в Большом царском дворце, в столовой палате его. Были здесь все те же — и присягнувшие накануне царевичу Димитрию, и отказавшиеся присягать. И опять было вспыхнул меж ними давешний спор.

Но на сей раз не успели разгореться страсти, не допустил Господь до брани, и крика, и бесчинств. Неслышно вдруг отворились с двух сторон двери, и один за другим, звеня оружием и доспехами воинскими, вошла в палату стража дворцовая, из ближней сотни государевой, и выстроилась в молчании вдоль всех четырех стен. А во главе той стражи был двоюродный брат царицын, боярин Василий Михайлович Захарьин, и он встал прямо у царевых дверей, до половины оголив саблю из ножен.

И остолбенели бояре. И разинули они рты свои в изумлении, забыв про всякий спор: что означало это появление воинских людей здесь, в столовой палате, где, кроме рынд дворцовых, никогда никого при оружии не было и не могло, по обычаю, быть? А придя в себя, бросились было те из них, кто посмышленее да попугливее, из палаты той столовой вон. Ан не тут-то было! Лишь наткнулись они на скрещенные бердыши у дверей, да

на усмешку наглых стражников государевых, да на сомкнутые щиты, со всех сторон окружавшие их, попавших в эту западню.

И покорилось боярство московское, видя, что не выпустит стража никого живым из этих стен, коли не исполнят они волю царскую, не присягнут по всей правде младенцу — наследнику и матери его. Один лишь Владимир Андреевич — князь попытался было отстранить Василия Захарьина и пройти в опочивальню к брату своему. Но и он встретил решительный отказ.

— Нечего тебе там делать, князь,— сказал, глядя ему глаза в глаза, Захарьин.— Сам знаешь, болен государь. А твое дело простое: целуй крест царевичу Димитрию... Да еще велено тебе, князю, государем великим подписать другую грамоту — о том, чтобы и впредь не думать тебе о царстве. И буде что, не дай Бог, случится, служить тебе тому из наследников царевича Димитрия, кому его Бог наставит венец свой передать. А тебе на царстве Московском до самой смерти твоей не быть. И к той грамоте приказано тебе печать твою приложить, а буде нет ее при тебе, за ней послать. А доколе не будет при клятве твоей печати той княжеской, тебя, князь, из дворца не выпускать... А я, князь, слуга государев, и велено мне государем великим волю его державную блюсти накрепко и вас, князей и бояр мятежных, либо охотою, либо неволею смирить и к присяге привести.

Не привык гордый Старицкий князь к такому обращению с собой! И то сильно досадно было ему и чести его княжеской. Да делать нечего! Пришлось и ему, мужу доблестному и в битвах неустрашимому, на обиду сию смолчать, видя, что власть уже у Захарьиных и что вельможество московское отдано на милость им. И не только он, но никто и из доброхотов его не решился ничего возразить боярину Василию, почуяв смертную угрозу в словах его заносчивых и помня о бердышах и обнаженных клинках у каждого из них за спиной. Лишь поп Сильвестр неугомонный, никак не желая понять, что рухнул весь замысел его, сделал еще одну попытку образумить цареву родню.

— Как смеешь ты, боярин, не пускать к царю брата его? — набросился он на Захарьина.— Как дерзаешь ты противиться ему? Он государю своему добра желает! Он утешить его хочет, он брат ему... Бога ты не боишься, Василий! А и тебе ответ перед Ним держать...

— Пошел ты отсюда, поп, вон! — тихо, скрипнув от ярости зубами, проговорил ему в ответ Василий Захарьин.— Моли Бога, что не прикончили мы тебя еще, изменника царского. Смотри, поп! Ужо доиграешься, пеняй тогда на себя... Эй, стража! Пропустите святого отца! Его люди ко всенощной ждут.

Опять принесли святое распятие, опять встали у аналоя князь Иван Мстиславский да князь Владимир Воротынский, а рядом с ними дьяк Иван Висковатый с духовною царскою в руках. И потянулись к присяге все, кто отказался накануне присягать, и целовали крест, и тем клялись служить верой-правдою наследнику престола московского малолетнему царевичу Димитрию и царице — матери его. Молча прикладывались они губами к распятию и длинному свитку с царским завещанием и, перекрестившись, молча же отходили прочь, уступая место другим. Ни слова бранного, ни звука мятежного не было произнесено в той длинной череде присягавших, доколе последний из них не подошел ко кресту. А последним был князь Иван Турунтай-Пронский, известный горячим норовом своим. Ударил он в сердцах высокою шапкою боярской об пол и не удержался, попрекнул князя Владимира Воротынского, прежде чем приложиться к кресту:

— Ты-то, князь, как при таком деле оказался? Совесть-то у тебя есть али нет? И отец твой был первый изменник. И ты сам, ведомо всем, государю нашему изменял, да не раз, в малолетство его. А теперь ты — и стоишь у креста?

— Да, князь Иван! Я изменник, а ты верный,— отвечал ему душеприказчик царский.— А только я прощеный изменник! И ныне я требую от тебя клятвы быть верным государю нашему и сыну его. А ты праведен, а не хочешь дать ее! Так кто из нас изменник истинный — я или ты?

А едва кончилась присяга тех, кто был в столовой палате, появились и те, кого уже никто не ждал. Еще накануне стало известно, что князь Дмитрий Курлятев и казначей царский Никита Фуников присягать отказа-

лись, сославшись на тяжкую болезнь, а потому-де и невозможность по слабости и немощи своей прибыть во дворец. Никто, конечно, не поверил ни тому, ни другому. А только верь, не верь — на нет и суда нет. Занедужили они, ближний советник и казначей государевы, в постели лежат, как их, расслабленных, оттуда извлечешь? А оказалось, и извлекать не надо было: вот они, сами прибыли, хитрецы, во дворец, видно, прослышав, как оборачиваются дела. Ну, а для порядку, конечно, и тот, и другой не вошли, а мало что не вползли в палату дворцовую, опираясь на плечи слуг своих. Пусть, мол, знают все об усердии их к службе государевой! Уж коли дошло дело до такой крайности, то и болезнь им не в болезнь...

И на том и утих мятеж боярский. Разбрелись, разъехались бояре по домам своим. Покинула государевы покои стража, гремя оружием и стуча сапогами по лестницам и переходам дворцовым. И опять настала в земле московской тишина.

Но тишина та была обманчива. Никто из сильных мира сего не был на Москве спокоен и в эту, вторую ночь болезни царя. Все ждали его смерти. Привалилась у постели умирающего безутешная царица Анастасия Романовна, не сомкнувшая глаз, охраняя покой супруга своего. Молча сидели в углу царской опочивальни угрюмые братья Захарьины, ожидая кончины своего царственного зятя, и страшась будущего, и готовясь перенять всю силу и власть в державе Российской в свои хоть и ухватистые, но не окрепшие еще руки. Метался от стены к стене у себя в палатах князь Владимир Андреевич, обманутый в мечтах и надеждах своих. И шипела, и исходила злобой, и проклинала всех недругов своих мать его, княгиня Евфросинья, вспоминая, сколько же горя пришлось им, Старицким, вытерпеть от них: и от покойного отца царя Ивана, и от беспутной матери его, Елены Глинской, и от вероломного и безжалостного полюбовника ее, князя Телепнева-Овчины, да и от самого Ивана, Бог ему судья. И сокрушались, и горевали, и страшились неминуемой кары себе мятежные бояре, все равно, умрет ли царь или не умрет. А те, кто в первый же вечер присягнул — те, напротив, прикидывали в уме возможные выгоды свои и лелеяли в сердце надежду на новые милости и пожалования от младенца-царя, а вернее, от всемогущей теперь его родни.

И сидел, думал у себя в тереме любимец царский Алексей Адашев, пытаясь угадать сердцем и светлым разумом своим волю Божию: что уготовила судьба России? И как будут править ею Захарьины: как алчные временщики, пользуясь недолгим счастием своим, либо по совести, и по законам, и по обычаям древним ее?

И сидел, щурился, и жег до утра свечу в своей комнатеночке Сильвестр, и думал все и ту же думу, что сопровождала его всю жизнь, от дней младенческих и до седых волос: почему люди не хотят знать истинной выгоды своей? Почему чуть что хватаются они за топор, а не могут уладить все между собой миром? И что тому причиною: промысел Божий, или греховная, не подвластная никому природа человека, или то одна лишь людская глупость и темнота?

А утром пронеслась по Москве новая весть: выздоровел царь! Сказывали люди: уже и митрополит приехал со всем своим причтом соборовать его, и уже одеревенели, и синеть стали его члены, и глаза остановились. Ан вдруг содрогнулся он, государь, последней судорогой, и вскрикнул, и вскинулся в постеле своей — и свершилось чудо великое! Открыл царь глаза, и улыбнулся, и потек по челу его обильный пот, и отпустила его горячка смертная. А через час уже сидел он, государь, в подушках, и милостиво беседовал с женой и сродственниками своими, и велел лекарства все и снадобья разные от себя убрать, а принести ему сбитню горячего, а испив, велел он звать к себе всех ближних своих людей и сам им об исцелении своем чудесном и о милости Божией к нему, государю великому, сказывал, и велел им о чуде том и исцелении своем нечаемом провозгласить по всей Москве.

Долго потом толковала Москва про чудесное то выздоровление! И немало было пересудов и среди бояр, и среди простого всенародства московского: а вправду ли болен был царь? И что то было: истинно ли явил Господь ему неизреченную милость Свою, или то было одно притворство его от начала и до конца, дабы испытать людей своих?

Но как бы там ни было, а уже на другой день собрал государь ближнюю Думу свою у себя в Верху, и беседовал с боярами, и митрополит к нему ездил, и вечерню в Благовещенском соборе царь отстоял, и молился там, и поклоны клал до земли. Только уж больно бледен и худ был он, государь великий, и нос у него обострился более обычного, да ступал царь не так чтобы твердо, все время опираясь на плечо кого-нибудь из слуг своих. А так что ж: и взгляд его был весел, и смеялся, и веселился он, коли было ему что смешно, и к людям своим был милостив, и не попрекнул никого из мятежных чиноначальников своих никаким недобрым словом, будто и не помнил он, государь великий, из вчерашнего ничего.

А вскорости повелел он, самодержец российский, брату своему, князю Владимиру Андреевичу, поставить для себя палаты каменные в Кремле, о чем Старицкий князь давно ему челом бил, а князю Ивану Шуйскому поручил все дела по Разрядному приказу, а окольничему своему Федору Адашеву даровал достоинство боярское ради многих его трудов и заслуг пред державою Российскою. И все то сильно было в радость и успокоение вельможеству московскому: знать, не держит царь у себя на сердце никакого зла против слуг своих, и казням на Москве не быть.

И к духовному отцу своему, Сильвестру, царь не переменился: как ходил поп к нему, государю великому, во всякое время, так и продолжал ходить. И, как и прежде, сидели они с ним вдвоем в царской опочивальне далеко за полночь, и беседовали и о мирских, и о духовных делах, и про людей своих царь советовался с ним: кого возвысить, кого с глаз своих убрать долой, и кто годится к какому делу, а кто нет, и кого куда послать, и кому что сказать. И как ни пытался протопоп ухватить какой-нибудь признак перемены в отношении царя к себе, ничего не слышало чуткое ухо его: как был всегда царь приветлив и добр, встречая духовного наставника своего, так и остался таким. Ну, разве что про дела свои семейные реже стал говорить, да, бывало, замолкал иногда надолго, будто и вовсе забыл о присутствии его. Что ж, и этому удивляться было не след: знать, в возраст стал входить царь. А, известно, чем старше делается человек, тем о большем он молчит.

И лишь одно печалило попа: отдалилась от него после памятной той ночи царица Анастасия Романовна. Прежде, бывало, как увидит его, так сейчас же: «Дедушка, посиди со мной! Дедушка, почитай мне что-нибудь из Божественного! Скучно мне». А теперь редко когда и улыбнется при встрече с ним, у себя ли во дворце али в церкви: так, лишь кивнет слегка головою и пройдет. Ну, а о братьях ее, боярах Захарьиных, и говорить нечего: смотрят волком, так что дрожь иной раз берет. Ничего не поделаешь — эти ему теперь заклятые враги. И ничем их, властолюбцев свирепых, теперь не умилостивишь, ничем не уговоришь.

Ну, да на все воля Божия! Близко к царю стоят они, братья Захарьины. А все же не они одни рядом с ним.

Окончание следует

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ

Об антологиях

Не люблю антологий,
где Дедка за Репку.
А, вернее, треть Дедки, Полбабки, часть Внучки.
И особенно много за Внучкою Жучки.
(А могли б обойтись без беременной сучки).
Не хватает лишь Мышки.
А у Мышки — мыслишки,
А порой и рифмишки бывают у Мышки.
Но стихи ее в свет выпускаются редко.
Оттого и ни с места проклятая Репка.

Окно

Петр прорубил окно. Екатерина,
Не заробевши, влезла в то окно.
Ей полюбилась русская дубина.
Поскольку можно действовать умно.

К тому окну осталось недоверье.
За ним лежал неведомый предел.
Томился Пушкин за закрытой дверью,
Поскольку в окна лазить не хотел.

Пока мужик, истрачивая силы,
Трудился от светла и до темна,
Тревожились о нем славянофилы:
Неровен час, продует из окна.

Так и живем. В окно на мир взираем.
Не так уж плохо нам в родном жилье.
А что случится, если дверь отдраить?
Нельзя, глядишь, придавят в толчее!

Окно, окно!.. А Блок писал: «Равенна!»
А Тютчев восклицал: «О, этот юг!»
А как живут? Живут обыкновенно.
На ужин жрут лягушек. Виски пьют.

Теперь уж можно высунуть головку.
И поглядеть: летят к Парижу «ТУ».
А в Лувре был? Конечно. В Третьяковку
Теперь пойти бы. Как-нибудь зайду.

Глядим в окно на старую Европу:
Как бы не задала дурной пример.
А нам она показывает ж...
И мы в свое окошко кажем х..

Монолог Молчалина

Умеренность и аккуратность! Что ж,
Он оскорбить меня намерен.
А кто неаккуратен, неумерен,
Выходит, лучше. Это ложь.
Кто неумерен,
Тот в любви не верен,
Обжора, мот,
Вина без меры пьет,
И, может, даже злонамерен.
Какое общество такой создаст?
Там кто во что горазд,
Там затошнит от качки,
Там все готовы биться на кулачки,
Там каждый оберет и не отдаст.
Умеренности — вот чего
Нам постоянно не хватает.
И аккуратность оттого
В любых делах у нас страдает.
А этот, что попал
Вдруг с корабля на бал,
Явился и пошел на всех насмешки строить.
Его бы надо успокоить.
Ведь в чем вопрос у нас?
Умеренность ли верх возьмут и аккуратность
Или неаккуратности отвратность
И неумеренности глас.

* * *

Еврейское неистребимо семя,
И как его жестоко ни полоть,
Мы семь столетий имя, а не племя,
Страданье, воплотившееся в плоть.

Ответственны за все грехи Востока,
Испании, Германии, Руси,
Не требуй же теперь за око око,
Глас вопиющего, не голоси.

Пощады нет ни старцам, ни младенцам.
И каждый сильный слаб, а слабый яр.
Дымит, дымит невиданный Освенцим
И ямы разверзает Бабий Яр.

Но если в человецах мир настанет,
И ближнего не оскорбит никто,
Пускай нас до последнего не станет.
Я отпер дверь. И застегнул пальто.

* * *

И страшны деревенские проселки,
Где в темных избах варят самогон,
И воют черносотенные волки,
Сбиваясь в стаи на кровавый гон.

Чтобы времен бескровных стать
предтечей,
Ты должен, помолясь,
служитель муз,
Связать в одно узлы
противоречий
И на себя взвалить сей
тяжкий груз.

Бегство Толстого

Стремление к уходу
Куда-то в непогоду,
Зачем-то и к кому-то,
От дома и уюта.

От глаза, от истерик
Куда-нибудь податься,
Не помня о потерях,
Хоть на летейский берег.

Стремление к вагону,
Где терпкий дух овчины,
Где медленно и сонно
Смолят махру мужчины

Стремление от пруда,
От дома, от усадьбы.
Ах, убежав оттуда,
На лавке полежать бы.

Чтобы тебя продуло
До смертной пневмонии
Среди людского гула
Дыханне России.

И на ветрах российских
Расстаться с белым светом.
И никого из близких
Не призывать при этом.

Уйти на полустанке,
Где ночью осень стонет.
Пускай потом останки
Как надо похоронят.

* * *

Всего с собой не унесешь.
Останутся на этом свете
Стихи, бессонница, галдеж,
Друзья, возлюбленные, дети.

Останутся в твоем дому
Какие-то дела и вещи.
Живем мы вместе.
Уходим мы по одному.

* * *

Как разрешить взаимные обиды?
А, может, просто: впредь не обижать,
Призвать на помощь мудрость Немезиды
И кулаки грозящие разжать?

Вон две зари на небе
белой ночи
Текут — одна из дня, другая в день —
Друг другу уступая полномочья
На счет кукушек, запах трав
и рдень.

* * *

Фрегат летит на риф.
Но мы таим надежду,
Что будет он счастлив
И что проскочит между
Харибдою и Сциллой,
Хранимый Высшей Силой.

Что остается нам?
Убавить паруса.
Удерживать штурвал.
И, укрепясь молитвой,
Надеяться на то,
Что внемлют небеса
И пронесут фрегат
Над Сциллой и Харибдой.

Публикация Г. И. Медведевой

Д. Витковский

ПОЛЖИЗНИ

Небольшая автобиографическая повесть Дмитрия Петровича Витковского (1901—1966), неизвестная пока нашему читателю, стоит у истоков «лагерной» литературы.

На первых страницах книги «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицын упоминает Витковского как человека редкостно разнообразного лагерного опыта, чьими свидетельствами пользовался автор и кого желал бы видеть редактором своего труда. К моменту, когда эти строки писались Солженицыным, Дмитрия Петровича уже не было в живых.

О своей жизни он лучше всего рассказал сам, и я могу лишь добавить что-то из раннего к ней пролога и позднего эпилога.

Юный Витковский учился в кадетском корпусе, но по страстному тяготению к точным наукам стал студентом Высшего технического училища: слушал лекции по химии у профессора Чичибабина. Учение прервала революция и война, однако тяга к знаниям у Витковского была такая, что он отправился через всю страну, пылавшую пожарами междоусобной войны, в Томск, где в 1918 году еще продолжал работать университет. Захватив Томск, колчаковцы провели почти поголовную мобилизацию студентов, и восемнадцатилетний Витковский ненадолго оказался в белой армии, что потом роковым образом сказалось на его судьбе.

В редакции «Нового мира» Витковский появился в 1963 или 1964 году, вскоре после публикации «Одного дня Ивана Денисовича». Не помню, кто передал мне эту рукопись, кажется, она попала из редакционного «самотека». В ту пору пошла первая волна «лагерной» прозы, рукописей на эти темы прочли мы в редакции немало, но эта выделялась не только поражавшей воображение долгой тюремно-лагерной судьбой автора, но и тем, как этот человек воспринимал жизнь.

В своем совсем скромном, почти аскетически сжатом повествовании он не жаловался, не проклинал судьбу, что было бы вполне естественно в его положении, и не сосредоточивался лишь на своем страдании: по-своему воспринимал людей, природу и правдиво описывал то, что видели глаза и оставляла ярким и живым память. Пейзажи Соловков, Енисейского ледохода и северного сияния в Заполярье отмечены были живописной пристальностью. Было ясно, что они служат не для расцвечивания сурового рассказа «художественностью», а являют собою след неубитой духовной жизни, несломленности в придавленном и оплетенном лагерной системой человеке.

Не могло не поражать и то, что свою тюремно-лагерную Одиссею, где были Бутырки и Владимирская тюрьма, Беломорканал и Соловки, Тулома и Енисей, автор уложил в каких-нибудь сто машинописных страниц: взыскуемая большими мастерами сжатость повествования, необманный знак литературной силы.

Витковский не склонен был прощать своих мучителей и предъявлял самый жесткий счет к тому порядку вещей, который отнял у него «полжизни». Но желания быть справедливым к людям и их поступкам он не потерял: в его интонации не было озлобленности, а лишь глубокая, неискоренимая скорбь по несовершенству человеческой природы и общественного уклада, так легко узаконивающего всякое насилие и издевательство над себе подобными. И тем дороже для автора любое проявление человечности и добра: его благодарная душа видит то, что другой бы не заметил.

Помню, мнения в редколлегии о повести Д. Витковского тогда разошлись, кто-то углядел в ней даже «эсеровские ноты». Но Твардовский решительно встал на мою сторону. Он пригласил автора, обласкал его, как один он умел это делать, когда вещь ему нравилась, и заключил с ним договор.

Однако напечатать рукопись оказалось тогда невозможным. С каждым месяцем усиливались атаки на журнал за публикацию солженицынского «Одного дня...», и, как невесело шутили в ту пору, редакции пришлось бы отвечать за превращение «Нового мира» в журнал «Каторга и ссылка».

И все же редакция не отказывалась от надежды напечатать повесть «Полжизни», буде случился бы какой-то цензурный просвет, а Дмитрий Петрович временами навещал нас в Малом Путинковском. Во всей манере поведения этого когда-то обладавшего несокрушимым здоровьем, а теперь тяжко больного, усталого человека были редкие у авторов позднейшей формации свойства русского интеллигента: такт, деликатность, всякое отсутствие навязчивости и доверие к собеседнику. Он не дергался, не торопил, не упрекал редакторов в чрезмерной осторожности и медлительности. Не спрашивал поминутно: «Ну, как там моя рукопись?». Или: «Когда же наконец напечатаете?» Поднявшись ко мне в комнату (два марша лестницы были для его истраченного сердца немалым испытанием), он просил разрешения посидеть молча и отдышаться. Потом мы обменивались новостями, говорили о литературе, о редакционных и житейских делах, и иной раз он спрашивал, не возражаю ли я, если он посидит часок-другой в кабинете, в старом кожаном кресле, стоявшем в углу. «Занимайтесь своими делами, принимайте посетителей, читайте верстку, — говорил он. — А я побуду здесь, если не мешаю. Я ведь себя новомирцем считаю, хоть вы меня пока и не печатаете... А хочется подышать немного журнальным воздухом». Случалось, он оставался в этом кресле до конца моего рабочего дня, я уходил на редколлегию, потом возвращался, и находил его на том же месте просматривавшим какую-нибудь книгу. Не однажды мы покидали редакцию вместе. Я помогал ему нести тяжелый сверток с купленными им в магазине на улице Горького монографиями о художниках.

После реабилитации, благодаря знанию нескольких европейских языков и хорошей осведомленности в инженерном деле, он зарабатывал на жизнь рефератами в институте технической информации. Денег хватало на то, чтобы поддерживать семью. И еще на любимую слабость — собирание монографий и альбомов о художниках разных стран мира. Своим собранием он гордился и зазывал его посмотреть, чем я, увы, никогда не воспользовался.

Между тем шестидесятые годы круто переломились на середине, и еще меньше шансов стало увидеть рукопись Витковского напечатанной. В 1966 году, уехав отдыхать, Дмитрий Петрович прислал мне письмо из-под Риги. Писал, что не запомнит такого удачного, счастливого для себя лета, когда бы он чувствовал себя так прекрасно. Преданно заботившаяся о нем жена Лидия Николаевна немного раньше вернулась в Москву, так как принимала вступительные экзамены в МГУ, а он остался еще на несколько дней с одиннадцатилетней дочкой. Однажды рано утром, проснувшись, она удивилась, что отец еще спит. Окликнула: он был мертв. Ушел, не потревожив никого ни стоном, ни криком.

Все то, что я о нем помню и о чем считаю долгом рассказать, сливается у меня с впечатлением от его неординарной по честности, скромности и мужеству рукописи.

Ищем вокруг утраченные черты, воображаем потерянный облик русского интеллигента, каким он сложился к началу нынешнего века — и редко находим вокруг отблеск этого типа людей. Таким был среди тех, кого мне выпала удача немного знать, Петр Леонидович Капица. Таким остается в памяти и недавно ушедший от нас Сергей Александрович Макашин. И Дмитрий Витковский еще нес в себе эти черты: трезвый, несуетный ум, свободу от тщеславия и искательства, благожелательство без сантиментов и высоко поставленное личное достоинство.

Таким, надеюсь, почувствуют и читатели автора замечательных записок «Полжизни», пришедших к нам спустя еще четверть века после их создания.

В. ЛАКШИН

Здесь описаны только действительные события, как я их воспринимал и как сумел восстановить по памяти.

НАЧАЛО

В первый раз меня «проверяли» в 1926 году. Я только что окончил институт и мечтал всерьез заняться наукой, как вдруг в результате облыжного доноса попал в тюрьму.

Обвинение было пустяковое. По-видимому (это стало ясно из допросов), хотели выяснить мои связи с заграницей и белогвардейцами. Но свя-

зей не было, и все как будто быстро кончилось, но потащило за собой цепь событий, с которой я не мог разделаться всю жизнь.

Подержали меня, как положено, немного во внутренней тюрьме, а потом перевели в Бутырку. Во внутренней было чисто, пусто и тихо. У каждого заключенного своя койка. В камерах говорили шепотом. В коридорах шаги заглушались половиками. Тишина составляла важную часть тюремного режима.

В Бутырке — шум. Народу в камере, рассчитанной на 20 заключенных, — человек 25. Все умещались на деревянных одноэтажных нарах. Говорили громко, даже пели. Народ был разный: взяточники, уголовники, спекулянты, валютчики, «служебники», несколько «контриков».

Человеку, не сидевшему в тюрьме, никогда не понять, насколько это тоскливое, унизительное и тяжкое занятие, особенно для молодого, полного сил человека. Я сразу же понял, что главная задача состоит в том, чтобы сохранить себя под совокупным разлагающим натиском тоски, безделья, облыжных обвинений и своеобразного страшного цинизма среды — естественной реакции отчаяния, таящегося в душе каждого заключенного.

Против этого было одно средство — занять себя чем-нибудь разумным; но книг нам не давали, делать было нечего. Оставалось одно — общение с людьми. И я старался извлечь из этого общения все, что было возможно: рассказывал всякие истории, заучивал все стихи, которые помнили сокамерники, и выслушивал их приключения, даже пытался сам что-то сочинять.

Здесь же один давний «сиделец» научил меня правилу, всю пользу которого я оценил впоследствии: если следователь задает вопрос, как бы незначителен он ни казался, вдохни поглубже и не отвечай раньше, чем медленно выпустишь весь воздух.

Очень помогало доброе участие конвоиров и простых солдат, которое я часто ощущал в тюрьме и которое в значительной мере сгладило тяжесть этой жизни. В первый раз я испытал это в самом начале, когда меня только что зарегистрировали, обыскали, продержали в надлежащих промежуточных камерах-«собачниках» и вот теперь вели по двору во внутреннюю тюрьму. Вел один солдат, как полагается, сзади, с наганом в руке. Идет, командует:

— Вправо, прямо, влево!..

А в промежутках я слышу его тихий, ласковый голос:

— А ты не горюй! Отдохнешь здесь, отоспишься! Небось заработался. Перебудешь и выйдешь. Со всеми так бывает...

Другой раз, когда я был уже в Бутырке, меня вызвали на допрос ночью. Почему-то долго держали в каких-то закоулках и «собачниках», переводили с места на место и, вконец измотав, уже перед рассветом повезли одного в «черном вороне» во внутреннюю. Когда опустили крутые откидные ступеньки и я взялся за поручни, чтобы сходить, один из конвоиров, по-видимому старший, вдруг подошел, подал мне руку, как бы помогая сойти, и, крепко ее пожав, тихо сказал:

— Не дрейфь! Все...

Я так и не узнал, что он хотел сказать дальше, так как подошли другие солдаты и он не кончил фразы.

Такие случаи были часты и на меня производили впечатление огромное.

В то время люди были еще живыми людьми, даже в ГПУ. Еще не вывелись традиции человечности и не привились новые методы вынуждения показаний, так расцветшие в последующие годы.

Следователь мой, Ашарин, молодой смазливый парень с дурными глазами, не кричал, ничем не грозил. Начал следствие по всем правилам, объяснил, что заключенный имеет право не отвечать на вопросы. Казалось даже — может быть, это был только прием, — что он симпатизировал мне. Передачу разрешил сразу. Иногда только, уставив мне в глаза пустой и, как ему, вероятно, казалось, пронзительный взгляд, он неожиданно деревянным голосом произносил:

— Какие вы знаете коды?

— Где вы познакомились с Блюменфельдом?

Но, отдав таким образом необходимую дань детективной романтике и натолкнувшись на мое откровенное и, очевидно, ясно выраженное недоумение, вопроса не повторял и переключался на обычный тон. Следствие

закончил скоро и, как я узнал впоследствии, хотел меня освободить, но начальство не согласилось.

При последнем разговоре он говорил:

— Мы знаем, что вы невиновны и ничего не сделали плохого. Но вы немного неустойчивы, вам лучше пожить вне Москвы, например, в Енисейске. Вы молоды, здоровы, вам везде будет хорошо.

Так утверждался новый принцип наказания за еще не совершенные преступления. Но главная беда была в другом — в клейме, которое налагалось таким решением. Я выйду из тюрьмы, и никто не будет знать, виновен я в действительности или нет. А клеймо есть и останется. И будет оказывать влияние на всю мою жизнь.

Другая беда заключалась в том, что разом рухнули надежды на научную работу. Но, должно быть, много оптимизма заключено в молодой душе, и взамен утерянного во мне развилась любовь к природе, скрашивавшая тяготы скитальческой жизни.

СИБИРЬ

Ехать в ссылку было очень тяжело. Вагоны набиты до отказа, душно, шумно. У меня, правда, занята вторая полка, но встать и размять ноги почти невозможно. Впрочем, скоро и охота пропадает. Арестантам вперед выдан сухой паек: насквозь проржавевшие селедки, плохо пропеченный, с отрубями черный хлеб и размокший сахарный песок. Селедки сразу летят на волю, за решетку: съешь кусочек — истомишься жаждой: воды не хватает.

Я лежу на своей полке, каждый день туже затягиваю ремешок. У кого есть деньги, дают конвойным, те на станциях покупают еду. У меня денег нет — все отобраны, и пока их не возвращают.

В моем вагоне народ все незнакомый, необщительный.

Так мы переваливаем Урал.

Вечером, когда почти все арестанты уже спят, кто-то трогает меня за ногу.

В проходе стоит молодой парень, солдат-конвоир. Тихо спрашивает:

— Ты пошто ничего не ешь?

— Откуда ты знаешь?

— Мы все знаем. Пошто?

— У меня ничего нет.

— Дай денег, я куплю.

— И денег нет.

Он протяжно свистит «тю-ю» и медленно уходит. А утром, пока еще никто не встал, он вызывает меня в тамбур и, смущаясь и краснея, протягивает головку сибирского сыра.

— Слушай, друг, но ведь ты сам...

— Ешь и помалкивай, это от нас...

Я вижу второго конвоира, стоящего в дверях тамбура.

— Как вас зовут?

— Это мы не имеем права!..

В пути до Красноярска они еще два раза подкармливали меня.

В Красноярске мы пробыли пять дней в пересыльной тюрьме с непостижимо большим количеством блох.

Здесь наконец мне вернули отобранные в Москве деньги — целое состояние, 60 рублей. Это было очень кстати, так как дальше было разрешено ехать за свой счет «свободным порядком».

И вот мы плывем на пароходе без конвоя, как простые пассажиры, по величественному Енисею. Справа высится скалистый берег. Слева — низкий, «польской». Проплываем стрелку, где Ангара сливается с Енисеем; и еще долго, почти до самого Енисейска, отчетливо видна граница, отделяющая мутноватую белесую воду Енисея от синей, прозрачной, холодной воды Ангары.

* * *

Енисейск тихо доживал свои дни, и только пустовавшие, но еще крепкие большие амбары при каждом владении да просторные, иногда по помещичьему типу построенные дома напоминали о прошлом, когда он был одним из больших административных центров Сибири и перевальным пунктом между хлебным югом и северной тайгой с ее приисками. Товары гужом и пароходами свозились в Енисейск и оттуда переправлялись на прииски. А с приисков временами наплывала орава удачливых старателей-золотнишников, спускавших в енисейских кабаках все до нитки. И живы были еще свидетели наездов приисковых воротил, которым от самого берега Енисея через весь «взвоз» устилали дорогу красным сукном.

Теперь все это в прошлом. Город пустовал. Квартир было сколько угодно.

Окрестности Енисейска некрасивы, но как-то он так расположен, что, когда солнце садится, весь город, Енисей и все леса кругом, все берега озаряются необыкновенным, нигде в другом месте не бывающим сиянием.

Поразительны ледоходы на Енисее. Уже давно ярко светит и пригревает солнце, уже поголубели дали, стаял снег на открытых местах и потеплело небо. Летят на север пухлые, веселые, несущие тепло облака, летят птицы, всюду слышно тихое журчание пришедших в движение весенних вод, а Енисей стоит неподвижный, мрачный. Его обрывистые берега почернели, вода прибыла, потемнел, покрылся лужами и оторвался от берегов рыхлый на поверхности лед, и в образовавшихся заберегах видна грязная, холодная, кругами ходящая вода, но лед недвижим. Потом вдруг неожиданно, как бы не доверяя себе и пробуя силы, бесшумно, не нарушая торжественного таежного безмолвия, трогается Енисей — первая подвижка. Лед, не взламываясь, сдвигается огромными полями и медленно плывет вниз. Двигаются грязные дороги, перемещаются вмерзшие в лед предметы. Так продолжается несколько часов. Где-то внизу, севернее, где весна отстает, движущиеся ледяные поля наталкиваются на еще неподвижные льды, и все останавливается, замирает. Три дня Енисей будет набирать силы. Три дня изо всех таежных балок, ложбин и водоемов с веселым шумом, журчанием и звоном в Енисей будет вливаться талая вода, поднимая грязную, темную кору льда. Через три дня енисейцы, побросав учреждения и потемневшие дома, с шалыми глазами, счастливые, сами переполненные наплывом проснувшихся первобытных сил, будут толпиться на берегу, смотря, как на реке все пришло в мощное движение. Кружится и взламывается лед со стеклянным звоном и шорохом, как будто пересыпаются и бьются несчетные массы стекла, вздымаются вверх огромные башни из льдин, тут же рушатся и создаются вновь. Льдины гигантским плугом срезают куски берега. Все это бурлит, кипит, звенит, несется на север. И вдруг — стоп! Где-то внизу затор! Движение на север прекратилось. Но сверху с грозной силой надвигаются новые массы воды и льда. Льдины затирают, поднимают друг друга, с шумом и плеском вырываются на поверхность, громоздя валы, башни, заторы. Вода поднимается на глазах с каждой секундой. Только что она была глубоко внизу, но вот уже кипит у самых ног, грозя залить все вокруг, льдины сейчас ринутся и сокрушат город. Вдруг — обвалом вода спадает: затор прорвало, и снова в бурном неистовстве все мчится мимо, на север... Через два-три дня середина реки почти чиста, и только вдоль берегов остались огромные, сверкающие на солнце нагромождения вытесненного и севшего на мель льда. Холодной синевой отливает вода, прозрачен и чист воздух, снова воцарилось царство потревоженной на время таежной тишины. На редких льдинах сидят, отдыхая, тихо переговариваясь, перелетные гуси. И вдруг как пушечный выстрел гремит в пустынных берегах — подтаяла и обвалилась часть ледяной стены. Поднялись, загоготали испуганные гуси... и снова тишина. Так будет одиннадцать дней. Ровно через одиннадцать дней пойдет Ангара. Вода опять поднимется на столько же, на сколько она повышалась при енисейском паводке. Пойдет синий, особенный ангарский лед, и когда вновь спадет вода, берега будут чисты — она унесет все остатки затертых и выброшенных на берег льдов. А еще через десять дней вдруг, как будто без причины вода снова пойдет на прибыль, и поплывет по Енисею темный, грязный, почти черный лед. Пошла таежная речка Черная.

* * *

Ссыльных в Енисейске и окрестных селах было довольно много, вероятно, несколько сот человек: бывшие люди разного рода, бывшие офицеры, меньшевики, спекулянты, валютчики. Была группа человек двадцать, молодых ребят, почти мальчиков (среди них два одаренных артиста), высланных из Москвы за то, что они где-то собирались и танцевали фокстрот. Богатые валютчики сразу откупились от ссылки предложением построить кожевенный завод и, внеся соответствующие тысячи, получили разрешение жить в Красноярске. Щучки масштаба меньшего, во избежание расселения по району, воспроизвели их опыт в самом Енисейске — организовали сушку овощей, главным образом картошки. Этим они спасли от нищеты многих ссыльных, которые теперь мыли, резали и сушили овощи и существовали небольшой платой за свой труд, благо жизнь была дешева. 50 рублей в месяц обеспечивали вполне сытое существование. «Бывшие» не работали. И кому в Енисейске могли понадобиться французский и английский языки, хорошие манеры, знание «бывшего» света? Им что-то кто-то присылал. Они получали книги и журналы. Раскладывали пасьянсы, читали, гуляли, любовались закатами, а зимними вечерами играли в вист. Меньшевики жили и держались особняком, своей колонией. Они изображали политических деятелей и всех остальных презирали. Но к концу 1928 года в Енисейск стали пачками прибывать троцкисты и даже пожаловал сам бывший секретарь Троцкого — Рафаил. Троцкисты тотчас же переплюнули меньшевиков. Держались совсем гордо и недоступно и меньшевиков презирали наравне со всеми прочими.

Мне удалось устроиться лаборантом на северный золотой прииск в четырехстах километрах от Енисейска.

Накануне отъезда ко мне пришла бабка и дала пару новых сапог завезти по пути ее внуку. «Это, паря, совсем рядом, верстов двести от дороги».

Ранним утром мы (я и проводник: без проводника в северную тайгу не ездят) переплываем на лодке Енисей, верхом на конях трогаемся в путь и сразу въезжаем в тайгу. Она теперь не кончится до самых приисков. Дорога сначала ровная, среди огромных лиственниц, пихт, кедров, скоро начинает петлять. Мы пересекаем вброд ручьи, небольшие речки. Проводник — молодой, рослый белобрысый Санча (там говорят Ванча, Санча) — зовет меня «паря», посмеивается: «То ли будет!» и явно старается показать тайгу во всей прелести. Чтобы угостить кедровыми орешками, хочет свалить большой кедр. Потом долго рыскает где-то в стороне и возвращается торжествующий: на тонком стебельке колеблется красная ягода, похожая на морошку.

— Это, паря, князь-ягода. Княженика. Попадается реже золота.

Князь-ягода источает сильный приятный запах, но немного приторна. В то время за один грамм золота платили рубль, а стакан княженики стоил два рубля.

Постепенно подъем становится круче, дорога превращается в тропинку и временами совсем исчезает. Кони очень медленно бредут прямо руслом ручья, сбегающего сверху, и осторожно переставляют ноги в чем-то подобном кипящему перловому супу, только вместо крупы — галька и круглые булыжники разного размера. Поднимаемся долго, потом также руслом другого ручья спускаемся вниз. Санча только предостерегает:

— Сиди спокойно и опусти поводья. Не тревожь коня. Сибирский конь, он сам знает, что делать.

Подъемы становятся все выше и круче, и скоро мы едем через не очень высокие, но настоящие горы. А внизу — либо чудесные таежные речки, либо болота, и мы пробираемся по чему-то совсем необычайному. Когда-то здесь прямо на поверхности болота «наплавом» лежал накатник. Это обрезки толстых, метра три длиной бревен, переплетенных и связанных по обе стороны длинными ветками тальника. Последний раз накатник чинили, вероятно, не меньше десяти лет назад. С тех пор тальник и бревна частью подгнили, частью разметены по болоту весенними водами. От накатника остались местами только отдельные бревна, между которыми блестит, сверкает застоявшаяся вода болота. Мы сходим с коней и прыгаем с бревнышка на бревнышко, как белки, а кони медленно переступают, как

по клавишам, местами проваливаются, повисают передними ногами. Тогда мы им помогаем.

Ночевали мы в зимовьях — избах, построенных по дороге верстах в 30—40 одна от другой. Там жили «зимовщики», держали и меняли лошадей, кормили проезжих.

На одном из перегонов, где особенно пострадал накатник, мы не выбрались к ночи на зимовье и заночевали на песчаной косе у таежной речки.

Санча выбрал две сухие, выброшенные на берег лесины, обрубил сучья. В одной, потолще, вырубил вдоль всего ствола широкий полулунный желоб; другую, потоньше, подкатил почти вплотную и поджег. Сближенные части бревен медленно горели, и жар, как от рефлектора, отражался от выдолбленной части. Мы спали, лежа вдоль этой «норьи», и рядом бродили спутанные кони. Временами они беспокоились, подходили совсем близко, и Санча спросонья покрикивал: «Стоять! Не съист вас хозяин!» А утром мы обнаружили, что весь песчаный берег вокруг был истоптан медвежьими лапами, как улица в деревне — лапами собак. «Хозяин», видно, был недоволен нашим вторжением и всю ночь с хозяйкой ходил, топтал вокруг.

Медведь любопытен. Часто в пути, рядом в тайге или сзади, мы слышали потрескивание шедшего вблизи зверя. Иногда он заходил вперед, и тогда мы продвигались по его свежему следу.

Тут же я узнал, что медвежья тропа — не литературный образ. Медведи, как люди, не любят зря тратить силы, продираясь сквозь дикую тайгу. К таким местам, куда надо ходить часто, они идут одним путем, протаптывая широкую тропу, и, возвращаясь, расходятся по своим местам.

Весь путь от Енисейска до приисков отнимал 3—4 дня.

* * *

Северные прииски — небольшой поселок из рудничных построек, конторы и жилых домов. «Кругом тайга и дырка в небо», по Санчиному определению.

Раз в месяц золото переплавляли, отливали в слитки и с конвоем гнали через тайгу.

Мои обязанности несложны. Ежедневно с одним рабочим, освещая путь лампой-блендой, я хожу в штольни собирать пробы руд для анализов. Чтобы не мешать забойщикам, это делается в обеденный перерыв, когда по забоям ходит один подрывник-отпальщик, заряжает шпуры и взрывает их. Чтобы предупредить нас перед очередным взрывом, он кричит из темноты: «Ого-го-го-го!» — «Ого-го-го-го!» — отвечаем мы.

Однажды я забрел в большую заброшенную выработку. Сверху стекала-капала вода и тут же замерзала в вечно холодном пространстве. Получались фантастические, окрашенные медью, синие, зеленые, прозрачные неровные столбы, колонны, наплывы, гигантские, свисающие сверху и нарастающие снизу сосульки.

* * *

Весной и осенью сообщения с внешним миром не было. Месяца на 2—3 рудник бывал отрезан от внешнего мира. В это время товары не подвозились. Только предприимчивые частники енисейцы в тороках на двух-трех лошадях изредка доставляли табак, папиросы, соленые огурцы, соленую стерлядь. Еще ходили рассказы о спиртоносах, доставлявших тем же способом свой запретный товар.

Когда потом появлялся почтальон, это было событие чрезвычайное. За его выездом и передвижением следили по телефону каждый час, а когда он отъезжал от последнего зимовья, все высыпали на дорогу. Въезд на прииск был подобен почти триумфальному шествию.

В начале зимы, когда замерзали реки и окончательно ложился снег, прокладывали зимнюю дорогу. Она пролегала по руслам рек и речушек и только местами пересекала короткие перевалы.

Работы начинали топачи — обоз порожних саней. Передняя лошадь тащила сани с возчиком по снежной целине, увязая в снегу местами по холку, она скоро выбивалась из сил и утыкалась в снег в сторону. Ее заменяла вторая, потом так же третья, следующая, последняя и снова первая. Так протаптывалась дорога. Потом по ней уже шли и поддерживали ее груженные товарами обозы.

В те времена к весне на приисках еще бывала цинга. Когда сходил снег, появлялись первые стрелки трав, цинготных увозили верст за десять на таежную поляну и оставляли в избе под присмотром стряпухи. Цинготные бродили и ползали по поляне среди синих сибирских ирисов и оранжевых огоньков, выколупывали из земли дикий чеснок-черемшу и поедали сырьем. Скоро они возвращались здоровые на прииск.

К осени, когда уже синел воздух и тайга начинала пестреть осенними красками, приисковые компаниями отправлялись по бруснику. Широкими совками с длинными прорезями подхватывали несколько кустиков сразу; веточки продирались через прорези, а ягоды оставались в совке. Быстро набирали несколько мешков и зимой ели бруснику моченую, бруснику пареную, брусничное варенье, мясо с брусникой...

Иногда приезжали тунгусы. Оставляли оленей и больших добрых собак в тайге, а сами на прииске выменивали сапоги-«лунты» и куртки из оленьего меха.

С приисков я уезжал зимой, в январе, в 50-градусный мороз, на порожних санях обратно в Енисейск возвращавшегося обоза. Лошадей было 30, ямщиков — 5. Первый ехал сидя в санях и не спал. Остальные всю дорогу лежали. Одеты они были соответственно: в бесчисленные рубахи, озями, тулупы, дохи и поверх всего сокун: мехом на обе стороны, цельные, вроде поповских риз с капюшонами мешки. На ногах чулки из собачьей шерсти, валенки и сверху еще короткие вторые валенки — тараи. Так они и лежали неподвижно, как тюлени на льдине, недоступные никакой стуже. На мне были солдатские зимние штаны и гимнастерка, валенки, полушубок до колен и солдатская зимняя шапка.

Ехал я в конце обоза. Лежал, закутавшись в одеяло, минут 15, потом, чувствуя, что замерзаю, вскакивал и быстрым ходом шел рядом с санями; уставал, ложился, и все повторялось сначала.

Над дорогой в полном безмолвии неподвижно нависала насквозь промерзшая, мертвая, белая, запорошенная инеем, искрящаяся тайга. Ночью в лунном свете все становилось серебристым с синими тенями; казалось, звенели в светлом небе яркие, зеленоватые, огромные звезды и временами, как вестники снежной королевы, фиолетовые, зеленые, красные, все окрашивая в свои цвета, играли северные сияния.

* * *

После приисков я нанялся рабочим в лесотехническую экспедицию. Мы отправились на трех лодках, когда прошли все льды на Енисее, посветлели и потеплели ночи. Обычно выплывали на быстрину на середине реки, где, несмотря на пятнадцатиметровую глубину, вода ходила кругами, и пускали лодки по течению. Теплота размаривала, сверкала и блестела вода вокруг, слепя глаза, облака плыли в чистом небе, берега маячили зеленеющими полосами вдали, и казалось, лодка неподвижно висела в серебристом сияющем пространстве. Ночевали на песчаных косах в палатках под густой гул несметной армии комаров, покрывавших верха палаток толстым, черным, копошащимся слоем.

От села Ворогова вошли в устье таежной песчаной, игравшей в частых перекатах реки Сым. Местами река бурлила, стиснутая завалами когда-то смытых весенними водами, переплетенных корнями и ветвями огромных древесных стволов; местами берега были круты, но чаще всего она спокойно и весело бежала, откладывая желтые, блестящие пески вдоль зеленых таинственных стен тайги. Временами в тишине было слышно потрескивание следящего за лодками зверя. Рыбины разных размеров плескались, стояли в бочагах, ходили плотными косяками в прозрачной воде. Иногда на пути возникало черное, непроницаемое, звенящее облако играющей над перекатом мошкары. Мошкара густым маслянистым слоем облепляла лю-

дей, лодки, все предметы; но стоило проехать перекат, она разом слетала, оставалась позади. Все снова становилось чистым. Двигались на веслах, на шестах, а где можно было, тянули лодки бечевой. На стоянках врубались просеками в тайгу, а иногда вместо просек ходили медвежьими тропами.

Такой тропой однажды мне пришлось идти одному. Накануне вся партия шла этим маршрутом; были взяты образцы растений. Но на обратном пути при переправе через реку часть образцов погибла. Надо было восстановить потерю, и начальник поручил это мне.

Я был твердо убежден, что пройти несколько километров по тайге так далеко от человеческого жилья совершенно безопасно. Рыси, кажется, здесь нет. Единственный большой зверь — медведь человека не знает и нападать не станет. А что может быть еще страшно в тайге? Правда, сибирские рабочие отнеслись к затее неодобрительно, а один сумрачно сказал:

— Съист его медведь.

Но я даже не взял ружья. Зачем нести его на себе, когда и так рубашка липнет к телу от жары, когда лицо закрыто накомарником и смотреть приходится через волосяную сетку, когда даже руки взяты в рукавицы, завязанные веревочками, чтобы не подставлять укусам мошкары и комаров ни одного миллиметра кожи. Что тут делать с ружьем?

Когда все ушли, я переправился на ту сторону реки, прошел немного высоким берегом и спустился в низину. Стало темно, душно, усилился запах кедров и лиственниц. Какая тишина! Птицы не пели в тайге. Только издалека чуть доносился стук дятла и высоко в ветвях жалобно попискивала какая-то пичуга. Тропа была хорошо утоптана и достаточно широка. Местами ясно отпечатывались следы медведей.

Я шел медленно, вглядываясь вперед. А все-таки что делать, если сейчас впереди встанет зверь? Как говорил тот сибиряк: «Ты и не услышишь, как он поднимется рядом, а то и сзади обоймет. Вот тогда попищишь, как комар. Он так ловко прячется в своих «скрадах», что его не заметишь, пока не наступишь».

Я остановился и прислушался. Сначала показалось, что все кругом проникнуто мертвой, полной, совершенной и угрожающей тишиной. Потом стали различаться странные звуки, какие-то похрустывания, шелесты, шорохи, попискивания. Тайга не была мертва. Она жила негромкой, скрытной, таинственной жизнью, везде, вокруг, во всем пространстве. Со всех сторон, изо всех укрытий и «скрадов» чувствовались тайные, недоверчивые, настороженные взгляды.

Как бесцеремонно, шумно, с треском, с грохотом люди обычно вторгаются в природу и как она сразу боязливо сворачивается и прячется от них! Теперь она жила повсюду: сверху, сбоку, впереди, там, где надо было поставить ногу, чтобы не треснул сучок, чтобы не произвести лишнего шума.

Стало так страшно, что было невозможно пошевелиться, но потом я все же двинулся вперед: медленно, осторожно, почти неслышно, задерживая дыхание. Временами останавливался, вслушивался, переглядывался с затаившимся пространством. Как будто что-то наносное, временное разом соскочило с меня, и прояснились новые чувства. Страх прошел, но всем существом своим я ощущал кого-то крадущегося рядом и другого, носом втягивающего непривычный и враждебный запах. Все жило кругом: земля, деревья, самый воздух.

Так, вслушиваясь, всматриваясь, чувствуя окружающую жизнь с новой и живой остротой, я медленно и бесшумно двигался вперед и дошел до непроходимого болота. Там видны были веером расходящиеся в разные стороны следы. Этими тропками медведи выходили на общий «тракт» по пути на реку, к водопою, половить рыбу, поискать ягод в бору и обратно шли теми же путями.

Отдохнув и взяв образцы, я пошел обратно и, выйдя к берегу реки, увидел, что на той стороне перед палатками сидит незнакомый человек. Как он мог один зайти так далеко в тайгу?..

Человек оказался молодым, лет двадцати, тунгусом, маленького, как все они, роста, едва мне по плечо, с черными, как смородина, глазами, черными, щеткой стоявшими волосами, очень белыми, блестевшими при улыбке зубами. Было что-то трогательное и привлекательное в его маленькой

стройной фигурке и смуглом лице. На нем была не очень чистая, но вышитая рубашка, штаны из оленьего меха, заправленные в мягкие, тоже меховые лунтайчики. Рядом на песке лежала такая же куртка.

Он не очень бойко говорит по-русски, но все же из его слов и жестов можно понять, что идет он уже два дня из стойбища, откуда-то с севера, в другое стойбище, где-то южнее. И предстоит ему путь еще дня три. Говорит он об этом так же просто, как в городе говорят о том, что нужно пройти в соседний квартал. На вопросы отвечает доверчиво, прямо и открыто смотрит в глаза и улыбается простодушной и веселой улыбкой.

Было еще рано, всего около полудня. Мы вдвоем варили уху, пекли рыбу и разговаривали.

— А зачем ты идешь один так далеко по тайге?

— Разве далеко? — засмеялся тунгус. Глаза его заблестели еще больше.

— К невесте идешь? — Но он только опять засмеялся и не ответил. «Какой чудесный паренек; вот он не боялся бы идти по медвежьей тропе», — подумал я. Тунгус расспросил про экспедицию, а потом сам, — частью отвечая на вопросы, а частью от удовольствия поговорить, — рассказал, что тунгусы не кочуют в почти непроходимой, заваленной павшим лесом смешанной тайге. Они живут в светлых, чистых сосновых лесах, где легко передвигаться и много оленьего корма — белого ягеля. Идти тайгой легче и проще, чем торопиться-бежать по улицам города, и труднее заблудиться. В сосновом бору пройдет охотник, след будет виден все лето — вот и тропинка; пройдут несколько человек — дорога, а где пробежит стадо оленей или передвинется стойбище, там на много лет ляжет тракт. Память таежных жителей хорошо сохраняет все приметы, и если скажут: «Иди от большого переката на Сыму два дня до Красного камня, где прошлым годом Иван шел», — то каждому такого описания будет совершенно достаточно. Вся тайга пересечена сетью тропинок, дорог, трактов...

Тунгус отдохнул в лагере день, а потом исчез так же, как появился, — как будто растворился в тайге.

Километрах в пятистах от последнего человеческого жилья экспедиция выбралась к высокой песчаной горе. Гора круто обрывалась к югу, к реке, а на север уходила плоским, едва заметным склоном, поросшим звонким сосновым бором необычайной чистоты. С обрыва над рекой открывалась неоглядная, пронизанная светом и прозрачными тенями облаков зеленая таежная даль. В ней кое-где густыми сине-зелеными пирамидами темнели кедры; нежной, светлой чуть желтоватой зеленью выделялись лиственницы; пихты поблескивали серебристой хвоей на сплошном фоне берез, осин, рябины. Наверху, в бору, недалеко от реки мы наткнулись на тунгусское погребение. Три близко стоящие треугольником сосны были срублены на одинаковой — метра четыре — высоте. На образовавшихся точках был укреплен настил из грубых золотистых сосновых плах, на которых стоял простой продолговатый ящик-гроб, сколоченный из таких же плах. Невдалеке виднелось еще одно такое же сооружение. По-видимому, уже много лет простояли эти погребения, вознесенные вверх, в сияющее зеленое пространство, на своих сосновых треножниках. Огромные красные сосны окружали их, как свечи, и свет косыми полосами падал на них, словно в храме. Веселые ливни обмывали их летом под перекатывающийся грохот гроз, и снег необычайной чистоты одевал их пушистым, искрящимся покровом зимою. Мелкие лесные пичуги нашли приют под тяжелыми плахами; дятел временами осторожно постукивал в них и, склонив голову набок, задумчиво слушал: «Все ли тихо, все ли покойно внутри». Кукушки, пролетая, отсчитывали часы чьей-то беспокойной жизни, и тайга постоянно шумела над ними... Так стояли и будут стоять они очень долго, пока не превратятся в прах в этом необычайном, пустынном, никем не посещаемом природном храме...

* * *

Теперь на прииски ведет асфальтированная дорога, и вместо «дырки в небо» стоит современный поселок.

СОЛОВКИ

Вернувшись из ссылки и довольно помыкавшись без дела,— никто не хотел брать бывшего ссыльного,— я устроился на химический завод в Средней Азии. Поработал там год, и одолела старая мечта — вернуться в Москву на научную работу.

Но в январе 1931 года очередная волна арестов вторично бросила меня в тюрьму. Тюрьмы были забиты до отказа. Меня поместили в камеру, очевидно, наспех приспособленную из небольшого подвального помещения, выходившего единственной маленькой четырехугольной отдушиной на Малую Лубянку. Это окошечко до сих пор смотрит на улицу грязными стеклами за толстыми, ржавыми прутьями решетки. И все так же ходит в этом месте часовой.

Что-то сильно изменилось с 1926 года. Камера была полна. Заключенные тесно лежали на двухэтажных нарах. Говорили вполголоса, атмосфера царила угнетающая.

Объяснения начались быстро и энергично, как в детективном романе. Оказывается, я был деятелем разветвленного антисоветского заговора... изобретал яды для уничтожения членов правительства... в заговоре участвовали военные... за ними по пятам тенями скользили невидимые шпики... теперь все уже выяснено, и не хватает только нашего признания.

Увы! Я ничем не мог помочь следствию и только утверждал, что никакого заговора не знаю и с заговорщиками не общался.

Много позже — через 30 лет — из постановления Верховного суда я узнал, что заговорщиков было 33, дело по их числу называлось «делом тридцати трех» и что заговора вообще никакого не было.

Следствие вела бригада молодых забористых хлопцев под руководством белокурого, рослого, красивого, как викинг, начальника. Жалко было смотреть на него в затхлой атмосфере следовательского кабинета. Ему бы в туманах северных морей бить китов и моржей, а он пропадал в охоте за призраками.

Следователи допрашивали по очереди. Но каждый начинал с того, что я рецидивист и буду наказан особенно строго. Некоторые сразу многозначительно выкладывали на стол наган, некоторые просто предрекали расстрел, но все требовали одного — признания в преступлениях, а в каких, не говорили — сам знаешь.

Допросы велись только по ночам. Многие всю ночь. На измор. Но — сидя.

Через месяц меня как «отработанного» перевели в Бутырки, в такую же камеру, в какой я побывал пять лет назад. Нары теперь были двухэтажные. Часть заключенных спала прямо на цементном полу, некоторые — без всяких подстилок. В камере при мне было от 60 до 80 человек; среди них несколько профессоров, преимущественно технических специальностей, не меньше пятидесяти инженеров и немного военных, писателей, артистов. Недаром тюрьмы в то время именовались остряками «домами отдыха инженеров и техников». Уголовников не было совсем. После внутренней тюрьмы здесь было шумно и весело. Каждый вечер устраивались какие-нибудь доклады, поэты читали стихи, писатели рассказывали, артисты изображали и даже негромко пели.

Клопы нас не беспокоили, а вшей мы и вовсе не знали.

Голодных не было. Многие получали передачи; подкармливали тех, кто их был лишен.

Почти все заключенные того времени быстро сдавались на следствии и подписывали обвинения.

И был ли смысл бороться?

Все очень хорошо усвоили уроки Шахтинского и Рамзинского процессов: уцелеть можно, только оговорив себя и других. Кто пытается сохранить свое достоинство — погибает. Никто не обманывался насчет истинной цены этих признаний. Некоторые переживали свое падение трагически; большинство махнуло рукой на этическую сторону вопроса: против рожна не попрешь!

По-видимому, разномыслящая, немного анархическая и не привыкшая к дисциплине интеллигенция стояла кому-то поперек горла. Ее нужно было уничтожить физически или морально, дискредитировать, лишить давнего ореола передовой части народа.

Я не захотел стать на проторенную дорожку и был наказан: получил расстрел с заменой десятью годами и «центральный запрет». Значение этого термина выяснилось только впоследствии.

На все про все потребовалось около 4-х месяцев.

Только в конце апреля мы оказались в поезде, мчавшем нас в Соловки.

Ехать было очень удобно. Этап разместили не в специальных арестантских «столыпинских» вагонах, а, по нехватке последних,— в обычных классных. Только окна были взяты в решетки, да в тамбурах стояли часовые.

У каждого была своя полка, еды вдоволь, народ очень хороший.

Я не знал своих однодельцев да и не желал их разыскивать и примкнул к группе морских офицеров, тоже высланных в Соловки. Народ все умный, бывалый, интересный!

Среди них меня особенно привлекали двое: высокий лейтенант Ростовцев, с голландской бородкой, даже в этапных условиях сохранивший почти элегантную внешность, чудесный собеседник, знаток истории морских сражений. Он ко всему относился с веселым скептизмом, хорошо рассказывал исторические анекдоты, в частности, как Нельсон, не желая отступать перед флотом противника, приставил трубку к слепому глазу и воскликнул: «Клянусь святым Патриком, я не вижу врага!» Во всем поведении и жизненной философии Ростовцева было что-то, вызывающее в памяти этот эпизод. Другой — Романов, худощавый, не очень сразу заметный, с карими спокойными глазами, лет сорока, преподаватель морского училища. Редко бывают более образованные, по-настоящему интеллигентные люди. Изъездил он полсвета, обо всем судил спокойно, широко, как будто слегка над событиями. К ним примкнул, хотя первое время робел и стеснялся, простодушный и привлекательный своей молодой застенчивостью матрос Жогин, где-то о чем-то неудачно высказавшийся и получивший, как и все, облыжно свои десять лет. Мы долго жили «коммуной» и только в Соловках попали сначала в разные бараки, а потом на разные острова.

Противоположность морякам являл собой пехотный командир Чеботарев. Полный, молодой, лет тридцати с небольшим, он часто подсаживался ко мне, охал, даже плакал и говаривал:

— Нам с вами особенно тяжело,— намекая на полученные нами «вышки».

Когда я пытался выяснить, что же именно его особенно удручает, то всегда оказывалось, что дело сводится к домашнему уюту и привычной обстановке. Он утешился почти сразу по прибытии в лагерь: стал одним из командиров охраны, растолстел, грустить перестал и с простыми заключенными обращался без снисхождения. Меня при встрече не узнал.

В начале мая мы были уже на Кемском пересыльном пункте, Кемперпункте, по-лагерному.

Пункт имел все существенные признаки концлагеря: вышки с часовыми по углам, колючая проволока вокруг, внутри большие дощатые бараки рядами: внутри бараков — сплошные двухэтажные нары. Одним только Кемперпункт отличался от настоящего лагеря: большой текучестью населения. Все время прибывали новые партии заключенных, разъезжались на места старые.

Лагерь был расположен на голых, плоских, серых, местами поросших вереском скалах. Местность унылая, угрюмая, однообразная. Рядом за проволокой, в изумительной, особенной северной красоте расстилалось Белое море. В одном месте, в просвете между бараками, видна была уходящая в мглистую даль его какая-то до странности белесая, таинственная и до боли в сердце чарующая красота.

Лагерник, как и солдат, не живет в праздности. На следующий же день нас вывели за проволоку, на работу. Я с моряками попал на «бревна». Это значило, что мы должны были вытаскивать из воды крючьями бревна, протаскивать их вверх по берегу и складывать в штабеля.

На следующий день мы перетаскивали штабеля с места на место. Работа явно носила педагогический характер. Но мы были молоды, здоровы, веселы и сыты, а чувство юмора делало нестрашной и эту работу.

Очень хорошо было то, что, начиная с Кемперпункта и при всех дальнейших продвижениях по лагерям — а было их много,— нас содержали в чистоте. Немедленно по прибытии в новое место отправляли в баню, шпарили и жарили верхнюю одежду, меняли белье. Несколько раз в начале лагерной жизни выходило так, что эти процедуры случались по два раза в день, и остряки называли это «пытка баней».

Здесь от живых свидетелей мы наслышались о недавнем соловецком прошлом, о 29-м годе. О том, как вновь прибывающих встречали фразой: «Здесь республика не Советская, а Соловецкая», и: «Вы присланы сюда не для исправления, а для уничтожения». О том, как ставили людей зимой переливать ведрами воду в море из одной проруби в другую, «пока все не перельете», как сажали людей спать на жердочках, заставляя держаться руками за приделанные сверху лямки, как впрягали их в сани и гнали и погоняли до конца... и о многом другом таком же.

Ходила легенда о том, как это внезапно кончилось: как кому-то чудом удалось бежать на английском лесовозе во время его погрузки и напечатать за границей книгу «Остров смерти» с обозначением всех имен и фамилий; как потом прибыла комиссия под видом заключенных и, испытав все на себе, стала творить суд и расправу. Так ли это было на самом деле — неизвестно.

Мы всего этого не застали. При нас маятник уже ушел в другую сторону, и в лагерях цвела весна сентиментального — «педагогического» исправительно-трудового периода. Требовалось время, чтобы маятник, набравши инерции, опять качнулся в сторону еще больших жестокостей. При нас на каждой вечерней поверке, на всех пунктах немногословные начальники задавали один и тот же вопрос: «Вас не бьют?» И самая постановка вопроса подтверждала справедливость слухов о двадцать девятом годе. И еще от старых порядков осталось, что на приветствие начальников мы должны были дружно, как солдаты, отвечать «Здра!»

По-видимому, как отзвук этих прошедших событий, в мое время Кемперпункт посетила комиссия иностранных журналистов. Хорошо одетые иностранцы ходили в сопровождении вполне уверенного в исходе событий лагерного начальства и задавали заключенным всякие вопросы, очевидно, не понимая того, что даже если бы эти вопросы задавались с глазу на глаз, они не узнали бы правды.

* * *

Настала очередь, и мы покидаем Кемперпункт. Маленький черный пароходик лавирует среди стоящих в порту огромных иностранных лесовозов, и вот он уже в море, направляется в Соловки. Из немного неясной, мглистой, призрачной белесой дали медленно выплывают совершенно черные, резко очерченные скалы с черными отражениями на белой воде, так же медленно уходят назад и постепенно исчезают в стороне Кеми. Солнце, низкое, неяркое, почти не греет. Воздух наполнен печальными криками чаек и неизвестно откуда летящими и наполняющими все пространство таинственными и странными криками гагар. Нигде так не чувствуется величие, пустынность и какая-то особенная, немного тоскливая, щемящая и притягивающая, холодная и нежная красота природы, как на северных морях. Она полна тонкими, переливающимися, едва уловимыми прозрачными оттенками. Красота южных широт всегда будет казаться грубоватой и однообразной тому, кто хоть раз был отравлен прелестью Севера.

* * *

Соловецкий архипелаг состоит из Большого Соловецкого острова, двух островов поменьше: Муксалмы и Анзера и совсем маленького, почти исчезающего во время приливов острова Малая Муксалма, где всего два барака, и живут в них, не покидая острова, какие-то особые, таинственные заключенные.

Острова покрыты густым, хотя и не очень высоким сосновым лесом. Лишь местами на северных скалистых склонах лес исчезает и вместо него под ногами стелется полярная сосна и ползучая береза с маленькими, как

клопы, зелеными листьями. В лесах много черники, морошки, брусники. Очень много грибов. Частично поверхность острова заболочена: там останавливаются на пролете журавли. В лагерные годы на Большой остров выпустили северных оленей, и стада их попадались сборщикам ягод. На Анзере завели голубых песцов, которые с противным тявканьем, неловко, боком, прыгали и бегали, не боясь, среди заключенных.

Монахи оставили после себя хорошие дороги, обсаженные березами, удобные, теплые каменные жилые дома, красивые церкви, поражающие грандиозностью своей постройки. Особенно хороша монастырская стена, одной стороной упирающаяся прямо в море и сложенная из огромных сцементированных валунов, постепенно уменьшающихся в верхней части. Удивительно, какими средствами доброхоты и паломники (такие работы монахи поручали им) поднимали и ставили на место эти громадные валуны. По тому же принципу была сложена широкая, полуторакилометровой длины дамба, соединяющая острова Большой и Муксалма. Внизу — огромные валуны, между которыми свободно ходит море; валуны, постепенно уменьшаясь, переходят в широкое гравийное покрытие, составляющее основание дороги, проложенной по дамбе.

Очень хорошо было, возвращаясь с работы, сидеть на валунах и наблюдать в прозрачной воде всякую морскую живность: прилипших к камням морских звезд, вертикально стоящих коньков, стайки рыб, коричневатых медуз, иногда огромных, величиной, вероятно, что-нибудь около полуметра.

* * *

Нас недолго — один день — подержали на Большом острове и переправили на Большую Муксалму.

Лагерные пункты на Соловках были хороши тем, что там не было ни колючей проволоки вокруг, ни вышек с часовыми. Справедливо считалось, что убежать лагернику некуда. Муксалминский пункт раскинулся на высоком берегу, близ моря, и со всех сторон был зажат густым сосновым бором. Невдалеке, за молодым сосняком, берег круто обрывался в море, и вечерами, где-то совсем вдали, как едва заметные звездочки, перемигивались маяки Летнего берега.

Пункт состоял из нескольких старинных монастырских построек, где располагалось начальство и лагерные учреждения, и нескольких в ряд стоящих дощатых утепленных бараков с обычными двухэтажными нарами.

Здесь я сразу узнал, что означает «центральный запрет». Всех моих друзей моряков и тех, кто прибыл с нами, определили на легкие работы кого куда: часть ходила в лес собирать чернику по невысокой норме — котелок в день; некоторые пошли в дневальные, на легкую уборку внутри лагеря, на хозяйственные работы.

Меня назначили и все время в Соловках держали только на самых тяжелых работах. Сначала это было осушение болот. Небольшой бригадой мы отправлялись в глубь острова или километра за три через дамбу на Большой остров, на болото, и копали осушительные канавы. Нас было четверо. Рослый, немного нескладный, очень сильный, очень добродушный, с простоватым лицом, голубыми глазами 25-летний Ваня Плотников — он отбывал срок за бандитизм, был немного мечтателен, рассеян, хороший товарищ. Однажды в бараке у меня пропала кепка. Ваня встал на нары. Не очень громким голосом сказал: «А ну, тише! Чтобы кепка была через десять минут здесь!» Ему не пришлось угрожать или повторять сказанное. С тех пор мои вещи лежали где угодно. Их не трогал никто.

Второй — смешливый, худощавый, веселый и разбитной парень, тоже Ваня, «чародей», как он себя называл. Он очень хорошо и с большим чувством пел разные, чаще всего блатные песни. Особенно удавался ему какой-то воровской романс, в котором были слова:

Я вор, чародей, сын преступного мира,
Я вор, меня трудно любить...

Мне казалось, когда я его слушал, и кажется теперь, что очень часто

молодежь становится на такой путь в поисках романтики и не зная, куда девать избыток душевных сил.

Третий — немного угрюмый, но складный и здоровый парнище,— тоже «ворюга», чернявый, недоверчивый Саша Колосов.

Остальная часть барака состояла в большей части из обычных мелких, шумных и грязных уголовников, двух священников, одного монаха и нескольких контриков. Чтобы не устраивали заговоров, их размещали вперемешку с уголовниками. Моряки остались в другом бараке.

Среди жителей этого барака, кроме членов своей бригады, я успел познакомиться и близко сошелся с тремя заключенными.

Один — бывший эсер Щукин с удивительно чистыми, почти детскими голубыми глазами, пожилой, спокойный человек, много раз сидел раньше, прошел, видимо, нелегкий путь. Теперь он был совершенно равнодушен к своей судьбе и ничему не удивлялся. Откуда-то — в те времена это было возможно — он раздобыл «Историю цивилизации в Англии» Бокля. Все свободное время читал эту книгу и говаривал:

— Эта книга прекрасна тем, что в ней отражены развитие и победы человеческого духа, в отличие от теперешних творений, где человек низведен до роли бессмысленного муравья в общей куче, и только для отвода глаз впихнуты фальшивые фразы об «истинно свободном человеке».

На Соловках работал он в игрушечной мастерской: эмалевой краской раскрашивал вместе с десятком пожилых заключенных жестяные автомобильчики.

Другой — бывший артиллерийский офицер Корытин — полная противоположность Щукину: чернявый, как цыган, высокий, гибкий, тощий, необычайно подвижный. Я не встречал человека насмешливее. Ему предложили поначалу какой-то командный пост в военизированной охране — он отказался. Тогда, вероятно в отместку, его продержали несколько месяцев на общих работах, но потом все же назначили лекпомом. Теперь он принимал легких больных, делал перевязки, давал порошки и пилюли. Несколько раз в дождливые дни освобождал меня от работы.

Третий — не успевший уехать за границу отпрыск князей Голицыных. Тоже чернявый, тощий, красивый. Отлично, с шиком изъяснялся на трех языках; даже некоторые русские слова произносили так, что они звучали, как французские. Был он остроумен, но немного вял и как будто болезнен. Чем-то напоминал мне князя Мышкина. Его назначили в лагерную библиотеку.

Все трое были отличными собеседниками и товарищами. В их глазах еще не обозначилась та застарелая, подавляемая тоска, которая читалась в глазах всех старых лагерников. Я много времени проводил с ними и хотел совсем перекочевать к этой тройке, но Щукин мне отсоветовал:

— Вас бросили в самую глубь блатного моря. Нехорошо, если вы будете работать с ними, а жить обособленно. Чтобы уцелеть, вам надо и жить, и сжиться с ними. Не бойтесь ошпанеть — это не привьется.

Как потом выяснилось, это был мудрый совет.

Я спал рядом со своими блатягами, мы ели из общих котелков, работали рядом. Мы не делили работу, кончали ее всегда вместе и вместе возвращались в лагерь. По пути заходили в лес, собирали ягоды и грибы. Надо мной посмеивались, когда в особенно красивых местах я останавливался и «пялил зенки».

Иногда работа менялась, и мы сводили лес на предназначенных к осушке болотах или корчевали пни.

Дни стояли теплые, солнечные; кормили лагерников не так уж плохо. А раз в два дня мы покупали или наменивали на ягоды и грибы в рыбацком бараке свежей молодой трески, наваги, камбалы.

После обеда и до вечерней поверки каждый делал что хотел. Мои ребята занимались какими-то своими делами. Чаще всего ходили к женскому бараку и там, несмотря на запреты и тяжкие наказания, творили лагерную любовь, каждый по своему разумению.

В женских бараках среди проституток, воровок, наводчиц, развратных, матерящихся, по-бабьи циничных, вкрапленные поодиночке жили наши сестры, жены, матери... Беззащитные против насмешек, матерщины, домогательств со всех сторон...

Как-то вечером я подошел к общей наружной печке сварить уху. Там грела воду для стирки пожилая усталая женщина, таская ее ведрами издалека.

— Мамаша! Ты посмотри мою уху, а я тебе натаскаю воды. Обоим будет польза.

Когда я вернулся с ведром, женщина сидела на камне и плакала.

— Что ты, мамаша?

— Сынок! За полтора года никто, никто...— она опять заплакала.

В свободное время я в компании кого-нибудь из моряков или членов тройки или чаще всего один отправлялся по острову. Через две недели на острове не осталось уголка, где бы я не побывал. Это был лучший короткий период за всю долгую лагерную жизнь.

* * *

Лагернику не дают долго засиживаться на месте — вся жизнь его проходит в переменах. Где-то я прочел поговорку: «Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать». Я приспособил ее к своим условиям и часто повторял про себя: «Все проходит вовремя у того, кто умеет ждать». А «проходило» часто и многое. Только привыкнешь к людям и приспособишься к обстоятельствам — глядь, это уже прошло, и нужно снова приспосабливаться и снова находить подходящих людей. Верные и понимающие товарищи всюду нужны. В лагерях — особенно.

* * *

Месяца два я проработал на болотах и был переведен на дальний конец Большого острова «на йод». Надо было собирать на берегу граблями водоросли или вытаскивать их во время отлива с мелких мест, складывать в тачку и возить метров за двести к печке, в которой их сжигали. Печь обслуживало восемь человек. Все работали порознь, постоянно были мокры по пояс от брызг прибоя, были злы и матерились густо и без перерывов.

В первый же день я наметил одного из ребят, приглянувшегося мне ловкостью и быстротой движений, и предложил работать на пару. Тот смерил меня поначалу презрительным взглядом, но, выслушав подробности, согласился.

Работа у нас пошла на славу. В выборе я не ошибся. Пашка оказался хорошим товарищем и работником. Мы распредилили работу по очереди. Один день я возил тачку, а он был внизу, мок, собирал водоросли, подгребал их к началу катальной дорожки. На следующий день мы менялись.

Мы кончали работу раньше всех и раньше всех уходили домой. Если день был погожий, мы делали крюк километра два, выходили в другом месте на берег моря, располагались на скале, защищенной от ветра и открытой для солнца, сушились и... читали стихи.

Мой Пашка — о специальности своей он без надобности не говорил — был страстным любителем стихов. Он заставлял меня повторять на память все стихи, какие я знал, разучивал и потом громко, не стесняясь, читал их. Больше всего он любил Пушкина и особенно «Прощай, свободная стихия!».

Он стоял полураздетый, в лагерных шмотках, посиневший от холода, на камне и с выражением, от которого морозом охватывало кожу, говорил:

В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой...

И еще любил «Памятник», особенно слова: «Что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».

Он повторял эти слова по слогам и нараспев. Потом вдруг спрашивал:

— Вовка, ты это понимаешь? — Милость к падшим! Ни черта ты не понимаешь. Ты, истукан, никогда не падал.

Не падал! Бывают же такие наивные чудаки.

Дальше до бараков мы шли молча, он был неразговорчив, и только глаза его еще вспыхивали временами.

* * *

Все проходит вовремя. Быстро прошло и это.

Теперь я на Анзере. Всех нас, заключенных, на пункте двенадцать человек. Мы живем в теплом, монахами построенном, помещении. Где-то недалеко есть еще зеки, но мы с ними не водимся, они к нам не ходят, и мы только понаслышке знаем, что это «поляки, шпионы». Из наших двенадцати восемь человек — рыбаки. Иногда выходили на лов тюленей. Жили они в своей отдельной комнате и хорошо нас подкармливали. Иногда брали с собой на лов. Мы четверо — на лесозаготовках. Вернее, на пилке уже заготовленного леса.

Мы отправляемся за два километра к заготовленным и выброшенным морем бревнам. Здесь я впервые познакомился с великой и, как оказалось впоследствии, необходимой наукой «закладывания туфты», то есть, в данных обстоятельствах, умением так сложить кубометр дров, чтобы приемщик без тени сомнения принял его за два.

Испытанным мастером и виртуозом этого искусства был мой теперешний напарник, белобрысый, веселый, юркий, неунывающий. Жгутик — так его звали.

Мы пилили очень недолго, потом он похаживал, поглядывал, перекладывал напиленное, и к приходу замерщика вся норма с приличным перевыполнением стояла выложенная в ряду штабелей.

Анзер — самый красивый остров группы. Берега его изрезаны. Лес разнообразен. В тихих бухтах острова, среди отраженных в воде скал, по утрам в полном молчании, выставив усатые, блестящие черные головы из воды, плавали и играли тюлени. Осенью в этих же бухтах с криком, писком, гомоном, отдыхали на перелете огромные стаи птиц. Вблизи берегов Анзера в синевато-зеленой воде в бликах незаходящего солнца часто мелькали стаи быстрых белых играющих белух. Ночью, при переезде через широкий пролив на Большой остров, за лодкой тянулся длинный, светящийся, колеблющийся и переливающийся след, и костры такого же зеленоватого, фосфорического света вспыхивали при каждом взмахе весел.

* * *

Прошла осень, потемнели ночи, заиграло сияниями прозрачное северное небо. И снова перемена. В числе прочих специалистов — сапожников, слесарей, плотников — меня отправляют на материк. Строить канал.

Прощайте, легендарные Соловки!

Снова маленький черный пароходик скользит по белесой, на этот раз хмурой, холодной, со стальными оттенками поверхности Белого моря.

Снова Кемперпункт.

Большая часть этапа, не задерживаясь, отправляется дальше, но меня и нескольких других заключенных, неизвестно по какому признаку отобранных, оставляют.

Кемский порт не справляется с отправкой грузов. И вот я в бригаде портовых грузчиков. Стоит середина зимы. Обувь (еще московская) почти сносилась. Новой не дают. Дощатый настил в порту от морских брызг и от волн, бьющих в щели снизу, всегда покрыт водой или пропитанным ею снегом. Ноги всегда мокры. Холодно. Скользко.

Мы грузим на пароходы тяжелые намокшие мешки с солью, с какими-то удобрениями. Двое стоят на месте и подкидывают мешки на спины. Хватаешь мешок за ушки и бежишь, скользишь по мокрому настилу. Все делаешь быстро, чтобы не задерживать следующих.

«Давай, давай!»

Складываешь мешок, расправляешь спину и по палубе, по сходням — вниз.

«Давай, давай!»

Погрузили мешки с солью, надо грузить уголь. Опять двое стоят и насыпают уголь в мешок, подкидывают его на спину.

«Давай, давай!»

Мешок опорожняется в угольную яму, поднимается черная пыль. Застилает глаза.

«Давай, давай!»

На бушлате попеременно белыми и черными слоями откладывается соль и уголь.

Потом перевозим на тачках какие-то ящики, тюки, опять мешки.

Ребята все рослые, грязные, мокрые, злые. Мат висит в воздухе сам по себе. Чуть запнешься, мат фонтаном взметается вверх.

Приварок не соответствует работе, и я быстро сдаю в весе.

Так продолжалось месяца два. Жили мы в общем бараке, где мои грузчики были самой сильной и культурной частью населения. Теперь мне, моей кепке и моим вещам не нужны покровители. Кому придет в голову связаться с дьяволом из бригады грузчиков?

Вечерами в бараке дрались, делили краденое, пили какими-то таинственными путями добытую водку, играли в карты, проигрывали свое, чужое, пайки, обеды, обмундирование, самих себя. Вновь прибывающие боялись нас и нашего барака, как чумы, и никогда к нам не заглядывали.

БЕЛОМОРКАНАЛ

Прошло и это. Поезд мчит нас по унылым снежным просторам в серой тьме полярной ночи. Потом мы идем все в той же тьме какой-то снежной бесконечной пустыней, казалось, без края и конца.

И вот мы в огромных полотняных палатках. Внутри такой же мороз и холод, как и снаружи. Только нет снега. Нелепые трехэтажные железные печурки дымят, дрова не горят, никакие попытки заснуть, даже в одежде, ни к чему не приводят.

Мы на Беломорканале.

Следующим утром — утро было только по часам, на самом деле была какая-то сумеречная, наполненная падающим снегом неясность — нас построили и быстро распределили, кого куда: этих — в мастерские, этих — в канцелярии, а меня и еще одного — на канал, в забой, прокладывать трассу.

Бригадир, в котором под лагерным бушлатом и ушанкой ясно проглядывало лицо духовного звания, выдал лопаты, поставил на участок.

Грунт попался очень удачный — почти сухой песок, только сверху схваченный коркой мерзлоты.

От холода мы так лихо заработали лопатами, что наш батя, подходя временами, только покрякивал от удовольствия. И уже когда мы кончали норму, вдруг сказал, как полагается, окая:

— Землю ты кидаешь, сынок, славно! А по личику (он так и говорит — «личико») вроде не землекоп. Грамотный?

— Грамотный.

— И специальность есть?

— Есть и специальность.

— ?

— Инженер-технолог.

Батя взмахивает обеими руками, недоуменно и сокрушенно охает и куда-то мчится.

А через полчаса немного смущенный зав. УРБ объясняет, что неграмотные писари в списке против моей фамилии в графе специальность вместо инженер написали что-то неясное, похожее на изувер. В УРБ решили, что за этим определением скрывается какой-нибудь сектант. Отсюда и все прочее.

Но я не в претензии.

А еще через полчаса высокий, похожий на Петра Великого начальник пункта по прозвищу Боцман определил мою дальнейшую судьбу.

— Вы будете прорабом восемнадцатого шлюза.

— Но я химик, а там нужно знание земляных, скальных и плотницких работ.

— Никаких но! Нужна только голова и умение обращаться с нашими людьми.

— Но у меня центральный запрет.

— Плевал я на ваши запреты, центральные и нецентральные!..

Мне назначают помощника. Это — упитанный, самодовольный, вполне «вредительского» вида инженер-строитель. Он брезгливо относится к уркам и вежлив необычайно. Он не скажет: «Убери доску!» но: «Будьте, пожалуйста, любезны убрать вот эту доску».

Шпана ненавидит его смертельно. Чем-то он антипатичен и мне, и дело у нас явно не идет. К счастью, его скоро переводят и назначают на участок нового помощника, техника-машиностроителя Гришу Костюкова. Он молод, коренаст, с голубыми глазами, по натуре своей очень весел, но на шлюзе ходит временами совсем мрачный. Немудрено. Ему «пришили» участие в несуществующей вредительской организации, дали десять лет, оторвали от молодой жены. Меня он покоряет доверчивостью. На второй же день, едва познакомившись, он, прямо смотря мне в глаза, заявляет:

— Не ожидай от меня энтузиазма. Я не канарейка, чтобы чирикать в клетке. — И, помолчав, добавляет:

— И провались они вместе со своим шлюзом!

Он знает, конечно, как развито в лагерях стукачество, подслушивание, взаимное предательство. Лучший способ выслужиться — утопить другого. И схватить новый срок в лагерях легче, чем где бы то ни было. Я очень ценю его откровенность.

Несмотря на отсутствие энтузиазма, работает Гриша очень хорошо. Он ровен и требователен со всеми одинаково, не дает спуску шпане, никому не позволяет быть с собой запанибрата. Когда я смотрю на Гришу, у меня часто возникает вопрос: «А почему, собственно, для нас так несомненна моральная необходимость работать в заключении?» И думаю: «Вероятно, потому же, почему она несомненна вне лагерных проволок, на воле».

Потом у меня появляются помощники по скальным и плотницким работам, пожилые, понимающие что к чему и, в общем, хорошие люди.

Десятников частью присылает начальство, частью мы подбираем сами. С присланными иногда бывает плохо. Либо это откровенные соглядатаи, либо проштрафившиеся лагерные придурки. Но попадают и неплохие хлопцы.

Лучше всех те, которых мы с Гришей выбираем из рабочих. Это обычно — раскулаченные, молодые, молчаливые. На них вполне можно положиться и, что удивительнее всего, они «вполне на уровне задачи», несмотря на все несправедливости и обиды.

Особенно хорош донской казак с длинными «вусами» — Еременко. «Вусы» совсем ни к чему на его румяном круглом лице. Он расторопен, все замечает и очень бережлив. Мы скоро назначаем его завхозом и поручаем все шлюзовое хозяйство: лопаты, тачки, ломы, кирки, буры, доски.

Полная противоположность — Ваня Кругликов. Молодой, всего двадцати лет, живой, веселый, все время с кем-нибудь задирается, никому не дает спуску, глаза озорные. Провести его на «туфте» не под силу самому опытному уркагану. За это ему грозят намять бока.

Старшего десятника у нас не было, но однажды, обходя участок, я услышал, как рослый, чернявый парень со спокойными карими глазами громко, но беззлобно поносил десятника за плохо устроенные катальные дорожки. Я тут же предложил ему стать десятником самому.

— Та ни, не хочу! — равнодушно ответил парень и тут же добавил:

— Не можу хлопцев эксплуатировать!

— А ты не думаешь, что хороший начальник может помочь хлопцам пережить их беду?

Довод оказался убедительным, и он согласился. Десятник из него вышел редкостный. С любой точки участка он видел все, что делается на остальных точках. Он был очень сообразителен, тверд, спокоен и, редкостное явление, «николы не матерився».

— Бо у мене мати в Бога вирует!

Шпана пробовала выступать против его авторитета и напустила на него одного из самых наглых и развинченных паханов. Тот попытался взять Степана «на горло» и поднял яростный матерный хай, требуя каких-то нелепых льгот. Степан спокойно слушал, держа руки в карманах, потом вдруг сунул блатяге кулак под самый нос:

— Осы! бач яка у мене е штуковина!

Шпаненок сник под смех своих же сторонников, а Степан мягко повернул его за плечи и отправил на место.

Бригадиров мы обычно не назначали. Бригады сами выбирают своих вожаков. Но некоторых приходится смещать и назначать нам. Это лучше всех делают десятники.

Мне очень пригодился соловецкий опыт. Месяцы, проведенные там, вовсе не пропали даром. Я научился входить в любой барак, кто бы там ни жил, могу вмешаться в любую группу и в любой разговор как совсем «свой» человек. Я научился блатному жаргону, могу спокойно стоять против рисующегося и играющего «перышком» блатяги и крыть его так, что он рта не разинет. Научился никого не бояться, а главное, научился не смотреть на людей с высоты величия честного человека, совершенно искренне не чувствую к ним ни тени пренебрежения: они — мои товарищи и друзья, с которыми я вместе «ишачил», вместе жил и вместе ел.

Техники не было никакой. Даже обыкновенные автомашины были редкостью. Все делалось вручную, иногда с помощью лошадей: вручную копали и вывозили на тачках землю, вручную бурили скалу и вывозили камни. Основой всей работы был «ребячий пар», как говорили заключенные. Работали без конвоя. Бригадиры выводили рабочих за проволоку, часовые у ворот их просчитывали и дальше, до возвращения, заключенные не видели конвоиров (с конвоем выходили только чем-либо проштрафившиеся заключенные). Но бежать было трудно, и все это знали. Вокруг рабочей зоны в лесу бродили с собаками охранники и миновать их было почти невозможно. Да и куда бежать?

Рабочие на треть состояли из раскулаченных крестьян; остальные — блатные. С первыми все просто. Им надо только точно указать, что делать, они должны убедиться, что это можно сделать. И дальше с ними забот мало.

А вот с блатными! Этот не хочет работать в бригаде и требует себе отдельного замера; этот будет работать, но не здесь, а несколько подальше, вне трассы канала. Там его работа никому не нужна? Тем хуже для тебя. Этот не может работать, потому что слаб от голода.

— Проиграл приварок в карты?

— Почему только приварок? И пайку за три дня!

— На, ешь мой хлеб! И завтра получишь. Будешь работать?

— Может, буду.

А этот с презрительной миной заявляет, что груженая тачка слишком тяжелая. И нахально поигрывая томными глазами, добавляет:

— Пустую тачку возить могу... если будешь выписывать норму!

— Буду! Вози пустую!

Парень, обалдевший от неожиданности, не хочет сдаваться и возит пустую тачку. Но уже через полчаса зло кричит:

— Прораб! Ты долго с меня насмешки будешь строить?!

И начинает работать.

И вообще с блатягами надо быть всегда настороже. Это народ неровный, порывистый, живущий по вдохновенью, «огоньки».

Иной как будто уже втянулся в работу, все идет хорошо, и вдруг сорвался. Глаза шалые, матерится, «не хочу больше ишачить».

Иногда на целую бригаду «находит», и все мы бьемся и ничего не можем с ними поделать.

Но с теми, кто работает, держи ухо востро. Иначе они так тебя обведут на туфте, что потом не распутаешься. Но здесь помогает соловецкая школа.

Зато утешают плотники. Это люди положительные, артельные, веселые. У них почти нет лагерных повадок, они не матерятся; подобраны, опрятны, от них всегда пахнет сосновыми стружками, и в бараках у них лучше, чище, спокойнее.

На шлюзе есть мастерская, где несколько человек насаживают и отбивают лопаты, ремонтируют тачки и прочий инструмент. Несколько кузнецов закаляют и заправляют буры. Здесь не так, как у плотников. Всегда шум, споры, ругань. Народ тут разный. Всегда толпятся бригадиры, приносят старые инструменты, требуют новых. Хороший инструмент — поло-

вина успеха! Те требуют, эти не поспевают, все ругаются. Выручает хозяйственный талант Еременко. Он видит, где хорошо, где плохо, и заставляет переделать заново, что плохо выполнено.

Но постепенно, несмотря ни на что, работа налаживается. Слой за слоем снимается грунт. Все меньше отказывающихся работать.

Странно, что даже в неволе, даже в обиде налаженный ритмичный труд, как всякое ритмичное движение, завлекает, поднимает настроение.

Вот местами уже обнажилась скала, и пора приниматься за скальные работы. Мы с трудом уговариваем часть землекопов перейти на бурение, обещаем льготы и блага. И вот бригада собрана. Сидят новые бурильщики, тюкают молотками, обивают себе руки, злятся, ругаются, ничего не выходит. Часть сдается и возвращается на землю, а часть продолжает работу.

Наконец приходят подрывники во главе с заключенным сапером. Заряжают первые шпуры, гремят первые взрывы, намечая скальный забой.

И сразу возникают новые заботы, новые тяготы. Бурки взрываются динамитом. Нередко случается, что часть заряда отказывает и остается в не до конца взорванной скважине. Заключенный, особенно блатной, любит риск. Несмотря ни на какие запреты, чтобы выиграть часть нормы, он сует бур в остаток скважины, стучит молотком и... бум! — гремит неожиданный взрыв. А виновник иногда без глаз, иногда с поврежденными руками, иногда совсем без жизни лежит рядом на скале. Помимо того, что жаль человека, начинаются допросы, выяснения. Прораб должен все знать и все предусмотреть. Он за все отвечает.

Больше всех работают десятники. Они выходят на трассу рано утром, раньше рабочих. Проводят весь день в тяжелой работе, а потом, когда все уже уйдут, сидят в маленькой конторке, подсчитывают каждому рабочему выработку, выписывают в ведомости проценты. Некоторым это очень трудно. Многие плохо считают. Возвращаются они поздно, с одной мечтой — поесть и поспать. И тут на них набрасывается писарская орава из УРБ. Они въедаются в каждую букву, каждую цифру. Днем им делать нечего, им не с чего уставать. И они будят бедных десятников, стаскивают с нар, орут, грозят. А потом десятников в бога и в душу матерят работяги, которым мерещится обсчет и обмер.

Немного мешают воспитатели и временами сильно мешает начальство. Воспитатели — это те, кто нас исправляет, перевоспитывает. Лагеря, по понятиям того времени, не наказывают, а исправляют. Лагерники делятся по официальной классификации на социально чуждых — это мы, интеллигенты, контрики, вредители,— и социально близких — это убийцы, воры, грабители. Они — временно заблудшие представители трудового населения, их нужно только немного выправить, и они снова станут такими, как надо.

И вот социально близким поручают (в лагере все делают сами лагерники) воспитание своих же блатяг и перевоспитание социально чуждых. Обычно воспитатели уединяются на чердаке какого-нибудь барака, играют в карты, по мере удачи выпивают и развлекаются иными блатными удовольствиями. Но иногда их заставляют выходить на производство «поднимать настроение». И если после этого работяги начинают коситься на прораба, и подозревают его во всех видах обмана, то, может быть, это результат воспитания.

В конце месяца воспитатели пишут характеристики воспитуемых. Както мне удалось прочесть эти памятники письменности за два месяца начала 1932 года. Мой «социально близкий» не отличался ни фантазией, ни трудолюбием. За оба месяца характеристика моя была одна и та же: «Филон. Малограмотен. Повышением уровня не займается».

Впрочем, некоторые воспитатели приносили пользу и одергивали наиболее бушевавших блатяг.

* * *

С начальством бывало труднее. Начальство было двух родов — техническое и лагерное.

Почти все инженеры, попадавшие в лагеря, в частности на Беломорканал, оседали во всякого рода лагерных конструкторских отделах, ПТО и ПТЧ, и лишь временами наезжали к нам на периферию, в контролирующих и подталкивающих комиссиях. Среди них, как и везде, были разные люди, но, вероятно, все более или менее сознательно считали единственно разумным выходом из положения получше и поскорее построить этот канал. Особых беспокойств эти комиссии не причиняли.

Начальник местного ПТО — инженер Полежаев — суховатый, неразговорчивый человек, по положению требовал много, но гадостей не делал никогда.

С лагерным начальством было хуже. Не всякий начальник сразу усваивал простую мысль о необходимости беречь курицу, несущую золотые яйца орденов и повышений по службе. Лагерное начальство вдали от следственных дел могло и не быть в курсе всех зигзагов политики и зачастую искренне верило, что имеет дело с застарелыми вредителями и тяжелыми преступниками. А техническая неосведомленность мешала разобраться в деле.

Среди таких начальников особенно выделялся Волков. Первый раз я познакомился с ним тоскливой белой ночью, когда все мои товарищи и помощники уже давно спали, на шлюзе была только небольшая ночная смена, и я ходил в поисках душевного покоя вдоль опушки болотистого леса.

Вдруг вихрем на вороном коне налетел не очень молодой плотный военный с бешеным лицом, в котором я узнал нового начальника. Минуты три он носился вокруг, явно стараясь подмять меня конем, хватался за кобуру и истошным голосом вопил что-то, в чем среди мата я мог разобрать только одно слово: «застрелю». Понемногу он выкричался, и стало ясно, что моя вина заключается в том, что я шляюсь черт знает где, а рабочие в это время устроили перекур.

— На воле вредил и здесь тем же занимаешься!

Потом он еще несколько раз грозил расстрелять меня на месте по различным поводам, пока меня не осенило.

При первых признаках появления врага я мигом скидывал бушлат и гимнастерку, оставался в одной нижней рубахе, как все работяги, и тут же брался за тачку или начинал тюкать молотком по буру.

Ребята посмеивались вокруг, а взмыленные десятники носились в разных направлениях и ежеминутно докладывали:

— Товарища Верховского нет нигде! Товарищ Верховский, вероятно, ушел на пункт.

— Застрелю негодяя! — орал вояка, но уходил ни с чем, пока однажды в результате неожиданного и крутого вольта не столкнулся нос с носом со мной. Глаза его вспыхнули кострами.

— А!..— Но тут же комизм положения дошел до его сознания. Он понял урок, расхохотался, вынул пачку хороших папирос.

— Бери, Верховский! Всю пачку бери! И брось свою вонючую махорку! Я тебе еще пришлю!

Вообще же начальники пунктов и отделений были бесцветны, часто менялись и только поначалу докучали своим вмешательством в работу.

Наезжало также высокое начальство из Медвежки и ГУЛага. Обычно это были разъевшиеся, надменно-пренебрежительные и невыразительные чиновники в форме ГПУ. Среди них резко выделялся Успенский. Рассказывали, что, будучи красноармейцем, он убил своего отца-священника, получил за этот «подвиг» небольшой символический срок; в Соловках сразу попал в охрану, чем-то услужил и очень быстро пошел в гору. По окончании срока остался в лагерях вольнонаемным и к нашему времени ходил уже в высших лагерных «генеральских» чинах. Молодой, лет 30—35, не старше, с гладким лицом сытого, самодовольного уркагана, он принадлежал к тому типу начальников, которые требовали, чтобы мы не только работали, но и «чирикали». За ним постоянно увивался длинный хвост свиты из всевозможных придурков, заключенных и незаключенных. О нас он судил по лихости отдаваемого рапорта. Местное начальство заранее суетилось, предупреждало и обучало.

— Товарищ Успенский любит хороший рапорт. Приготовьтесь!

Я встретил его молча, без рапорта, даже не приложив руку к фуражке, и поплатился за это десятью сутками карцера с выводом на работу.

Потом, особенно в Туломе, он часто приезжал к нам. Знал по фамилии

и в лицо всех прорабов, любил сыпать мелкими наградами. Меня никогда не замечал, а я при его появлении уходил на противоположный конец участка.

Но больше всего мешали заключенные, изображавшие лагерную «общественность». Пародируя то, что делалось на воле, они придирались к каждому слову, выискивали, шпионили, выслеживали, доносили. На собраниях выступали с разоблачающими речами, требуя перевыполнения планов и выявления всяческих вредителей и виновников.

В результате в лагере очень легко было получить дополнительный срок. И многие его получали.

На меня три раза заводили новые дела, и только удача в работе не давала им ходу.

Здесь же я пережил натиск, знакомый в то время многим заключенным и незаключенным гражданам нашей страны.

Однажды меня вызвал в свой мрачный кабинет начальник особого отдела Яковлев.

Он начал со всяческих комплиментов мне как человеку и работнику, говорил, что давно меня отметил и за мной наблюдает и, выражаясь лагерным языком, «фаловал» меня в этом стиле не менее часа, а затем предложил стать сексотом.

— Вы будете давать совсем незначительные сведения. Так, какая-нибудь характеристика, или техническая экспертиза.

Я хорошо понимал, что это будут за экспертизы, и знал, что солнце навсегда погаснет для меня, если я сдамся.

Началась долгая и мучительная борьба.

От уговоров и обещаний всяческих благ, и в частности сокращения срока, Яковлев перешел к вымогательству и угрозам:

— Вот вы и обнаружили свое истинное лицо контрреволюционера — не хотите помочь Советской власти.

Грозил затеять новое дело: «Материалов у нас вполне достаточно, и вы никогда не выйдете из лагерей, так и сгниете здесь».

Он вызывал меня каждый день, иногда по нескольку раз, во всякое время дня и ночи, не давал спать, заставлял сидеть то в коридоре, то в сарае, служившем чем-то вроде карцера, по нескольку часов, кричал, вызывал к себе на помощь каких-то двух здоровенных заплечных дел мастеров, и втроем, с матом, криком, угрозами они вытягивали из меня душу.

Наконец мне все это надоело настолько, что я пригрозил Яковлеву пойти к начальнику отделения, заявить обо всем и уйти на общие работы. Должно быть, это было сделано достаточно решительно, и от меня отстали.

* * *

Часто по окончании дневной смены, пользуясь правом не присутствовать на поверках, я оставался на участке. В бараках душно и томят клопы, а здесь свежо; вокруг — ночь не ночь, а какой-то тусклый, призрачный свет.

Вошла в ритм работы ночная смена. Все начальство и всякие лагерные придурки ушли. Хорошо! На самом краю зоны, рядом с болотом, у тощего полуполярного леса я велел построить помещение — дощатый домик для подрывников. Там они отогревали динамит, там вставляли капсюли, там вершили свои опасные дела. Когда я уставал, то шел в этот домик; спал на деревянной скамейке, а утром, вместе с зябликом, который где-то рядом свил свое гнездо (нашел же место, чудак), встречал зарю. Еду мне приносил кто-нибудь из ребят.

Так по нескольку дней я не возвращался в лагерь.

Туда ко мне захаживал прораб плотины Тросков. Он не имел никакого технического образования: просто «бывший офицер», но имел хорошую голову и знал людей, а главное, за каждого из них готов был драться с кем угодно и не давал в обиду. За это его любили, и работа на плотине шла хорошо. Внешне он был бесцветен и неразговорчив. Всех, кто пытался выслужиться перед ним доносами и кляузами, ставил на самую трудную работу.

Летом к Троскову на десять дней приехала из Белоруссии веселая красивая жена с маленькой дочкой. Мы выселили подрывников из их домика и здесь у самого леса, как на даче, стала мелькать женская косынка, и девочка возилась с кукольным хозяйством, а вечером нас угощали бульбой с салом и домашним чаем.

* * *

Идет работа. Заметно идет. Не всегда ровно, не всегда хорошо, бывают срывы, но все же идет.

Углубились котлованы. Насквозь пролегла щель в скале на месте будущего шлюза. Уже плотники рубят на стапелях деревянные палы. Уже завозится клепка для деревянных затворов. Уже плотина протянулась через всю низину рядом со шлюзом.

И ребята вроде сыты и довольны.

* * *

Но кончилось лето, короткая северная осень, и пришла зима, суровая, вьюжная, морозная. Земля, лишенная толстого мохового покрова, сразу промерзла и превратилась в схватившуюся, как бетон, смесь супеси, гальки и валунов. Хоть бей ломом, хоть грызи зубами, больше сотки в день не выгрызешь. А норма — 2 кубометра в день. И к тому же дует пронизывающий морозный ветер, а обутки прохудились, и ноги кажут наружу пальцы. И бушлатики жидковаты. И в ослабевающих мускулах совсем нет никакого греющего запаса.

Ребята сразу приуныли. Выполнившим меньше 50 процентов нормы полагалось триста граммов хлеба и почти никакого приварка, а тут и 10 процентов не выполнить.

С каждым днем увеличивалось количество невыходов на работу по слабости. А кто раз не вышел, тому уже трудно, почти невозможно встать завтра. Оставалось лежать, пока какой-нибудь лагерный придурок не увидит и не гаркнет:

— Чего лежишь? На работу!

А там на трассе холод и пронизывающий ветер сразу уносят остаток сил. И все равно ничего не сделаешь, незачем зря рыпаться. Так хорошо сесть в глубине котлована, в затишке, прислонившись к забою, или лучше спиной друг к другу, или полуспрятавшись под опрокинутой тачкой...

А ночью, во тьме, когда все уже уйдут и не останется больше живых на трассе, приедут широкие сани, запряженные лошадьми, и увезут навалом всех, кто не смог уйти.

Некоторые в последние минуты вдруг встают и как будто в поисках последней справедливости, последней ласки куда-то идут.

Вот медленно, едва переставляя ноги, идет высокий парень. Конечно же, я знаю его. Летом он работал на моем участке, а потом куда-то был переведен. Был крепкий, красивый парень. А теперь?

— Куда ты идешь, Саша?

Он не останавливается. Он знает, что если остановится, то дальше идти не сможет. Даже не поворачивает головы, для этого тоже нужна сила.

— К лекпому!

Мы медленно двигаемся. Я поддерживаю его. Лекпункт рядом.

Знакомый лекпом растерянно разводит руками, шепчет:

— Что я могу сделать? Он обессилен, у него пониженная температура, а у меня строгий приказ обслуживать только тех, у кого температура повышенная. Посмотрите на его кожу — она как сетка. Посмотрите на его лицо — он через несколько минут умрет. Мы можем только дать ему умереть спокойно.

Мы кладем его на топчан, покрытый одеялом, подкладываем под голову подушку.

Тепло, не надо идти. Он блаженно и глубоко вздыхает и закрывает глаза...

Сколько их было на всем канале? Десять тысяч? Двадцать? Сорок? Кто-нибудь знает.

Именно в это время с Украины прибыл этап раскулаченных. Еще не

получив обмундирования, не привыкшие к холоду, они вышли на канал, видимо, сразу поняли все и не пытались бороться...

Потом даже не искали виновных...

В это же время на канале за каждую погибшую лошадь виновных отдавали под суд.

В это же время особенно много писали и говорили, что только в нашей стране проявляется отеческая забота о судьбах каждого отдельного человека.

* * *

На моем участке тоже стало тяжко. Большая часть рабочих была занята на скале. Бурить и взрывать скалу что летом, что зимой,— все одно. Их страшил только холод. Ну что же, надо только поживее работать. Но несколько сот человек работало на «тягких грунтах» и им грозила та же участь, что и украинцам.

Мы советуемся с Гришей, вызываем лагерного топографа.

— Слушай, Саша! Мы несколько неожиданно раньше времени уперлись в скалу. Бери нивелир, составь акт! Смотри — это все скала!

Саша потирает небритый подбородок, хмыкает.

— В орлянку играете, ребята. Ставку знаете?

— Знаем!

— А у меня, брат, школа. Я в Соловках учился у великого мастера туфты. Не бойсь, как говорят ребята. Тащи нивелир!

* * *

И все-таки было очень трудно. Руки мерзли, тачки не катились. Порода, даже взорванная, тут же смерзалась снова, и брать ее нужно ломами и кирками. Выработки падали, как и на других участках. А хлеб получали строго по выработке. «Дай кубы, получай хлеб!» Падали силы. Уже случалось, что и у нас кое-кто не выходил на работу. Я всех знал в лицо и не нуждался в докладах.

Мы опять думаем, думаем и наконец решаем.

План очень прост и очень уголовен. На нашем участке немногим больше семисот человек. Если каждый выработает норму, на всех будет выписано семьсот килограммов хлеба. Сто процентов — килограмм. А если двести человек выполнит 120 процентов нормы, то хлеба будет 500 + 240 = 740 кило.

Я издаю негласный приказ: всем способным работать — выполнять по 120 процентов нормы. Десятникам и бригадирам без этого не отпускать с работы. А выписывать по сто процентов. И за этот счет снизить нормы тем, кто послабее, и выписывать им тоже по 100 процентов. И каждый день, по усмотрению бригадиров, одному человеку из бригады разрешать не выходить на работу, отдыхать,— а норму выписывать.

По лагерному кодексу недодача хлеба заключенному, обворовывание заключенного — очень тяжкое преступление, и нам, мне, если все обнаружится, грозит тяжелое наказание.

Костюков, десятники, бригадиры все без колебаний поддерживают меня. Работягам об этом не говорят, и некоторые обижаются, грозятся. Но они знают, что эти самые бригадиры и десятники до сих пор их не обманывали, и больших скандалов не затевают. А нам того и надо.

Труднее справиться с морозами и вьюгой...

С утра, только работяги стали на места, подул и завыл ветер, мело сухим, мелким, колючим снегом. Не только работать, стоять с трудом можно.

Из лагеря звонок: «С работы не снимать, выполнять задание».

Проходит немного времени, и я вижу, как с соседних участков рабочие, сначала по одному, потом группами, потом всей массой уходят с работы.

А из лагеря опять: «С работы не снимать».

Но ведь это катастрофа! За самовольный уход им будет выписан штрафной паек, а при их состоянии это для половины — конец!

Надо во что бы то ни стало дождаться, пока начальство осознает положение и составит акт «на непогоду». Тогда обеспечен килограмм хлеба.

Все десятники на местах. Гриша Костюков, несмотря на отсутствие энтузиазма, весь день ходит от группы к группе, ободряет, улыбается. Мы следим, следим все время, чтобы не было обмороженных. По одному, по два подходят дрожащие, синие, насквозь прохолодавшие люди.

— Товарищ прораб, отпусти!

— Не отпущу! Бригадир, чего смотришь!

Уходят, ворча, чертыхаясь, матерясь.

И вот — бронебойный снаряд!

Жалкий, согнувшийся, засопливевший подходит Вася Шелопыгин. В обычное время у него круглые, голубые детские глаза, веснушчатое, привлекательное лицо. Ему всего 18 лет. Где-то под Курском о нем скучает мать. Я питаю к нему слабость и вопреки своим правилам немного ему блатую: работу даю полегче, отпускаю пораньше. Ребята это видят, но не в претензии — его все любят.

— Товарищ прораб, не могу больше, отпусти!

Я вижу, как изо всех щелей, из всех укрытий на меня смотрят и ждут. И если я сейчас сблатую!..

— Не могу, Вася, иди на место.

Он начинает плакать. Дрожит.

— Прораб, отец родной, отпусти! — Хватает за руки: — Брат, брат, отпусти!..

— Не могу, Вася, возьми себя в руки, иди!

— Ну так подавись ты своим шлюзом, гад проклятый! Продажный!

«Продажный!» Для лагерника это особенно тяжело.

Рядом стоит, насупившись, Гриша Костюков. Глаз его совсем не видно.

* * *

Поймет ли когда-нибудь Вася Шелопыгин, через какое испытание он провел нас в тот день? А если не поймет, то все равно я знаю и буду помнить всю жизнь, что на нашем участке не было ни одного человека, умершего от голода или замерзшего на работе!

* * *

Но все проходит... вовремя ли? Может быть, и вовремя. И после страшной зимы снова скудная, но теплая, крадущаяся, длительная северная весна. И начало лета.

Шлюз и канал почти готовы. Опять я хожу запутавшись — день ли стоит серый или карельская ночь? Заканчиваем всякие доделки, наводим красоту.

Ужасно мешает начальство. Оно по одиночке, группами, пачками, из Медвежьей Горы, из ГУЛага, из Москвы ездит каждый день.

— Верховский! Опять здесь ваши рабочие путаются и портят вид. Что они здесь роют? Сейчас же засыпать, а рабочих отослать!

— Но это же необходимо. Ведь придется опять откапывать. Двойная работа.

— Исполняйте, что вам говорят.

И мы засыпаем начатое, а ночью, когда начальство, слава богу, спит и не ходит к нам, вновь откапываем засыпанные котлованы и наспех кончаем работу.

* * *

И вот уже сверху пущена вода. Она заполняет верхний бьеф, напирает на плотину. Плотина стоит! Открывается водосброс, вода заполняет нижний бьеф. Поднимаются затворы, вода бурлит, кипит, врывается в шлюз, заполняет его. Все в порядке. Канал готов!..

Я сижу в диспетчерской и слушаю обрывки фраз, какие-то слова, шум. Вдруг отчетливо звучит хриплый, надсадный голос:

— Шнадцатый! Шнадцатый! Шнадцатый! Чего молчишь, Шнадцатый?! К девкам побег, раз-так твою заключенную душу! Шпадцатый!

Неожиданно, как из пустоты, спокойный баритон отвечает:

— Ну чего разорался? Слушает шестнадцатый!

— Слушает, слушает! — еще ярится сипатый. — «Ворошилов» идет. В два часа шлюзовать будете!

Передаю трубку диспетчеру. Сейчас будут вызывать нас. Мы пропускаем «Ворошилова». Пропускаем несколько барж с грузами. Наконец, ясным, теплым днем в шлюз входит пассажирский теплоход. На палубе толпятся какие-то в роговых очках, с записными книжками, с фотоаппаратами. Писатели! Они едут бригадой и потом распространят «творимую легенду», как мы исправились в труде, как переродились и превратились в честных людей.

Пока пароход болтается в камере, я стою наверху, у ее края. Кто-то с палубы — это, вероятно, входит в план — спрашивает, кто я, давно ли здесь, за что осужден?

Какого, интересно, ответа ждут эти «властители дум»? Что я осужден за несуществующий заговор? Чтобы они разнесли этот ответ по свету, а мне дали еще десять лет добавочных? И о чем вообще говорить с этими творцами официального оптимизма?!

Рядом стоит Гриша. Глаза его сузились, блестят насмешкой.

— Я зарезал свою мать, — говорит он, — а он осужден за попытку вооруженного мятежа против Советской власти.

Писатели, пораженные, записывают. Кто-то смотрит с сожалением:

— Такой молодой! Зачем вам восстание?..

* * *

И вот новый приказ! С небольшой партией заключенных мы плывем белой ночью на пароходе по Онежскому озеру вдоль его изрезанных и поросших лесом берегов. Чудесны северные летние ночи! Пароходик доставляет нас к Пудожгорскому погосту. Вот это место! Угрюмые, северной постройки избы выстроились в несколько рядов на некрутом взгорье. На каждом перекрестке либо крест, либо что-то вроде маленькой часовни. Впритык к селу, без всякого просвета, стеной стоит лес, темный, страшный, нехоженый, вековой. Это ведь именно сюда, в эти леса бежали от преследований Никона в петровские времена приверженцы истинной веры. И именно здесь, в Пудож-Горе было больше всего самосожженцев.

Потому или почему-либо другому, люди здесь кажутся угрюмыми, замкнутыми.

Нам надо набурить, взорвать и подвезти к озеру несколько десятков тонн титанистого железняка из месторождения в четырех километрах от села. И надо провести дорогу оттуда к пристани.

Работа знакомая. Рабочие неплохие. К тому же они довольны, что живут не в лагере, а прямо на селе, в избах; вечерами играют с девчатами, и те поют томными голосами, то ли сдерживая, то ли приглашая.

— Беседуйте, пожалуйста!

Конвой маленький и занят теми же делами. Ему не до нас. Работа идет быстро и хорошо. За три дня мы, где надо, разбираем камни, расчищаем лес, кое-что сглаживаем, и дорога почти готова.

Не тороплю ребят, надо же и лагерникам отвести душу. Но как ни медли, а больше месяца не протянешь. Жаль уезжать. Ребята опять грузятся на пароход, а я машиной еду северным берегом озера в обход, в Медвежью Гору.

Какая дикая, захватывающая красота! Скалы, валуны, и леса, леса! И маленькие, вросшие в землю старые деревянные церкви!..

ТУЛОМА

Опять приказ — ехать прорабом на Тулому. Тулома — это недлинная, но многоводная и бурная река, впадающая в Кольский залив. Там будут строить гидростанцию. Через два дня я уже в поезде, один, без конвоя, в общем вагоне, а еще через два — любуюсь Колой, вернее, Кольским заливом. Широкий, спокойный, величественный, с ясной, прозрачной водой, как фиорд в скалистых берегах. Тот берег круче, выше и порос лесом. На этой стороне горы покрыты мхами, и сейчас, осенью, они пестрят всеми осенними красками. А рядом в залив впадает зажатая скалами, бурная, вся в брызгах, Кола. Она тоже очень хороша. И самое завлекательное — это стоять на мосту и смотреть, как в бурном потоке каким-то чудом вертится, управляется лодочка с двумя рыбаками. Они выделывают какие-то трюки с маленькой сетью и вылавливают из пенистой воды огромных лососей.

Тулома еще красивее. Левый берег скалист, высок и крут; он защищен от холодных ветров и порос настоящим лесом. Жаль корежить и портить эту красоту. Нам надо срезать часть именно этого красивого берега и пробить в скале канал.

* * *

Все на Туломе кажется не так, как на Беломорканале. Людей здесь гораздо больше. Но, бог мой, что это за люди! Здесь совсем нет медлительных рассудительных и таких хороших в работе и лагерном быту крестьян — раскулаченных. Почти сплошь вся масса — развратная, распущенная, развинченная, все проигравшая в карты, в бога, в душу, в горло изматерившаяся шпана-уркаганы. И сверху, совсем немного, тоненькая пленочка бывших инженеров, бывших артистов, бывших наркомов, бывших директоров...

Но зато там начальником лагерей Сутырин. Он хорошо разбирается в деле и в людях и с ним легко работать. И помощников он подбирает под стать себе.

* * *

Работа на Туломе была все та же, но кое в чем и отличается от беломорской.

Была кое-какая техника. Были деррики, мотовозы, экскаваторы, буровые станки. Скалу бурили только пневматическими бурами. Но основа всего была та же — «ребячий пар». Рабочих было гораздо больше, и расставить их разумно на участке составляло задачу не из легких. Такая насыщенность при разладе в работе была опасна, но при налаженном хорошем ритме создавала некоторый веселый подъем.

В работе на общих правах участвовали две женские бригады. Их обычно перебрасывали с места на место на отстающие участки. Участок немедленно становился похож на сельскую гулянку в пропойный день, но, как ни странно, работе это не мешало. Стосковавшаяся по женской близости шпана ярилась и с удвоенным рвением набрасывалась на скалу, чтобы скорее кончить норму и потом походить, покрасоваться перед женским участком.

Кормили и одевали заключенных не в пример лучше, чем на Беломорканале. Голодающих и замерзающих не было. И еще особенность. На Туломе работало довольно много вольнонаемных инженеров. Некоторые с семьями. К заключенным иногда приезжали жены. Им отводили отдельные комнаты, и вечерами мы собирались совсем в семейном кругу.

Но были и свои неприятности. В частности, было много опасных мест. К концу работы, когда мы уже срезали левый берег Туломы, вдоль трассы образовался высокий, местами до 30 метров, отвесный скальный забой, прикрытый сверху пятиметровым слоем суглинка с вкрапленными в него валунами. И вот иногда отделялся валун, а иногда целый пласт суглинка

со всеми валунами соскальзывал и с грохотом летел на работающих внизу людей. Или с забоя срывался непрочно державшийся кусок скалы.

Против этого ничего нельзя было предпринять. Мы ставили внизу, метрах в тридцати против забоя, цепочку инвалидов с единственным заданием — все время смотреть вверх. И как только зашевелится наверху камень, очередной дозорщик истошным протяжным голосом кричал: «Э-эй! Берегись!» Кто убегал, кто прижимался к скале. И вот сверху — шлеп! трах! На этот раз все благополучно. Но бывало и неблагополучно. А один раз с большой высоты обвалился широкий пласт скалы...

До этого я никогда не знал, что смертельно раненные лошади кричат громкими, почти человеческими голосами. Но страшнее и отвратительнее всего была сбежавшаяся со всей стройки шпана. С каким-то странным выражением на возбужденных лицах, с горящими глазами, как загипнотизированные, они смотрели, как из-под камней извлекали остатки человеческих тел. Некоторых било, как в лихорадке. Казалось, вот-вот оскалятся клыки и закапает слюна... Впрочем, мало ли что может показаться в такой момент.

Тулома далеко за Полярным кругом. Зимой там три месяца не восходит солнце, а летом три месяца оно не заходит. Полярную ночь я переносил легко и даже как-то не сразу заметил. Уж очень хороши в ту зиму были северные сияния. Трудно представить себе явление более призрачно прекрасное. Сияния становятся видны, как только начинает темнеть ночное небо. Уже в августе в неверных сумерках прозрачных ночей вспыхивает северный горизонт радужными мелькающими полосами сияний. Чаще всего я наблюдал их в декабре. Молчаливо морозное бездонное пространство, пронизанное голубоватым мерцающим светом звезд. В безмолвии замерли, запорошенные синим снегом, скалы и леса. Искрится, переливается звездами темное небо... И где-то в северной его части, как оторвавшееся пятно Млечного пути, возникает прозрачная, неясная белесоватость. Она не мертва. Она живет, медленно удлиняется, меняет очертания, становится светлее. Вот она как будто пульсирует, наливается густым молочным свечением и... замирает, обессилев, блекнет. Вот светящаяся полоса появилась вновь, в другом месте. Она уже длиннее и шире протянулась, подобно Млечному пути, почти через все небо. Она тоже медленно пульсирует, набирается молочным светом и таинственной силой; в одних местах темнеет, в других — свечение достигает такой силы, что кажется, вот сейчас брызнет оно потоками несказанного света... Но опять следует спад и замирание и новый прилив напряжения. После нескольких минут такой игры вся сила свечения сосредоточивается к одному концу полосы, она начинает колебаться, изгибается как полотнище огромного флага, расцвечивается всеми радужными цветами... мгновенно, как если бы кто-то невидимый включил ток... вся туманность распадается на бесчисленные вертикальные прозрачные полосы-лучи фиолетового, синего, зеленого, розового цветов, таких нежных и призрачных оттенков, перед которыми грубыми кажутся цвета радуги. Все переливается, мелькает, перемещается, сосредоточивается в зените, какое-то мгновение вращается, как крылья фантастической птицы, и исчезает... Еще темнее кажется мрак морозной ночи и неподвижнее пустынное пространство, еще молчаливее и мертвее снега и скалы... Но вот где-то, как слабый намек на предстоящее, снова возникает туманная полоса, и все повторяется вновь.

Бывает и иначе. Иногда в северной части неба одновременно возникает несколько прозрачных, переливающихся всеми нежными оттенками полос-завес, исчезающих, возникающих вновь. Иногда над северным горизонтом появляется огромная дуга, как радуга молочного цвета, опирающаяся концами в землю. Небо под ней кажется темным, почти черным, как наползающая туча; верхний край дуги бывает зубчатым — корона. За такой дугой иногда медленно передвигаются, всегда справа налево, длинные столбы света, как лучи мощных прожекторов; иногда лучи начинают переливаться радужными тонами, быстро исчезают, появляются вновь, сама дуга изгибается правым концом в огромный завиток, распадается на вертикальные радужные полосы, приходит в мгновенное быстрое движение и исчезает. Иногда таких дуг, увеличивающихся и расположенных одна над другой, бывает несколько. Они светятся мягким молочным сиянием и

похожи на гигантский вход в таинственное царство ночи. Можно было часами стоять, задрав голову вверх, забыв про сон, мороз, работу.

Полярное лето внушало мне какую-то смутную тревогу и беспокойство. Полярный день — совсем не день. Солнце, красное, холодное, скользит вдоль горизонта, окрашивая все каким-то призрачным, не то вечерним, не то утренним светом, и душу охватывает щемящая тоска. Нужно куда-то идти, что-то искать, чего-то не пропустить. Никакие искусственные затемнения в помещении не помогают. Когда нападала «полярная тоска», я шел к оказавшемуся здесь же приятелю из Соловков, и мы вместе похаживали и покуривали, то ли на трассе, то ли уйдя куда-нибудь. Ему тоже не спится белыми ночами. Он очень интересно рассказывает свои похождения.

Все проходит вовремя у того, кто умеет ждать! Настал день, когда я, как обычно, о чем-то шумел на почти законченной трассе. Еще издали я заметил улыбающееся и очень довольное лицо Сутырина.

— А я к вам, Верховский. Я сам хотел показать вам это. — На бумажке значилось, что с зачетом рабочих дней и в результате сокращения срока меня освобождают из заключения.

Всего я отбыл около пяти лет.

* * *

Куда ехать? Что делать? У меня нет дома, нет семьи, нет имущества, кроме лагерного бушлата. Все надо начинать сначала. Сутырин предлагает остаться вольнонаемным, но я отказываюсь.

Товарищи, заключенные и вольнонаемные, что-то собирают — на первое время хватит.

* * *

Еще очень рано, все спят, но я уже выхожу из барака — надо поспеть к поезду. У выхода из лагеря ждет секретарь Сутырина.

— Я выведу вас из лагеря. Иначе вас будут долго и нудно обыскивать.

Какой славный парень!

Мы выходим.

— Вам не надо слишком торопиться! Вот ваш билет. Прощайте, товарищ Верховский!

— Прощайте!..

Прощай, Тулома! Прощайте, лагеря!

Надолго ли?..

ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ

Я еду вместе с шофером грузовой машины, почти приятелем по Туломе. Он парень незатейливый, освобождение празднует, как умеет: всю дорогу, пока «полярная стрела» мчит нас на юг, он что-нибудь заказывает проходящей по вагонам официантке, и я с небольшими перерывами слышу:

— Пожалуйста, салатик! И еще два раза по двести на заправку, помидорчиков, пожалуйста, хлеба немножко!

Он удивлен и даже обижается, что я не пью. А я думаю: «Хорошо тебе пить, ты едешь в Москву к жене, в квартиру; послезавтра ты уже будешь помытый, побритый, чистенький; недели две отдохнешь и начнешь понемногу работать. Шоферы везде нужны, начальство в гаражах простое и понятливое, да и статья у тебя немудрая. У тебя все быстро устроится. А что делать мне?»

И вспоминаю, как в 1929 году, вернувшись из Сибири, пытался внедриться в жизнь.

Мне чудом быстро удалось обменять справку об окончании срока ссылки на паспорт. Паспортистка начала перечислять длинный список необхо-

димых документов, которые мне явно негде было достать, потом, вздохнув, глянула затуманенными понимающими глазами:

— Давайте вашу справку!

И через пять минут я уходил с паспортом в кармане.

В те времена человек иногда еще мог проявлять свои человеческие свойства.

Дальше пошло хуже. Только что была учреждена биржа труда и нельзя было получить работу, не встав на учет в этом мрачном учреждении. В паспорте осталось упоминание о енисейском документе, и на учет меня взять отказались: «Принесите справку о том, что вы не лишены избирательных прав». То же требование предъявили в военкомате, где нужно было встать на учет. Где взять эту справку? Говорят, в домкоме. В домкоме только смеются: «А откуда мы знаем ваши права, идите в райисполком». В райисполкоме раздражительный деятель повторяет ту же фразу и отсылает в Моссовет. В Моссовет меня даже не пускают. Разрешают только поговорить из приемной по телефону с кем-то, где-то сверху восседающим, невидимым, но благостно-снисходительным, кратко разъясняющим, что Моссовет не может входить в эти вопросы, и отсылающим в Наркомвнудел. В юридическом отделе Наркомата вежливые и все понимающие юристы возмущаются: «А они не требуют от вас справки на право дышать? Ведь если бы вы были лишены избирательных прав, это было бы оговорено специальным постановлением и документом». Но помочь чем-нибудь отказываются. В течение месяца, каждый день с утра и до часа окончания работы в канцеляриях, я, как заведенный шарик, верчусь в заколдованном круге: биржа — домоуправление — райисполком — Моссовет — Наркомвнудел, — пытаясь прорвать это чертово кольцо, убеждаю, взываю к логике и справедливости. Не тут-то было! В учреждениях сидят люди опытные. Недаром в это время Москва распевала: «Чтобы службу получить, в профсоюзе надо быть; в профсоюзе чтобы быть, надо службу получить». Меня принимают все суше, отмахиваются, отказываются разговаривать.

Все уже кажется потерянным и дальнейшая борьба бесполезной. В последний раз (так я решил) для очистки совести иду знакомым маршрутом. Стою в кабинете военкома, в который раз повторяю и ему и мне обрыдлые доводы. «Нет», — слышу в который раз и поворачиваюсь, чтобы выйти. В это время звонит телефон, военком слушает, торопливо отвечает, кидается к выходу, на бегу натягивая шинель, и уже у самой двери что-то кричит вошедшему помощнику, указывая на меня.

— Что сказал военком?

Выноси русская кривая!

— Военком сказал, — твердо глядя ему в глаза, отвечаю я, — военком сказал, чтобы вы сейчас же взяли меня на учет.

Помощник смотрит мой паспорт, воинский документ, бормочет что-то об избирательных правах, но я не даю ему опомниться, подавляю логикой юристов из наркомвнудела и привожу решающий довод:

— Вы слышали, что сказал военком?

А еще говорят, чудес не бывает! Вот я иду твердой походкой советского гражданина, взятого на учет, грозно смотрю на регистрирующие ничтожества на бирже труда и спрашиваю:

— Так вы думаете, что можно состоять на учете Рабоче-Крестьянской Красной Армии и быть лишенным избирательных прав?

Дьявольский круг мгновенно рассыпается. Я на учете. Я на работе. Я снова человек, гражданин, инженер, начальник цеха.

Так было в 1929 году. А что будет теперь?

Теперь: я и не буду пытаться устроиться в Москве, хотя формально имею на это право — никаких минусов и ограничений не получил. Я проеду прямо в Среднюю Азию, а в Москве только сделаю остановку на три дня, там много друзей и знакомых, многие работают в трестах и главках, и, может быть, они помогут устроиться и из Москвы дадут назначение на работу.

В Москве оставляю вещи на Сретенке у шофера, привожу себя в порядок и вот, как бывало, сижу у старого друга. В комнате все как было. По-прежнему много книг. Он где-то большой инженер, мой друг, он

рад моему приезду, расспрашивает, слушает, сочувствует. Можно ли что-нибудь сделать? Глаза его задумчиво уходят немного в сторону:

— Пожалуй, нет... Пожалуй, тебе лучше всего устраиваться на месте. Там это проще, люди проще, работники нужнее, а здесь...

Он машет рукой, потом придвигается, мягко берет меня за локоть:

— Я рад, что ты приехал, совсем не с кем поговорить, поделиться мыслями. Ты знаешь, я всегда был атеистом. Всегда! Но в последние годы я много думал и... стал религиозен и сразу почувствовал себя свободнее! Сво-бод-не-е — еще раз скандирует он.

Но, боже мой! Я точно помню, что именно эти слова и с теми же интонациями и так же по слогам я слышал от него пять лет назад. Как странно! Как будто в этой комнате с книгами время остановилось и не было никаких событий.

Часом позже другой знакомый, то ли ученый, то ли поэт, истощив запас радостных восклицаний и приветствий, удовлетворенно говорит:

— Мы тоже здесь не стояли на месте. Вы понимаете, много сделать мы не можем, но сберечь красоту, создавать хоть крупицы прекрасного — это уже кое-что. Он читает свои последние стихи:

Вы вся в мечте, пред вами все дороги...

Но я готов поклясться, что именно эти стихи, в этой же комнате он читал мне в конце 1930 года. И здесь время остановилось? Что все это значит? Уж не застыли ли они в неподвижности от страха перед действительностью и пытаются таким путем спасти остатки своего «я». Я находил потом элементы тех же попыток заслониться от действительности часто и в разной форме у разных людей и в разных условиях и не только в Москве.

В первую же ночь обнаруживается, что мне негде переночевать. Старый приятель, у которого я засиделся вечером, давно с беспокойством поглядывает на часы. Я кончаю его терзания.

— Ну, я пойду.

— Постой, почему же, — с видимым облегчением говорит он, — уже поздно. Разве ты не переночуешь у меня?

— Нет, спасибо, я приглашен к Родионову.

Он виновато улыбается.

— Ты присмотришься и увидишь, что и мы живем как в лагере. А у меня семья...

К шоферу возвращаться не хочется. У него, наверное, пьянка до утра. Я провожу ночь на вокзале, благо у меня транзитный билет и, следовательно, полное право на скамейку.

Следующую ночь я сплю у старой приятельницы на маленьком диване, где все хорошо, но невозможно протянуть ноги. Я не говорю вслух об этой маленькой подробности, чтобы не огорчать ее. Она ничего не боится. Она сама не знает, будет ли завтра человеком, будет ли завтра работать. Ее беспрерывно отовсюду увольняют за «происхождение», но находятся отзывчивые люди и устраивают ее снова. Опять она что-то делает, чем-то живет. Она, очевидно, смертельно устала, по-прежнему читает груды книг, ищет правду. Даже находит ее крупицы в окружающей жизни. Не прячется ни в какую скорлупу и при всем том говорит, что ничего не понимает.

Никто ничего не может для меня сделать. Некоторые откровенно не хотят и даже избегают встреч, остальные не могут. В главках и трестах просто не разговаривают. Только мой старый руководитель по дипломному проекту, сам в 1931 году приговоренный к расстрелу «за вредительство», обаятельный, иронический, насмешливый, прямой и редкий по своей моральной честности профессор Родионов ни в чем не изменился. В свое время он единственный из крупных ученых отказался работать в заключении, мотивируя это все тем же принципом: «Я не канарейка, чтобы чирикать в клетке». Но из органической потребности в деятельности он научился тачать сапоги и очень успешно шил и починял обувь себе и своим товарищам по заключению. Его вызывали, уговаривали, страшили. Коса нашла на настоящий камень! Тогда его вызвали в чекистские верхи и спросили:

— Будете вы работать честно, если мы вас освободим?

— Я всегда работал честно и буду работать так, как всегда, за что вы меня уже однажды приговорили к расстрелу.

На него махнули рукой и скоро выпустили, а еще через несколько лет он был избран в Академию наук и стал одним из наиболее любимых и почитаемых ученых. Одна из черт его обаяния заключалась в том, что он со всеми разговаривал и держал себя совершенно одинаково, будь то простая уборщица или министр.

Он бросает все свои дела, чтобы помочь мне, обзванивает всех знакомых, пишет записки, дает блестящие характеристики, предлагает деньги, ночлег. Но и ему не под силу пробить стенку холодного и трусливого равнодушия.

Через три дня я уезжаю из Москвы и после месяца бесплодных и утомительных скитаний по Средней Азии и Сибири устраиваюсь заведующим цехом на химзаводе в Чимкенте, а еще через год перебираюсь в чарующий своими соборами, вишневыми на холмах садами и веселой молодежью Владимир.

Я поселяюсь в бревенчатом домике в большом саду на окраине, работаю в исследовательской лаборатории на заводе, на работу хожу три километра пешком, чтобы полюбоваться стариной и заречными далями, и думаю, что пора начинать жить.

ДВА ГОДА

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Б. Пастернак

Но уже через год, в декабре 1938 года, я был арестован в третий раз.

Меня поместили в находившейся при ГПУ внутренней тюрьме, на горе, в здании старинного монастыря, окруженного высокой выбеленной каменной стеной. На вторую же ночь вызвали, чтобы предъявить обвинение по 58-й статье в организации заговора, имевшего целью свержение Советской власти, во вредительстве, шпионаже и контрреволюционной агитации.

Я попытался что-то возразить, но с криком и матерной руганью на меня накинулись находившиеся в комнате три человека. Он вопили, что теперь я не уйду от расправы, как ускользал до сих пор, что меня нужно расстрелять, как собаку, без суда и следствия, что я продавшийся кому-то гад... и все в том же роде минут десять; потом сразу и, как казалось, весело, замолчали, и один из них добавил:

— Теперь иди и вспомни свои преступления. Они нам известны все, и все записаны здесь,— он указал иа папку,— ню ты должен признаться сам.

С тех пор меня, казалось, забыли; проходили дни, недели, месяцы, приходили новые заключенные, уходили старые: людей вызывали, перемещали. Я был в числе немногих, которые лежали, как камни иа дне ручья.

Прошло много лет, прошли мои тюремные злоключения и жизнь изменилась, стало забываться прошлое, но долго и часто в снах с безнадежной тоской я видел себя снова в тюрьме, забытым навсегда.

* * *

Поместили меня в небольшую камеру, до отказа набитую людьми. Особенно это было заметно ночью. Люди лежали очень тесно на двухэтажных нарах вдоль стен, на цементном полу. под нарами, в проходе, у самой параши. Воздух был очень тяжел. Форточку открывали редко, потому что у тех, кого хватали на улице, на работе, одеял и теплой одежды не было, а передач не разрешали. Внизу на полу люди замерзали, на верхних нарах — задыхались.

Мне повезло. Арестовали меня ночью, дома, и по непонятной прихоти арестовавшие разрешили взять одеяло, маленькую подушку, пальто и белье. По тюремным неписаным правилам мне полагалось лечь на полу у параши. Но на нижних нарах у самого окна было сыро, стена заледенела, дуло из окна. Никто не хотел там лежать, и я без споров занял это место. Такое положение, кроме прочих преимуществ, давало возможность заглядывать в щелку в деревянном наклонном щите с наружной стороны окна (изобретение того времени) и видеть часть большого дерева. Это был единственный кусочек природы, доступный «заключенному» зрению, и, может быть, поэтому, а может быть, потому, что по причине общего истощения восприятия обострились и исказились, но дерево это приобрело в моей жизни значение особенное. Я каждый день следил за переменами в его состоянии. Следил, как галки и вороны дрались в его голых ветвях зимой; как весной на нем появлялась зелень, прозрачная, как дым костра на заре; как густой и темной, смотрящей в небо пирамидой стояло оно летом. Казалось, глядя через свою щель, я что-то понял в природе, чего не понимал до сих пор, понял, что я — часть природы, а не что-то обособленное, как чувствовал раньше. И от этого дерево в моем представлении стало почти живым, понимающим и сочувствующим союзником.

Клопов в камере таились полчища несметные, и в меру своих сил они увеличивали наши злоключения. Уничтожить их было невозможно. Время от времени с нар снимались все вещи и, с риском пожара, все пазы и щели в досках и стояках прожаривались паяльной лампой; потом нары прошпаривались крутым кипятком из больших медных чайников. Хлопот было много, но все напрасно. Через два-три дня клопиное племя воскресало из небытия и набрасывалось на бедных заключенных с остервенением бенгальских тигров.

А еще одолевали вши. Через день одежда нового заключенного кишела этой мерзостью. Их били индивидуально, в «диком» порядке, когда зуд становился невыносимым; били всей камерой, по команде старосты. Снимали белье, выискивали во всех швах и с ожесточением давили. Уничтожали два раза в месяц в дезинфекционных камерах, когда ходили в баню. Ничего не помогало. У счастливцев, явившихся в шелковом или вискозном белье, их как будто было поменьше — мерзавки скользили по гладкой поверхности, им было трудно за нее зацепиться. Но счастливцев было очень мало.

По полу ползали жирные мокрицы и пронырливые сороконожки, иа стенах бегали прусаки. Но от этих энтомологических разновидностей беспокойства было немного.

В каждой камере был выбранный староста. Староста назначал дежурных на уборку, следил за порядком продвижения заключенных от параши к более удобным местам, раздавал хлеб и миски с едой. При раздаче хлеба староста брал в руки пайку и кричал: «Кому?» Кто-нибудь, отвернувшись, отвечал: «Прохорову!» Так осуществлялась голодная справедливость.

Кормили заключенных очень плохо. В то время считалось заранее, что все арестованные виновны — раз взяли, значит, что-то есть,— и обращаться с подследственными (странно, что сохранялась эта формальность — следствие) надо как с преступниками. Давали в сутки шестьсот граммов черного хлеба, десять кусков сахару; утром чай; на обед неполную миску баланды, в которой «крупинка догоняла крупинку», и одну полную столовую ложку каши или (борьба против цинги) кружку компота из сухих груш — чуть окрашенной теплой воды без сахара и без груш. Передачи разрешали только тем, кто признал себя виновным. Их обычно сразу переводили в другие, привилегированные камеры. Поэтому подследственные жили с постоянным ощущением голода.

Мучительно, но ие трудно, сытому человеку ничего не есть день, два, даже три. Но когда недоедают систематически, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, голод отвратителен и страшен. Все сны

только о еде; все время ходишь около еды — хватаешь хлеб, сахар, масло, яблоки, почему-то особенно яблоки, пытаешься есть, засовываешь их в карманы, за пазуху, в шапку, и все время что-то мешает, и все время все надо начинать сначала. Все мысли, как сны, наполнены представлениями о еде, все разговоры, как сны, возвращаются к еде. А когда тридцать — сорок таких голодных собраны вместе и не могут разойтись, их мысли и видения взаимно усиливаются и принимают форму тяжелого массового психоза.

Все следователи играли на этом чувстве, разжигали его на допросах придвинутой тарелкой еды, обещаниями передачи.

* * *

День заключенных начинался с шести часов. Дежурные сметали мусор с нар, выносили парашу и, получив у надзирателя тряпку и ведра, мыли пол в проходе и под нарами. После оправки, умывания, завтрака, на котором редкий заключенный имел силы не съесть весь дневной хлеб и весь сахар сразу, заключенные садились тесно друг к другу, свесив ноги с нар. Кто вернулся с ночного допроса (допросы всегда были ночью), старался поспать сидя, укрывшись за соседями. Остальные развлекались, как могли: обсуждали свои дела, вспоминали прошлое, рассказывали всякие истории.

Потом была получасовая прогулка. Обед. Опять сидение на нарах. Ужин. Отбой в десять часов. И тут время от времени открывалась дверь. Со страхом поднимались головы... Дежурный надзиратель произносил обычную фразу:

— Козлов! Давай... без вещей!

На допрос! Головы опускались, и все затихало... До следующего вызова.

Надзирателей было трое. Небольшого роста, немного вялый, с усталым голосом и косоватыми глазами Костин. В том, как он произносил классическое «давай!», всем чудилось участие и сострадание. Он никогда не был груб или придирчив, и, хотя ничего не допускал недозволенного, заключенные очень его любили.

Второй надзиратель, Елагин, — молодой, веселый. Любил, отворив дверь, пересмеяться с камерниками. Был приветлив.

Только третий, франтоватый и подтянутый щеголь — Хохлов, не скрывал своего пренебрежения к заключенным; бывал резок, но не нарушал заведенной старшими традиции и «держался в пределах».

Я и здесь, как в прежние годы, наблюдал и лично на себе испытал доброжелательное отношение низшего тюремного персонала — конвоиров, солдат. Оно очень поддерживало и помогало в той трудной и мучительной борьбе, которую приходилось вести со следователями.

Следователи же были жестоки или вынуждались к жестокости. Условия заключения, голод, ночные допросы составляли часть рассчитанной системы следствия. Крики, доносившиеся в камеру по ночам из следственного корпуса, свидетельствовали о мерах, завершающих эту систему.

* * *

Раз в две недели нас водили в баню. Она была и мучением, и единственной утехой. Банные дни были известны только приблизительно, к тому же менялась очередность камер. Широко и почему-то всегда неожиданно дверь открывалась, дежурный надзиратель выкрикивал:

— А ну, давай в баню!

Нас втискивали в обыкновенный грузовик с высокими бортами. Мы сидели, поджав колени и обхватив их руками. Конвойный садился с шофером, четыре конвоира в машине по ее углам, и мы мчались на окраину города в баню при общей тюрьме. Немного вытянувшись, можно было видеть улицу и прохожих.

За тридцать — сорок минут надо было успеть сделать массу дел. Нужно было постирать ношеное белье, полотенца, носовые платки. Все это одним небольшим кусочком мыла, если не удастся получить обмылок от тех, кому нечего стирать (следственным заключенным ни белье, ни одежда не выдавались, и каждый во время следствия ходил в том, в чем его захватили). Нужно было успеть помыться и хоть немного распарить разъеденное клопами и вшами тело.

И вот прошли положенные минуты. «Давай, давай!» И мы мчимся обратно, усталые, разомлевшие, но довольные. «Пожалуй, жить на свете еще стоит!»

Банные дни вносили еще один элемент печальной радости и волнений в нашу тюремную жизнь.

Жены, матери, родственники заключенных следили за нашими выездами, ожидали их, сообщались друг с другом.

В предполагаемый для бани день с раннего утра в любую погоду — в дождь, вьюгу, в слякоть — вблизи тюремных ворот дежурили эти истерзанные страхом, любящие, бесконечно терпеливые люди.

При выезде из ворот машина медленно разворачивалась, некоторое время переваливалась на ухабах, и в эти несколько мгновений, чуть-чуть вытянувшись, можно было увидеть милое, измученное, но улыбающееся лицо; можно было послать молчаливую ответную улыбку. Ради этих мгновений некоторым из них приходилось дежурить на улице весь день. А некоторые накануне специально приезжали издалека.

* * *

Очень удивляли настроения заключенных. Казалось бы, наученные, «обожженные» собственным опытом, они должны хорошо разбираться в причинах арестов и знать цену предъявленным обвинениям. Но было не так.

В нашей камере (как, наверно, и во всей тюрьме) заключенных можно было разделить, примерно, на шесть групп.

1. Директора предприятий, инженеры, техники. Их обычно обвиняли во вредительстве; сидели они долго.

2. Военные, в большинстве, бывшие военные, некоторые продолжали службу в Красной армии. Их обвиняли в попытках организации восстаний, и «продвигались» они быстро. Может быть, потому, что им была ясна безнадежность их положения, может быть, потому, что, более привычные к повиновению, они скорее сдавались и признавали обвинения, вынуждая этим к сдаче упорствующих.

3. «Разночинцы» — учителя, артисты, писатели, журналисты. Этим часто приходилось очень туго, хуже, чем всем другим. Обвинения и судьбы их бывали различны. Среди них особенно выделялся Крымов, маленький, бесцветный с виду комсомолец, лет 24—25, редактор какого-то областного комсомольского издания. Все звали его Володя. Не помню точно всего, что ему инкриминировалось, но в числе пунктов обвинения фигурировали неизменный шпионаж и участие в заговоре против Советской власти. Следователи взяли его в оборот сразу и решительно. Сначала он стоял на допросах ночами, с вечера до утра, затем сутками, и однажды его ввели в камеру после четырехсуточного беспрерывного «стоячего» допроса. Ноги его распухли и стали как бревна и местами кровоточили, так как кожа полопалась. Глаза были мутны, он шатался. Его посадили с приказом не спать. Он сидел между двумя заключенными, чтобы не повалиться на бок; сзади, упираясь в его спину, сидел третий. Спереди стояло несколько человек, чтобы загородить всю группу со стороны двери. И он спал сидя. Коридорный изредка, больше для вида, спрашивал через глазок:

— Не спит Крымов?

Все хором отвечали:

— Не спит.

Он так и не сдался. Когда его спрашивали, ради чего он губит себя, и говорили, что все равно ничего и никому он не докажет, он молча улыбался, но в глазах его светилась та чистая, молодая, настоящая вера, которая может выдержать все, чтобы отстоять свою чистоту. И без которой нет ничего. Ни настоящего человека, ни настоящего общества.

4. Четвертую группу составляли священники и другие «служители культов». Эти быстро и без забот получали свои десять лет и отправлялись по назначению.

5. Затем шли рабочие, мелкие служащие, преимущественно железнодорожники. Чаще всего это были счастливцы с настоящими делами, какими-нибудь ошибками, неполадками в работе. Их дела шли в суд и решались по закону.

6. И, наконец, уголовники. Этих было мало, проходили они очень быстро. Успеют только появиться, внесут в мрачную атмосферу свойственную им струю разухабистости, и исчезнут. Будучи в меньшинстве, они ничего не крали и вели себя тихо.

И вот странность. Многие «вредители», зная, что они не виноваты и взяты напрасно, считали, что военных, например, и священников «трясут» и высылают правильно. С тем же взаимным недоверием относились друг к другу представители прочих групп. Особенно умные называли это взаимное недоверие проявлением «необходимого и полезного классового расслоения».

Были и такие, среди них я встречал вполне разумных и интеллигентных людей, которые считали, что в отношении их произошла ошибка, но все остальные или, во всяком случае, большинство вполне заслуживает своей участи. А методы? Что же, на войне — как на войне, с врагами годятся всякие методы.

Дело доходило до нелепых и странных курьезов. В камере был человек, который шесть месяцев ни с кем не разговаривал, сидел молча, отвернувшись в свой угол, и только через полгода такой жизни, возвратясь с особенно «выразительного» допроса, вдруг признался, что все это время он всех нас считал действительными врагами народа.

Эта слепота, по-видимому, была отражением процессов, происходивших вне тюремных стен; удивительна была только ее устойчивость и сопротивляемость всем наглядным урокам. Доверчивость людей (заключенных и незаключенных) доходила до диких абсурдов. Люди верили в существование бесчисленных заговоров. В том числе в заговоры «отравителей», которые вносили яды в хлеб, торты, пирожные и прочие продукты питания с целью вызвать массовые отравления и ненависть к власти. Один из таких «отравителей» — мальчик-пирожник 18-ти лет — сидел в нашей камере. Учил, как солить грибы и варить цукаты из арбузных корок. На следствии он быстро подписал, что по наущению старших всыпал яд в варенье. Получил десять лет лагерей. Говорят, толпа ревела и выла вокруг суда, требуя расстрела его «сообщников». (Их всех расстреляли.)

Иногда эта доверчивость носила комический характер. К какому-то заключенному, обвиняемому в шпионаже в пользу Японии и сидевшему в одиночке за строптивость, в форточку влетел воробей. Тот его подержал в камере и потом выпустил на прогулке во дворе. Выводной усмотрел в этом какое-то нарушение, и через несколько дней вся тюрьма была полна слухами о «настоящем шпионе», который сносился с сообщниками с воли при помощи обученного воробья. «А как же,— вразумляли скептиков,— ведь существует голубиная почта, почему не быть воробьиной? Японская разведка и не то может».

Вероятно, только в атмосфере такой слепой доверчивости и было возможно все, чем отличались те годы. Некоторые заключенные понимали все, но они молчали.

В разговорах заключенные много времени и внимания уделяли «новому кодексу». Слухи о «новом кодексе» проникали в тюрьму какими-то не всегда ведомыми путями. Их приносили с воли новые заключенные, их поддерживали те, кто на суде или как-либо иначе виделись с родными. «Новый кодекс» должен был устранить все несправедливости, должен был раскрыть тюремные ворота и вернуть заключенным свободу. Его ждали страстно и убежденно, и почти никто не сомневался, что он будет. Приходили «достоверные» известия, что он уже рассмотрен в каких-то надлежащих инстанциях, что осталось только последнее утверждение, только последняя подпись.

В 1931 году в тюрьме тоже много говорили о «новом кодексе» и вот-вот ждали его появления.

Арестанты «Мертвого дома», по свидетельству Достоевского, жили надеждой на «новый закон».

* * *

Моя спокойная жизнь в тюрьме продолжалась восемь месяцев. И вот в один из вечеров открылась дверь камеры, и Костин своим меланхолическим голосом произнес:

— Ну, Верховский, давай! Твой черед!

Вначале все шло хорошо. Следователь оказался молодым и, по виду, неплохим человеком. Он посадил меня и довольно долго убеждал, что настала пора признаться, что все уже известно, восемь месяцев прошли недаром: обо мне собраны точные сведения... и все в этом роде. В чем именно состояли мои преступления, он не говорил. Требовал, чтобы я сам все рассказал. Отпустил меня скоро — часов в 5 утра — и мирно.

Так продолжалось подряд ночей десять, с той разницей, что я уже не сидел, а стоял у стены, шаг отступя, чтобы не прислоняться, и не до 5, а до 8—9 часов утра.

И вот все изменилось.

В нашей камере появился новый заключенный — бывший меньшевик Розенталь. Альбинос, с совершенно белыми волосами и красными глазами, высокого роста, веселый, живой, остроумный. Он много раз уже сидел и ничего не боялся.

«Ленин велел нас, меньшевиков, бережно содержать в тюрьмах».

Его бережно подержат, пройдет волна, и он снова будет на свободе до следующей волны. Не первый раз. Он внес в камеру некую струю бодрости и оптимизма. Мне он явно симпатизировал.

Его вызвали на допрос через три дня. Утром следующего дня, когда мы возвращались с оправки, вдруг распахнулись входные двери, возникло какое-то смятение, забегали надзиратели, нас стали впихивать в камеру. Как-то случилось, что один из вошедших конвойных оттер меня в сторону, и я оказался за его спиной. Четверо солдат внесли с лестницы на грязной шинели бесчувственного, всего в крови Розенталя.

Его поместили в маленькую отдельную камеру, и к нам он больше не вернулся.

* * *

Еще через несколько дней вновь раздалось знакомое:

— Ну, Верховский, давай!

На этот раз вместо прежнего тихого, симпатичного следователя за столом сидел молодой, крепкий парень с бесцветными водянистыми глазами и мощными бицепсами.

Он сразу поставил меня к стене и, выпятив челюсть, спросил:

— Давно сидишь?

— Давно.

— Значит, ты мог слышать, что такое попасть к Сахарову? Цацек больше не будет. Ты не уйдешь отсюда, не признавшись во всем.

Должно быть, что-то сильно изменилось в моем деле. Чего-то они добились. Чего? От кого?

Сахаров выложил на стол револьвер, поиграл им, потом, отойдя в глубь комнаты, стал целиться в меня.

«Вот так в голову,— приговаривал он,— вот так в твое поганое сердце».

— Думаешь, мне что-нибудь будет, если я сегодня пристрелю тебя? Ничего, кроме благодарности. Одним гадом меньше.

Я знал цену этому бахвальству и молчал.

Наконец он успокоился и, казалось, не обращал больше на меня никакого внимания. Он молча сел к столу и что-то начал писать, заполняя страницу за страницей.

Так продолжалось долго, всю ночь. Когда уже совсем рассвело, Сахаров встал, сладко потянулся, скрепил все исписанные листы, вложил в папку и, посмотрев в мою сторону, спросил:

— Видел?
— Что видел?
— Вот это — Он согнул руку в локте и напружинил мускулы.— И вот это,— он положил руку на папку.— Это признание. Твое! Понял? Это полное и подробное показание, которое ты мне дал сегодня ночью о всех твоих шпионских и прочих делах.
— Подпиши вот здесь,— он показал ва последний лист, закрыв то, что было написано выше, книгой.
— Не читая?
— Зачем тебе читать, если все это точно записано с твоих слов?
Сердце во мне упало, но я стоял и не подписывал...

. . . .

Часа через три, когда солнце было уже довольно высоко, Сахаров устал. Он подошел к столу, обмыл кровь с рук прямо на пол водой из графина, позвонил, приказал вошедшему солдату:
— Чтоб стоял и не спал. Давать только воду! — И ушел.
Я обтерся платком. Кожа на голове во многих местах саднила. Руки, ноги, спина, грудь, бока — особенно бока — ныли и болели. У этого футболиста очень крепкие бутсы!
«Знать бы, что произошло! С чего это он вдруг разъярился?» Спать не очень хотелось, но страшно хотелось пить и немного отдохнуть сидя.
Под окошком было видно «мое» дерево. Еще утром, когда становилось невмоготу, я поворачивал голову, смотрел в его зеленую глубину, и становилось легче. «Стоишь? — мысленно спрашивал я.— И мы еще постоим».
Солдат оказался не очень придирчивым. Он намочил мой платок и позволил обтереть лицо. Незаметно отступая, я прислонился к стене, а после полудня даже приспособился поспать стоя с полуоткрытыми глазами. Временами, вероятно, когда я во сне начинал качаться, солдат покрикивал хриплым голосом, каким деревенские мальчишки кричат на балующих лошадей: «Стой!»
К вечеру я почувствовал себя бодрее: «Вот, выстоял уже почти сутки, и ничего!» — и опять стал любоваться зеленым деревом. Солдат молча и пристально смотрел мне в лицо. У него были наивные белесые рязанские глаза и раз и навсегда выгоревшие волосы. Вдруг он быстро встал, послушал у двери, потом вынул из кармана несколько кусков сахара,— вероятно, всю дневную пайку,— вмешал их в стакан с водой и тихо сказал, протягивая стакан:
— Пей! Быстро!
Остатки сахара были смыты вторым стаканом воды.
Дерево под окном чуть-чуть шумело...

* * *

Вторая ночь прошла спокойнее, но стоять было очень трудно. Какое-то одеревенение и тяжесть поднимались от ног. Одеревенела нижняя часть живота. Сердце колотилось неровно и тяжело, как жестяное.
Очень хотелось спать. В усталом мозгу без последовательности и порядка проносились какие-то отрывочные образы, воспоминания и отдельные мысли. Невероятно яркие картины сменялись тоскливым желанием поесть и полежать. Но где-то в самой глубине души, все время,— скорее в чувстве, чем в сознании,— как сторож в темноте, стучала мысль о необходимости стоять и выстоять, как-то связанная с деревом за окном.
Сахаров сидел за столом, что-то читал и только изредка взглядывал на меня:
— Все равно подпишешь, гад!
По-видимому, он изменил тактику и вместо «лобовой» атаки решил взять меня измором.
Когда становилось особенно трудно, я поворачивал голову, в темном проеме открытого окна находил дерево и снова чувствовал облегчение.

На второй день солдат был другой, и фокус со стеной не удался. Должно быть, я чаще покачивался и мотал головой, потому что «стой!» раздавалось все чаще и строже. Но к вечеру и этот солдат подобрел и сам предложил:
— Постой малость у стены!
Пошел дождь, стало свежее, дерево раскинулось и отряхивалось во всей своей красоте.
Не знаю, надолго ли хватило бы терпения и бицепсов Сахарова, но в начале третьей ночи дверь кабинета вдруг раскрылась, и быстро вошел какой-то высокий человек в форме морского офицера с очень умным и красивым лицом. «Новый начальник,— сообразил я.— О нем говорили в камере».
Он пристально посмотрел на меня.
— Можете сесть.
Я попытался сделать шаг. Упал. Он поднял меня, посадил на стул.
— Почему вы не признаетесь, Верховский? Нам все известно. Мы недаром держим вас почти год в тюрьме.
— Тогда зачем вам мое признание?
Он помолчал.
— Оно нам нужно. Если вы не сдадитесь, мы изобличим вас.

Еще несколько дней прошли спокойно, и вот снова:
— Давай, Верховский!
На этот раз ведут не туда, куда обычно; после нескольких добавочных переходов я оказываюсь в просторном и светлом кабинете. За столом в торжественном и зловещем молчании восседают начальник, Сахаров и какой-то третий, военный.
Меня усаживают сбоку у стены. Все молчат. Вдруг слышатся еще шаги, дверь распахивается... у меня перехватывает дыхание — в сопровождении конвойного входит Розенталь. Его сажают у другой стены, против меня.
Начальник спрашивает:
— Вы знаете этого человека?
— Да, знаю. Это Верховский Владимир Петрович.
— Вы давно его знаете?
— Около двух лет. С тех пор как я приехал в город.
Все становится ясным. Вот почему они осатанели. Я вскидываюсь:
— Это ложь!
— Молчи, б...! — свирепо шипит Сахаров.
— Вам будет дана возможность говорить,— сухо произносит начальник.
Дальше все идет как по маслу. Розенталь без запинок рассказывает, что шпионский центр в Москве послал его для связи с крупной шпионской организацией, которую я возглавлял здесь, что он, Розенталь, и выполнил. Он не раз получал от меня разведывательные данные и встречался по разным «организационным» вопросам.
— Где? — опять вскидываюсь я.
— У вас на квартире,— следует неосторожный ответ.
— Где именно?
Розенталь молчит. Возможность такой детализации не предусмотрена. Но Сахаров раскрывает какую-то папку, что-то читает.
— Очевидно, на Заречной, 6,— сообщает он мой адрес.
— Да, конечно, на Заречной, 6.
Но я уже понял, что к чему, и молчу; когда же приходит моя очередь, на все вопросы отвечаю:
— Ложь!..

Мне всегда было не совсем ясно, почему со мной не расправились так, как расправлялись с другими? Как могло случиться, что я уцелел? Думаю, что меня спасла избыточность, грандиозность, так сказать, обви-

нений. Слишком широко размахнулись. Кому-то захотелось сделать на мне карьеру — «Вон кого ухватил! За такие дела полагаются поощрения, ордена и продвижение по службе».

«Материал» был вполне подходящий: я уже сидел два раза до того, родился за границей (Рига тогда была заграница), родственники за границей, высшее образование, инженер. Вот и размахнулись (главарь крупной шпионской сети). И, естественно, кто-то выше заинтересовался тоже; может быть, чтобы и себе руки погреть, может быть, всерьез.

* * *

Снова недели две прошли без вызовов. Я уже думал, что дело мое кончено, материал признали достаточным, где-то выносится решение. Как вдруг совершенно необычно рано утром опять:

— Верховский, давай!

Меня ведут... но не во второй этаж в следовательский корпус, дорога туда хорошо памятна, а куда-то вниз и во двор.

«Уже? — мелькает мысль,— говорят, это делается где-то во дворе, внизу в подвале».

Но нет, еще не сегодня.

В дальнем конце двора легковая машина. Рядом группа людей. Меня сажают сзади, между двумя солдатами. Спереди с шофером начальник. Мы куда-то мчимся.

Луга, поля, леса, не заключенные люди, птицы. Какой воздух! Какие дали! От воздуха, голода и тряски начинает кружиться голова, болят глаза, меня укачивает, и скоро я впадаю в какое-то забытье.

Прихожу в себя внутри асфальтированного, тесного, как каменный мешок, окруженного домами двора. Начальника уже нет. Меня передают с рук на руки, ведут в один из корпусов, и после нескольких переходов мы — в небольшой комнате, где у стола сидит молодой, веселый чекист.

Чекист куда-то звонит, потом почти ласково говорит:

— Сегодня тебе конец.

Я не понимаю, какой конец, но доволен. Действительно, пора кончать.

Проходит часа два, чекист вдруг вытягивается перед телефоном, чеканит: «Есть, гражданин начальник!»

И вот я снова иду, сзади с наганом чекист: «Прямо, вверх, влево, вниз, прямо, вверх!» — и мы в огромном кабинете. За столом десять каких-то военных. Все с ромбами и шпалами. У окна одиноко стоит еще какой-то военный. Против света я не вижу ни его лица, ни формы. Чекист что-то лихо докладывает и уходит. Минуты две все молчат, дверь открывается и... вводят Розенталя!

«Понятно! Сегодня все будет решено!»

Повторяется знакомая процедура. Кто-то спрашивает, Розенталь отвечает. Все то же, что и раньше. Когда очередь доходит до меня, я вижу, как «военный» отходит от окна, становится совсем близко, напротив, смотря в упор, в глаза.

— Неужели вы все не видите, что это ложь? — говорю я, срываясь, и дальше молчу до конца.

Человек смотрит еще несколько секунд, потом взглядывает на Розенталя. И уже когда нас выводят, я слышу, как он громко повторяет мои слова: «Неужели вам не ясно, что все это ложь?»

Остаток дня я провожу один, растянувшись на нарах в маленькой камере. Накормить меня забыли или не сочли нужным.

Обратно едем ночью. Меня, как мешок с овсом, поддерживает солдат, голова моя болтается на его плече; временами машина стоит где-то в поле, открывают дверцы, дают отдохнуть, потом едем дальше.

* * *

С тех пор судьба моя, видимо, изменилась. Я еще долго, около года, сидел в тюрьме. Сильно ослаб. Почти перестал ходить и на прогулку выходил только, когда настаивал Костин: «Давай, давай, Верховский! Смотри, загнешься!» Вечерами я плохо видел, вероятно, это была куриная слепота. Весь этот период слился в моей памяти в какой-то один голодный, томительный, однообразный день. Я почти все время молчал и не любил, когда сокамерники подсаживались поболтать.

«Чокнулся!» — услышал я как-то о себе, но остался равнодушен. Меня вызывали. Два раза устраивали очную ставку с какими-то подставными лицами, но, видимо, настолько была очевидна нелепость их показаний, что на них больше не настаивали. О шпионаже больше не говорили.

Менялись следователи. Кажется в общей сложности их было семеро. Все они пытались вырвать у меня хоть частичное признание.

Один из следователей позволил мне ознакомиться с делом. Наконец-то я держал в дрожащих от волнения руках эту таинственную папку и медленно просматривал страницу за страницей. Несмотря на все истощение и безразличие к своей судьбе, я был потрясен.

В этом страшном «деле», на которое так зловеще и многозначительно показывали все следователи, в этом собрании доказательств и улик моих преступлений...— ничего не было! То есть там была анкета, протоколы всех очных ставок и допросов (творчество Сахарова было благоразумно изъято!) и больше ничего. Иначе говоря, в папке был только материал, добытый в тюрьме. И ничего кроме этого.

Никаких признаков, никаких намеков, из чего можно было бы заключить, за что именно и почему меня арестовали и продержали два года в тюрьме в таких условиях.

Мне казалось (по-видимому, я сам попал под гипноз той доверчивости, которую находил в других), что даже в то время, чтобы лишить человека свободы, требовались хоть какие-то, пусть только видимые, пусть ошибочные, но все же причины. Пусть только видимость причин, хотя бы оговор, хотя бы ложный донос. Ничего этого не было. Нас лишали свободы просто потому, что в числе прочих великих и мрачных схем пришла кому-то в голову еще одна схема: «пропустить через фильтр изоляции» очередную категорию граждан. Сто тысяч, миллион, два миллиона — это неважно. Неважно, что будут физически и психически искалечены, неважно, что будут разрушены семьи, что ни в чем не повинные люди будут страдать,— все это неважно. Перед величием и грандиозностью схем все это не имело значения.

А кроме того,— и это, может быть, самое главное,— будет уничтожена, вырвана, выбита, выжжена навсегда из голов, из душ, из сердец ненавистная способность понимать простыми человеческими мыслями и чувствами простые человеческие отношения. И будет создан запас страха на много лет вперед.

* * *

Зачем-то месяца на два меня перевели в другой город, в другую тюрьму и посадили с уголовниками. Но если в этом был расчет, то он не удался. Уголовников я не боялся, и они обходились со мной хорошо и даже немного подкармливали. Но что-то изменилось вообще. Уже предлагали и даже настаивали сесть на допросах. Уже говорили на «вы». Уже не грозили расстрелом на месте и не хвастались бицепсами. Разрешали передачи. Разрешили книги.

И вот настал день, когда меня снова вызвал Сахаров. У него был вид, какой бывает у человека при беседе с лучшим другом после долгой разлуки. Он заботливо расспрашивал о моем здоровье, беспокоился, сочувствовал, предложил передачу. И только когда послал за конвойным, вдруг внес ясность:

— Мы [illegible]об[illegible], Верховский, никогда не ссорились, правда? Говорят, следователи били заключенных. У нас ведь этого не было?!..

И еще настал день, когда снова повели меня знакомым путем в следовательский корпус, но почему-то ввели в незнакомый кабинет к незнакомому молодому парню в форме ГПУ. Тот с некоторым любопытством посмотрел мне в лицо, порылся на столе в бумажках и протянул одну из них.

«Постановление? Ну, наконец! Куда? На сколько лет?» Но дальше стояло что-то не совсем ясное... «освободить за отсутствием состава преступления...»

Бедный секретарь долго хлопотал около меня, давал воду, уговаривал...

— Успокойтесь, товарищ Верховский! Вы, вероятно, неправильно поняли, вас освободили, вы невиновны!

Нет, я все понял правильно!..

В камеру я больше не вернулся. За моими вещами послали солдата. Но в камере узнали обо всем раньше, чем я вышел из тюрьмы: они не вложили в вещи еду, и я не потребовал ее. Так было условлено.

И вот снова захлопнулись монастырские ворота. Я стою на улице, где так часто проходил два года тому назад.

Какие два года!

Вдруг кто-то останавливается рядом:

— Верховский? Ты??.. Неуж освободили?

В упор смотрят белесые глаза. Где-то я видел уже эти наивные глаза и эти навсегда выгоревшие волосы... Потом вдруг вспомнил. Да ведь это тот солдат! Я даже не знал его имени.

— Освободили!

Он издает какой-то странный звук:

— А как они тогда тебя... Эх, гады!..

СНОВА ВЫСЫЛКА

Мне казалось невозможным остаться во Владимире после выхода из тюрьмы, встречаться на улицах с Сахаровым, начальником и другими «героями» этой печальной эпопеи и сознавать, что рано или поздно они снова доберутся до меня. Поэтому я сразу уехал из города. Найти работу было очень трудно. Начальство в ужасе шарахалось при виде тюремной справки, а не показывать ее было нельзя; как объяснить двухлетний пробел в трудовом списке? Но наконец — и то по старому знакомству — меня приняли сменным инженером на маленький заводик эфирных масел на Северном Кавказе.

Это было как раз то, что требовалось в моих обстоятельствах. Завод не имел никакого оборонного значения, не был связан с большой химией, рабочих было мало, техники никакой — обычная перегонка с паром.

Кроме того, меня привлекала природа. Кругом была степь, а в сторону гор на несколько километров тянулись старые, еще казаками посаженные фруктовые сады. Практической ценности они уже почти не имели. Только на старых огромных шелковицах еще зрели большие темные ягоды, на радость мальчишкам и скворцам, в несметных количествах гнездившимся вместе с другими птицами в бесчисленных дуплах старых деревьев; на некоторых яблонях вырастали кислые одичавшие яблоки, да кое-где виднелись в листве крупные красные черешни. Веснами, во время цветения, сады были красивы необычайно. Цвету всех оттенков розового и белого было много. Под деревьями в прохладной тени росла густая, высокая, чистая, как бы умытая трава, полная ярких синих подснежников. За садом в голубой дымке синели горы, и все пространство наполнялось гомоном, щебетанием и пением птиц.

Сторожил сады тридцатилетний парень Семен, сильно хромавший от застарелого ревматизма, немного нескладный и некрасивый, но с удивительными, почти синими, ясными большими глазами. Жил он в середине сада, один в шалаше и, видимо, чувствовал себя без людей прекрасно: кормил птиц, помогал им во всяких птичьих заботах, знал все их голоса, позывные и сигналы, и поэтому всегда был в курсе их забот, тревог и радостей. Уверял, что деревья тоже разговаривают тихими, особенными голосами.

— О чем же они говорят, Семен?

— О чем и мы с тобой говорим: о том, что солнце светит, что тепло, что жить хорошо.

Срубать деревья он не мог, и если видел, как рубят другие, мрачнел и долго ходил грустный.

Познакомился я с Семеном в районной больнице, куда попал с сыпным тифом в начале 1942 года. Там же в это время лежал и Семен со своим вечным ревматизмом. Больница, почти не отапливаемая, холодная, обслуживалась неопытными молодыми врачами; персонал — чеченки, враждебные к русским, — был ленив и небрежен.

Меня поместили одного в холодной угловой палате, укрыли тремя одеялами; через десять дней тяжелого бреда и борьбы с болезнью жизнь во мне почти угасла, и врачи сочли положение безнадежным. Их разговор услышал Семен.

Он вошел в мою палату и был поражен:

«Холодно, изо рта пар, окно залеплено снегом, а ты лежишь, не дышишь, одни мослы — что смерть!» Семен решил, что я умираю оттого, что нет никого рядом, кто помог бы справиться с болезнью.

— Но ведь я все равно был без сознания!

— Ну и что? Разве люди только словами понимают друг друга? Люди чувствуют, все звери чувствуют, когда кто есть близко, и чувствуют, кто с чем пришел.

Семен сел рядом и стал смотреть на меня, а сам думал: «Такой большой, зачем тебе помирать!» Долго сидел Семен, часа три, и вдруг я открыл глаза: «мутные, мертвые, страшные».

В течение суток он еще несколько раз заходил ко мне, еще раза два я открывал глаза, а потом совсем ожил, прояснилось сознание, и хотя я был слаб настолько, что не мог пошевелить губами, постепенно окреп и с помощью Семена встал на ноги.

Он же первый раз подвел меня к окну, откуда видны были зады фруктового сада. Короткая кавказская зима уже кончилась. Снег стаял, и под окном была видна черная, напоенная водой глыбистая земля; на солнцепеке уже выпирали на свет жирные, зеленые и красные стрелки и согнутые пополам петли трав. Переплетенные, еще без листвы, но уже с набухающими почками, розовато-коричневые ветви деревьев густой сетью уходили вдаль, в ту сторону, где в колеблющемся сиянии высились сиреневые и синие горы.

* * *

Вскоре, когда немецкая армия прорвалась к Кавказу, меня призвали в армию, и около двух с половиной лет я пробыл солдатом в зенитном артиллерийском полку. Должно быть, силы были уже не те, что в Соловках, и требовалось все напряжение воли, чтобы поспевать за молодыми ребятами, особенно когда приходилось перебираться по горам. Кончилось дело тем, что меня отправили в госпиталь, откуда вместе с другими ранеными и «отвоевавшимися» солдатами направили — таковы парадоксы нашей жизни — в войска особого назначения ГПУ для «охраны и обороны объектов государственного и особо важного назначения».

В первый же день по прибытии в новую часть я пошел к военкому и, ничего не тая, рассказал свое прошлое. Пожилой военком молча, не поощряя и не прерывая меня ни единым словом, выслушал все, затем встал, козырнул по-военному и сказал:

— Вы можете быть совершенно спокойны, товарищ Верховский! Кому же нам и доверять, как не вам, человеку, столько раз проверенному и выдержавшему все испытания. Делайте свое дело и ни о чем не думайте!

Но недолго пришлось мне служить на новом поприще охраны и обороны Советского государства: новый приступ болезни прервал его почти перед самым концом войны...

И вот я снова в Москве, поселяюсь за городом и после недолгого периода поисков поступаю в научные сотрудники одного из институтов в системе Академии медицинских наук.

Оказывается, несмотря ни на что, я еще химик! Я накидываюсь на работу, как голодный зверь, иногда не уходя из института сутками, женюсь (теперь наконец и это можно), у меня чудесный сын. Теперь жизнь полу-

чила новое содержание и наполнена до краев. Правда, иногда приходится очень трудно, приходится сидеть ночами за переводами: нелегко входить в жизнь, когда все богатство состоит из красноармейских ботинок и бушлата. Но это настоящая, полная жизнь, со всеми заботами, трудностями и радостями. А радостей становится все больше: подрастает сын, и я сам учу его ходить и завожу с ним первые разговоры; успешно идет работа, и сколько каждый успех вызывает новых волнений, вопросов и ожиданий. Какое это настоящее наслаждение наблюдать, как на твоих глазах впервые кристаллизуется еще никому не нужное и не известное, но все же тобой сотворенное вещество; какая истинная радость, поставить вопрос тому темному неизвестному, которое именуется природой, и из всех возможных ответов предугадать наиболее вероятный. А ведь существует много и других радостей.

Целые шесть лет все идет хорошо, постепенно забывается прошлое, спокойнее становятся сны, наконец появляются надежды и планы на будущее.

Но ведь еще в Соловках установлено, что все проходит в этой жизни, как проходит и сама жизнь. Неосторожно забывать это правило.

Один из товарищей по лаборатории, почти друг — кто измерит глубины человеческой души — возбуждает вопрос: как может в ответственном институте работать человек с таким прошлым, как у Верховского?

Все проходит, но многое повторяется. Как в тоскливом, смертельно надоевшем постоянном сне, я вновь иду по длинным и пустым коридорам, снова меня нарочно выдерживают несколько часов в мрачной комнате для ожидания, снова я сижу в большом унылом кабинете, и два вежливых полковника интересуются подробностями моей былой жизни. А потом... потом я слышу такое, чего не придумаешь ни в каком сне.

— Вы имеете доступ ко всем реактивам в вашей лаборатории, гражданин Верховский?

— Да, конечно, как и все сотрудники.

— И к серной и азотной кислотам?

— Конечно.

— Значит, вы в любой момент можете синтезировать, ну, допустим, мелинит, тротил или даже нитроглицерин?

— Да, но... зачем? Меня это вовсе не интересует. Что за нелепость! И потом это было бы заметно!

— Но ведь вы работали иногда ночами, когда никого в лаборатории не было?

— Что за странные идеи! У меня были дела важнее и интереснее.

— Понятно. А вот недавно вы ввели в реакцию 200 граммов цианистого калия. Это верно?

— Да, верно.

— А кто-нибудь следил, как вы это делали?

— Нет, конечно.

— Значит, вы могли отложить, ну, допустим, десять грамм?

— Да, но что за нелепости вы говорите. Зачем?

— Не волнуйтесь, гражданин Верховский. Нам все ясно.

Что за бессмысленный бред! Однако эти полковники сидят в кабинете МГБ, а не в психиатрической больнице, где, казалось бы, им надлежало находиться, и через две недели директор института получает из МГБ предписание уволить меня с работы. Ничего не говоря мне, он кладет бумагу под сукно, но еще через две недели получает новое предписание и требование дать объяснение, почему не выполняются указания МГБ. Директор отвечает, что он не может уволить хорошего научного сотрудника, безупречно работавшего в институте шесть лет, по необоснованному подозрению.

Как они бывают наивны, эти директора!

Проходит несколько бессонных ночей, и я снова сижу уже в другом кабинете. Скучающая сотрудница — в который раз — задает вопросы, заполняет анкету, все так обыденно, привычно, с зевотой, и через несколько наполненных тревожным ожиданием дней я получаю предписание выехать из Москвы с запрещением права жительства во всех пограничных районах союзных республик и режимных городах, то есть фактически почти во всех областных городах страны.

«Как вы устарели в своих взглядах, товарищ военком частей особого назначения!»

Итак, опять все рухнуло! Семья, хорошая работа, какой-то покой, будущее, надежды. Не могу же я сорвать жену и везти ее с ребенком за собой куда-то в неизвестность, не зная, где буду жить и что буду делать сам. Опять нужно все начинать сначала, нужно куда-то ехать, долго и безнадежно искать, где же наконец можно остановиться, выслушивать бесчисленные отказы тупых и равнодушных чиновников и метаться с места на место, по городам, станциям, железным дорогам... Какое бессмысленное, никому не нужное надругательство! Какая рассчитанная, холодная, бесчеловечная жестокость!

И вот тут, наконец, я пал духом. Пал постыдно, до слез. Знакомые и товарищи только качали головами.

— Удивительно! Сколько человек перенес, все выдержал, а вот тут... подите же, совсем раскис!

Что я мог сказать в свое оправдание, да и стоило ли оправдываться? Мне было уже не 30 лет, не те были силы, что в 1931 году и, главное, я был не один.

Директор института и заведующий лабораторией яростно кидаются на мою защиту. Они бросают свои дела, ездят в МГБ, убеждают, пишут, ручаются — ничего не помогает. Отупевший, усталый, с отчаянием в душе, не понимая, чего еще нужно моим мучителям и что они еще придумают, я продолжаю ходить в свою любимую лабораторию, с тоской смотрю, как работают мои бывшие сотоварищи по работе, с тоской смотрю на свое место, свою с такой любовью собранную аппаратуру. Если бы не мужество и стойкость жены, которая нашла в себе силы не только сохранить спокойствие, но и поддержать меня в этот самый трудный период жизни, и если бы не сознание, что у меня есть обязанности перед сыном, и если бы не маячившая где-то внутри старая привычка стоять и выстоять при всех обстоятельствах, вероятно, не выдержал бы я этого последнего испытания.

И вот приходит неизбежный день. Я прощаюсь с сыном. Ему всего два с половиной года. Ему весело, он дрыгает ногами и смеется.

Вот и вокзал. Прошли последние минуты. Медленно отходит поезд, бежит, бежит за поездом знакомая фигура и улыбается сквозь слезы дорогое лицо... Беспокойно вскрикивает стоящая в дверях проводница... Сосед по купе о чем-то участливо спрашивает, что-то предлагает, я ничего не слышу, ложусь на полку и тупо смотрю вверх...

* * *

После месяца скитаний меня вновь принимают на «эфирные масла» в Прилуки Черниговской области.

Снова в течение двух лет я гоню с паром эфирные масла, растрачиваю время и силы на анализы, которые лучше меня делают малограмотные девочки, обученные в течение двух недель.

Раза три, тайком, как преступник, приезжаю в Москву, живу несколько дней у знакомых, за городом, вижусь с сыном и женой и опять уезжаю «к себе» на Украину. Летом, иногда в мае и ноябре, они приезжают ко мне.

Сыну такая жизнь явно нравится. Но для жены эти поездки утомительны и, главное, рискованны. Она преподает в университете, где зорко следят за чистотою риз; всех псов спустят на нее, если узнают, какие «научные задания» вызвали мой переезд из Москвы.

Я живу на самой окраине города. При хате большой фруктовый сад, а дальше, по одну сторону, небольшие рощицы при железной дороге и за ними поля и луга без конца и края; по другую сторону, за зелеными травами, разливается в камышах и осоке речка Удай. С моего крыльца, за садами, видно широкое зеленое пространство, залитое сияющим мягким светом; вечерами поют соловьи, а днем беспрерывно постукивают удоды, и со всех сторон, из сада, из всех кустов гулко звучит перекличка кукушек. Их так много, что мне мерещится, будто я живу в сказочном «кукушьем царстве».

Зимой мы тонем в сугробах и временами нелегко добраться в поле, в мою «эфирную» лабораторию.

Через два года совершенно случайно мне удалось сменить скучную работу в Прилуках на заведование биохимической лабораторией на опытной станции лекарственных растений в селе Березоточа около Лубен. Мне кажется, что деятельность там разнообразнее и можно попытаться наладить научную работу. В этом я ошибся, но зато как хороша Березоточа!

Село расположено на крутом берегу быстрой, богатой глубокими бочагами, травами, чистыми песчаными мелями, старыми ветлами на берегах удивительно живописной речки Сулы. Чуть ниже в нее впадает весь в водорослях Удай, образуя высокий острый мыс, покрытый густыми деревьями. Сколько всякой живности в этих реках! Рыбы, раков, лягушек! Беспрерывно плещутся и играют большие рыбины, с берегов с плеском сваливаются тяжелые черепахи. А сколько птиц! Настоящее птичье царство. В камышах покачиваются почти невидимые выпи, с шумом взлетающие, когда наедешь в лодке прямо на них. Над водой петляют ласточки-береговушки, и яркими синими снарядами носятся зимородки. По прибрежным лугам ходят важные красноклювые черногузы и дымчатые, едва различимые в отдалении цапли. Удоды беспрерывно выстукивают свое «у-ду-ду», вздергивая пестрыми хохолками, кукушки со всех сторон нездешними голосами разоблачают тайны чьих-то жизней; как сливающиеся с дымкой сизые молчаливые изваяния, сидят в лугах сизоворонки и мелькают в рощах желто-зелеными молниями, перекликаясь флейтами, иволги. А вверху, в сияющей синеве, почти невидные, таинственно перекликаются золотистые щурки.

Село окружено садами, полными вишен, черешен, темно-сизой сливы угорки, яблок, шелковицы. Кукуруза вокруг стоит, как джунгли, в два человеческих роста, а «солнечники» сверкают огромными, тяжело склоненными желтыми звездами соцветий.

Рядом с селом, отделенная от него старым парком с огромными липами, старыми дубами и аллеями из экзотических катальп, раскинулась станция лекарственных растений. Ее постройки тоже утопают в цветах и зелени, неезжены и поросли птичьей гречкой проезды и дорожки. Кругом яркие поля то пестрящей всеми оттенками персидской ромашки, то медью горящей на солнце календулы, то еще каких-то неведомых растений. А немного в стороне — заросли валерьянки с селящимися в них лисами. В погожее утро весело смотреть, как резвится на дорожках и барахтается, подобно котятам, молодое лисье племя. Все кусты, все деревья полны доверчивых большеглазых соловьев, робких зарянок с оранжевыми манишками, нежных пеночек и прочего пернатого населения, которое шумит, копошится, свистит и поет и славит от зари до зари солнце, ласковую природу и жизнь. Нигде так не ощущаются таинственные силы природы, как весной в Березоточе. Широко разливается Сула, затопляет луга перед парком, поднимается до низменной его части, заливает там основания деревьев. Шумными волнами, свистя крыльями, спешат на пролете огромные стаи птиц. Садятся отдохнуть на прибрежные ветлы, шумят, кричат, охорашиваются и разом снимаются, улетая на север, а следом за ними движутся новые и новые пестрые, быстрые волны. Потом, когда схлынет вода, луга покроются первой травой и золотым ковром калужниц, нежная зелень распустится на деревьях и потеплеют вечера, в роще за рекой, перед сумерками, невидимая тьма дроздов начнет высвистывать свои любовные песни, заполняя ими все пространство, и, исходя любовью, зальются соловьи в прибрежных кустах под замолкающий гул дневного пения, и навстречу густому, переливающемуся фону лягушачьих восторгов появляется неисчислимая сила всяких жуков, двурогих, однорогих и совсем без рогов, больших и гудящих, как самолеты, и свистящих, как пули. Все это с гулом носится в сумраке ночи, ищет своего места в пространстве, и над всем разливаются веселые и заунывные, полные любовной тоски и неясных стремлений песни хлопцев и звонкий, порхающий смех девчат.

Народ в Березоточе легкий, приветливый и сумел сохранить много старинных веселых и пестрых «урожайных», «яблочных» и свадебных обрядов, зимних колядок и радостных весенних игр.

Говорили там на добродушном, мягком, так весело описанном еще Гоголем языке.

Увы! Жизнь на березоточинской опытной станции не соответствовала природе и добродушному характеру жителей. Сотрудники были угрюмы и разобщены, рабочие недовольны. Незадолго до моего приезда, ночью был убит заместитель директора, и теперь сам директор ходил по полям не иначе как в сопровождении рослого «личарды», исполнявшего в другое время роль шофера легковой машины.

Обычный провинциальный деспотизм администрации, подсиживание, наушничество доведены до предела. Отчасти это объяснялось личными качествами людей, в большей степени — полной «крепостной» зависимостью всех и каждого от грубого и властолюбивого самодура-директора. Уйти с работы по тем временам без согласия администрации было нельзя, да и некуда было уйти. Уход означал переезд в другое место, что было очень сложно, а для большинства — невозможно. Положение усугублялось тем, что кроме хлеба все продукты приобретались на станции с разрешения того же директора. В селе ничего, кроме фруктов, не достать, а ездить за двадцать километров в город на тряском и до отказа забитом автобусе можно было раз в неделю. И понятно, какой вид приобретали в этих условиях «материальные поощрения» и чем кончались попытки что-либо противопоставить своеволию администрации.

Мое положение в этих условиях было особенно тяжело. Очень скоро выяснилось, что оборудование для научной работы совершенно недостаточно и не может быть приобретено. Вся вина за неоправданные расчеты легла на меня, и очень скоро я услышал устрашающую фразу: «Вы, очевидно, хотите заработать новый срок, товарищ Верховский». Обломки крушения, и так уже державшиеся на последней ниточке, оказались под новой угрозой. Два года продолжалось это мучение, и лишь осенью 1954 года удалось вырваться из этих тисков и поселиться в Малоярославце.

Здесь я жил и занимался переводами почти год. Но «приятели» не могут расстаться со мной так легко.

Сопатый, прихрамывающий парень приходит с повесткой, и вот опять я брожу по затхлым, прокуренным коридорам в поисках того, кто интересуется мной. Это не так просто и так знакомо. Сегодня он занят, придите завтра. Завтра выясняется, что он уехал и будет послезавтра, а послезавтра он на докладе. Так продолжается несколько дней, пока на лестнице я не попадаю в руки какого-то благожелательного вида полнеющего чекиста, который уводит меня в свой кабинет. Два часа сочувственно вздыхая и покачивая головой, он тянул из меня жилы, расспрашивая, почему я здесь и что хочу делать. Прошли времена, когда я легко ночами сидел на допросах, голова моя болит так, что невозможно повернуть шею, сердце бьется глухо, тяжело, становится чугунным. «Чего ему надо, этому улыбающемуся и вздыхающему мучителю? Что еще они придумали?»

Но это не все. Это только предварительное развлечение. Оказывается, он ничего решить не может (а что надо решать?).

«Придите завтра. Вас выслушает другой товарищ».

И завтра этот же доброжелатель вводит меня в большой кабинет, где как неподвижное каменное изваяние, полуприкрыв глаза и не произнося ни слова, сидит «другой товарищ».

Опять я рассказываю всю свою жизнь; молча, с неподвижными лицами слушают оба, изредка задает вопросы «доброжелатель».

Трещит и раскалывается на части моя голова, и все время где-то в глубине тоскливо бьется: «Чего они хотят, что они придумали?»

Но вот исчерпаны вопросы. «Другой товарищ» на минуту вскидывает водянистые глаза, я набираю больше воздуха и, медленно выпуская его, спрашиваю:

— Зачем вы меня вызывали? Чего вы хотите от меня?

«Товарищ» совсем закрывает глаза. Другой, ласково, с наивной улыбкой, говорит:

— Но мы просто хотели познакомиться с вами и... ведь вы нуждаетесь в помощи. Мы хотели помочь вам!

Какие благодетели! Они хотели мне помочь! Будьте вы прокляты, мучители! Будьте прокляты все, для кого живой человек с его страданиями

только мышь в их грязных лапах, только средство ублажения их гнусного садизма!..

Что это было? Недели две прошли в тоскливом ожидании, но я так и не узнал, что решали они на этот раз.

КОНЕЦ

Но все-таки ведь все проходит! Да, все проходит. Проходят, уплывают годы жизни, и... не участвую ли я в какой-нибудь фантастической постановке?

Опять я в Москве, опять меня вызывают повесткой, опять я сижу в кабинете, и любезный, улыбающийся майор спрашивает:

— Почему вы не требуете реабилитации, товарищ Верховский?

— Реабилитации? Нет, не нужно, увольте! Куда-то писать, опять сидеть в этих кабинетах, ждать, волноваться. Нет, ради бога, не надо!

— Хм! Я могу понять ваши чувства, но... сейчас реабилитация не изменит вашей жизни, а в будущем?.. Кто знает свое будущее? И, может быть, реабилитация все же будет нужна вам или вашей семье. Впрочем, мы вас больше вызывать никуда не будем и реабилитируем сами. Только подпишите вот это. И... скажите откровенно, товарищ Верховский, это ничего не изменит... Я ко всему привык, но вот передо мной ваше дело... В нем же ничего нет!! За что вас приговорили к расстрелу?..

* * *

И наконец я держу в руках бумажку... нет, не бумажку — постановление Верховного суда, где сказано, что я вовсе не преступник и никогда им не был!

Внимательный полковник настойчиво, почти ласково втолковывает мне как ребенку — он, кажется, не вполне уверен в моих умственных способностях,— что я могу и должен получить денежную компенсацию (целую месячную зарплату!) и могу вернуть отобранную жилплощадь. Он подробно несколько раз объясняет, как поступить и что сделать.

— Смотрите же, ничего не забудьте, товарищ Верховский.

— Хорошо, я все сделаю.

Когда я выхожу, у меня немного кружится голова... Сколько усилий, сколько времени и трудов различных солдат, конвоиров, следователей, начальников, прокуроров, майоров, полковников, членов коллегий, членов правительства, сколько бесплодных усилий затрачено впустую и развеялось, как пыль! Сколько унижений, страданий, горя пришлось пережить, чтобы доказать простую истину, справедливость которой утверждалась мною с самого начала! И в результате!.. Что в результате? Только одна изломанная человеческая жизнь! Или еще что-нибудь?..

Ольга Седакова

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ

1

Тот, кто ехал так долго и так вдалеке,
засыпая, и вновь просыпаясь, и снясь
жизнью маленькой, тающей на языке
и вникающей в нас, как последняя сласть,
как открытая связь —
от черты на руке
до звезды в широчайшей небесной реке —

2

тот и знает, как цель убывает в пути
и растет накопленье бесценных примет,
как по узкому ходу в часах темноты
пробегает песком пересыпанный свет
и видения тысячи лет
из груди
выбегают, как воздух, и ждут впереди:

3

или некая книга во мраке цветном,
и сама — темнота, но удобна для глаз,
словно зренье, упавшее вместе с лучом,
наконец повзрослело, во тьме, укрепясь,
и светясь,
пробегает над древним письмом,
как по праздничным сечкам на древе густом;

4

или зимняя степь представлялась одной
занавешенной спальней из темных зеркал,
где стоит скарлатина над детской тоской,
чтобы лампу на западе взгляд отыскал —
как кристалл,
преломленный в слезах и цветной.
И у лампы сидят за работой ночной;

5

или, словно лицо приподняв над листом,
вещество открывало им весь произвол:

Ольга Александровна СЕДАКОВА родилась в Москве в 1949 г., окончила филологический факультет Московского университета. Кандидат филологических наук, автор работ по славянским древностям и поэтике. Переводила Рильке, Поля Клоделя, английский детский фольклор. Книга Седаковой «Врата, окна, арки» вышла в Париже, в издательстве Имка-пресс, в 1986 году. Ольга Седакова печаталась в «Дружбе народов», в «Новом мире», переводилась в Англии, Франции, Италии, Финляндии.

ясно зрящие камни с бессмертным зрачком
освещали подземного дерева ствол,
чтобы каждый прочел
о желанье своем.
Но ни тайны, ни радости не было в нем.

6

Было только молчанье и путь без конца.
Минералов и звезд перерытый ларец
им наскучил давно. Как лицо без лица,
их измучил в лицо им глядящий конец —
словно в груде колец
не нашарив кольца,
они шли уже прочь в окруженье конца.

7

— О как сердце скучает, какая беда!
Ты, огонь положивший, как вещь меж вещей,
для чего меня вызвал и смотришь сюда?
Я не лучший из многого в бездне Твоей!
Пожалей
эту бедную жизнь, пожалей,
что она не любила себя никогда,
что звезда
нас несет и несет, как вода!..

8

И они были там, где хотели всегда.

Мариам Юзефовская

РИШЕЛЬЕВСКАЯ, 12

ПОВЕСТЬ

Было ли тому причиной наше сиротство или прошлая кочевая жизнь, но мы с сестрой как-то быстро и прочно прижились в приморском южном городке у одинокой чудаковатой тетки Мани. Отец наш, черная армейская кость, подгоняемый беспощадной службой, то и дело переезжал с места на место. Матери не стало давно, я ее помнила смутно. И все же чувство обездоленности вызывало внезапные вспышки неистовой обиды на весь мир. Я бунтовала и злобилась. Тетка — тихая старая дева, никогда не имевшая ни своей семьи, ни детей, насмерть пугалась этих вспышек. Губы ее начинали мелко дрожать, на лице проступали крупные рыжие веснушки, а большой нос с аристократической горбинкой наливался влагой. И шмыгая им, словно провинившаяся девчонка, она беспомощно лепетала: «Что ты? Что с тобой?»

— Дед Лазарь ей кланяется,— деловито объясняла сестренка, много младше меня, не прерывая своей сосредоточенной возни с куклами.

— Он что? Опять приходил?— тихо ужасалась тетка.

Мои выходки напрочь выбивали ее из колеи. И потому после бури, когда все утихало и мы с сестрой, наконец, укладывались спать, она погружалась в горестные раздумья. Отколов пристежную косу, распустив по плечам рыжеватые волосики и намазавшись пахучей мазью от веснушек, садилась у стола. При скудном свете лампы-грибка долго разглядывала семейные фотографии. Я знала: она ищет сходство между мной и дедом Лазарем. Иногда тихо роняла: «Эта девочка — точная копия фун майнэм мишугэнэм татэ (моего сумасшедшего отца)».

Уже сквозь сон я слышала тихий скрип петель внутренней ставни, щелканье шпингалета и скрежет дверного засова. Так начинался и кончался день в нашей комнате на Ришельевской, 12. Я подсмеивалась над теткой, повторяя слова деда: «Боишься, что тебя украдут?» Она, обидчиво поджав губы, с силой нажимала на шпингалет. Случалось, со слезами в голосе шептала в ответ: «Твой дед и ты — самые умные на свете».

Дед появлялся у нас всегда внезапно. Маленький, юркий, рыжий и бурно говорливый, он врывался в нашу комнатушку. Следом за ним летел чуть ли не на половину пустой левый рукав его чесучевого пиджака. «Папа»,— всплескивала руками тетка Маня и тотчас усаживала его за стол, наливала в маленькую пузатую зеленого стекла стопку темно-багровую и густую, как кровь, вишневку. Дед осторожно отхлебывал и начинался тихий, неспешный семейный разговор. Но через минуту-другую он, резко отодвинув от себя рюмку, гневно вскрикивал: «Медвежья голова! Слепая ослица!» Все конча-

лось раздором, теткиными тихими слезами. На прощанье дед бережно щекотал мою маленькую сестренку корявым веснушчатым пальцем, восхищенно цокал языком: «А шейне мейдэле (красивая девочка)» и исчезал столь же стремительно, как и появлялся. Я провожала его до двери, где он тихо, едва заметно шевеля толстыми губами, шептал: «Приходи на Тираспольскую». Осторожно гладил уцелевшей рукой мою тугую длинную косу. В ответ я молча, со стесненным сердцем, кивала.

Походы на Тираспольскую держались в полной тайне. Там, в глубоком полуподвале, дед жил с женщиной по имени Рива, которую тетка упорно не хотела признавать. «Ты не распишешься с ней! В память о маме ты не сделаешь этого»,— упрямо повторяла тетка, низко опустив голову и прижав к груди руки. А дед наступал на нее и злобно шипел.

За гладким, отполированным тысячами прикосновений поручнем зияет черная яма полуподвала, куда ведут сбитые ступени. Маленькое пыльное окошечко, наполовину утопленное в земле, забрано редкой пузатой решеткой. Чуть ли не вровень с мощеным тротуаром — облупившаяся во многих местах вывеска: «Пошив брюк».

Как часто, настороженно оглянувшись вокруг, я ныряла сюда, в эту подвальную полутьму. Дверь, обитая жестью, в любую, даже самую жаркую, погоду, казалось, поблескивает изморозью. Тихо звякал дверной колокольчик, и дед Лазарь в узком черном переднике с небрежно перекинутым через шею потертым сантиметром тотчас радостно вскидывался: «Кто к нам пришел!» Его напарник, безногий инвалид Егор, сумрачно кивал мне, не прерывая ни на секунду стрекотания «Зингера». Материал, точно змея, изгибаясь и свиваясь на полу в кольца, медленно выползал из-под беспрестанно снующей вверх-вниз блестящей иглы. Лишь сделав последний стежок, Егор выпрямлялся. Устало откидывался на спинку стула. Потом брал в руки костыль и, перегнувшись через стол, глухо стучал им в стенку. «Сейчас будем вечерять,— Егор хитровато подмигивал мне,— его жинка,— он заговорщицки кивал на деда,— налепила вареников». Дед Лазарь хмурился, исподлобья смотрел на напарника и сурово осаживал его: «Не болтай лишнего». Красивую седовласую Риву дед неопределенно называл «Бобэ (бабушка)». Будто стеснялся ее присутствия. Я это чувствовала. И потому, краснея до слез и лепеча что-то бессвязное, обычно пыталась было ускользнуть. Но дед властно останавливал меня: «Не дури!» И я замирала.

Высокая статная Рива. Она входила, держа в одной руке кувшин с водой, в другой — белое полотенце: «Проголодались, босяки?» Увидев меня, замирала от неожиданности, а затем яростно набрасывалась на деда: «Что ж ты мне не сказал, что пришла моя девочка?» Кувшин, полотенце, блюдо — все, что было у нее в руках, все тотчас отставлялось в сторону. Она крепко прижимала меня к себе и горячо целовала в макушку. «Зай гезунт ун гликлэх, майн кинд (Будь здорова и счастлива, мое дитя)»,— этими словами Рива встречала и провожала меня каждый раз.

Мне кажется, в душе она давно свыклась с разладом в нашей семье или, быть может, лишь утешала меня. Но как часто, подсовывая свои знаменитые тейглах, штрудели и форшмаки, она со скорбной усмешкой говорила мне: «Не обращай внимания на эту семейку,— как бы отделяя нас двоих от деда и тетки,— они все сделаны на один лад. А этот ко всему прочему,— она насмешливо кивала на деда,— тот еще фефер (перец)». Все нападки, язвительные подковырки и шуточки деда обычно пропускала мимо ушей. Но иногда вскипала. И тогда, дерзко блестя глазами, свысока бросала ему: «Ты же у нас известный на всю округу хохэм (умник)». «Все слышали, что сказала

эта женщина?» — резким фальцетом вскрикивал дед. Но, бросив быстрый взгляд на Риву, тотчас сконфуженно умолкал.

Здесь, в мастерской, он был совсем не похож на того суетливого, взъерошенного, то и дело вспыхивающего от обиды человека, каким я его видела у нас на Ришельевской. Здесь он был совсем другим. Широко расставив коротковатые ноги и вытянув трубочкой толстые губы, он долго, пристально вглядывался в материал, расстеленный перед ним на столе. Иногда что-то беззвучно нашептывал. Обходил несколько раз вокруг стола, лязгая в воздухе ножницами, точно примериваясь к предстоящей работе. И вдруг стремительно начинал резать. Казалось, безжалостно кромсает материал на куски. Через час сметанные на живую нитку брюки были уже в руках у напарника. «Твой дед — в своем деле — артист»,— изредка хмуро бросал Егор. Дед Лазарь скупо усмехался, насмешливо поддакивал: «Угу, артист погорелого театра». Даже о своей дочери, тетке Мане, он говорил здесь без обычной запальчивости. «Ну как там поживает твоя мумэ (тетя)?» Конечно, глаза его насмешливо щурились, губы складывались в едкую усмешку, но не было той жгучей злобы, что вскипала в нем у нас на Ришельевской.

— Что ты экономишь! Что ты жалеешь копейку детям? — гневно вскрикивал он. Обычно это был зачин.— Я тебе даю. Вэлвэл тебе присылает. А ты все копишь, копишь, копишь. Я у тебя спрашиваю, девочка должна ходить в таких чулках? — дед хватал заштопанный теткой чулок и совал ей под нос.— А на себя посмотри! Сколько раз ты уже лицевала свое пальто?

— Что ты хочешь, папа? Успокойся, папа! — беспомощно сцепив руки, шептала тетка.

— Что я хочу? — вскипал дед с новой силой. Иногда мне казалось, что безответность тетки еще больше распаляла его. Он словно срывал на ней всю ту обиду и боль, что беспрестанно мучила, жгла его душу.— Я хочу, чтоб они имели все: платья, туфельки, игрушки,— он загибал палец за пальцем. И, потрясая в воздухе уцелевшим жилистым кулаком, злобно сипел: — Они должны жить, как царицы! Ты, бесплодная смоковница, разве ты понимаешь, что такое ребенок? Ты, как твоя покойная бабка. Та тоже знала только одно: деньги, деньги, деньги. На пурим она выдавала твоей маме шаль и шевровые туфли. А после праздника снова все прятала в сундук до следующего пурима. Каждое зернышко было у нее на счету. Чем все кончилось? Где все ее добро? Где твоя мама Рейзеле? Ты знаешь, что ждет завтра этих детей в нашей бандитской малине? Знаешь? Я тебя спрашиваю! — он подступал к тетке. Та цепенела от ужаса. Веснушки ярко проступали на ее мучнисто-белом лице. Зажав рукой рот, она начинала беззвучно плакать. Я обычно забивалась в угол. Лишь моя бесстрашная сестра умела мгновенно пресекать эти вспышки гнева:

— Что ты раскричался,— сурово насупившись, она дергала деда за руку,— ты пришел в гости. Сядь и сиди. И жди, когда тебе дадут чашку чая,— ее блестящие светло-шоколадные глаза властно, по-женски сверкали,— так делают приличные люди.

Дед мгновенно обмякал. Становился перед ней на колени. Прижав правой рукой к груди ее кудрявую голову, тихо шептал: «Рейзеле, копия Рейзеле»,— и толстые губы его начинали дрожать.

— Ты опять все перепутал,— сестра сурово хмурилась,— с чего ты вдруг взял, что я Рейзеле? Ну-ка, быстро — как меня зовут!

Тихая, виноватая улыбка скользила по его лицу. Он отводил взгляд в сторону. Начинал осторожно дуть на ее кудряшки. И сестра, откинувшись назад, заходилась в заливистом, звонком смехе.

Она с детства как-то сразу, твердо определила свою линию

жизни. И, сталкиваясь с тем, что вызывало у меня приступы бессильного страха, отчаяния и злобы, лишь заносчиво встряхивала кудряшками. Где я то и дело спотыкалась, падала, она единым махом преодолевала все рытвины и ухабы бытия. Потирая ушибы, зализывая кровоточащие шрамы, я не столько шла по жизни, сколько настороженно оглядывалась по сторонам. Мне казалось, что мир вокруг меня наполнен ненавистью, опасностью и страхом. Она же, не обращая внимания на тычки и колдобины, шагала вперед, не оглядываясь. Лишь изредка, в особо трудные минуты жизни, сводила к переносице изогнутые серпом черные брови. Но тотчас, словно спохватившись, гордо, независимо усмехалась.

В придачу ко всему природа отпустила моей сестре практичность и легкий открытый характер. Утро обычно у нее уходило на сбор дани. И пока я давилась холодной скользкой картошкой, которую оставляла нам заботливая, но до скупости экономная тетка, сестра обходила наш двор. Деликатно постучавшись, стремительно просовывала в узкую щель кудрявую голову: «Здоровэньки булы»,— говорила она, подражая знаменитым в ту пору Тарапуньке и Штепселю, и заразительно смеялась, встряхивая тугими иссиня-черными локонами.

Я чутко вслушивалась в звуки, доносящиеся из гулкого колодца нашего тесного дворика. Хлопанье дверьми, шум воды из колонки, перекличка голосов — все это внезапно перекрывал сильный грудной голос сестры: «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю»,— задушевно заводила сестра. «Опять у бабки Гарпыны пасется»,— уныло думала я, в сотый раз переставляя в старом рассохшемся буфете пустые банки из-под варенья. Обычно бабка Гарпына ничего, кроме каши-размазни, для своей дочери-язвенницы, что служила инструктором в райкоме, не варила. Два раза в месяц — в день аванса и получки нашего дворника Колыванова — сестра самозабвенно выводила полный щемящей и неизбывной тоски напев: «Как пойду я на быструю речку». Тогда я оживлялась. Дворничиха Колываниха, которая неизменно заказывала сестре эту песню, пекла тающие во рту пироги с картошкой. В остальные дни на колывановский шаткий столик ставилось полдюжины железных мисок с пустыми щами — все, чем баловала Колываниха свою ораву. Сама за стол не садилась. Лишь изредка застенчиво ныряла ложкой в миску своего любимца Петьки. Но наступало разговенье — аванс и получка. И хоть уже с утра душа ее томилась от тревожных предчувствий, она пекла пироги. «А подь на улицу, глянь, не идет ли отец»,— то и дело посылала она кого-нибудь из сыновей. Белесые, низкорослые, скуластые — все в отца, мальчишки Колывановы угрюмо отнекивались, кивая друг на друга. Наученные горьким опытом, знали, доносчику — первый кнут. Завидев сына, пьяный Колыванов тотчас кидался на него с кулаками: «Следишь, пащенок! Мать подослала! А ну, подь сюда! — грозно подзывал он жену, покачиваясь на пороге. И она, высокая, статная, на голову выше его, робко шла, норовя боком, незаметно пронести мимо мужа свое ладное тело.— Чего уставилась? У-у глаза твои бесстыжие».— Она прикрывала руками лицо, но ускользнуть не смела.— «Стоять, кому говорят,— шипел он, вытягивая тонкую шею.— Стоять!» И Колываниха, словно загнанная измученная лошадь, переминалась с ноги на ногу, покорно опустив голову, шарахаясь от его тычков.

Наш двор уже давно привык к его пьяным выкрикам, к шаткому штакетнику его палисадника, окрашенному в ядовитый зеленый цвет, к его синей застиранной майке с широкими, вытянутыми чуть ли не до пояса проймами, что свободно обвисала на нем.

Это была наша жизнь. И другой мы не ведали. Все шло по заведенному порядку. Неотвратимо, как восход и закат.

Ближе к полудню во двор на мусорной машине въезжала быстрая, как ртуть, толстуха Сойферт, что жила под нами на первом этаже. Она выскакивала из кабины, путаясь в длинном брезентовом переднике, и начинала звонить в колокольчик, взывая: «Му-сор, му-сор». Затем натягивала брезентовые негнущиеся рукавицы, хватала лопату и, ловко направляя в жерло машины зловонное месиво, поторапливала медлительных жильцов: «Швыдчей, швыдчей, граждане!» Наконец, перекрывая шум мотора, кричала своему мужу Менделю, что сидел за баранкой: «Генуг (хватит)!» Мотор, зверски взревев в последний раз, мгновенно глох. Из кабины неуклюже вываливался высокий, широкий в кости, заросший до крупного вислого носа могучий Мендель. В тот же миг, словно из-под земли, рядом с ним вырастала сестра. «Мэйдэле (девочка),— ласково тянул Мендель, увидев ее, и тотчас подхватывал на руки,— зинг (пой)!» «Идише мамэ (еврейская мама)»,— подрагивая голосом, точно заправский кантор, начинала сестра, и Сойфертиха замирала, сцепив на животе сильные жилистые руки. Для каждого из соседей у сестры была припасена своя песня. Даже ядовитая Катька Матыцина, жена старшины милиции Сережи, завидев во дворе сестру, кричала ей, перегнувшись через подоконник: «Пришла-таки, побродяжка! Ну что застряла внизу? Заходи! Гостем будешь!» Через минуту из окон матыцинской комнаты слышался звенящий голос сестры: «Зачем тебя я, милый мой, узнала?» «Ой»,— не то всхлипывала, не то подпевала ей Матыцина в конце каждого куплета.

В полдень сестра возвращалась домой, нагруженная добычей. С шумом вздыхая, как хорошо поработавший человек, выгружала из карманов своего платья блины, крутые яйца, куски пирога, слипшиеся конфеты. «Быстрей ешь»,— говорила она и тотчас отворачивалась от своего богатства. В эти минуты я понимала, как больно ей было, в какую нелегкую борьбу она вступала сама с собой. От тетки эти походы тщательно скрывались. Да ей и не до того было. С утра до вечера добывала хлеб насущный, мо́я и натирая полы в самой большой библиотеке города. Обходясь сама на завтрак, обед и ужин пустым чаем с бубликами, искренне считала три картофелины и тарелку супа — царской едой.

Однажды сестра вернулась домой, когда часы на городской башне уже пробили два и мне пора было собираться в школу. «Где тебя носило?» — набросилась я на нее. «Картошка осталась?» — спросила сестра, словно не слыша моего вопроса, быстро и ловко принялась очищать от кожуры холодную картофелину. Макая ее в крупную желтоватую соль, стала жадно есть. «Выкладывай! Что случилось?» — начала выпытывать я. Сестра внезапно перестала жевать и, округлив глаза, почти шепотом сказала: «На черном дворе, в боковухе, поселились французы. Фамилия их Филимоновы. Мальчишка с девчонкой болбочут не по-нашему. Не веришь? — она вынула из кармана крохотную ажурную брошь-башенку, сплетенную из тонкой блестящей проволоки,— смотри, что подарили». «Эйфелева башня»,— ахнула я в изумлении. Сестра важно кивнула. И тотчас по-взрослому пригорюнилась: «Живут очень бедно. На обед едят хлеб с маргарином и пшенную кашу».

С этого дня, подталкиваемая каким-то смутным чувством, я стала, словно бы невзначай, все чаще и чаще заглядывать в маленькую пристройку, что примостилась в тупике черного двора, между сараями и котельной. Вначале пыталась зазвать с собой сестру. Одной было неловко. Но сестра упорно отнекивалась: «Вонь! Скукотища!»

Раньше и я обходила этот двор стороной. Минуя черную угрюмую подворотню, ведущую в него, притаивала дыхание, брезгливо отворачиваясь в сторону. Удушающий запах падали тугой волной на-

катывал оттуда. Посреди двора, мощенного булыжником, громоздились железные мусорные баки. Рядом с ними тускло лоснилась от жира чугунная решетка слива. Сюда выплескивали помои, выносили обглоданные добела кости, объедки голоногие распаренные посудомойки и разгоряченные жаром котлов повара из пельменной. Тут сновали бездомные коты и разжиревшие на отбросах крысы.

Здесь поселились русские французы Филимоновы.

Нить жизни каждого из нас смотана в тугой запутанный клубок. Он катится, указывая путь, и мы покорно следуем за ним. В юности — с жадным любопытством озираясь по сторонам, ближе к старости — угрюмо глядя себе под ноги, чтобы не оступиться, не сделать опрометчивого шага. А клубок все разматывается и разматывается, отсчитывая годы. Иногда, всматриваясь в извивы прошлого, мы замираем в горестном изумлении: «Как же это случилось?» И растревоженная душа смиренно шепчет в ответ: «Быть может, это судьба?»

Иной раз мне чудится: не загляни я в эту комнатушку с покатым потолком и стрельчатыми окошками, и жизнь моя на склоне лет повернула бы в иное русло.

— Слышишь? Это голос охотничьего рожка,— рука Елены Сергеевны с набрякшими венами, огрубевшая от ледяной воды, щелока и золы, птицей взмывает вверх и неподвижно повисает в воздухе.

Я вслушиваюсь в призывные звуки, льющиеся из угрюмой черной тарелки репродуктора. Она висит на стене, прямо у меня над головой. Звук, словно по ступенькам, поднимается все выше и выше. Становится нестерпимо тонким. Мне кажется, будто он пронизывает меня насквозь, как острая стальная игла. Я тихонько начинаю ерзать, и этот еле слышный шорох выводит Елену Сергеевну из оцепенения. Она нервно поправляет волосы, собранные в тугой узел. В полумраке тускло взблескивает узкое колечко со стертым блеклым камешком.

В этой комнатушке, в углу черного двора, почти всегда царят сумерки. Кажется, соседние дома и сараи, единожды сговорившись между собой, тесно сомкнулись друг с другом и навсегда заслонили своими широкими спинами два узких стрельчатых окошка.

— А это всадники,— рука Елены Сергеевны снова взмывает вверх. Тихая усмешка морщит ее губы.— По снежку, по нехоженому первопутку они несутся на зов рожка. И звонко стучат копыта лошадей по мерзлой земле. И свищет ветер в зябких голых ветвях деревьев. А вокруг, куда ни глянешь, снег, снег, снег,— внезапно она умолкает. Жалобно улыбается.— Если бы ты знала, как я соскучилась там по настоящей зиме.

— Вы жили в самом Париже? — несмело, смущенно выталкиваю я из себя.

— В самом Париже? Нет, нет. Что ты! Там очень дорогая жизнь для бедных людей.— Секунду она исподлобья смотрит на меня и скупо, нехотя объясняет: — Ведь мы бежали из России. Ни багажа, ни денег. Лишь сундучок с бельем — вот и все.

— Бежали? — во мне вспыхивает необъяснимый ужас,— бежали отсюда? Из нашей страны?

— Давай послушаем. Сейчас будет очень красивое место,— с неловкой поспешностью прерывает меня Елена Сергеевна.

В настороженной тишине плывут диковинные звуки. И это так непохоже ни на тугое напористое шипение примусов, ни на звяканье кастрюль, ни на шлепанье и шарканье шагов, ни на громкую перекличку голосов, что я на миг закрываю глаза и замираю. Где-то внутри, под ложечкой, странно холодеет: «Что это?» Я окидываю на-

стороженным взглядом самодельный абажур из бархатной бумаги, обшитый по краю узорчатой бахромой. Стулья с резными спинками, чинно выстроившиеся по сторонам большого квадратного стола, покрытого топорщащейся на углах туго накрахмаленной клетчатой скатертью. Три топчана, застеленные белоснежными, без единой складочки, пикейными покрывалами. Здесь, в этой комнатушке, притаившейся в изгибе длинной кишки черного двора, все кажется таинственным, чужим. Даже зеленый с выщербинками и трещинами кафель голландки. Как загадочно, тускло поблескивает его зеркало в быстро сгущающихся сумерках. Мне становится тревожно. Я тихонько бью пяткой в стенку сундучка, на котором сижу. Он откликается глухим, надтреснутым голосом. Руки скользят по металлическим, холодящим кожу уголкам, по шишечкам и впадинам замысловатого кованого пояса, туго обхватывающего крышку.

— Это приданое моей мамы,— Елена Сергеевна кивает на сундучок,— все что осталось.— Смутная усмешка скользит по ее губам. Она откидывается на спинку стула. Прикрывает глаза.— Бывало, откроешь крышку и чудится — домом пахнуло. А дома давно уже и в помине нет.— Елена Сергеевна резко наклоняется ко мне, тихо шепчет: — Они сожгли его.

— Кто? — спрашиваю я, и мне отчего-то становится жутко.

Елена Сергеевна несколько секунд сидит молча. Очнувшись, зябко передергивает плечами:

— Была революция. Беспорядки,— быстрой скороговоркой произносит она. Неясная глухая неприязнь внезапно охватывает меня.

— Зачем вы вернулись сюда? — хмуро спрашиваю, стараясь поймать ее ускользающий взгляд, а сердце почему-то испуганно ухает в груди.

Она тотчас вспыхивает быстрым нервным румянцем. Высоко вздергивает подбородок:

— Я — русская.— И вдруг как-то съеживается, оседает, бледнеет.— Мне там жизни не было. Тоска заедала смертная. Не дай Господь тебе это испытать. Когда вокруг все чужое. Все. И ты всем чужая,— она запинается. Умолкает на миг, словно вспоминая свою недавнюю жизнь. Несмело смотрит мне в глаза.

— Не надо об этом,— шепчу я.

Но Елена Сергеевна будто не слышит. Прикладывает руку к груди и говорит тихим надтреснутым голосом:

— Вот тут непрерывно болело. Понимаешь? Иногда забудешься, живешь как все. А потом вдруг как кольнет: «Домой!» — Она прикрывает глаза. Две крохотные слезинки выскальзывают у нее из-под век.— Вчера дети опять попрекали меня: «Зачем мы приехали сюда?» Бросает быстрый взгляд на ходики, висящие на стене, и спохватывается.— Сейчас нагрянут.— Внезапно замирает, вслушиваясь в звуки со двора. Оттуда доносится беззлобная перебранка, звон ведер, глухой стук дверей. Елена Сергеевна поспешно подходит к окну.

— Опять,— с отчаянием тихо вскрикивает и рывком отворачивается,— опять они льют помои прямо под окна. Михаил Павлович давеча хотел идти браниться. Еле удержала. Мы здесь на особом положении. Нам ни во что нельзя вмешиваться,— она зябко кутается в поношенную вытертую шаль, словно ей вдруг становится холодно.— Тяжко ему. Тяжко. Конечно, все таит в себе. Молчит. Но ведь я чувствую,— она судорожно вздыхает. Быстро перебирает дрожащими пальцами путаную редкую бахрому шали.— Веришь — всю эту мебель сделал сам,— на секунду оживляется. С гордостью оглядывает резные спинки стульев, точеные фигурные ножки стола. Но тотчас опять сникает,— у него руки золотые, но там, на заводе, это не нужно.

Там план, план, план. А он не привык шаляй-валяй. Понимаешь? — голос ее дрожит и рвется. Кажется, вот-вот заплачет. Несколько минут стоит молча, понуро опустив голову. В комнате повисает тревожная тишина.— Надолго ли его хватит при такой жизни...— И смотрит за окно, в палисадник, где между анютиных глазок и резеды отблескивают перламутром влажные картофельные очистки и яичная скорлупа.— Встает чуть свет,— еле слышно, словно жалуясь самой себе, шепчет она,— убирает мусор. Моет двор. Смотритель сюда даже не заходит. Все Михаил Павлович. Весной посадил сирень и жасмин. И так прижились хорошо. Уже бутоны были. Кто-то ночью выдернул с корнем.

Исподволь, по крупице я узнавала жизнь этой семьи: намеки, разговоры, пересуды соседей. Будто в предчувствии грядущих испытаний заранее примеривала к себе чужую судьбу.

Жизнь в этой полутемной пристройке с двумя стрельчатыми окошками начиналась рано, чуть ли не затемно.

Елена Сергеевна, тщательно причесанная, в туго накрахмаленном клетчатом переднике колдовала в крохотной кухоньке, выгороженной дощатой перегородкой. Голубоватый язычок спиртовки лизал зеркально сияющий кофейник. Тонкая струйка пара источала запах густого ячменного кофе.

— Доброе утро, дружок,— Михаил Павлович, высокий, прямой, с капельками воды на серебристых реденьких волосах, с полотенцем через плечо, нежно, едва прикасаясь губами, целовал ее в бледную, примятую со сна щеку.

Она быстро, по-птичьи вскидывала голову, пристально смотрела ему в глаза. Казалось, в этот миг они проверяли готовность друг друга к грядущему нелегкому дню. «Бриошь?» — спрашивала она, разрезая на тонкие ломтики сдобную булочку и раскладывая их на фаянсовой тарелочке. «Бриошь»,— улыбаясь глазами, отвечал Михаил Павлович. Он снимал горячий кофейник со спиртовки, и они шли в комнату по узкому коридорчику, тесно касаясь друг друга.

Внутренний голос шептал мне: «Отвернись. Нехорошо подглядывать». Эта невинная ласка двух уже немолодых людей вызывала щемящее чувство стыда и зависти.

Неужели только для того, чтобы исподтишка смотреть им вслед, я прибегала сюда чуть не каждое утро ни свет, ни заря? Не знаю.

И были еще дети. Клодин и Мишель. Такие непохожие ни на меня, ни на мою сестру, ни на забитых детей дворничихи Колывановой. Такие не похожие друг на друга.

— Фланёр,— говорила Елена Сергеевна, глядя на Мишеля, покачивая горестно головой, и мелко, быстро крестила его в спину.

Его рот был всегда растянут в сияющую улыбку. Его длинные руки и ноги находились в беспрестанном движении. Он то высоко подпрыгивал вверх, чуть ли не под самый потолок, то резкими порывистыми движениями выбрасывал поочередно крепко сжатые кулаки. «Бокс, бокс»,— шутливо-задиристо повторял он и заливался высоким, срывающимся смехом.

«Мне надоел эти бутада (выходки)»,— в раздражении всплескивала руками Клодин, и ее тонкие, точно нарисованные, брови возмущенно вскидывались вверх. К брату, как и все в этой семье, она относилась покровительственно, хоть были погодки. Да и выглядела она много старше своих лет, почти взрослой девушкой.

Была ли тут причина в мягкой невесомой пуховке, которой она изредка пудрила тупой носик? Или, быть может, в тонком колечке, что охватывало тугим пояском ее длинный безымянный палец правой руки? Не знаю и по сию пору. Но глядя на себя в зеркало, я твердо понимала, что никогда эта неряшливая девчонка с обгрызенными ногтями и всегда растрепанной косой, угрюмо смотревшая на меня в упор, не научится так нежно склонять голову к плечу, так невесомо, легко нести свое тело, так искоса с легкой насмешкой поглядывать на мальчишек. Я все это ясно осознавала. Меня даже не мучила зависть. Так маленькая неказистая воробьиха, вероятно, и в мыслях не держит стать горделивой, сверкающей оперением павой. Но все эти пуховки, щеточки, пилочки чрезвычайно волновали меня. Однажды, не сдержавшись, дотронулась мизинцем до колечка и тотчас, словно обжегшись, убрала руку назад. «Буклете (колечко),— ласково улыбнулась Клодин,— подарок мать из Франции». Вначале мне почудилось, что ослышалась. «Твоя мать во Франции?» — робко уточнила я.

— Да,— печально качнула головой Клавдия, и ее округлый подбородок с едва заметной ямочкой вдруг дрогнул.— Тетя Элен — сестра отца. Туберкулез. Умер,— и, словно не надеясь на свой русский язык, она надсадно закашлялась, потом откинула голову и закрыла глаза, объясняя мне жестами историю своего отца. Но тотчас встрепенулась: — Есть еще два брат во Франции. Мать нашла новый муж. Мой мать фланёр,— она произнесла слово фланёр, в точности копируя тон и манеру Елены Сергеевны, но «р» у нее покатилось и рассыпалось точно горсть стеклянных шариков.

Сблизило ли нас сиротство? Нет! Быть может, потому, что сиротство этих детей не было угрюмым и скудным, как у нас. Это было сиротство с диковинными подарками из Франции на Пасху и Рождество, день рождения и день ангела. С яркими нарядными открытками, обсыпанными блестками, из разворота которых внезапно выскакивала фея или бородатый Пэр Ноэль. С цепочками, колечками, брошками, значками и всей той яркой мишурой жизни, которая так нужна детям.

У нас с сестрой все было по-иному. Наш отец ежемесячно пересылал нам едва ли не весь свой оклад. Но на сером измятом листке перевода, кроме лиловых штампов и адреса, была лишь короткая приписка: «Целую, папа». Тетка Маня вздыхала, беря из рук почтальона увесистую разноцветную пачечку. Помусолив палец, сбиваясь и шевеля губами, долго, по многу раз пересчитывала деньги. Аккуратно отделив одну четверть, она оставшиеся прятала в потертую сумочку и, крепко зажав ее под мышкой, шла в сберкассу. «Если вдруг что-нибудь со мной случится, девочки будут иметь копейку на черный день»,— тихо, вполголоса делилась она своими заботами с Сойфертихой. Та тотчас пугалась: «Не дай Бог, что вы такое говорите! Нашим врагам на голову наши цорес (беды),— потом, чуть помешкав, одобрительно кивала.— За душой всегда должна быть какая-никакая копейка».

С раннего детства тетка готовила нас к черному дню. И потому сестра донашивала мои старые платья с неумело откромсанным и грубо подшитым подолом, штопаные-перештопаные чулки, траченный молью меховой капор. Мне же покупалось все на вырост. Пальто, школьная форма и даже ботинки. Я шлепала в этих ботинках по лужам, играла в классы и маялку. Но сносу им не было. Я ненавидела их с первого дня, эти черные мальчиковые ботинки с широкими рантами и железными дырочками для шнурков. Я мечтала о легких лаковых туфельках с тоненькой перепоночкой.

Как догадалась об этом Елена Сергеевна? Не знаю. Но однажды она поставила их передо мной.

— Надень. Это мать прислала Клавдии. Но они ей малы.— Эта женщина,— она всегда говорила об их матери «эта женщина», при этом глаза ее странно темнели, углы рта брезгливо опускались вниз,— эта женщина,— повторила Елена Сергеевна, и в голосе ее прозвучала недобрая насмешка,— она забывает, что ее дети растут. Она боится этого. У молодой женщины не могут быть взрослые дети.

Не знаю почему, но мне она поверяла свои заботы и печали. Вы скажете, что между пожилой женщиной и девочкой не может быть дружбы. Но это было, было, было. И этого у меня никто никогда не отнимет.

— Ты знаешь,— сказала она как-то раз с безысходной печалью,— они совсем не похожи на моего брата. У них французская кровь. Особенно Мишель. У Клодин руки отца.

Первый раз за все время я услышала, как она назвала детей их французскими именами, точно напрочь отсекала в них русское начало.

— У вас никогда не было своих детей? — с запинкой, нерешительно спросила я. Чувствовала, что стучусь в ту дверь, которая для чужих заперта раз и навсегда. Но осмелилась. Лицо Елены Сергеевны тотчас замкнулось. Мне почудилось, что рядом со мной — чужой человек. И стало страшно. Мучительно покраснев, тихо сказала: — Простите меня.

Она пристально, изучающе посмотрела, словно решая трудную задачу.

— Была революция, потом война. Голод. Я долго болела. Михаил Павлович с трудом нашел меня. Они служили с братом в одном полку. Потом Франция. Это после все наладилось, а сперва было очень трудно,— нехотя, точно через силу, начала она.— У меня было одно платье. Я его вечером стирала, а утром надевала и шла на работу. Я работала на фабрике, где делают бисквиты. Нужно было поднимать тяжелые ящики,— она умолкла, казалось, задохнулась от горя.

— Не нужно, не нужно больше вспоминать,— я крепко закусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться.

Она печально покачала головой:

— Девочка, тебе трудно будет жить на этом свете. У тебя слишком отзывчивая душа.

Только мне она говорила прерывающимся голосом: «Иду на свою Голгофу»,— отправляясь раз в месяц с раннего утра в ломбард продлевать заклад. Домашние думали, что этот день она проводит у моря. И, глядя за ужином на ее бледное, осунувшееся лицо, не ведающий ни о чем Михаил Павлович искренне сокрушался:

— Дружок, мне кажется, что эти прогулки к морю тебя очень утомляют.

Иногда, видя по утрам ее, понурившуюся, с красными воспаленными глазами, я осторожно спрашивала:

— Что, снова хрипы?

Она пугливо оглядывалась и молча кивала. Случалось, отрывисто бросала в ответ:

— Опять Михаил.

Две вещи пугали ее чуть не до смерти: хрипы в груди у Клавдии и вызовы в школу к Михаилу.

И еще она ненавидела дни, когда работала посудомойка Ксюша. Высокая, жилистая, быстрая, как огонь, Ксюша выскакивала с черного хода пельменной, громко хлопая дверью. Вслед ей вырывались тугие клубы пара. Резко взмахнув ведром, выплескивала помои прямо в крохотный палисадник.

— Что вы делаете! — слабо ахала Елена Сергеевна,— вы же цветы губите.

— Цветы? — с какой-то злобной радостью взмывала Ксения. Казалось, готовилась к этой стычке все выходные дни,— цветы приехали сюда нюхать? — Она подбоченивалась, готовясь вступить в бой. Но Елена Сергеевна тотчас отступала. Это вначале она пыталась было вразумить Ксению.

— Голубушка, Ксения Петровна! Вы скажите, что мы вам плохого сделали? — и тон у нее был просительный, искательный. Точно хотела задобрить.

— Кто вас звал сюда? — резала в ответ посудомойка.— Ишь ты баре какие!

В эти минуты мне казалось, что тело мое становится туго натянутой струной.

— За что вас так ненавидят? — однажды, чуть не плача, спросила я, пытаясь заглянуть Елене Сергеевне в глаза.

— Мы здесь — чужие,— со скорбной усмешкой ответила она и ушла в дом.

А рядом, в ста шагах, на чистом дворе, в комнате у тетки, шла другая жизнь.

— Где ты ходишь? — то и дело ревниво восклицала тетка,— что, тебе у этих французов медом намазано? Что, у тебя дома нет?

Обычно я отмалчивалась, но однажды, не сдержавшись, дерзко бросила в ответ:

— Я же не указываю, с кем тебе чаи распивать. Твоя Сойфертиха не вылезает от нас.

— Как ты можешь сравнивать? Она же наша,— неожиданно вспыхнула всегда кроткая тетка.

— Наша? — Я нарочито удивленно вскинула брови и презрительно усмехнулась. Мысль о том, что меня связывают с этой неуклюжей коротышкой Сойферт, которая то и дело повторяла: «Нашим врагам на голову наши цорес»,— какие-то таинственные тесные узы, казалась оскорбительной.

— Наша, наша,— со значением повторила тетка.— У тебя, я вижу, короткая память. Ты уже забыла то добро, которое сделали нам эти люди. Кто нам помог в тяжелую минуту? Думаешь им,— тетка неопределенно кивнула в сторону открытого окна, за которым кипела жизнь двора,— есть дело до нас? До нашего горя? Утопят в ложке воды, и глазом не успеешь моргнуть. Мы, евреи, должны крепко держаться друг за друга.

— Мы! Евреи! — перебила я тетку и засмеялась злым, едким смехом.— Я знаю наперед все, что ты мне скажешь. Как мне надоели твои вечные страхи. Твое вечное нытье. Запомни — у нас все равны! И я такая же, как все! — крикнула я тетке прямо в лицо.

— Как все,— тихо повторила она. Внезапно глаза ее налились слезами. Она горестно покачала головой: — Когда началась война, мужчин сразу забрали на фронт. В доме остались я, моя мама и бабушка, которая уже год как не вставала с постели. А потом заболела мама, и все упало на мои руки,— она выбросила вперед покрытые густыми рыжими веснушками руки и несколько секунд пристально смотрела на них. Потом нагнулась ко мне и горячо зашептала: — Раньше ты была маленькая. Я не хотела тебе этого говорить. Но у твоего деда есть женщина. Ее зовут Ривка. Ты знаешь? — Тетка подозрительно посмотрела на меня. Я тотчас в смятении опустила глаза, покраснела и отрицательно качнула головой.

Тетка на минуту задумалась. Потом смущенно, скороговоркой пробормотала:

— Он к этой Ривке ходил еще до войны. При маминой жизни. Сколько покойная мама пролила слез, один Бог знает,— она промокнула глаза и высморкалась,— так вот в августе, когда уже шла война, эта Ривка прибежала к нам на Госпитальную. Мы жили там на первом этаже. Но мама ее выгнала. Три дня подряд она приходила к нам во двор. Мама не разрешила даже на порог ее пустить. Так эта Ривка в окошко стучала: «Бегите. Я вас устрою в вагон. Бегите!» — тетка тихо всхлипнула. Покачала горестно головой.— Боже мой! Осенью мы уже были в гетто.— Ее голубые глаза округлились.— Нас выдали. Знаешь, кто? Русские соседи! Днем их мальчик играл у нас в палисаднике. А вечером его мать нас выдала. Ты не думай,— она стремительно схватила меня за руку и потянула на себя,—из гетто можно было убежать. Но куда? Зачем? Тебя же на следующий день выдадут. За буханку хлеба. За шматок сала. Запомни,— голос ее дрогнул, и глаза снова налились влагой,— я не вечная. Мало ли что со мной может случиться. Ты старшая. Ты должна знать, что никому, слышишь, никому из них нельзя доверять. Они нас не любят. Они нас просто терпят. Но учти, терпят до поры, до времени.

— Ты же сама говорила, что тебя спасли,— с вызовом выпалила я.

— Спасли? — прошептала тетка.— Это ты называешь спасли? — глаза ее внезапно остекленели. Она замерла на миг, точно неживая. Но тут же пришла в себя, хватила ртом воздух и каким-то низким свистящим шепотом просипела: — Я заплатила им. Я заплатила им за это сполна.

— Чем? — насмешливо бросила я.— Ты же рассказывала, что у вас с собой ничего не было.

— Этим! — выкрикнула тетка и, стиснув кулаки, что есть силы ударила ими себя по впалому животу,— этим, этим, этим,— она начала беспорядочно молотить свои маленькие еле заметные грудки, тощие бедра. Яро, не чувствуя боли, месила кулаками свое щуплое тело.

— Прекрати,— крикнула я и повисла у нее на плечах.

Тетка ловко извернулась и отбросила меня прочь.

— Они меня насиловали. Каждый, кто хотел. Я была у них девкой. Девкой,— прохрипела она и злобно рассмеялась,— мне моя мама сказала: «Иди! Иди к ним! Нам больше нечем заплатить за твою жизнь!»

— Немцы? — Не удержавшись выдохнула я.

Несколько секунд тетка непонимающе смотрела на меня. Потом словно очнулась. Обхватила себя руками. Казалось, ее бьет озноб.

— Наши,— еле слышно прошептала она и стала суетливо одергивать, поправлять свое платье.

— О чем это вы тут секретничаете? — весело закричала сестра, вбежав в комнату и раскрыв настежь дверь.

Тетка в страхе отшатнулась от меня и крикнула придушенным голосом:

— Фармах ди тир! (Закрой дверь!).— Несколько секунд она стояла в оцепенении, потом как-то обмякла, устало вытолкнула из себя: — Где ты бродишь? Сколько можно ходить по соседям? Сиди дома. Дома сиди, слышишь? — она, чуть не плача, неумело тряхнула сестру за плечи.

— Не трогай ее,— тотчас вступилась я, как всегда, круто обрывая и без того слабые воспитательные порывы тетки.

— Как вы мне все надоели,— сурово обронила сестра и, окинув взглядом ненакрытый стол, с тихой печалью сказала: — Люди уже давно ужинают. У людей на столе блинчики со сметаной, а тут одни разговоры. Опять, наверное, сейчас побежишь на скорую руку калапуцать свою картошку,— она с укором посмотрела на тетку.

Та тотчас виновато засуетилась: «Сейчас, сейчас, девочки».

Остаток вечера тетка виновато поглядывала на меня, казалось, хотела что-то сказать. Но, бросив быстрый взгляд на сестру, крепко поджимала губы.

Как всегда, перед сном она закрыла внутреннюю дубовую ставню, звонко щелкнув кованым фигурным шпингалетом, с натугой потянув на себя дверь, задвинула засов. Потом, шлепая босыми ногами, подошла к моей постели, нагнулась и, подтыкая одеяло, виновато прошептала:

— Спи и не думай ни о чем. Не рви свое сердце.

Я осторожно, кончиками пальцев погладила ее по лицу. Тетка, как подкошенная, внезапно рухнула на колени. Она стояла, уткнувшись лицом в мою подушку, и плечи ее мелко подрагивали. Я положила руку ей на затылок, туда, где рыжеватые волосы вздымались редким хохолком: «Забудь это! Забудь».

Она дернулась и замерла, сжавшись в комок.

Вскоре я заметила, будто что-то переменилось в ней. Казалось, сбросила со своей души тяжкий камень. Выпрямилась. И словно помолодела. Осенью, после долгих колебаний, раздумий и советов с Сойфертихой, купила себе новое пальто. Неловко улыбаясь, она примерила его, тронула рукой блестящие большие пуговицы, потом откинула полу и осторожно погладила матовую шелковистую подкладку.

— Точь-в-точь такое у меня было до войны,— тихо сказала и улыбнулась растроганной улыбкой.

В этот вечер, видно, на радостях, она забыла закрыть ставню. Под утро я проснулась от неясного шороха. Тетка стояла перед окном. Почувствовав мой взгляд, обернулась:

— Представляешь, я забыла закрыть ставню! — с каким-то радостным изумлением сказала она.

— Иди спать,— спросонья отозвалась я.

Она покорно отошла от окна, легла в постель и уже оттуда с какой-то неизъяснимой болью прошептала:

— До войны, на Госпитальной, мы никогда не закрывались на ночь. Утром, бывало, проснешься, а на стенке — солнечные зайчики.

С этого дня тетка словно напрочь забыла про ставню. Мы не слышали больше ни тихого стука об оконный переплет, ни звонкого щелканья шпингалета. Но засов на двери еще долго скрипел под неумелыми, слабыми теткиными руками. Где-то через год черед дошел и до него. Из запоров остался лишь слабый хлипкий дверной крючок. Да и тот иной раз она забывала накидывать.

Я помню промозглый январский день в первый год после нашего приезда. Скользкий от ледяной изморози поручень. И серое лицо Ривы: «Дед на Госпитальной!»

Это уже потом, приметив в окне мои тонкие ноги в мальчиковых ботинках, она кричала прямо с порога: «Беги». И я мчалась стремглав, не разбирая дороги.

А тогда, в первый раз, она долго втолковывала мне, где искать деда. И я плутала по дворам. Между туго натянутых веревок, подпертых промерзшими насквозь жердями. На веревках билось обледенелое разноцветное белье. Я скользила по мощеным тротуарам от одной подворотни к другой, пока не увидела деда Лазаря. Он сидел на железной ступеньке у стены, выложенной почерневшим обветренным ракушечником. За его спиной багровел кусок новой кирпичной кладки. На чудом уцелевшей притолоке бился и громыхал от ветра обломок металлической шторы, волнистой, словно стиральная доска. Увидев меня, дед Лазарь тотчас вскочил, крепко взял за

руку: «Пойдем отсюда. Пойдем». Он шел быстрым, широким шагом. Я еле поспевала за ним. Внезапно остановился, и я с разбегу налетела прямо на него. Он резко отстранился от меня, взял за плечо:

— Если бы твоя покойная бабушка Рейзеле...— его острый кадык дернулся и замер,— их всех в январе...— он понизил голос почти до шепота.— Пока я жив, с вашей головы волос не упадет. Я несчастье за версту чую.

Быть может, в этом мире всех, кого природа наделила прозорливостью, считают сумасшедшими? Не знаю. Иные живут, как птички на ветке. Щебечут, боясь заглянуть в завтрашний день. Вы скажете: «Чему быть, того не миновать». Это верно. Человек до самой последней минуты, до последнего вздоха не ведает, какие испытания может ниспослать ему судьба. Ибо не выбирает он ни времени, ни места своего рождения. История, словно могучая река, подхватывает нас и несет в своем бурлении и водовороте к тому устью, куда унесло жизни наших предков. Осмыслить и понять ее поток не каждому дано. Иные цепенеют в минуты опасности, другие беспомощно начинают метаться. Лишь самые зоркие бесстрашно глядят вперед и меняют курс утлого суденышка своей жизни. Остальные безропотно отдаются течению реки жизни.

Той же зимой дед Лазарь ворвался поздней ночью в нашу комнату на Ришельевской. «Собирай детей»,— тихо приказал он и начал одной рукой напяливать на меня меховой капор. Тетя, завернувшись в простыню, стояла босыми ногами на полу и мелко, словно в ознобе, дрожала. «Собирайся»,— снова скомандовал дед Лазарь и стал лихорадочно здоровой рукой запихивать в наволочку какие-то вещи. Потом рывком выхватил из кроватки мою сестренку. Я сидела, прислонившись к спинке кровати. По стене металась черная тень возбужденно бегающего по комнате деда Лазаря. И мне казалось, что все это — страшный сон.

— Папа, успокойся! — услышала я, словно сквозь вату, заикающийся голос тетки.

Дед Лазарь стоял, покачиваясь из стороны в сторону, казалось, качает ребенка.

И вдруг зашипел каким-то придушенным голосом:

— Ты клятая! Ты такая же клятая, как твоя мать Рейзеле. Слепая ослица, уйди отсюда, уйди!

— Что ты несешь, папа! — заплакала тетка.— Куда ты тащишь детей? У ребенка температура,— она подскочила ко мне и начала стаскивать с меня капор.— Не трогай детей. Что я скажу Вэлвэлу?

— Да, да, да. Я забыл, что у меня есть сын — большой человек,— внезапно с какой-то неистовой яростью засмеялся дед Лазарь,— я совсем забыл про это. Они же к нему придут и скажут: «Товарищ капитан, мы всех евреев хотим вывезти. Вы как, не против? Не против?» — закричал он внезапно тонким пронзительным голосом.— Не против! Спросят у него эти бандиты! Эти ублюдки! Эти фашисты с красными звездами! Ты все забыла, я смотрю.

— Папа! Молчи! Папа! — прошептала тетя и вдруг метнулась к отцу. С какой-то неженской силой обхватила его голову, пригнула к себе.

Дед бился, стараясь высвободиться из ее цепких объятий. На руке у него извивалась и плакала моя перепуганная сестренка.

— Тебе мало этой стены плача на Госпитальной,— вдруг прохрипел он.

И тетка тотчас отпрянула. Секунду-другую она стояла оцепенев, словно что-то решая для себя, а потом крикнула мне прерывистым от страха голосом: «Беги к Сойфертам».

Через час я сидела в кабине мусорной машины, зажатая с одной стороны могучим Менделем, с другой — дрожащим от возбуждения дедом Лазарем. На его коленях хныкала и ерзала, то и дело пиная меня, моя сестренка. Мы ехали долго. Так долго, что ноги мои, придавленные узлом с вещами, наспех собранными теткой, совсем онемели.

Сколько мы прожили в хате с рыжим глиняным полом, белой печью, расписанной синими петухами, и серым, низко нависшим над головой потолком? Не знаю. Жар то и дело мутил мое сознание. Я проваливалась в вязкое бездонное болото дремы. Помню только, как отгибался угол цветастой занавески и чья-то рука в засаленной кацавейке протягивала коричневый обливной глечик с молоком, пахнущим травой и хлевом: «Це дытыни». И еще тихий шепот деда Лазаря: «Шма Исроэл Адонай Элокени, Адонай эхаз» (слова молитвы).

Когда я снова появилась на Ришельевской, самый старший из мальчишек дворничихи Колывановой дернул меня за косу и, сплюнув сквозь зубы, сказал: «Эх ты, тютя! Мы тут намедни Сталина без тебя схоронили».

Я тотчас метнулась к тетке: «Что, Сталин умер?» Она в ответ лишь испуганно округлила глаза и прошептала: «Кто тебе сказал? Твой сумасшедший дед Лазарь? Вэй из мир! (Горе мне)! — она судорожно воздела свои веснушчатые руки к потолку.— Запечатай моему отцу рот. Пусть он онемеет на веки вечные. Я умоляю,— тетка схватила меня за подбородок и заглянула в глубину моих зрачков,— я умоляю тебя. Не болтай лишнего. Не ходи на Тираспольскую. Этот человек накличет на нашу голову беду».

«Швайг, Лазарь! Швайг!»,— то и дело взывала Рива. Эти две женщины, которые на моей памяти не встречались ни разу, не сговариваясь, всю жизнь дули в одну дуду: «Молчи, молчи, молчи».

«На том свете намолчимся»,— подсмеивался дед. Оглянувшись на дверь, он заговорщицки подмигивал своему напарнику Егору: «Начинай!»

«Ах калина-малина! Как любили Сталина!» — взмывал к низкому сводчатому потолку полуподвала густой, сочный бас напарника. «Хоп, хоп, хоп, хоп. Сколотили ему гроб»,— высоким тонким фальцетом врезался дед. «Ах калина-малина! Сколько слуг у Сталина!» — перебивал его бас. Далее шло поименное перечисление соратников вождя, опорочивших себя антипартийной деятельностью. Не забывали даже примкнувшего Шепилова. При этом дед, радостно повизгивая, выкрикивал свое: «Хоп, хоп». «Босяки,— взрывалась Рива, когда голоса их особенно высоко взмывали вверх,— замолчите вы, наконец, или нет? Чтоб у вас языки отсохли». «Ду кохст? Кох! (Ты варишь? Вари!)» —задиристо осаживал ее дед и вел свою партию дальше, с азартом сколачивая один гроб за другим. «Их кох! Их кох! (Я варю!) — Рива грозно раздувала ноздри.— Но вы оба сядете. Как пить дать сядете». «Молчи, женщина!» — окорачивал ее в запале дед. А инвалид словно и не слышал всей этой перебранки. Подняв кверху лицо и прикрыв глаза, он вел с переливами: «Как свово отца родного бережем теперь Хрущева». Раздавалось торжествующее: «Хоп, хоп». И последний гроб ставил точку в этой песне. Иногда дед на ходу пытался сымпровизировать: «Наш Никита очень смел, с потрохами Йоську съел...» Но инвалид тотчас круто, на полуслове обрывал песню. Хмурился и умолкал. «Выходит, я гожусь только на «хоп, хоп»?» — не на шутку обижался дед.

Услышав это пение в первый раз, я онемела от страха. Рива, заме-

тив испуг, ласково сжала ладонями мои пылающие щеки и, низко наклонясь, шепнула: «Это в них кричит их горе. Пусть поют».

Как часто то, от чего вчера шарахались в ужасе, от чего трижды на дню открещивались и яростно отрекались, постепенно, крадучись, шаг за шагом входит в нашу жизнь, пускает корни и прорастает в ней. Так случилось с этой злосчастной припевкой «хоп, хоп».

Первый раз мои губы шепнули «хоп, хоп» на уроке русского языка.

— Нет слова шлём,— брезгливо скривив губы, прогундосила Антонина Герасимовна, по кличке Гнусь,— нет такого слова, понимаешь? Я знаю, у вас есть имя Шлёма,— она в упор посмотрела на меня и Зяму-косого, который сидел рядом со мной на парте. Гнусь коротко хохотнула, но тут же торопливо стянула губы в ниточку. Сурово нахмурившись, властно приказала мне: — Нужно говорить шлем. Повтори.

— Хоп, хоп,— едва слышно прошептала я в ответ и, дерзко глядя ей прямо в глаза, еще крепче стиснула зубы.

— Хоп, хоп,— мстительно кричала я Митьке-ухвату, чуть ли не каждую перемену метко, как кеглю, сбивавшему меня подножкой.— Хоп, хоп,— грозно повторяла я, вставая с гладкого и скользкого, как лед, паркета.

— Хоп, хоп,— весело приплясывали мы с сестрой, когда старуха с верхнего этажа лила на нас из окна грязную воду и трубно кричала: «Байструки».

«Хоп, хоп» прочно вошло в нашу жизнь «Что это? Откуда?» — тетка пугливо вскидывалась, болезненно морщилась, но ничего поделать не могла.

Мы с сестрой заговорщицки перемигивались, давились молодым безудержным смехом. «Это только цветочки, припевочки,— думала я,— слышала бы она куплеты...»

Куплеты тетка услышала в день выборов.

Утро в этот день у нас во дворе начиналось обычно с суетливого звонкого цоканья по булыжнику каблуков Галины Карповны, дочки бабки Гарпыны.

Спозаранку и чуть ли не до полудня она сидела на нашем агитпункте за столом, покрытым кумачовой скатертью. Начальственно-озабоченная, в темно-синем двубортном бостоновом костюме с широкими лацканами, она казалась чужим, незнакомым человеком.

Словно это не она по утрам, шоркая рукомойником у себя в палисаднике, то и дело приглушенно вскрикивала: «Мамо, сколько вас дожидаться? Где вы ходите?» И тотчас следом раздавались торопливые причитания бабки Гарпыны: «Бежу, бежу». На широко расставленных и вытянутых вперед руках, словно хлеб-соль для дорогого гостя, несла она то кипенно-белый рушник, то поднос со стаканом, в котором одиноко дребезжала зубная щетка, то какие-то тряпочки, салфеточки, щеточки, баночки, назначение их будоражило весь наш двор.

— Надо же,— удивлялась прямодушная Матыцина,— в детстве навоз месила, а выбилась в начальство — и откуда что взялось. Или, может, их этому учат? — Она задумчиво-вопросительно смотрела на бабку Гарпыну, на ее туго повязанный белый в крапинку деревенский платок. Но та, потупившись, упорно отмалчивалась.— Сколько же деньжищ на такое баловство нужно,— искренне сокрушалась Матыцина,— а смердыть-то, смердыть. Не продохнешь. Ты в комнате фортку настежь держишь или как?

По пятам за Галиной Карповной, точно шлейф, всегда тянулся удушающе сладкий запах духов. Нестерпимо густым и пряным он становился в дни торжеств. Вообще торжества круто меняли ее облик и даже повадку. Особенно выборы. Обычно надменно-немногословная, она вдруг опрощалась. Становилась доступной, земной. «С праздником вас,— повторяла она, и лицо ее сияло неподдельной, искренней радостью,— приходите, будьте так ласкавы, на выборы». В ответ соседи вяло кивали, отмалчивались. Лишь бабка Гарпына тотчас подхватывалась: «Першими будьмо»,— и просветленно-сияющим взглядом робко смотрела на дочь. Была всегда не только одной из первых, но, словно взыскующий, неумолимый пастырь, подгоняла нерадивых соседей: «Вы вже проголосувалы?» В этот день она, точно челнок, сновала между домом и агитпунктом. Огнедышащие, полные до краев судки, ломти хлеба — все это укладывалось в две большие деревенские кошелки. Крепко связав ручки, она перекидывала их через плечо. «Походная кухня пошла в бой»,— хмуро роняла Матыцина, глядя ей вслед. Сама слонялась по двору сумрачная, насупленная. Муж ее, милиционер Сережа, большой поклонник женского пола, в этот день домой являлся далеко за полночь. Ревность и подозрительность вскипали в ее душе: «При бабах отирается. Лынды бьет». «Не, не скажите, Федоровна,— смело перечила ей обычно покорная бабка Гарпына,— у такий день всякое може буты. Не дай Божечка, якая провокация».

Сестра в этот день вставала ни свет ни заря. Накануне она дергала тетку: «Ты не забыла? У меня завтра концерт». Та озабоченно кивала в ответ. На веревке за окном полоскались белоснежные, стоящие колом от густого крахмала, воротничок и манжетки. На коричневом платье, перешитом из моей школьной формы, уже красовалась очередная ювелирной тонкости штопка. А из глубины подвала, где когда-то была прачечная, слышались то взвизгивание губной гармошки, то всхлипывание аккордеона, то низкий, не по-детски густой голос моей сестры, то взмывающий к облупленному потолку дискант Петьки Колыванова.

Там, среди ржавых труб и котлов для вываривания белья, шла репетиция. Уже давно женихающийся великовозрастный Ильюшка, сын Сойфертихи, прикрыв свои разноцветные глаза — один серый, другой — зеленый,— в упоении растягивал мехи аккордеона. Миша Филимонов перебирал длинными тонкими пальцами лады губной гармоники. «Над стеной Кремлевскою»,— заливалась сестра, гордо выставив вперед ногу в сбившемся чулке. «Зве-озды...» — вступал Петька Колыванов ангельским высоким голосом, и лицо его при этом нежно розовело от возбуждения. «Голубые...» — тотчас подхватывала сестра, точно боясь за эту высоту и стеля ей дорогу своим звучным низким бархатом.

Их пению внимал весь двор.

Колываниха, заслышав Петькин голос, вся напрягалась, глаза ее вспыхивали. «Тихо»,— цыкала она на мужа. И он, в каком бы подпитии ни был, тотчас замолкал. Грузно опускался на табурет и каменел, опершись локтем о свой шаткий кухонный столик. Его взгляд мечтательно скользил по облупленной, словно побитой лишаем стене, по вечно вздернутому на животе старому затрапезному халату жены. Изредка он улыбался, покачивая головой: «Еще заживем, мать. Погоди! Глядишь, Петька в люди выйдет, а там и мы все поднимемся за ним как по ниточке». Бабка Гарпына, сложив на груди натруженные руки, тихо, просветленно плакала. Душой этого дела была ее дочь, ее ясочка — Галина Карповна. Она собирала на репетиции, она отбирала номера, она же вникала в каждую мелочь, начиная с ярко-красного в

блестках галстука Ильи и кончая мальчиковыми ботинками моей сестры.

Каждый концерт долго обсуждался на улице и во дворе. Особым успехом пользовалась сестра. Ее узнавали, с ней здоровались, заглядывали в лицо. И даже немногословный милиционер Матыцин, удивленно покачивая головой, восхищенно покрякивал: «Ну девка! Ну и девка! Надо же, птаха птахой, а голосище вон какой!»

Сестра смущенно рдела, но, оставшись наедине со мной, небрежно-заносчиво роняла: «Я еще и не так могу. Увидишь! В следующий раз они все ахнут».

И лишь Колыванов хмуро ее осаживал: «Ты потише ори-то, труба иерихонская. Из-за тебя других не слыхать!» К успехам сестры он относился ревниво.

Концерт начинался ровно в полдень. Галина Карповна, оставив на своем посту верного человека, торопливо перебегала через дорогу. Стуча каблучками, она взбегала по скрипучим деревянным ступеням клуба. Там на составленных впритык друг к другу стульях уже сидели зрители. Она пробиралась к сцене, где на первом ряду бабка Гарпына, сторожко оглядываясь, прикрывала газетой свободное сиденье, обороняя его суровым, отрывистым: «Занятое». И тотчас потертый, замызганный занавес полз в разные стороны.

Концерт, как всегда, открывал ражий Митька-ухват. Крепко сжав громадные кулачищи и пламенея свекольным румянцем, он торжественно начал:

— «Посреди проклятий и воя уходящей в темь юнкерни...» — и выбросил руку вперед, в зал, как учила его Галина Карповна. Сердце мое болезненно сжалось.

Обычно, не вникая в слова, я смотрела на него в упор, моля в душе об одном: «Пусть этот дурак собьется»,— моя душа требовала отмщения. Но на сей раз на слове «юнкерня» почувствовала внезапный жгучий укол. Не сдержавшись, бросила быстрый взгляд на Елену Сергеевну, что сидела рядом со мной. Она сосредоточенно, не отрываясь, смотрела на сцену. Ее выдало лишь быстрое движение руки, которая вдруг рванулась и опустилась на колено Михаила Павловича. Лицо же сохраняло выражение вежливого любопытства. Филимонов, изогнув губы в легкой улыбке и откинувшись назад, спокойно смотрел на Митьку. Казалось, все, что происходит на сцене, лишь забавляет его. Но по тому, как дернулся желвак на щеке, как он порывисто накрыл своей большой ладонью руку жены, я почувствовала его боль.

— «Не страшась никаких препятствий, мы во имя Отчизны дрались,— Митька подвывал и растягивал слова, точно нищий на базаре,— в большевистском суровом братстве все наречья наши сплелись!» — Он торжественно скрестил кисти рук и выбросил их над головой.

Это был знак, по которому из-за кулис выскакивали танцоры, одетые кто во что горазд. Веночки, тюбетейки, папахи, перекинутые через плечо полотенца, подвязанные у горла скатерти — все это должно было демонстрировать наше суровое братство народов. Зал снисходительно хлопал и тотчас умолкал, когда на сцену выплывала сестра. Она шла не медленно и не быстро, а тем ровным, твердым шагом, каким идет уверенный в себе человек. Следом, на почтительном расстоянии, тянулись Петька с табуреткой и Илья, навьюченный аккордеоном. И пока Илья усаживался, примащивая инструмент на коленях, а Петька застенчиво переминался, сестра подходила к рампе и приветливо кивала залу...

На этот раз все было по-иному. За неделю до концерта Илья бесследно исчез. Галина Карповна нервничала, теребила Сойфертиху, а та

беззаботно пожимала плечами: «Женихается где-то, шаландается по девкам, черт бы его драл». В последний день, когда отступать было уже некуда, выбор пал на Мишу Филимонова, который тотчас беспечно, весело согласился. Он долго приноравливался к сестре с Петькой. Но дело у них не ладилось. Сестра как настоящая прима то и дело вскипала: «Он мне все портит». Петька помалкивал. Но на его скулах вспыхивали красные пятна, а руки, покрытые цыпками и бородавками, сжимались в кулаки. В конце концов Галина Карповна их уломала. А Мишель твердо пообещал: «Я буду играть тихо-тихо. Ля, ля, ля».

Он озабоченно растягивал мехи аккордеона, то далеко забегая вперед, то внезапно, словно спохватившись, резко останавливался. Сестра, раздраженно щурясь и притопывая ногой, пыталась к нему приноровиться. А Петька затравленно глядел в зал. Оттуда добродушно посмеивались, жидко хлопали. С задних рядов раздался свист. Сестра, не оборачиваясь на аккомпаниатора, гордо кивала публике.

— А теперь,— она вдруг независимо тряхнула головой,— частушки.

Сестра подошла к Мишелю, решительно сдвинула мехи аккордеона, застегнула на кожаную петельку и, притопнув, взмахнула над головой воображаемым платочком: «Хоп!» Я глянула на Галину Карповну. С ее лица медленно сходила краска.

— Хоп, хоп, хоп,— задорно начала сестра, кружась в танце.

Мишель несколько секунд оторопело смотрел на нее, а потом словно очнулся. «Хоп, хоп, хоп»,— подхватил он и сперва медленно, а потом все быстрей и быстрей, с каким-то азартом стал похлопывать себя в такт по коленям и груди. Будто в нем вдруг пробудилось русское начало. «Хоп, хоп»,— вдруг ожил Петька и притопнул ногой.

— «Засадили кукурузой пол-Советского Союза»,— выкрикнула сестра, бросая победные взгляды. Зал оторопело замер.

— Хоп, хоп, хоп,— самозабвенно выпевали на сцене.

— Они-таки да, наконец, спелись,— прозвучал в тишине чей-то голос. И зал нервно грохнул обвальным смехом.

— «А вторую половину — сплошь воро̀вскою малиной»,— сестра кокетливо взмахнула воображаемым платочком и вновь пошла в пляс.

— Занавес,— тонко выкрикнула Галина Карповна.

Поздно вечером того же дня она вызвала тетку из комнаты и под монотонную капель из вечно текущего кухонного крана твердо сказала:

— Вы сами понимаете, какой пост я занимаю. Я обязана заявить. Это мой долг.

Тетка стояла, прижавшись к нашему давно прохудившемуся корыту, смотрела широко раскрытыми глазами, не смея проронить ни слова.

— Мне жаль вашу дивчинку, она попала под влияние чуждой нам идеологии.— Галина Карповна говорила чисто по-русски и только раз ввернула украинское словечко «дивчинка», словно в память о тех вечерах, когда распивала с моей сестрой чаи и готовилась к концертам. Я смотрела на них через крохотное запыленное, затянутое паутиной окошко заброшенной кладовки. Ноги мои балансировали на каком-то шатком ящике.

— Ну, что там? — шипела снизу сестра.

Тетка молчала, словно онемев, и лишь когда Галина Карповна решительно взялась за ручку двери, она кинулась ей наперерез:

— У них отец капитан, он член партии,— словно в лихорадке бормотала тетка,— их дедушка прошел всю войну, он имеет ранения.

— Тем хуже,— сухо отрезала Галина Карповна.

— Прошу вас,— тетка схватила ее за руку и прижала к своей тощей груди,— прошу, ради их покойной матери. Не делайте этого! Это может навредить моему брату.

Галина Карповна, словно обжегшись о грудь тетки, поспешно отдернула свою руку.

— Прекратите,— сурово оборвала она теткин лепет. Уже на пороге, не глядя тетке в глаза, пробормотала скороговоркой:

— Не думайте, что мне легко. Наверняка тоже будут неприятности.

Той ночью тетка долго не ложилась спать. Лампа-грибок бросала на ее веснушчатые руки тусклый конус света. Мы притворно ровно дышали, внимательно глядя из-под неплотно прикрытых век.

Ранним утром нас разбудил дед.

— Что у вас случилось? — тотчас накинулся он на тетку.

Она, как всегда, начала оправдываться, отступать перед его натиском.

— Не ври! Я опасность за версту чую! — выкрикнул дед. Он стукнул кулаком по столу, и на его груди, обтянутой старой выцветшей гимнастеркой, тихо звякнули медали.

Глядя на эту гимнастерку и медали, я поняла, что дела наши совсем плохи. Дед надевал их при мне только один раз, когда хотели прикрыть их мастерскую. «Мы инвалиды,— он наступал на воображаемого врага, размахивая культей левой руки,— мы что, не имеем права на кусок хлеба? Мы что, должны жить на их жалкую пенсию?» — «Ну, ну,— угрюмо хмыкала Ривка,— они тебя пожалеют. Жди!» — «Молчи!» — дед отмахивался от нее и бегал из угла в угол.

Он и сейчас нервно кружил по комнате, натыкаясь на стол, стулья и яростно шипя на тетку. Неожиданно подскочил к окну и, кивнув на палисадник Галины Карповны, деловито спросил:

— У этой цацы есть хахаль?

— Папа, что ты говоришь? Зачем тебе это? — вспыхнула девичьим румянцем тетка.

— Зачем? — вспылил опять дед.— А затем, чтобы знать, чем заткнуть ей глотку. Есть хахаль, значит, нужны брюки. Нет хахаля, значит, нужно что-то другое, черт ее побери.

— Ты сошел с ума, папа! Ты сумасшедший! Не смей ходить к ней! Не смей! Мне стыдно будет человеку в глаза смотреть! — тетка молитвенно сложила на груди руки.

— Стыдно? — взмыл дед.— Стыдно! А то, что девочки у тебя растут, как беспризорные лопухи под забором, это тебе не стыдно, да? Не думай, люди мне рассказали всё про этот концерт.

Он решительно хлопнул дверью, спустился во двор и, деликатно постучавшись, открыл скрипучую калитку. Через пять минут он вышел оттуда притихший и какой-то смутный. Я ждала в подъезде.

— Это не женщина. Это...— дед задохнулся от злобы.— Приходи на Тираспольскую,— шепнул мне на прощание и ушел, размахивая полупустым рукавом, не подозревая, что истинная опасность впереди.

Была пора, когда весна, казалось, уже собралась с силами, когда в полдень южное солнце припекало вовсю, а глянцевитые, отливающие коричневым лаком почки каштана напряглись в последнем усилии. Казалось, день, два — и выстрелят в небо нежными зелеными листьями. И мир увидит, что́ вынашивал этот ствол, покрытый шершавой корой, с продольными глубокими трещинами. Но случилось — пал снег. Заметалась по улицам мокрая снежная завируха. И почерневшие от мороза почки умерли. Конечно, я знала, пройдет время, будут другие почки. Но те погибли, так и не успев распуститься. Что могло уберечь их? Скажите, что?

После выборов наш двор на Ришельевской закипел, словно адский котел.

— Ну, допелись? — в сердцах набрасывалась Сойфертиха на и без того напуганную тетку.— Нам это нужно было? Мало было своих старых цорэс, так тут новые подкатили. Я знала, эти танцы-шманцы до добра не доведут. Я своему сыночку, этому байбаку, всегда говорю: «Хочешь себе играть — играй. Но только знай где. На свадьбе, например, на вечеринке какой, на похоронах, наконец, не про нас будь сказано. Хоть какую копейку в дом принесешь»,— тетка при этих разговорах начинала тихо шмыгать носом. И тогда Сойфертиха ей кричала:

— Что вы теперь плачете? Вы что, папу похоронили, не дай Бог? Нет. Ну, спели дети песенку, три черта им поддых. Так они же дети. Они же ничего не понимают. Что они слышат, то они поют,— она на минуту замолкала, словно обдумывая сказанное, и, с оглядкой, шепотом советовала: — Ладно, отвезите девочек на село. И концы в воду. Пусть их ищут как ветер в поле. Скажите: «Отправила до отца. На службу». То, се — время пройдет. Все забудется, уляжется.

Тетка, закусив губу и едва сдерживая слезы, отрицательно качала головой.

— Ну, ну. Вам видней,— отступалась Сойфертиха, бросая жалостливые взгляды на тетку.— Мученица. Святой человек. Такая обуза на вашу бедную голову.

Теперь тетка пробегала по двору, не поднимая глаз. Кивала соседям и стремглав кидалась в спасительный полумрак парадного, насквозь пропахшего кошачьим выгулом. Она взбегала по лестнице, лихорадочно щелкала ключом в замочной скважине и лишь в душной темноте крохотного коридорчика с облегчением вздыхала.

Но случались дни, когда дорогу ей перегораживала Матыцина.

— Ну как там ваша запевала поживает? — со значением спрашивала она. Высокая, широкая в кости, казалось, утесом нависала над щуплой маленькой теткой.

Тетка тотчас цепенела под ее взглядом.

— Мой Сережа говорит, что этих,— Матыцина кивала на зловонный провал арки, ведущей на черный двор, и презрительно морщила губы,— вышлют в двадцать четыре часа. Как были белогвардейской контрой, так и остались. Остальных — под суд,— и, окинув тетку с ног до головы карающим взглядом, оборачивалась в сторону колывановских окон.— Наплодят детей, как котят, а на путь поставить не могут. Ума не хватает.

О чем бы ни толковали, в ней всегда прорывалась та боль, что нестерпимым огнем днем и ночью жгла ее душу. Обегавшая тайком от мужа всех врачей в нашем городе и бабок-знахарок в окрестных селах, она уже давно отчаялась родить ребеночка. Оттого, быть может, и ненавидела лютой ненавистью семейство Колывановых, по поводу и без повода шпыняла безответную Колываниху. Обрядившись в какую-нибудь обновку, подходила к их низкому, шаткому заборчику и, вызывающе блестя глазами, начинала громкий разговор:

— Вот справили мы себе с Сережой коверкотовые пыльники,— она охорашивалась, гордо поводя плечами,— чем не жизнь? Что хотим — едим, что хотим — пьем,— и бросала долгий презрительный взгляд на крохотное колывановское подворье.— Другие бабы мужика дитями удерживают. Пусть ледащий, пьющий, лишь бы в бруках. Вот и рожают, что ни год. Нищету плодят.

Боязливая Колываниха при виде Матыциной норовила прошмыгнуть в комнату. А Колыванов тотчас шел в бой:

— Это кто ледащий, кто пьющий? Я, что ли? Да если хочешь

знать, весь двор вот этими руками держится,— он совал ей через заборчик квадратные короткопалые с плоскими ногтями руки.

Двор мгновенно пустел. Словно в одночасье вымирал.

— Думаешь, если муж милиционер, власти служит, так тебе все можно. Погоди, шкура, и на тебя найдем управу.

— А чё ты мне можешь сделать? — свысока бросала Матыцина. И ставя точку в споре, небрежно, словно бы мимоходом толкала шаткий заборчик, который трещал своими хрупкими перекладинами-суставами под ее яростным напором.— Ты вона лучше, чем детей строгать, хозяйством займись. Во дворе грязи по уши.

Колыванов плевал себе под ноги, меняясь в лице, почти плача от обиды, кричал:

— Я — мастер. Токарь третьего разряду, а не подметайло какой. Поняла? Я, если хочешь знать, в дворники по нужде подался. У меня крыши над головой не было,— громко хлопая дверью, уходил в комнату.

Всегда, сколько я помню, бросался в бой, хоть и знал наверняка, что придется отступить.

Но после этого несчастного концерта, после прилюдного «хоп, хоп» внезапно сломался. Не только перестал вступать с Матыциной в спор, но даже пытался торить к ней дорогу:

— Ну чё нам с тобой грызться понапрасну? Чё поделить не можем? Неужто два русских человека промеж собой не договорятся? Мы же не нехристи какие,— он раздвигал в улыбке тонкие губы, и рыжая щеточка усов ползла вверх. Но глаза были ненавидящие, злобные, словно у цепного пса.

— Гусь свинье не товарищ,— рубила сплеча Матыцина и тотчас добавляла занозисто,— мы с тобой вместе коров не пасли.

Как раз в ту пору старшину милиции Матыцина перевели на новую работу — был назначен в охрану громадного серого здания с колоннами, что сурово взирало на прохожих плотно зашторенными окнами. И Катька внезапно приобрела у нас во дворе грозную силу. Проходя вместе с мужем под руку, приосанившись, с высоты своего немалого роста надменно цедила: «Здр-сте». Сам Матыцин четко рубил на ходу: «Здравия желаем».

— Может, твой мужик что знает, так ты скажи мне,— однажды услышала я ненароком тихий захлебывающийся шепоток бабки Гарпыны,— дочка моя совсем извелась.

— Может, что и знает,— сурово отрезала Матыцина,— но это дело секретное. Служба у него такая. Сама должна понимать. Там не в шутки играют. Там нашу родную Советскую власть от врагов охраняют. Конечно, он не начальник какой, не инструктор райкома, как другие,— она обидчиво поджала губы,— но службу свою несет честно.

— Так, так,— робко закивала бабка Гарпына, опасливо шаркая шлепанцами.

Теперь она целыми днями сидела, запершись в своей комнате, тупо глядя сквозь кисейную занавеску в колодец двора.

И нам с сестрой все чаще приходилось отсиживаться дома. Убиваясь и плача, под неумолимым нажимом деда тетка оставила свою почетную работу уборщицы в самой большой библиотеке города. По утрам разносила почту. Остаток дня проводила дома, клея и раскрашивая для артели какие-то пестрые коробочки. Робко поглядывая на нас, рвущихся на волю, она умоляюще складывала руки на груди: «Сидите дома, девочки. Сидите дома. Сейчас такое опасное для нас время».

Но изредка мне все же удавалось незаметно проскользнуть к Филимоновым. В их комнате все разительно переменилось. Куда-то исчезли скатерть, салфетки, покрывала — все то, что украшало их скудное жилье. Прямо у дверей стояли два маленьких чемоданчика, фанерный баул и кошелка.

— Вас высылают? — с тревогой вскинулась я.

Елена Сергеевна внимательно посмотрела на меня, невесело усмехнулась:

— Никто не знает своей судьбы,— неопределенно ответила она. Скорбно сжала губы. Перекрестилась и твердо добавила: — Бог милостив. Авось минет стороной.

Однажды я застала ее пишущей что-то мелким бисерным почерком на клочке бумаги. Увидев меня, она поспешно прикрыла его ладонью. Глянула исподлобья: «Стихи любишь?» Я молча кивнула.

— Сиротская котомка за плечами, изгоя посох, Каина печать,— отрывисто начала она,—

Мать-мачеха с полынными сосцами,
Легко ль проклятьем троекратным осенять?

Она обвела взглядом крохотную комнатушку и выдохнула:

— И все же льну к тебе...

Потом порывисто скомкала листок и чуть слышно сказала:

— Ришелье тоже был реэмигрантом. Вначале бежал от Французской революции сюда, в Россию...

— Бежал от революции?! — перебила я ее. И вдруг с неизъяснимой для себя яростью воскликнула: — Зачем вы лжете? Нам в школе рассказывали. Он приехал для развития Новороссии...

Внезапно за окном что-то оглушительно загрохотало и заплескалась вода, обдавая мелкими мутными брызгами стекла окна.

— Опять! — Елена Сергеевна, точно от нестерпимой боли, зажмурила глаза.— Ненавижу,— прошептала она.— Ненавижу!

Минуту, другую сидела молча. Потом глухо сказала:

— Тебе не нужно больше к нам приходить, девочка. Так будет лучше для всех нас. Поверь мне.

В первый миг почудилось, будто ослышалась. А после, оглушенная волной жгучего стыда, выскочила за дверь. Бежала, не помня себя, мимо осыпающейся горы еще теплого шлака, мимо опрокинутых мусорных баков, оскальзываясь на нечистотах. А в ушах звучал голос Елены Сергеевны.

Теперь Колыванов, что ни день, приходил пьяный.

— Убью паскудника,— злобно выкрикивал он и отпускал Петьке увесистые затрещины.

— Ты что, отец? Ты что? — Колываниха кидалась мужу наперерез.

— Уйди,— еще больше свирепел Колыванов,— уйди, потатчица,— он отшвыривал жену и, грозно подступаясь к сыну, вдруг взвизгивал каким-то жалобным голосом: — С кем связался? С жидовней! С контрой! Хочешь сгнить в тюрьме?

Петька молчал, втянув голову в плечи, изредка робко прикрываясь согнутой в локте рукой.

Из их комнаты в ночной тишине все чаще доносились громкие вскрики и плач. Я просыпалась. Долго, чуть не до рассвета, не могла уснуть. Ворочалась, лежала, вперив бессонный взгляд во тьму. Жуткий страх и безысходность нарастали во мне. И я, словно избавления, ждала рассвета.

В одну из таких ночей, уже под утро, я услышала тихий шорох. Кто-то осторожно скребся в нашу дверь.

— Кто там? — шепотом спросила я и соскользнула с постели.

— Что случилось? — тотчас вскинулась чутко спящая тетка.

— Это я, Нинка Колыванова.

Тетка опрометью подскочила к двери.

— Не смей,— она сбросила мою руку с крючка.— Что вы хотите? — просипела каким-то севшим то ли от страха, то ли со сна голосом.

— Пустите на минутку,— вновь донесся из-за двери шепот.

Тетка, придерживая дверь рукой, с опаской откинула крючок. Колываниха в растерзанной рубахе с распущенными волосами переступила порог и упала на колени.

— Прошу вас Христа ради. Уходите отсюда. Уходите, пока целы. Мой хозяин сегодня грозился вас прибить. Еле удержала. Девчонку вашу видеть не может. Ненавидит люто. Говорит, мол, она Петьке всю жизнь спортила.

— Что? — в страхе начала пятиться тетка, а Колываниха, елозя коленями по полу, двигалась вслед за ней и все норовила ухватиться за край теткиной рубахи:

— Христом Богом прошу, уходите. Он ведь и вас пришибет, и сам сядет,— тихо всхлипывала она.

— Вон! — внезапно вскрикнула тетка,— вон отсюда,— и начала лихорадочно выталкивать Колыванову за порог.

Трясущимися руками она зашаркала засовом, все никак не могла попасть в проем. Наконец закрыла. И тогда бросилась к окну. Ставня поддавалась туго, со скрипом. Она налегла на нее всем своим тщедушным телом. Плотно захлопнула и щелкнула шпингалетом, отгораживаясь от этого страшного и жестокого мира.

С этой ночи я почувствовала, что ужас свил гнездо в моей душе. Я корила себя за это. Ненавидела. Проклинала. Но ничего не могла поделать. Мой ум метался в поисках той крохотной, еле заметной щели, через которую можно было бы продраться в другую жизнь. Но везде, точно загнанный зверь, я натыкалась лишь на красные флажки облавы. И тогда отчаяние накрывало меня своим душным мохнатым пологом. Быть может, поэтому с такой злобой и яростью набрасывалась я на тетку, которая вновь стала запираться на все замки и запоры. Но теперь уже не только на ночь.

Уходя чуть свет на работу, она тихо, вкрадчиво щелкала наружным замком. Я тотчас просыпалась. Подходила к окну, сквозь узкую прорезь в ставне с ненавистью смотрела ей вслед. Унижение и ярость бурлили во мне. Я чувствовала себя запертой в клетке. И когда она ровно в полдень, запыхавшись, прибегала и выпускала нас с сестрой из заточения, зло бросала ей:

— Ну что, надсмотрщица, явилась? — и окидывала свысока презрительным взглядом.

Тетка ежилась, робко заглядывала мне в глаза.

— Опять поплетешься за мной? — обреченно спрашивала я.

Она молча кивала, пряча глаза. Случалось, что, едва сдерживая слезы, пыталась оправдаться: «Ты их не знаешь. Они на все способны». Она шла за мной по дороге в школу, не отставая ни на шаг. Иногда, чтобы помучить ее, я вскакивала в проходящий мимо трамвай. Через пыльное стекло видела, как беспомощно озирается она вокруг. На миг становилось жаль ее. Но только на миг.

Сестра моя, казалось, ничего не замечала. Словно вся эта пена жизни, весь сор обходили ее стороной. Теперь по утрам, пользуясь отсутствием тетки, она накидывала на плечи потертую плюшевую скатерть, которую та берегла пуще зеницы ока. «Это единственная память, которая осталась у меня от дома на Госпитальной»,— то и дело повторяла тетка. Но скатерть так плавно ниспадала с плеч к полу и переливалась такими красками от небесно-голубой до густо-синей, что сестра не могла удержаться. Она скалывала ее у горла большой английской булавкой и, подхватив, точно шлейф, ее бахромчатый край, взбиралась на подоконник. Широко распахнув створки окна, сестра подходила к его краю, словно к рампе сцены и, низко поклонившись, начинала петь: «Широка страна моя родная». Открывались окна, одобрительно свистели мальчишки со двора. А она кланялась, кланялась, кланялась.

Я помню обезумевшее лицо тети. Ее остекленевший от ужаса взгляд. И намертво сцепленные руки. Она стоит, вжавшись в косяк. Дверь содрогается от ударов. Хлипкая фанерная филенка трещит и гнется. Кажется вот-вот рассыплется в щепу. «Юден! Аусштайген! Антретен! (Евреи! Выходи! Стройся!)»,— злобно кричит из коридора Колыванов. Тетка, словно завороженная, смотрит на трещину, что растет и ширится с каждым новым ударом. При выкрике «Юден» она судорожно вжимает голову в плечи. «Отец, ну, отец»,— слышатся тихие причитания Колыванихи. На миг все стихает. В квартире повисает жуткая тишина, словно все вымерли. «Юден! Аусштайген! Антретен!» Сильный удар вновь сотрясает дверь. Я вскакиваю с кровати. Тетя, словно угадав мои мысли, стремглав кидается наперерез. «Не пущу,— тяжело хрипит она, раскинув крестом руки,— не пущу!»

— Ты чё, их жалеешь, что ли? — доносится до меня со двора сиплый голос Колыванова. Стою, притаившись у окна, и слышу все до последнего словечка.— Я этот народ знаю. Мы около Тракторного жили. Их немцы туда на работу гоняли. Так они через нас вещи на хлеб меняли. Торгуются, ни крошки не уступят. Покойный отец, бывало, подмигнет мне. Я выйду тишком в сени да как грюкну там ведром али еще чем. Да как гаркну: «Юден! Аусштайген!» — их будто ветром сдувает. Бебехи свои, хлеб — все побросают и бегут,— Колыванов смеется мелким раскатистым смешком.

— Ну и сволочь ты! Сволочь! — с ненавистью режет в ответ Матыцина. И голос ее дрожит, рвется.— Небось там с малыми детишками люди были. Для них клянчили.

Я чувствую, как горло мое сжимает тесное кольцо. И тотчас впиваюсь зубами в руку. «Ненавижу, ненавижу!» — хочется крикнуть в голос. Но я еще крепче сжимаю зубы.

Об этом разговоре никому не проронила ни слова. Тем более — тетке. И без того она как-то совсем притихла. Стала рассеянна. Начала вспоминать гетто. Иногда застынет, словно в столбняке, и, глядя в одну точку, тихим монотонным голосом заборможет: «Там у других были деньги, продукты, одежда, а у нас — ничего. Мы с собой ничего не взяли. Мы несли на руках бабушку».

И еще она совсем мало стала есть. Клюнет крошку, другую — и оцепенеет. «Тетя»,— окликнешь, бывало, ее. Она очнется, улыбнется тихой слабой улыбкой и скажет, глядя прямо в глаза: «Я боюсь много есть. Те, кто привык много есть, там сразу же умирали».

Как-то раз я заметила, что она прячет под свой матрас разношенные бурки, драный платок, старое пальто, перешитое из ношеной офицерской шинели нашего отца, и узелок с сухарями.

— Зачем ты это делаешь? — строго спросила ее.

Она испугалась. Глаза суетливо забегали:

— Так нужно. Не спрашивай,— и застыла, сцепив руки.

Теперь она часто сидела так, с отрешенным взглядом, словно чего то ожидая и напряженно вслушиваясь в звуки, доносящиеся из-за двери.

Однажды душным летним вечером она внезапно подхватилась:

— Ты слышишь? Звонят! Это за мной,— откинув матрас, стала

быстро напяливать на себя бурки, пальто, платок. Прятать за пазуху узелок с сухарями.

Несколько секунд я смотрела, ничего не понимая, потом кинулась к ней:

— Ты куда?

— Тс-с! — она приложила к губам свой веснушчатый палец. В глазах ее был неподдельный ужас.— Тс-с. Не кричи. Дочка бабки Гарпыны услышит. Она нас всех выдала. Прячься! Прячься!— подтолкнув меня к кровати, кинулась сама к двери. Вдруг отпрянула. Лихорадочно ощупала свой рукав, грудь,— я забыла пришить латы. Я забыла пришить латы,— побелевшими губами шептала она.

— Какие латы, тетя? — холодея от страха, спросила я.

— Быстро ищи какой-нибудь желтый лоскут! — выкрикнула она и тонко, заливисто засмеялась.

Вскоре мы с сестрой переехали на Тираспольскую. Нашу комнату на Ришельевской дед закрыл на большой висячий замок.

Тетю обычно навещали по воскресеньям.

Ехали через весь город в старом обшарпанном трамвае. Колеса глухо стучали на стыках. За тусклым окном плыли маленькие приземистые домишки, покосившиеся заборы, пыльные грязные улицы.

Мы долго сидели в вестибюле, где стоял ровный приглушенный гул. Дед, как-то странно скособочившись, обхаживал санитара, выбирая удобный момент. Потом торопливо совал ему в карман неизменную трешку и, просительно заглядывая в глаза, тихо, одними губами шептал: «Будьте так добренькие. В третьей палате. Рыженькая такая, Коган». Обычно, не оборачиваясь, санитар цедил сквозь зубы: «Ждите». Но был один с лицом, заросшим черным курчавым волосом и выпуклыми водянистыми глазами. «Наш»,— сразу же определил его дед. Этот тотчас пугался. Отпрянув от деда, громко, на весь вестибюль кричал: «Не положено!» Голоса на секунду стихали. Все оглядывались на деда, а он, понурившись, шел через весь зал к нам. «Жид»,— злобно шипел дед и стискивал уцелевший кулак. Но через час, другой, униженно улыбаясь, вихляя всем туловищем, снова робко направлялся к санитару. Ловким скользящим движением совал ему в карман еще одну трешку и, заглядывая в глаза, заводил свое: «Будьте так добренькие!»

Санитар каменно молчал. Потом бросал на деда быстрый взгляд. И тот, пятясь, кивая на каждом шагу, возвращался к нам: «Пошли скорей! Ее сейчас приведут».

В эти минуты я ненавидела деда всей душой. Его заискивающую улыбку, его вихляющую походку, его униженное «будьте так добренькие». Я ненавидела до колотья в груди этого мутноглазого санитара. Я ненавидела всех евреев мира. Я ненавидела себя.

Тетку выводили к нам в больничный сад в линялом заношенном халате, подвязанном вместо пояса куском грязного бинта. Она шла, вперив взгляд прямо перед собой. «Стой»,— командовал санитар и дергал ее за халат. Тетя останавливалась, точно вкопанная, держа руки по швам. Никого из нас она не узнавала. Да и на себя, прежнюю, была не похожа. Без рыжей пристежной косы, коротко, по-мужски, подстриженная, с внезапно обострившимися чертами лица и выступившим вдруг вперед крупным носом, она стала разительно походить на деда. Казалось, болезнь напрочь стерла ту разницу в летах и облике, что была между ними. «Маня, Манялэ,— тоскливо дребезжащим голосом окликал ее дед,— смотри, к тебе дети пришли. Смотри, что я тебе принес!» Взгляд тетки равнодушно скользил по кулькам и коробкам, которые вытаскивал из корзины дед, по нашим застывшим испуганным лицам, по голубым садовым скамейкам, по низкому зеленому кустарнику. Иногда она пугливо озиралась и выкрикивала каким-то диким, пронзительно диким голосом: «Их бин юде (Я еврей)»,— приседала, обхватив голову руками и пряча ее в колени. Сколько я помню, она так ни разу нас и не признала. И лишь однажды, внезапно просветлев, пошла навстречу сестре быстрым скользящим шагом, выкрикивая на ходу: «Мамэлэ! Мамэлэ! Их гей цу дир (Мамочка, я иду к тебе)». Подойдя совсем близко, воровски оглянулась на санитара и вытащила из рукава кусочек черствого заплесневелого хлеба: «Эс (ешь)!» — еле слышно прошелестела она и сунула его сестре. Та в испуге отпрянула. «Нэм (возьми)! — дед ткнул сестру в спину кулаком,— немэн»,— со слезами в голосе повторил он.

Болезнь тети изменила деда до неузнаваемости. И без того маленький ростом, он еще больше съежился. Казалось, усох от горя. Он больше не пел, не балагурил. Он работал. Теперь в мастерской спозаранку и до позднего вечера лязгали ножницы и стучала швейная машинка. Иногда дед работал по ночам.

— Дорвался? — сурово попрекал его утром напарник Егор, едва переступая порог мастерской. Дед упорно отмалчивался. И тогда Егор, стуча костылем о пол, взрывался в крике: — Что ты делаешь, Лазарь? Ты хочешь сойти в могилу раньше времени? Ты что, не живой человек? Попомни мое слово — ты убьешь себя. Рива, скажи ты ему что-нибудь!

Рива, опершись спиной о косяк двери, угрюмо молчала.

Через год пророчество Егора сбылось. Он шел рядом с Ривой, скрипя протезами, грузно налегая всем телом на костыли, скользившие по кладбищенской вязкой грязи. «Будем заказывать кадиш?» — высокий худой старик в длиннополом пальто тронул его за рукав. Егор беспомощно оглянулся на Риву. Не поднимая глаз, она покорно кивнула. Старик тронул себя за кадык и запел высоким дребезжащим тенором. Неясные гортанные слова поплыли в осеннем воздухе. Казалось, они прилетели сюда из далеких неведомых краев. На миг что-то вдруг вспыхнуло во мне. Словно внезапно услышала давно позабытые родные звуки. Боль, страх, тоска — все отступило куда-то.

— Кто из родных жив? — спросил вдруг старик обычным голосом, круто оборвав молитву, и наклонился к Риве.

— А зун, а тохтер, эйниклэх (сын, дочь, внуки),— тихо начала перечислять она. Внезапно запнулась, еле слышно добавила: — Еще назовите Риву.

— Вос фар а Ривэ (что за Рива)? — переспросил старик,— жена, дочь? — Он терпеливо ждал ответа.

— Это я,— прошептала Рива и растерянно умолкла.

И тогда глаза старика блеснули любопытством:

— Кем вы приходитесь покойному? Жена, сестра?

Рива беспомощно оглянулась на нас:

— Его жена погибла в гетто.

— Их фарштэй, их фарштэй (понимаю),— кивнул старик. И резко выкрикнул: — Йо, йо! Бэйт Исраэл!

Две полутемные комнатушки, швейную машинку, стол, стулья и ножницы — все, кроме старой кушетки, на которой спал дед Лазарь, обещала оставить Рива после своей смерти напарнику Егору. Взамен он должен был поставить на могилу деда мраморную плиту. «Не бойся,— обнадеживала его Рива,— я долго на этом свете не заживусь». Она отгородила себе угол складной ширмой и приготовилась умирать. Одно ее тревожило — это мы. «За старшую я спокойна,— делилась Рива с напарником своими невеселыми думами,— пока эта девочка повернется, пока сообразит, что к чему,— глядишь, все само

собой уже утряхнулось. Но младшая,— тут она сокрушенно качала головой и тяжело вздыхала,— младшая — это огонь». Мы по-прежнему жили на Тираспольской, вместе с Ривой. На Ришельевскую наведывались редко и только по необходимости. В этой комнате с высоким потолком, где по углам виднелись куски чудом уцелевшей лепнины, нам все напоминало прежнюю жизнь с теткой. Казалось, из каждого угла веет ее болезнью и несчастьем.

Весной Егор обещание свое сдержал. Белоснежная мраморная плита легла на могилу деда. На ней было выбито: «Здесь покоятся Элизер Коган и жена его Рейзе-Песя».

«Семья есть семья»,— строго ответила Рива на мой недоумевающий взгляд.

А через полгода на этой же плите добавилась еще одна строчка — «и их дочь Менуха».

Теперь, когда не стало тети, Рива, захватив нас, кушетку и ширму, переехала на Ришельевскую, 12.

Как прежде, при жизни деда, день ее начинался рано и бурно. Когда дом еще спал, она отправлялась на базар.

«Как полопаешь, так и потопаешь»,— любила повторять Рива. «Почему ты не кушаешь?» «Что ты сегодня кушала?» «Скушай хоть кусочек»,— все это в самых разных вариациях слышали мы от нее. В остальном она предоставляла нам полную свободу. «От доброго корня дурного побега не бывает. Дедушка у вас был работяга, чистой души человек, и вы, дай Бог, вырастете не хуже». Одно только ее тревожило — голос сестры. И как прежде она кричала деду, так теперь она кричала сестре:

— Швайг, швайг, швайг (молчи)! Голос — это твое богатство. Это твой капитал. А кто швыряет деньги направо и налево? Кто, я тебя спрашиваю?

Сестра смеялась, встряхивая кудряшками, и, перегнувшись через подоконник, бросала в узкий колодец двора переливчатые звуки вокализа: «А-а-а». Двор покорно отвечал ей глухим эхом.

— Попомни мое слово, эта девочка станет певицей. Не сглазить бы, у нее все для этого есть — и голос, и душа, и красота,— тихо толковала она Егору, когда тот по воскресеньям приходил к нам на знаменитый Ривин штрудель с золотистой хрупкой корочкой.

— Слепой сказал — побачим,— угрюмо отвечал Егор,— сейчас такая жизнь — не подмажешь, не поедешь.

— Они же там не слепые,— резко обрывала его Рива,— талант есть талант.

«Талант есть талант»,— упрямо твердила она каждое лето, когда мы с сестрой, притихшие и убитые, не найдя в списках поступивших фамилию Коган, приходили домой. Сестра вяло кивала в ответ. Садилась на подоконник, обхватив колени руками, долго смотрела в одну точку. Потом невесело встряхивала кудряшками и, вздохнув полной грудью, заводила своим глубоким сильным голосом: «Уж ты сте-е-епь кругом! Сте-епь широ-о-кая!»

«Готэню! Готэню (Боже)! Услышь ее»,— тихо шептала Рива, забившись в уголок и раскачиваясь, словно на молитве, из стороны в сторону.

Я лишь бессильно сжимала кулаки.

На следующий день после четвертого провала к нам пришел Егор. Был он сильно пьян. Грузно опустившись на стул и бросив на пол костыль, он вдруг громко, навзрыд заплакал.

— Этот поганец мне сказал: «Жиды всюду пролезут». Я все узнал,— глухо, сквозь слезы прокричал Егор и ударил кулаком по столу,— трое вас было. Зайдель, Коган и Спивак. А должен быть один. Только один. Потому что один — это уже три процента. И он

мне сказал: «Я взял Спивака». Знаете, почему? — Егор поднял красные помутневшие глаза,— он сказал: «У этого хоть фамилия человеческая».

— С кем ты разговаривал? — быстро спросила сестра. Ноздри ее тонкого прямого носа гневно затрепетали.

— С самим директором, чтоб его взяла холера, с Силиным,— вяло ответил Егор. Пьяно качнулся, ухватился за стол и робко посмотрел на сестру.— Я уже десять лет его сбшиваю. Думал, человек как человек. А тут разузнал, что директор. Ну и решил поговорить.— Егор умолк. Нахмурился, словно обдумывая что-то. Внезапно перегнулся через стол и бережно тронул Риву за локоть: — Слушай, Рива, ответь мне, что я должен сказать Лазарю, когда мы встретимся на том свете?

Я бросила быстрый взгляд на Ривино лицо. Она сидела, крепко сжав губы и опустив глаза.

— Что я ему скажу? — вдруг с горьким отчаянием выкрикнул Егор.— Что я должен сказать человеку, который подобрал меня и дал в руки ремесло? Родной Советской власти я — инвалид войны — был не нужен. А Лазарь Коган меня подобрал. Я скажу ему, что ты был отброс, Лазарь? И внуки твои — всю жизнь будут отбросы?!

— Хватит,— вдруг вспыхнула Рива и стукнула ладонью по столу,— замолчи! Слава Богу, никто из нас не умер, все мы живы и здоровы. Я знаю, что нужно делать! Девочка должна поменять фамилию.

Сестра пристально посмотрела на нее. Загадочно усмехнулась:

— Хорошо.

Через месяц она поменяла фамилию.

— Ты его любишь? — робко спросила я ее за день до свадьбы, когда мы наконец-то остались одни.

В ответ она вызывающе вздернула подбородок:

— Оставь эти фигли-мигли. Любишь, не любишь. Я должна научиться жить просто. Так, как живут все. И я научусь.

После замужества она как-то сразу притихла и съежилась. Казалось, та туго натянутая струна, что звучала и пела в ней всю прошлую жизнь, внезапно ослабла и бессильно провисла.

— Что с тобой? — пробовала было подступиться я. Но она тотчас раздраженно вздергивала плечами, словно отгораживая от меня свою жизнь.

К следующему лету в коляске агукала Машка. И вопрос с учебой отпал сам собой.

Уже давно с нами не было ни Ривы, ни Егора, и мы с сестрой опять душным жарким летним днем томились у входа в консерваторию. Только теперь поступала Машка.

— Ну,— кинулись мы к двери, едва завидев в проеме ее рыжую кудрявую голову.

— Мимо,— деланно небрежно ответила она, в глазах блеснули слезы.

«Мимо», «мимо», «мимо»,— из года в год повторяла Машка и смотрела на нас взглядом загнанного звереныша.

— О чем ты думаешь? — кричала ей сестра.— Отступись! Годы идут. На что ты надеешься?

Машка молчала, крепко сжав губы и глядя прямо перед собой равнодушным взглядом.

— Тебе не кажется, что она все больше становится похожа на нашу мумэ,— однажды тихо спросила сестра, пристально заглянув мне в глаза.

— Не говори глупостей,— оборвала я ее.

— Это ты во всем виновата! Ты,— неожиданно выкрикнула сест-

ра и лицо ее исказилось злобой,— кто всю жизнь твердил девочке: «Талант есть талант»? Кто, я тебя спрашиваю? — внезапно она припала к моему плечу и заплакала.— Я боюсь за нее, слышишь? Боюсь! За мальчика я спокойна. Он пошел в ту семейку. Гелт! Гелт! Гелт! (Деньги!),— с ненавистью выкрикнула она сквозь слезы.— А Машка в меня! Понимаешь, в меня! Молчи! — сестра вдруг резко отпрянула.— Молчи! Ты не знаешь, какой это ад. Когда проклинаешь каждый миг, каждый час своей жизни. Потому что пусто вокруг! Пусто! И не за что уцепиться, чтобы жить дальше.— Я крепко обхватила сестру за плечи. Их сотрясала мелкая дрожь.

Казалось, страх и боль слили нас в единое тело.

Я люблю свою комнату на Ришельевской.

Люблю широкое окно с внутренней ставней и фигурным шпингалетом, напоминающим своим абрисом хищный орлиный клюв. Люблю высокий потолок с куском нечаянно уцелевшей лепнины, где амур с обрубленным крылом навеки повис, чудом зацепившись стрелой за обрывок цветочной гирлянды. Люблю затертую добела и потрескавшуюся во многих местах обтянутую кожей кушетку, на которой когда-то спал дед Лазарь. Люблю облупившуюся, как катанное пасхальное яйцо, лампу-грибок, при ее свете покойная тетя Маня искала фамильное сходство между мной и своим отцом Лазарем. Люблю их все, словно они живые существа из плоти и крови. Возвращаясь из командировки, тотчас обегаю цепким, жадным взглядом свои сокровища. «Я приехала»,— говорю им беззвучно. И слышу в ответ: «Зай гезунт ун гликлэх»,— тихим голосом Ривы.

Каждая новая трещинка, каждая новая потертость, каждая новая дырочка, прогрызанная шашелем, до боли сжимает мое сердце. В испуге я пытаюсь восстать против этой безумной любви: «Выбрось. Выбрось все на помойку,— приказываю себе,— рано или поздно ты умрешь. И все пойдет прахом». «Ни за что»,— круто обрывает меня кто-то другой, невидимый, кто живет бок о бок со мной в этих стенах. И тогда я слышу высокий, срывающийся на повизгивание фальцет: «Ты, бесплодная смоковница! Что ты прилепилась к этому старью! Где твой мужчина? Почему у тебя нет детей? Ты хочешь судьбы своей мумэ?» Я шепчу в отчаянии: «Дед, ты сумасшедший! Ты сумасшедший, дед!»

Я боюсь полночи, когда стрелки часов, сцепившись, открывают дверь в новый день. Когда жизнь за окнами начинает тихо угасать, а потом и вовсе замирает до утра. Тогда тоска становится особенно нестерпимой, и я в отчаянии, словно набожный еврей на молитве, покачиваюсь из стороны в сторону. «Этого не было и никогда в твоей жизни не будет». Я смотрю на безжизненно тусклый фонарь за окном, и мне кажется, что мы с ним остались одни, одни во всем мире.

Раньше каждый день в этот час мне звонила сестра. «Что ты сегодня ела? — кричала она с другого конца провода, словно нас разделили не три коротких мощенных булыжником квартала, а горы, моря и леса.— Почему не пришла ко мне? — Ее мощное контральто перекрывало визг и смех детей, грозные окрики мужа: «Спать!» И лай собаки Шпульки — весь тот шумный мир, в котором она жила.— Приходи. Сколько можно сидеть, как пень, одна? Брось свою писанину. Я припрятала от этой оравы для тебя кусочек штруделя. Ты слышишь?» «Да, да, да»,— рассеянно отвечала я, зажав между плечом и ухом теплую телефонную трубку и тыкая одним пальцем в тусклые клавиши старой пишущей машинки, ревматически потрескивающей рычагами при каждом ударе.

С каждым годом голос сестры становился глуше и глуше. Ранняя седина, морщины, грузность — все это очень скоро стерло между нами разницу в годах. Иногда я стыдила ее: «Ты же еще молодая женщина». Она смотрела на меня тусклым взором вконец измотанного человека и жаловалась с тихой печалью: «Дети, базар, деньги — все это убивает меня. И потом работа! Моя работа»,— прикрыв глаза и крепко сжав губы, она несколько минут сидела молча, словно перемалывала в себе в сотый раз свои печали. Свою скромную работу чертежницы ненавидела всей душой.

— Что ты хочешь от жизни? Чего тебе не хватает? У тебя есть муж, дети. Что еще нужно? — пыталась было встряхнуть ее.

Она скорбно улыбалась в ответ. Молча пожимала плечами:

— Сама не знаю, что со мной.

— Быть может, ты больна? — пугалась я.

Сестра задумчиво смотрела на меня погасшими глазами и еле слышно роняла:

— Тоска. Какая тоска!

Иногда мне чудилось, что всю энергию, отпущенную ей природой, она единым махом выплеснула тогда, в детстве. А теперь просто доживает жизнь.

Однажды я вытащила ее на концерт какой-то заезжей знаменитости. Сестра долго готовилась к этому событию. Как в детские годы, туго крахмалила кружевные манжетки и воротничок. У входа в зал еле слышно прошептала: «Я отчего-то ужасно волнуюсь». И лишь только раздвинулся занавес, выскочила из зала. «Не могу. Понимаешь, не могу»,— она жестом нашей мумэ прижала руки к груди, и мне стало страшно.

Вся эта старая, устоявшаяся и не очень складная жизнь оборвалась в один миг.

Был мартовский день со снегом и дождем. Вылет то откладывали, то назначали вновь. И я, сломленная этим ожиданием, думала про себя: «Скорей бы».

И когда в последний раз сестра, подхватив сумочку с документами, кинулась ко мне, я все еще не понимала, что это конец. Она коротко клюнула меня в щеку. И вдруг вскрикнула, как от внезапной боли: «Одумайся! — Отстраненно посмотрела на меня, точно уже из своего нового неведомого и смутного далека: Я жду тебя. Слышишь?» Я молча кивнула. Из потаенного уголка души кто-то утешительно шепнул: «Это всего лишь сон». «Да, да»,— мелко закивала я. Там, в ночном кошмаре, который накатывал и душил меня из ночи в ночь в этот год, я тоже мелко кивала сестре, стоящей на хрупкой ломкой льдине. А полынья все расширялась и расширялась. И громко хрустела льдина, уносимая половодьем куда-то в свинцово-синюю даль.

Наше прощание длилось бесконечно долго. Час за часом, день за днем, месяц за месяцем я приучала себя к мысли: «Теперь ты будешь жить одна».

Как часто в тот год сестра, прибегая ко мне на Ришельевскую, кричала с нестерпимо злым блеском в глазах: «Слепая ослица! — Казалось, принятое решение вновь пробудило в ней ту энергию, с которой, приплясывая, бросала в ошеломленный зал свое насмешливое «хоп, хоп».— Здесь свои не нужны, не то что мы, чужаки.— И ее натруженная рука с голубоватыми выпуклыми венами выстукивала дробь по старой столешнице.— Ты же знаешь, я несчастье за версту чую. Кровь будет. Будет большая кровь».— «Вылитый дед Лазарь»,— думала я про себя, обводя пальцем замысловатый узор на много раз штопанной голубой плюшевой скатерти. «Чего ты ждешь? Погрома? — наступала сестра. Я молча пожимала плечами.— Ты хочешь,

чтобы Петька Колыванов, как когда-то его папаша, ломился к тебе в дом?» — однажды в запале бросила она.

Я вздрогнула от неожиданности: «Неужели помнишь? Ведь ты была еще ребенком,— она ничего не ответила. Лишь ноздри ее тонкого прямого носа гневно дрогнули.— А Филимоновых, что жили на заднем дворе?» — вдруг вырвалось у меня, и сердце отчего-то покатилось, покатилось вниз. Несколько секунд сестра угрюмо молчала.

— «В лесу, где березки столпились гурьбой, подснежника глянул глазок голубой»,— неожиданно запела надтреснутым глуховатым голосом, но тотчас круто оборвала себя. В комнате повисла гнетущая тишина.— «Как звали эту женщину?» — тихо спросила сестра.— «Елена Сергеевна».— «Где они? Что с ними стало?» — сестра осторожно тронула меня за руку

Я сидела, понурившись. Наконец через силу вытолкнула из себя: «Не знаю. Когда мы вернулись с Ривой на Ришельевскую, их уже не было».

Она долго исподлобья смотрела мне в лицо. Так долго, что мне стало не по себе. «Ненавижу,— внезапно выкрикнула она с болью,— ненавижу здесь все!»

Ко мне во сне теперь часто приходят все наши. Они разговаривают со мной, препираются. Но чаще всего печально молчат. А когда просыпаюсь, то вокруг — ни души. И мертвая тишина.

Сегодня ночью мне приснилась тетка. Маленькая, согбенная, она стояла ко мне спиной и лихорадочно собирала в наволочку какие-то вещи. «Бери, бери,— уговаривала она меня,— там все нужно. Все, до последней нитки,— внезапно повернулась лицом и, пристально глядя в глаза, строго спросила: — А уроки? Ты выучила уроки? Тебе же задали на дом стих! Рассказывай! Я спешу!»

— «Сиротская котомка за плечами...»,— нараспев начала я. И вдруг поняла, что больше не помню ни слова.

«Дальше, дальше»,— торопила меня тетка.

«Не помню»,— хотела было выкрикнуть я, но слова, казалось, застряли в гортани.

«Быстрей! Меня ждут. Я должна идти,— глаза тетки испуганно округлились.— Слышишь? Звонят в дверь. Это за мной».

Я вслушивалась в тихий дребезжащий звонок, а сознание мое, как маятник, качалось между сном и явью. Точно подброшенная тугой пружиной, я соскочила с постели: «Телефон!»

— У тебя все в порядке? — послышался, будто совсем рядом, голос сестры. Я стояла, оцепенев, крепко прижав к себе трубку.

— Что случилось? Почему ты молчишь? — прошептала сестра.

И мне показалось, что она рядом.

— Скажи хоть слово, что там у вас? — закричала сестра, сотрясаемая ужасом где-то там, далеко, за тридевять земель.

Я немо смотрела в окно. По стеклу скользили редкие снежинки.

— Снег,— наконец через силу вытолкнула я из себя.— Снег идет.

— Снег?! — крикнула сестра и вдруг заплакала.

Юрий Беликов

ВРАТА ЗАПРЕТНЫЕ

Звук и цвет запахов

О, приступ сирени! Твой привкус хорош,
как запах нагретых воздушных шаров.
Твои ослепленные солнцем кроты
слежавшийся воздух врасплох перерыли,
лишь запах кирзы шибанет в перерыве,
квадратный и блещущий до темноты,
но до темноты и во тьме темноты
сирени синеющей роют кроты
кирзы марширующей запах квадратный.
У запахов звук есть и форма, и цвет,
свой свой
Цой, Цвейг
(звук в цвет переходит и в запах обратно).
Рембо начинает: «у» — это зеленый,
а я говорю, что зеленый — соленый,
что запах мятущейся влаги морской
стал «у», или чайкою с лапкой больной.
Где дух одуванчиков диких полян,
чьи стебли раздуты подземным домкратом,
мне видится толстый, граненый стакан,
наполненный всклень молоком горьковатым.
А женщина песню так терпко поет,
что ноздри ее округляются с дрожью,
как будто бы песня не звук издает,
а запах... беспамятства и бездорожья
и жизнь округляет до самых высот,
побитую гладом, и мором, и ложью.

Сеансы для избранных

Когда начинается шторм, выходят на пляж старики.
Зонты над собой распускают, как черные плавники.
А может, они не выходят, а может, из каждой щели
выносит их тайная сила, как мыслящий мусор земли?
(О, длинные затхлые платья!
О, смятые пиджаки!)
Гляди! Лешаки садятся на влажные лежаки.

Когда начинается шторм, у птиц обостряется крик.
Когда начинается шторм, то мой убыстряется шаг.

Родился в 1958 году в городе Чусовом.
У Юрия БЕЛИКОВА вышло две книги стихов: в 1988 году — «Пульс птицы» в издательстве «Современник», в 1990 году — «Прости, Леонардо» в Пермском книжном издательстве. Живет в Перми.

Я тоже на пляж выхожу, и, значит, я тоже старик.
Я тоже сажусь на лежак, и, значит, я тоже лешак.

Когда начинается шторм, для тех, кто за столик ушел,
штормящее море — толстуха, танцующая рок-н-ролл.
Лишь выпрямленно-согбенный, забывчиво-помнящий клап
всем видом своим утверждает: штормящее море — экран.
(О, Библия вскрытой пучины!
Кораблекрушений Коран!)

И смотрят сквозь нимб катаракты застывшие взоры туда,
где смешано небо с водою и с небом смешалась вода,
следят за фольгою морскою сеанс за сеансом подряд,
как будто на жизнь после смерти, на жизнь после смерти глядят.

Перенесение праха

Памяти Василя Стуса

Прости, Господь: я разрывал могилы.
Я отгибал изнанку бытия
и отогнул. О Боже, помоги мне
врата запретные, что ломом выбил я,
захлопнуты! Как скрипят они в мозгу!
И не сюда — туда все время дует.
И стоит о божественном подумать —
отсасывает мысли, как лузгу
угарную, как будто для прочтенья
их вьюшкой запредельною берут.
Я знаю: там хранятся, а не тут
все лучшие мои произведенья.

Господь, прости: я образ твой измерил.
Снял ток подобья слабый или тальк.
Я уличил рогулькою из меди
тебя в существовании. Итак,
я подошел к заснеженной могиле
и проволоку гибкую вложил
в ложбинку пальцев. День безветрен был.
Но проволоку — штопором в бутыли —
вокруг оси по солнцу закрутили
вдруг мельницы каких-то спертых сил.

И с той поры над каждой из могил
я вижу пробки из лучистой пыли.

Тверёзая закурганная

И когда я уйду за последний редут,
все равно не почтят, все равно не прочтут,
даже если прочтут — не прочтут все равно:
сквозь пенсне и монокль не читают давно,
ну а то, что дано без монокля прочесть,
не вмещает оно беспощадную честь.
У меня ж за спиной плещет плащ вместо крыл.

На гражданской войне я поручиком был.
Я поручиком был на гражданской войне,
это Шолохов сумку нашарил на мне.
Ни в щемящих сердцах, ни в гремящем уме —
я и нынче живу в переметной суме.
Ибо клубень клубился, а вран воровал
в час, когда я из глины гробы подымал.
Подымал я из глины уральской гробы,
как магнитную запись своей же судьбы.
Расступилась мура, чтоб нагнать мишуру,
там ты был без двора, здесь ты — не ко двору.
Где друзья? Где жена? Где БГ? Где ГБ?
Побренчим же, страна, брынь-брынь-брынь, на губе,
на небритой, брынь-брынь, побренчим, брынь да брынь,
вдруг Добрыня придет из чукотских пустынь?

* * *

Вы думаете, это НЛО?
Это выбрасываются на берег нимбы.
Это ауры покидают своих хозяев
и сбиваются в шарообразные стаи,
начинают друг друга ласкать
и восторженными восьмерками
то и дело в пространстве вскипают.

Поверьте старому сталкеру
с покрасневшими глазами
и хрустящими суставами ног:
НЛО — это Нимбы Людского Отступничества.
Как смотреть мне в российское небо?
Ведь оно от России отдельно.
Обрывается зрение на куполах.
Дальше не на чем взгляду подняться.
Там, вверху, нерестилище нимбов растет.
Каждый нимб отделён и отдéлен.

Вечерами, скуля и припнюхиваясь,
подбираются нимбы незримые
поближе к жилью человека
и становятся глазу доступны:
золотистые, розовые, зеленоватые шарики.
Значит, ищут хозяев. Жалеют.
А потом вдруг погаснут — ушли.
Снова ауру чью-то сманили.

* * *

— Что стало с твоим лицом?! —
воскликнул человек, некогда знавший меня.
Я ощупал лицо, словно мигом ослеп.
Паучками встревоженных пальцев
пробежал по нему и не понял.
А потом припомнил дорогу,
перекрученную, как простыня,
и надгробные плиты враскид,
чтоб колеса не буксовали,
и тогда догадался,
что с лицом моим стало.

Есть в пространстве воронки диоптрий —
как глазная узкоколейка
с толкунцами изменчивых стеклышек,
попадает лицо туда —
поворот, стык зеркал, почерк спички —
и обугленной синью изглодан
терем блоковского лица!

Соберите обломки России —
возродите Блоку лицо!

Я знавал одного пилигрима,
так лицо его становилось
тем, к чему он все время шел.

Здесь такая сказка земли,
что нельзя и водицы испить
из короны копытца козлячьего,
медной проволочки поднять —
белкой согнутой в пальцах закрутится
и укажет, где клад набух,
но взамен вам раздавит скулы,
как монгольский на Калке помост.

И ответил я человеку,
который меня не признал:
— А с твоим лицом, — я сказал, —
ничего не стало, — сказал.

Так я тайну лица не постиг.

* * *

Как покойно у меня на душе! Это мать побелила потолок.
Намахалась кистью крест-накрест,
словно в церкви перед Богородицей стояла.
Ты же ведаешь: иконы излучают.
Прутик медный поднеси к Николаю-чудотворцу —
повернется коленце в кулаке
и закатится в сторону, как глаз.
Чудотворец излучает, но не дальше
Богородицы Смоленской, а Смоленская
дышит глуше и короче, чем Казанская,
а Казанская тише, чем Спаситель.
Не от времени темнеют эти доски —
от запекшейся молитвы. И чем больше
тьмы греховной поглощают, тем целебней
дальний свет через века от них исходит.

Что случилось? Засыпаю без просыпа.
То ли синьки мать в белила добавила,
то ли мятного зубного порошка,
но не давит низкий лоб потолка.
Легкий свет под потолком в ночи играет,
отклоняет прутик медный, охраняет
от заклятий, от наветов, от простуд.
Разве так бывает? Не бывает.
Шум уходит. Тишина все прибывает.
Крики звезд сквозь сердце не растут.

г. Пермь

Алексей Варламов

РАССКАЗЫ

ТАИНСТВО

«Боже мой, сколько народу», — подумал священник, выходя вслед за дьяконом, несущим причастную чашу, из алтаря и оглядывая скопление людских голов. Половина стояла, разинув рты, другие кланялись, крестились на открывшиеся Царские Врата, и во всем храме висел, подрагивая, легкий гул, отчего-то неприятно напоминавший ожидание театрального спектакля.

— Со стра-ахом Бо-ожием и ве-ерою присту-упите! — прогудел дьякон, передавая священнику потир, и народ мигом умолк, точно действо началось. Запел неправдоподобно, концертно громко хор, и когда пение окончилось, священник начал монотонно произносить:

— Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси...

За несколько лет службы в храме у него выработалась привычка: произнося молитву, он отключался, думал о чем-то своем и говорил нужные слова почти машинально.

— ...яко сие есть пречистое тело Твое и сия есть самая честная кровь Твоя...

Он чувствовал себя очень усталым: позади был Великий пост, Страстная седмица, с ее долгими службами, утомительным чтением покаянных канонов и Ветхого завета, коленопреклоненными молитвами, и теперь в Великую субботу накануне Пасхи к этой усталости примешивалось другое ощущение, что пост в который раз прошел для него зря, и к празднику он внутренне не готов.

— ...и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих таинств...

Он кончил наконец читать молитву, и его рассеянный взгляд сосредоточился на лицах.

— Сейчас вы будете причащаться, — сказал священник негромко, но отчетливо. — К чаше подходят только те, кто исповедовался, утром ничего не ел, не пил и не курил. Подходя к причастию, не толкайтесь, называйте громко свои имена, креститься не надо — вы можете случайно задеть чашу.

Первое время ему было очень неловко говорить изо дня в день эти очевидные вещи, но очень скоро он убедился, что многие из прихожан, если только можно было назвать прихожанами этих людей, были настолько необразованны, что не знали самого простого, не понимали, зачем они причащаются и что это означает, и к причастию шли лишь оттого, что так было принято. В глубине души он немного презирал этих суетливых, подобострастных женщин, непомерно толстых, самоуверенных, похожих на рыночных торговок, которые выстроились к нему в бесформенную очередь и как в очереди подталкивали друг друга, опасаясь, что им не хватит. Священник глядел на них с амвона и с тоской думал о том, что хорошо бы ему было служить не в этой церкви в неуютном новом микрорайоне, а в приличном месте — на Ордынке, в Обыденской, или на Неждановой, где собирается интеллигенция и куда он сам бегал, будучи студентом.

— Причащается раба Божия... Имя?

— Анна, — торопливо сказала старуха в белом платке, из тех, что всегда норовят успеть первыми и всех задерживают.

«Как же они бестолковы».

— Раба Божия Анна во исцеление души и тела. Причащается раба Божия Ольга, раба Божия Наталья...

Они подходили к чаше одна за другой, сложив крестообразно руки на груди, открывали рты, и священник опускал ложечку со Святыми Дарами, но мысленно был по-прежнему где-то далеко.

Священником он стал случайно. Из любопытства или же из стремления как-то утвердиться, казаться самому себе интересным и быть не похожим на других, еще учась в университете, начал ходить в храм, увлекся религиозными философами, но менее всего думал, что он, выросший в благополучной интеллигентной семье, не атеистической и не религиозной, станет попом. По окончании университета попал в редакцию, но там было тоскливо, он чувствовал, что способен на большее, чем проверять цитаты к чужим статьям и составлять никому не нужные аннотации. Самостоятельной же работы не было и не предвиделось, и самым близким друзьям он стал толковать о нише, укромном месте, куда можно забиться и заниматься своими делами, читать хорошие книги, пописывать что-нибудь самому и не видеть всей это мерзости — собраний, субботников, профсоюзов, общественной работы. Но дальше разговоров не шло и никогда бы не пошло, если бы совершенно случайно он не познакомился с человеком, работавшим в издательском отделе патриархии, который и предложил ему перейти к ним.

Он долго колебался, понимая, что согласиться значит сжечь все мосты и лишиться всякой надежды на обыкновенную карьеру, но в конце концов убедил себя, что иначе задохнется, так больше жить нельзя, и ушел в издательский отдел. А там его ждала другая карьера: закончил экстерном семинарию и через некоторое время был рукоположен в сан.

Поначалу этот крутой жизненный перелом очень возвысил его в собственных глазах и в глазах его друзей, но очень скоро новое поприще его разочаровало. Здесь было совсем не то, о чем он мечтал — а мечтал он о благолепии, покое, святости. Здесь плелись те же, но еще более тонкие интриги, еще больше требовалось умение ладить с начальством, и он чувствовал себя гораздо менее защищенным, чем прежде, потому что, смешно сказать, здесь не было обрыдших, но, оказывается, нужных месткомов, дававших мало-мальскую уверенность, что завтра тебя не переведут в другое место. С людьми в этом мире поступали безжалостно и крýто, хорошо зная, что уходить отсюда некуда и все они тут заложники. Так во всяком случае виделось это ему, и, мечтавший освободиться от условностей и чинопочитания, почувствовать себя вольным человеком, он оказался еще более повязанным, чем прежде. И ему только и оставалось почитывать мстительно сочинения графа Толстого и лесковские «Мелочи архиерейской жизни» и подумывать о том, что он тоже когда-нибудь соберется и опишет их нравы.

Рядом с ним стоял дьякон — невысокого роста плотный мужчина, с надменным лицом и гладко зачесанными, блестевшими от масла волосами. Дьякона священник звал про себя солдафоном за властный и грубый характер. При дряхлом настоятеле, проводившем большую часть времени в болезнях, дьякон ощущал себя в храме хозяином, он прекрасно ладил с церковным старостой, все перед ним заискивали, и священнику постоянно казалось, что дьякон, сговорившись с двадцаткой, замышляет что-то недоброе. Если бы не этот страх, священник, может быть, и попытался бы как-нибудь себя проявить, читал бы проповеди и на эти проповеди собирались бы приличные люди — все ж он был умным человеком и имел университетское образование, — но он постоянно ловил на себе этот презрительный взгляд дьячка — взгляд люмпена на интеллигента: выскочить хочешь? — И стушевывался. Что стоило тому же дьякону подговорить двадцатку написать жалобу, и никто и разбираться бы не стал, его мигом бы перевели, ни о чем не спрашивая, куда-нибудь в Коломну.

Очередь к чаше не убывала, люди все шли и шли, торопясь причаститься перед Пасхой.

— Причащается раба Божия Ксения, причащается раба Божия Людмила, раба Божия Ирина... Любовь, Михаил, Софья, Анна, Андрей, Катерина...

Иных он знал в лицо, иных видел впервые, но ему казалось, что все эти Анны, Любови, Надежды разевают рты с таким видом, будто здесь не совершается величайшее таинство православной веры, а им просто кладут в рот лекарство. Причастившись же, они отходили к своим кошелкам с куличами и крашеными яйцами и ждали одного: скорей бы служба закончилась, он побрызгал бы на их кулинарию святой водичкой, и они тогда пойдут по домам, упиваясь собственной святостью и высокомерно глядя на окружающий мир, погрязший в грехах.

«Несчастная страна, даже здесь ничего не осталось, верно, сам Господь тебя покинул, и значит, действительно никакого таинства нет, все мертво — наша вера, наша жизнь, наши души, а хлеб в чаше так и остается хлебом и вино — вином. Мы просто соблюдаем никому не нужные приличия...» И даже у него самого нет свободы, иначе, видит Бог, он бы давно перестал играть в эти игры, плюнул бы на все и уехал куда-нибудь на Алтай, где чисто, зелено и никто тебя не трогает.

— Раба Божия Антонина во исцеление души и тела, раба Божия Таисия, раба Божия...

В этот момент случилась небольшая заминка. К чаше подходила женщина лет пятидесяти, которую священник видел впервые. Она смотрела на чашу расширенными глазами, что-то шептали ее губы, а в руках у нее была сумка, и тут дьякон, любивший во всем порядок, прогремел ей прямо в ухо:

— Руки, руки, где у тебя?

Она вздрогнула, точно ее ударили, хлебнула ртом воздух и стала беспомощно взмахивать руками.

— Да не так, — сказал дьякон с досадой, — левую сначала, а потом правую. Что ж ты, мать, дожила до седин, а как к чаше подойти, не знаешь?

Женщина попыталась сложить руки, как он сказал, но мешала сумка.

— Куда с сумкой-то приперлась? Оставить что ль нельзя было? Боишься, украдут?

«А могли бы и украсть, — равнодушно подумал священник, глядя, как дьякон воюет с женщиной, — случай такой уже был. Милиция приходила. Тут все может быть».

— Да поставь ты ее. Так. Одну руку сюда, другую сюда. Ну? Имя?

— А? а? — бессмысленно разевая рот, произносила женщина, ее всю трясло.

— Зовут тебя как?

— Нн..., нн...

— Наталья?

— Нн..., — замотала она головой.

— Тьфу ты, — едва не чертыхнулся дьякон, — надо ж, имя свое забыла. Тетка, ты хоть, где находишься, помнишь? Ну давай, давай, бери свою кошелку и ступай. В другой раз придешь. Следующая.

— Анастасия.

— Причащается раба Божия Анастасия, — автоматически сказал священник, но глаза его следили за незадачливой женщиной, пробиравшейся к выходу. Ее толкали люди, а она совсем потерялась и пошла не в тот узкий проход, по которому шли причастники, а вломилась в самую толпу и до священника долетало:

— Божинька, Божинька, что делать-то? Грех-то какой, Божинька.

— Да куда ж ты прешь, а?

— Божинька, как же я теперь буду?

— Ступайте, женщина, ступайте.

Она дошла наконец до выхода, исчезла за дверью, и тут священника точно что-то толкнуло, и на мгновенье все открылось ему, полоснуло по глазам резким светом. Он снова увидел перед собой эту женщину, ее бескровное лицо, молящие глаза, крупные натруженные руки, сжимающие сумку, и с этим всю ее жизнь — непосильную, замордованную, в которой не было времени, чтобы остановиться и себя вспомнить — голод, нужда, война, снова голод, и так изо дня в день, только одно воспоминание, как в детстве мать перед Пасхой к причастию водила, как яйца красили, как кулич пекли, как боязно было, когда батюшка на исповеди широким черным рукавом голову накрывал. И вот теперь, мужа схоронив, вспомнила она и пошла в храм, страшно было после стольких-то лет, но услышала в себе этот робкий нежный зов — «Приидите ко Мне, все труждающиеся

и обремененные» — и пришла к таинству, к Телу и Крове Христовой, только вот как руки правильно сложить позабыла...

«Господи, что же я наделал-то?» — мелькнуло в голове.

Он замер, замерла его рука, в которой была чаша, и другая, с ложечкой, тоже замерла, на него удивленно посмотрел дьякон, блестя маслеными волосами, а священник уже тронулся с места и вломился в толпу людей, через которую только что пробиралась женщина. Народ тотчас же расступился, пропуская его. Он шел среди притихших людей, очень высокий, в фелони, ему кланялись, прикладывались к руке, и ему казалось, что он идет очень долго, но вот наконец он вышел и оказался с чашей в руках на улице.

Сразу же за церковной оградой начинался бульвар и с ним другой мир. Был хороший апрельский день, мужчины и женщины в ярких куртках сгребали и жгли прошлогодние листья, выгуливали малышей мамаши, из магазина люди несли сетки с мятой картошкой и ранним дорогим перцем, играла по случаю субботника веселая музыка, через голые деревья и ограду храма летела весенняя пыль, и священник не сразу разглядел женщину в толпе.

Он пошел за нею и хотел было окликнуть, но не знал, как позвать, и тогда просто обогнал ее.

— А, батюшка, — заплакала она, увидев его перед собою, — простите, батюшка.

Вокруг собрались праздные прохожие, мальчишки на велосипедах, какие-то молодые люди в спортивных костюмах, и все смотрели с недоумением на высокого молодого попа и полную женщину с сумкой в руках. Тогда священник, судорожно сглотнув, глядя прямо в глаза женщине, стал говорить:

— Причащается раба Божия...

— Мария, — еле слышно вымолвила та, и на глазах у нее снова появились слезы.

— Мария, — как эхо отозвался священник. — Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в жизнь вечную.

Она поцеловала край чаши, и когда подняла голову, то священник вздрогнул, увидев это преобразившееся, счастливое лицо, и неожиданно для самого себя тихо сказал:

— Молись за меня грешного, Мария.

И на мгновение все поплыло у него перед глазами, странным и нереальным показался этот мир, столпившиеся вокруг него люди с граблями и лопатами, он молчал, и они тоже молча глядели на него, точно чего-то ожидая, но священник повернулся и пошел обратно. Он чувствовал в душе необычайное какое-то волнение и, может быть, поэтому совсем не замечал тех взглядов, которые искоса бросали на него дьякон и церковный староста — представительный мужчина в черном костюме и галстуке.

ПОКРОВ

Максимов проснулся на рассвете от холода. За ночь дощатый дачный домик выстудило ветром, на окне колыхалась занавеска, и за ней в полумраке сада было видно, как летят листья и бьются о провода голые ветви рябины. Он закрыл глаза и попробовал уснуть, но холод был сильнее сна, он встал и больше уже не ложился, с самой первой минуты этого дня почувствовав растущее беспокойство в душе, и обычное его состояние довольства или недовольства собой из-за каких-то мелочей уступало место необъяснимой тоске. Он бесцельно бродил по убранному на зиму чистому дому, затем по саду — осень в тот год выдалась поздней, уже близилась середина октября, и только в этот день, неожиданно ветреный и холодный, стали облетать листья и с глухим стуком падали крепкие желтые яблоки, освобождая уставшие ветви. В садах кричали птицы, вдалеке, на военном полигоне, раздавались торопливые автоматные очереди, и не

хотелось ничего делать, ни собирать плоды, ни укрывать на зиму молодые деревья, он ходил по грядкам, оставляя следы на мягкой жирной земле, и пытался справиться с тоской.

К полудню выстрелы стихли. Максимов взял пакет, положил его в карман телогрейки и отправился на полигон за поздними грибами, а тоска все не унималась и постепенно переходила из даже приятного своей новизной состояния в глухую сосущую боль, сродни зубной. Он прошел через многочисленные дачные участки, дважды пересек узкоколейку и вышел на шоссе, где его сразу же окатило пронзительным, разогнавшимся на открытом пространстве ветром; и Максимов вдруг вспомнил, как когда-то давно он ходил по этой дороге со своей бабушкой, и одновременно с этим подумал, что ни разу не был у нее на могиле, да и не вспоминал почти, но теперь вся эта местность — нескладные, неровные поля, пруды рыбхоза, озеро, лес, линия электропередачи, извивающееся шоссе и трубы асфальтового завода на горизонте под низким несущимся небом — все это напомнило ему ее, и в этих воспоминаниях он ощутил нечто неприятное. Он попытался их отогнать, но воспоминания оказались сильнее, точно и были той самой, томившей его с рассвета тоской.

Последний раз Максимов видел бабушку в больнице. В большой палате было много женщин, тяжело пахло, и, пока он стоял на пороге и искал знакомое лицо, женщины в цветастых халатах пристально на него глядели, но ничего не спрашивали. Бабушка лежала с закрытыми глазами у самой двери, он тихо присел на кровать — она повернула голову, и он спросил:

— Спишь, ба?

— Нет, — отозвалась она равнодушно, — я здесь совсем не сплю — боюсь. Я все лежу, вспоминаю.

Он чувствовал себя очень неловко, ему казалось, что все прислушиваются к их разговору, и он стал торопливо говорить на приятную для бабушки тему, про дачу, что уже копают огород — она безучастно кивала, то ли слушая его, то ли нет, а потом через силу проговорила:

— Мне б до лета только дожить, еще б одно лето, — сказала и посмотрела на него с какой-то мольбой, от которой никуда нельзя было деться, и непонятно было, как себя вести, что ответить и что делать с этим жутким одиночеством умирающего человека. Он отвел глаза, а когда снова посмотрел на нее, то ее лицо показалось ему безжизненным и восковым, как и месяц спустя в гробу.

Ветер усиливался, гудели над головой провода, он был совершенно один на дороге, только несколько раз проехали мимо темно-зеленые крытые машины, в которых сидели солдаты. Но Максимов ничего не замечал, он продолжал вспоминать тусклые больничные сумерки приемных часов и внезапно подумал, что однажды, будучи ребенком, так же от нее отрекся. Она шла тогда забирать его из детского сада, где-то по дороге упала и разбила до крови лицо. Так окровавленная и пришла в сад, воспитательница уложила ее на кушетку, вызвали неотложку, но смотреть на залитое кровью лицо было жутковато — детей увели, и тогда один из них враждебно спросил:

— Твоя бабка?

Маленький Максимов почувствовал в этом вопросе какой-то подвох, почувствовал, что если он сейчас признается, то все начнут его бояться и избегать, как страшную старуху. Он покачал головой из стороны в сторону и убедил себя в эту минуту, что стонущая, зовущая его женщина не имеет к нему никакого отношения, и составил для самого себя оправдание: если потом его спросят, то скажет, что просто ее не узнал. Однако об этом случае никто не говорил, и он думать о нем забыл, но теперь почему-то вспомнил, вспомнил ее неправильно сросшийся нос, и ему сделалось физически дурно, как бывало, когда брали на анализ кровь из пальца. Он опустился на жухлую траву, расстегнул ворот рубашки и стал растирать виски.

Мимо снова проехали машины, остановились, из них выпрыгнули солдаты, растянулись цепью и пошли в сторону пустующих дачных участков. Максимов встал и побрел дальше и поймал себя на мысли, что с той самой минуты, как он покачал в садике головой, в нем появился какой-то изъян, страх перед своей и чужой кровью, и этот изъян дает теперь о себе

знать, давал знать всю жизнь, и ему стало жаль самого себя, идущего по дороге без смысла и без нужды, под подозрительными взглядами людей в полинялых шинелях.

Солдаты встречались ему теперь через каждые двести метров — они стояли группками, в касках, с рациями и автоматами на груди, и было что-то тревожное, пугающее в их молчании и настороженности. Максимов ожидал, что его остановят, однако никто ему не мешал идти, и тогда он сам приблизился к одной группке на повороте шоссе.

— Что, мужики, война началась? — спросил он, стараясь придать голосу беспечность.

Они повернулись к нему, и тот, что был выше ростом, совсем молоденький, безбровый, почти мальчик, с дрожащими от холода или волнения пальцами на черном рожке автомата, ответил с готовностью:

— Да сбежал тут один. Ладно б молодой или черпак. А то месяц ему оставался. А он взял автомат и махнул.

— Тут уж все схвачено, уехал давно, — пробасил другой.

— Да какое там схвачено! Он дуриком побег с полигона. Спрятался где-нибудь на даче, а дач этих тыща. Моча ему вдарила в голову, вот и ищи его теперь.

— В лес-то можно пройти? — спросил Максимов.

Солдаты помолчали, и самый старший, с погонами сержанта, кашлянув, покачал головой:

— Нет, гражданин, в лес не надо.

Максимов усмехнулся и повернул к дому, но потом представил холод и одиночество террасы, скрипение половиц, шум ветра и вкус подогретой тушенки и свернул в сторону деревни, куда они ходили когда-то с бабушкой за молоком. Сгущались сумерки недолгого октябрьского дня, в домах зажглись огни, и издали казалось, что они дрожат и стынут на ветру. Он вошел в деревню и очутился около церкви, окруженной запущенным кладбищем с неухожёнными могилами и большой доской у входа, на которой было написано: «Кладбище закрыто, захоронения не производятся». Церковь была слабо освещена, внутри было сыро, на грязных, с разводами стенах висело несколько икон, виднелись аляповатые фрески, и высокими дребезжащими голосами пели старухи.

Он встал у входа и попытался понять, что они поют, но слов было не разобрать, только одно он расслышал: «Покрый нас от всякого зла».

«Кто нас покроет? — подумал Максимов, усмехнувшись, — кому мы нужны, кто спасет и защитит сглупившего солдата от наказания и даст мне силу сказать, что та окровавленная старуха была моей бабушкой?» Он стоял, как ему казалось, очень долго, покуда высокий скуластый поп, чем-то неуловимо похожий на сержанта, запретившего Максимову идти в лес, обходил храм, махал кадилом перед каждой старухой, обстоятельно, не торопясь, отвечая на их поклоны, махнул и перед выпрямившимся Максимовым, с любопытством глядя на его лицо, — у Максимова заболели ноги, захотелось сесть, но старухи стояли и продолжали петь. «Откуда в них столько силы, откуда в них есть то, что и в малой толике не досталось мне? Откуда были силы у моей бабки каждую весну копать огород, мирить драчливое семейство, откуда были у нее силы в войну вывезти малых детей в эвакуацию и спасти их от голода? Откуда все это? От Бога? Но в Бога-то она не верила, отреклась от Него, выбросила все иконы, когда муж от нее ушел. Покрой нас от всякого зла. Может быть, их-то и покроет, но нас уже не покроет никто — ни во что не верящие, унылые люди, ловят друг друга на пустых дачах, рвут друг другу глотки, и смешно ждать, что этих людей кто-нибудь спасет. Единственный наш человеческий поступок — это сорваться и убежать за месяц до приказа, отвести душу и сгинуть на веки вечные».

И он почувствовал солдата, за которым шла охота по всей округе, почувствовал его тоску, озверение и вместе с этим ощутил в самом себе поднимавшуюся злобу к пению, к нежным старушечьим голосам и непонятным словам на чужом языке, к свечам, иконам, ко всему этому благолепию среди сырости и развала и с трудом удержался от того, чтобы не выскочить на середину храма и не закричать, что его обделили, что на его долю ничего не осталось — ни веры, ни безверия, ни сомнения, что он мертвым родился, и ему страшно жить мертвым, страшно смотреть на них,

спасшихся, сохранивших себя, так же страшно, как загнанному солдату внутри сжимающегося кольца облавы, как страшно было бабушке не дожить до лета.

Он в бешенстве выскочил из церкви и пошел скорым шагом прочь, не разбирая дороги, сел на лавочку у дома на краю деревни, закурил и так сидел очень долго, покуда из дому не вышел улыбающийся старичок в потрепанном темно-зеленом кителе.

— В церькви были? — спросил старичок уважительно.

Максимов хотел подняться и уйти, потому что не любил случайных разговоров и незнакомых людей, однако в старичке ему почудилось нечто притягательное, и он остался.

— Ну, был.

— А я туточки служил, — похвастался старичок, покачиваясь. Он был слегка пьян, но ровно настолько, чтобы излучать веселость и умиление: — два стихаря сносил. Потом уж, конечно, как в партию вступил, так уж нельзя стало служить. А так-то я всю службу знаю.

— Давно церковь открыли? — спросил Максимов.

— Ее и не закрывали вовсе.

— Нет, — покачал он головой, — лет двадцать назад она была закрыта. Ты просто, батя, не помнишь.

— Я не помню? — обиделся старик. — Я, милый, все помню. Слава Богу, тут родился, тут и помру. И похоронят меня тут, — добавил он угрожающе, — ясно? Правильно, лет двадцать назад, конечно, не служили. Но это потому что батюшки не было. А нынче батюшка есть, вот и служат.

— Может, и так, — отозвался Максимов равнодушно.

— Не может, а точно. Я что говорю, то знаю. Церковь-то у нас интересная, — разговорился старичок, — ее еще в восемнадцатом веке строили. А потом у Наполеона тут конюшня была. Удобно, конечно, места много и водопой рядом. Ну а как немца прогнали, так мужики церьковь спалили и новую выстроили. Каменную.

— Зачем спалили?

— В поганую идти никто не хотел.

— Нет, батя, — сказал Максимов, вздохнув, — и Наполеон не немец был, и дальше Москвы он не ходил.

— Ходил, — возразил старичок рассерженно. — Наполеонова конница до Богородска, Ногинска нынешнего, дошла, там повернула и стояла у нас тут до самого Покрова. Ты, молодой, вот и не знаешь, а мне прадед сказывал. Построили они, значит, каменную, освятили ее и служили до тех пор, пока последний батюшка не преставился. Батюшка-то странно помер, — сказал старичок задумчиво. — Он ишь в Кучино поехал за роялью для дочки. Купили они, с ним еще один мужик наш был, Григорий, а на обратном пути в Обираловке батюшка в уборную пошел. Григорий двадцать минут его ждал, полчаса, замерз уж весь, но беспокоить не решался — мало ли что, да ведь и человек непростой, лицо духовное. А потом заглянул: отец-то наш Кирилл сидит мертвый на очке. Прямо там его удар и хватил. Старухи говорили тогда, что смерть дюже поганая, а батюшка честный был, добрый, порядок при нем был. А как помер он, так церкву и разворовали. Свои же, верующие, — заключил он и поучающе поднял палец.

— А потом что было?

— А потом война началась, — ответил старичок печально.

Он был весь такой беленький, опрятный, благостный, и Максимову стало возле него необычайно тепло и захотелось, чтоб старик пригласил его к себе в дом, чтоб они выпили водки и старичок долго рассказывал о себе, о церкви, о войне — обо всем, что не успела рассказать мучившаяся бессонными больничными ночами бабушка, но на крыльцо вышла женщина средних лет и сердито позвала старика.

— Доча кличет, — сказал он извиняюще, — боится, захвораю я после бани.

— Что ж вы сразу-то не сказали, что после бани, — пробормотал Максимов, устыдившись, — вы идите тогда поскорее, дедушка.

Старик взглянул на него недоуменно, усмехнулся и скрылся в доме, и снова оставшись один на едва освещенной улочке под качающимися

фонарями, Максимов ощутил давешнюю тоску и медленно побрел к топкому берегу озера, где поили лошадей наполеоновские немцы.

В темноте не было видно, где кончается берег и начинается вода, и, едва не замочив ноги, Максимов подошел к мосткам, откуда когда-то нырял солдатиком и тут же рядом ловил, намотав на палец леску, не боявшихся шума разбойных окуней. К мосткам была привязана лодка, и Максимова вдруг потянуло на середину озера. Он отвязал лодку, выдернул кол и оттолкнулся от мостков.

Дул северный, по-прежнему не утихающий ветер, лодку тащило вдоль берега, Максимов отталкивался шестом ото дна и каждый раз касался ила, и его вдруг охватил безотчетный страх: прежде в этом озере была глубина десять метров — теперь же он всюду доставал трехметровым шестом, в темноте над ним шли сухие тучи, и от того, что озеро обмелело, а небо было пустым и не видно ни зги вокруг, даже деревня казалась отсюда вымершей, и такими же мертвыми были генеральские дачи на противоположном берегу — от ветра, холода и одиночества Максимов почувствовал страшную боль и невыносимость быть самим собой: тридцатилетним, никчемным человеком, обслуживающим холеных, брезгливых интуристов в экскурсионном бюро. Он тыкал шестом в дно, ища глубину, но шест мягко касался ила, застревал в нем, и слабо плескала о борт лодки вода.

Он бросил шест, сел на подгнившее деревянное сиденье, его вспотевшее тело быстро стыло на ветру, и он снова представил солдата, пустой дом, автомат на окне и стягивающуюся вокруг петлю — рации, собаки, автоматы, — что можно делать, их поджидая, курить, громить дом, просто лежать и ни о чем не думать, хрупкий загнанный человек, не захотевший или не смогший дожить какой-то паршивый месяц, обретший в ту минуту пустую безвкусную свободу и лишь моливший Бога, чтобы Он продлил эту ночь, как молила бабушка о сострадании, молила о дожить ей до лета, всего одного лета и вонми Он ей — дожила бы.

— Дожила бы, — пробормотал Максимов. Перед глазами была темная вода, на которую вдруг упал отблеск осветительной ракеты, и в воде замелькали кони, Наполеон в эсэсовской форме, дрожащие пальцы на холодном рожке «калашникова» и окруженная насупившимися мужиками, погибающая в пламени деревянная церковь.

— Христиане, — процедил Максимов сквозь зубы, — европейцы, интуристы, в церкви — конюшню. А эти тоже хороши — сожгли, разворовали, а потом помирают поганой смертью. Боже, Боже...

Где-то над садами опять взлетела ракета, осветила на мгновение местность, и Максимов увидел, что лодка стоит у прибрежных кустов, и сразу же за ними начинаются заборы недавно построенных дач, похоронивших под собою вытекавший из озера ручей. Он выскочил на берег и пошел по дороге, затем свернул на узкоколейку. Заслышав его приближение, лаяли чуткие сторожевые собаки, светили в лицо, а потом в спину синим светом светофоры, начался мелкий дождь, а Максимов шел и шел, не оборачиваясь и не поднимая головы, уже не понимая, куда и зачем он идет, как вдруг услышал за спиной урчание дизеля, возившего с карьера песок, и душа его отозвалась детским воспоминанием, таким далеким, словно было это еще до той поры, как ржали в старой церкви сытые кони завоевателей. Он вспомнил, как ребенком, едва научившись ходить и не умея еще говорить, он выбегал из дому смотреть на паровоз, и как иногда их подвозил на станцию пожилой машинист с пыльным лицом, больше никого не брал, а ради них останавливал громадный состав, и маленький Максимов жался к бабушке и глядел, встав на цыпочки, вокруг, на дома, рощи, сады и синь глубокого чистого озера.

Дизель был все ближе, и Максимов увидел в свете прожектора свою громадную расплывчатую тень. Постепенно она стала уменьшаться, резче обозначились контуры, сзади раздался отчаянный гудок, и Максимов побежал.

Он бежал по полотну как загнанный зверь, не в силах свернуть на обочину, а паровоз уже настигал его, становился все больше; и напрасно было бежать, нужно было остановиться и уступить ему дорогу, но Максимов бежал. Он не слышал теперь ничьих криков, ни лая собак, не слышал, что дизель остановился, повинуясь команде, и продолжал убегать, чудом

попадая ногами в шпалы и не спотыкаясь. Маленькая темная фигура неслась по железнодорожному полотну, и издали было непонятно, кто там бежит, но молодой безбровый солдат в оцеплении, с дрожащими от страха пальцами, на которого наступала эта фигура, испуганно пятясь и отступая, вытянул руки вперед, сорвал предохранитель и, когда беглецу оставалось до него не более двадцати шагов, нажал на спусковой крючок.

Максимов упал на рельсы, ударившись носом о шпалу и не успев еще ничего понять, услышал, как паровоз мягко его настиг и поволок за собой, но в первый момент ему стало не больно, а дурно от собственной крови на лице и руках.

— Бабушка, — сказал он, глядя на кровь, — это я, бабушка. Ты не бойся меня.

Он лежал в темноте посреди железнодорожного полотна, к нему бежали, со всех сторон стягиваясь, люди, что-то кричали и толкали оцепеневшего автоматчика, лаяли овчарки, потом снова включил прожектор дизель, но беглец ничего не слышал и не видел, а только чувствовал страшный холод земли, холод рельсов, холод гауптвахт, обмелевшего озера, полуразрушенной церкви и могилы на Введенском кладбище, холод отхожего места на станции Обираловке — вселенский холод собственного сердца и свою беззащитность перед этим холодом, и он стал биться на носилках, судорожно мотая головой и хрипя, тогда кто-то из солдат скинул с себя шинель и укрыл ею истекающего кровью человека. Беглец еще несколько раз заворочался, а потом затих.

---

*Urbi et orbi**

Вацлав Гавел

О НЕНАВИСТИ [1]

Уважаемое собрание!

Глядя на присутствующих здесь, я начинаю думать, что среди нас не так уж много людей, которые способны размышлять над нашей темой — я имею в виду ненависть — на основе самокопания, «изнутри», как над состоянием души, ими самими пережитым. Очевидно, что все мы лишь с беспокойством наблюдаем за этим феноменом и пытаемся осмыслить его извне. Это относится и ко мне: среди моих отрицательных черт, которых, конечно же, предостаточно, на удивление отсутствует способность ненавидеть. Поэтому и я размышляю о ненависти всего лишь не как сопричастный ей, но как очень обеспокоенный наблюдатель.

Перебирая в памяти тех, кто лично меня ненавидел или ненавидит, я прихожу к выводу, что всех их объединяют свойства, сопоставление и анализ которых позволяют дать пусть и самое общее, но тем не менее вполне определенное объяснение владеющей ими ненависти.

Прежде всего этих людей нельзя считать пустыми, пассивными, равнодушными, апатичными. Мне кажется, что в их ненависти проявляются какая-то большая и по самой своей сути неутолимая страсть, какое-то неисполненное и в принципе неисполнимое желание, какая-то отчаявшаяся амбиция. Это внутренняя сила сугубо активного характера, которая своего носителя снова и снова на что-то нацеливает, куда-то влечет, так сказать, захлестывает. Я решительно не могу считать ненависть простым отсутствием любви и гуманности, вакуумом человеческой души. Напротив, она имеет много общего с любовью и прежде всего присущую ей устремленность на другого, зависимость от него, даже прямое делегирование ему части своей собственной идентичности. Как влюбленный тянется к предмету своей любви и не может без него обойтись, так ненавидящий тянется к ненавидимому. Как и любовь, ненависть в конечном счете есть выражение жажды абсолюта, хотя и трагически извращенное.

Люди ненавидящие, насколько я мог разобраться, это люди с постоянным, неискоренимым и глубоко не соответствующим действительному положению вещей чувством нанесенной лично им обиды. Они хотели бы пользоваться всеобщим уважением и любовью, но постоянно терзаются от болезненного сознания, что окружающие вовсе не благодарны им, несправедливы к ним, не только не почитают и не любят их, как должны бы были, но вообще не обращают на них внимания.

В подсознании ненавидящих дремлет извращенное чувство, будто они обладают истиной в последней инстанции, и это превращает их в своего рода сверхчеловеков, чуть ли не в богов, и поэтому-де они заслуживают всеобщего признания, всеобщего подчинения и лояльности, если не прямо слепого повиновения. Они хотели бы быть центром вселенной, и их раздражает и уязвляет, что мир не видит и не признает их своим центром, что

* Городу и миру (**лат.**)

[1] Из выступления президента ЧСФР Вацлава Гавела на Международной конференции в Осло по правам человека и гражданским свободам (28 августа 1990 года). Опубликовано Агентством Аура-Понт (Прага) к открытию Конгресса Европейского Культурного Клуба, состоявшегося в Праге 3—5 декабря 1990 года и посвященного теме «Тоталитаризм XX века».

он вообще их не слишком-то замечает, а может быть, даже и подсмеивается над ними.

Они похожи на избалованных или плохо воспитанных детей, которые убеждены, что мать только для того и существует на свете, чтобы их боготворить, и сердятся на нее, если время от времени она уделяет внимание кому-нибудь или чему-нибудь другому, например, сестрам и братьям, мужу, книге, работе. Все это они воспринимают, как несправедливость, травму, покушение на них самих, словно бы этим ставится под сомнение их собственная значимость. Внутренний заряд, который мог бы стать любовью, оборачивается ненавистью к предполагаемому источнику травмы.

Ненависти — равно как и несчастливой любви — присуща своего рода отчаянная трансцендентальность: ненавидящие люди хотят достичь недостижимого и беспрерывно гложут себя из-за невозможности этого, причем препятствует им, как они убеждены, подлый окружающий мир. Ненависть — дьявольское свойство падшего ангела: это состояние души, желающей стать Богом, она даже верит, что она и есть Бог, и постоянно мучается от того, что она все же не Бог, что не может им стать. Это свойство создания, ревнующего к Богу и снедаемого чувством, что путь к Божьему престолу, на котором ему предназначено восседать, преграждает несправедливый мир, состоящий в заговоре против него.

Причину своего метафизического неуспеха ненавидящий человек совершенно не способен увидеть в себе самом, в тотальной переоценке самого себя. В его глазах всему виной окружающий мир. Но это виновник абстрактный, неопределенный и неуловимый. Его надо персонифицировать, ибо ненависть — как сугубо конкретный порыв души — нуждается в конкретной жертве. И вот ненавидящий человек находит конкретного виновника. Поскольку речь идет о своего рода заместителе виноватого, то он может быть случайным и легко заменяться другим. Я обратил внимание, что для ненавидящего ненависть как таковая важнее, чем ее объект, что объекты он может довольно часто менять, ничего не меняя в своем к ним отношении. И это вполне понятно: ведь он испытывает ненависть не к данному конкретному человеку, а к тому, чем ему этот человек представляется — нагромождению препятствий на пути к абсолюту, к абсолютному признанию, к абсолютной власти, к тотальной идентификации с Богом, истиной и мировым порядком. Ненависть к ближнему выступает как физиологическое овеществление ненависти ко вселенной, которая воспринимается как конечная причина собственного неуспеха.

О ненавидящих говорят, что это люди с комплексом неполноценности. Вероятно, эта характеристика неточна. Я бы скорее сказал, что комплекс у этих людей иной: они считают, что их роковым образом недооценивают.

Мне кажется заслуживающим внимания и еще одно мое наблюдение: ненавидящий человек не способен улыбаться, он только ухмыляется. Он не способен на веселую шутку — только на кислую усмешку. Он не способен на настоящую иронию, ибо не способен на самоиронию, ведь искренне смеяться может только тот, кто умеет смеяться над самим собой. Для ненавидящего характерны серьезное лицо, чувство оскорбленного достоинства, громкие слова, крик, неумение подняться над собой и увидеть свои смешные стороны.

Эти особенности ненавидящего выдают нечто весьма показательное: полное отсутствие у него таких свойств, как чувство соответствия, вкус, стыд, широта взгляда, способность сомневаться и вообще задавать вопросы, сознание того, что он сам преходящ и все на свете преходяще. И уж тем более недоступно ненавидящему чувство абсурда, то есть ощущение абсурдности своего существования, неприкаянности, ничтожности или вины. Общий знаменатель всего этого, — наверное, трагический, но опять-таки почти метафизический недостаток чувства меры: человек, которого обуяла ненависть, не знает меры вещей, равно как и меры своих возможностей, своих прав, меры своего бытия, не знает меры признания и меры любви, на которые может рассчитывать. Он хочет, чтобы мир принадлежал ему безгранично, чтобы мировое признание было безбрежным. Этому человеку невдомек, что право на чудо собственного существования и на признание еще надо завоевать и заслужить своими поступками. Он же это право воспринимает как автоматически данное ему раз и навсегда, которое никакими рамками не ограничено и никогда никем не может быть

подвергнуто сомнению. Короче говоря, полагает, что ему выдана своего рода контрамарка на вход всюду, в том числе и на небеса. А если кто-нибудь отважится проверить входной билет, он воспримет этого человека как врага, который незаслуженно его обижает. Если ненавидящий человек именно так понимает свое право на существование и признание, то не приходится удивляться его постоянному недовольству тем, что все другие не воспринимают это его право точно таким же образом.

Я обратил внимание на то, что все ненавидящие обвиняют своих ближних — а в их лице и весь свет — в том, что они озлобились. Генератором злости ненавидящих служит ощущение, что окружающие злые люди и злой мир лишили их чего-то, что должно было бы совершенно естественно принадлежать именно им. Свою собственную злость они проецируют на других. Этим они напоминают избалованных детей: не в состоянии понять, что иногда надо что-то и самим заслужить, и что если они не могут автоматически получить сразу все по своему желанию, то это не потому, что кто-то к ним плохо относится.

В ненависти много эгоцентризма и себялюбия. Стремясь к абсолютному самоутверждению, но не в силах его достичь, ненавидящие люди считают себя жертвами коварной, злонамеренной и повсеместной несправедливости, которую необходимо устранить, чтобы наконец восторжествовала справедливость. При этом понимание справедливости ставится с ног на голову: они воспринимают ее как обязанность присудить им то, что присуждено им быть не может, то есть весь мир.

Ненавидящий человек в сущности несчастен, и вполне счастливым быть никогда не может. Ибо в конечном счете, что бы он ни делал для полного признания, равно как для полного уничтожения тех, кто предположительно повинен в его недооценке, он никогда не может достичь желанного успеха, успеха абсолютного: откуда-нибудь да непременно глянет на него — например, с веселой, примирительной или прощающей улыбкой его жертвы — весь ужас его бессилия, его неспособности быть Богом. Ненависть по своей природе едина: нет разницы между ненавистью индивидуальной и групповой; тот, кто ненавидит отдельного человека, почти всегда способен поддаться групповой ненависти или распространять ее. Я бы даже сказал, что групповая ненависть — религиозная, идеологически-доктринерская, социальная, национальная или любая другая — есть своего рода воронка, которая в конце концов втягивает в себя всех, кто предрасположен к индивидуальной ненависти. Другими словами, надежным тылом и человеческим потенциалом всех видов групповой ненависти является собрание людей, способных ненавидеть отдельного человека.

Но не только это. Коллективная ненависть, разделяемая, углубляемая и распространяемая человеконенавистниками, обладает особой магнетической притягательностью и может вовлечь в свою воронку неограниченное число и тех, кто изначально не был способен ненавидеть. Речь идет о людях малой и слабой морали, эгоистах, о людях ленивого духа, не умеющих самостоятельно мыслить и склонных поэтому поддаться влиянию ненавидящих.

Притягательность коллективной ненависти — бесконечно более опасной, чем ненависть индивидуума к индивидууму, — следствие некоторых очевидных преимуществ этого вида ненависти.

1) Коллективная ненависть избавляет человека от чувства одиночества, покинутости, слабости, бессилия, приниженности, а это помогает бороться с комплексом недооценки и неуспеха. Она придает людям ощущение общности, превращает их в некое братство, основанное на очень простом способе объединяющего взаимопонимания: участие в этом братстве не налагает никаких обязательств, условия вступления в него легко выполнимы, никто не должен опасаться, что не выдержит приемных испытаний. Что может быть легче, чем иметь общий объект отрицания и усвоить общую «идеологию кривды», во имя которой следует этот объект отвергнуть? Сказать, например, что во всех несчастьях мира — и прежде всего каждой обиженной души — виноваты евреи, цыгане, немцы, арабы, негры, вьетнамцы, венгры или чехи: это так просто и так понятно! И всегда найдется достаточное число вьетнамцев, венгров, чехов, цыган или евреев, поступками которых можно проиллюстрировать мысль, что именно они во всем виноваты.

2) Изначальное чувство собственной недооцененности, которое, по моему мнению, наличествует у всех, кто предрасположен к ненависти, получает в коллективе ненавидящих еще одно большое преимущество: они могут до бесконечности убеждать друг друга в своих достоинствах, соревноваться в проявлениях ненависти к избранной группе виновников своих бед, в культе символов и ритуалов, призванных подтвердить ценность ненавидящего единства. Одинаковые костюмы, униформа, значки, знамя или любимая песня сближают членов этого единства, укрепляют в них сознание общности, увеличивают, усиливают, умножают в их глазах собственную значимость.

3) Если индивидуальная агрессивность всегда связана с риском, ибо она воскрешает к жизни пугало индивидуальной ответственности, то единение ненавидящих как бы «легализует» агрессивность, утверждая ее законность или, по меньшей мере, давая ощущение «коллективного прикрытия». Затерянный в группе, стае или толпе, каждый потенциальный насильник сразу же становится более отважным; один стимулирует другого, а все вместе — именно потому, что их много — убеждают друг друга в обоснованности своей агрессивности.

4) Наконец, принцип групповой ненависти существенно облегчает жизнь всем ненавидящим и всем, кто лишен способности самостоятельно рассуждать, ибо указывает им очень понятный, так сказать, с первого взгляда и по первому звуку узнаваемый объект ненависти — виновника их обид. Процесс материализации общей несправедливости мира в конкретной фигуре того, кто ее представляет и кого, следовательно, надо ненавидеть, блестяще облегчается, если предложен «виновник», моментально опознаваемый по цвету кожи, имени, языку, на котором он говорит, религии, которую он исповедует, или по месту его обитания на земном шаре.

У коллективной ненависти есть еще одно очень коварное преимущество: незаметность возникновения. Существует целая серия вроде бы невинных состояний коллективной мысли, которые образуют почти неразличимые подготовительные ступени коллективной ненависти, некое обширное плодородное поле, на котором ее семена легко принимаются и легко всходят.

Современная Центральная и Восточная Европа изображается некоторыми наблюдателями как потенциальная пороховая бочка, как пространство, на котором набирают силу национализм, этническая несовместимость, а следовательно, множатся различные проявления коллективной ненависти. Иногда это пространство описывается как возможный источник будущей общеевропейской нестабильности и серьезной угрозы миру. В подтексте подобных пессимистических рассуждений можно то здесь, то там уловить и нечто вроде тоски по золотому старому времени «холодной войны», когда две половины Европы держали друг друга под шахом, благодаря чему-де и царило спокойствие.

Я не разделяю пессимизма этих наблюдателей. И тем не менее признаю, что та часть мира, из которой я приехал — если нам не удастся сохранить бдительность и здравый рассудок, — может стать подходящей почвой для возникновения и развития коллективной ненависти. Это объясняется многими более или менее понятными причинами.

Прежде всего необходимо иметь в виду, что на территории Центральной и Восточной Европы перемешано много разных наций и этнических групп, так что с большим трудом можно было бы вообразить какие-то идеальные границы, однозначно отделяющие друг от друга места их обитания. Здесь много национальных меньшинств и меньшинств внутри этих меньшинств, границы зачастую весьма условны. короче говоря, это своего рода международный общий котел. У здешних народов было мало исторических возможностей для обретения политической самобытности и собственной государственности: на протяжении столетий они жили под Австро-Венгерской монархией, после кратких межвоенных пауз тем или иным способом были подчинены Гитлеру, а затем или вскоре после того — Сталину. На процессы, которые у западноевропейских народов заняли целые десятилетия и столетия, большинству центральноевропейских народов было отпущено всего лишь двадцать межвоенных лет.

В их коллективном подсознании оправданно присутствует ощущение исторической несправедливости. Гипертрофированное чувство обиды, ха-

рактерное для ненависти, может здесь поэтому вполне логично найти благоприятные условия возникновения и развития.

Тоталитарная система, которая долгие годы господствовала в большинстве этих стран, кроме всего прочего отличалась тенденцией все сделать одинаковым, уравнять, унифицировать, ради чего десятилетиями последовательно подавлялась всякая самобытность и, если хотите, «инакость» порабощенных народов. Начиная со структуры государственного управления и кончая звездами на крышах — все было одинаковое, импортированное из Советского Союза. Стоит ли удивляться, что, когда эти народы избавились от тоталитарной системы, они с небывалой остротой узрели друг в друге эту неожиданно освобожденную «инакость»? И надо ли удивляться, если эта долгие годы не обнаруживавшая себя, а поэтому достаточно не прочувствованная и не осмысленная «инакость» могла показаться странной? Избавившись от униформы и сбросив маски, которые были нам навязаны, мы, собственно, впервые видим истинные лица друг друга. Происходит нечто вроде шока от «инакости». А тем самым создаются и благоприятные условия для возникновения коллективного отпора, который при определенных обстоятельствах может перерасти и в коллективную ненависть.

У народов на этом пространстве просто не было достаточно времени, чтобы их государственное существование достигло зрелости, не было достаточно времени, чтобы привыкнуть к политической «инакости» друг друга.

И снова напрашивается сравнение с ребенком: во многих отношениях у этих народов просто не хватило времени, чтобы политически повзрослеть.

После всего, что они пережили, эти народы испытывают потребность как можно быстрее сделать очевидным сам факт своего существования, добиться признания и оценки. Они просто-напросто хотят, чтобы все о них узнали, чтобы мир с ними считался, чтобы была признана их «инакость». И в то же время, еще не будучи полностью уверенными в себе и в том, что они уже достигли признания, они нервозно поглядывают друг на друга и терзаются сомнениями: не отнимают ли другие народы, обнаружившие вдруг такую непохожесть на них, частицу признания, которая должна была бы принадлежать им самим?

Тоталитарная система в этой части Европы долгие годы подавляла гражданскую самостоятельность и самобытность людей, стремилась превратить их в послушные детали своей машины. Недостаток гражданской культуры, которую эта система так настойчиво изничтожала, и упадок морали под воздействием угнетения неизбежно привели к возникновению неосторожных обобщений, всегда сопутствующих национальной нетерпимости. Ибо уважение к правам человека, не приемлющее принцип коллективной ответственности, есть выражение определенного уровня гражданской культуры.

Я надеюсь, что из этого краткого и по необходимости упрощенного изложения тем не менее понятно, что в нашей части Европы действительно существуют подходящие условия для возникновения национальной нетерпимости или даже ненависти.

Здесь, впрочем, есть и еще один важный фактор. Вслед за первоначальной радостью освобождения неизбежно наступает фаза разочарования и депрессии; именно теперь, когда можно обо всем сказать правду и все назвать своими именами, выявляется весь ужас наследия, оставленного нам тоталитарной системой, и мы понимаем, как долго и трудно придется избавляться от него.

Это состояние всеобщей подавленности может кое-кого спровоцировать на то, чтобы выместить досаду на жертвах, как бы замещающих главного и уже ликвидированного виновника, то есть тоталитарную систему. Бессильная ярость всегда ищет какой-нибудь громоотвод.

Я хотел бы повторить, что об опасности национальной ненависти в Центральной и Восточной Европе я говорю не как о нашем будущем, а как об опасности потенциальной.

Эту опасность необходимо осознать, чтобы можно было действенно противостоять ей, — такова общая задача всех нас, живущих в странах бывшего советского блока.

Энергично бороться против всяческих зародышей коллективной ненависти мы должны не просто исходя из принципа, что злу надо противостоять, но и в наших собственных интересах.

У индусов есть сказка о птице Берунде. Это птица с двумя шеями, двумя головами и двумя самостоятельными сознаниями. Вынужденные сосуществовать, головы возненавидели друг друга и стали мучить — заглатывали камни и яд. Результат ясен: птица умерла в судорогах, громко стоная. Но безграничное милосердие Кришны воскресило ее, чтобы она напоминала людям, к чему приводит любая ненависть. Никогда не уничтожает она одного только ненавидимого, но всегда вместе с ним — а может быть, даже прежде — ненавидящего.

Индийскую сказку мы, живущие в новорожденных европейских демократиях, должны вспоминать каждый день: если только хоть одна из этих демократий поддастся искушению возненавидеть другую, всех нас ждет участь Берунды.

С той только разницей, что вряд ли какой-нибудь земной Кришна возьмется вызволить нас из несчастья.

Перевод с чешского С. Шерлаимовой

Андрей Битов

ПОВТОРЕНИЕ НЕПРОЙДЕННОГО

Да и жить-то осталось
каких-нибудь две пятилетки...

В. Инбер

Какое, милые, у нас
тысячелетье на дворе?

Б. Пастернак

I. ПАМЯТНИК ЛИТЕРАТУРЫ КАК ЖАНР

Саму идею статьи, возникшую вместе с названием, можно пытаться датировать 1970-м или 1971-м годом, когда родилась беспримерная повесть «Николай Николаевич». Именно, скорее родилась, чем была н а п и с а н а.

Хотя она была з а п и с а н а на отличной мелованной бумаге, отличными чернилами, отличным пером, которое мы в детстве называли «вечной ручкой», чуть ли не неведомо откуда заведшимся «Паркером». Записывавший, которого в ту пору трудно было назвать автором, скорее, хозяином или даже владельцем рукописи, любил, чтобы перо скользило особенно плавно, поэтому всегда бывал особенно щепетилен насчет канцтоваров. Записано было практически без помарок, крупным красивым почерком сталинской начальной школы, почерком, неповрежденным последующим писанием конспектов.

Бумага была толстая, почерк крупный — в рукописном виде рукопись выглядела солидно, в машинописном же, самиздатовском виде — сжалась, скукожилась, поблекла до размеров рассказа в журнальном самотеке.

Имя автора на титульном листе не значилось.

Тому может быть целый ряд объяснений, существенным из которых является одно: за подобное авторство можно было получить срок.

Повесть не предназначалась для печати, однако, изначально не только потому, что и напечатана быть не могла. Она как бы и не для того была написана. Она была написана с восторгом и удовольствием, то есть для себя, для собственного самочувствия и, в некотором смысле, самоутверждения, то есть для двух-трех, прежде всего, друзей, которым труд сей был посвящен.

Так что даже если бы в тот год не был закрыт «Новый мир», а была провозглашена наша гласность, повесть все равно, а может, и тем более, была не для печати. Потому что была она и не столько против власти, сколько против печати. Это придется впоследствии разъяснять.

Пока что вернемся к описанию рукописи и ее судьбы.

Скорее всего, впервые она была исполнена вслух для тех же двух-трех друзей, поскольку машинопись возникла далеко не сразу, поскольку, как я уже сказал, писалась не для печати, а скорее как письмо.

Письменное происхождение этого текста я могу засвидетельствовать как очевидец и участник: именно из писем друзьям произошел этот текст, вкратце повторяя историю литературы. Ибо жанр писем в течение двух лет предшествовал рождению произведения большого и сюжетного. А до этих писем никому неведомым автором будущего «Николая Николаевича» владел жанр исключительно устный, дописьменный — жанр песни, шутки, каламбура, застольной импровизации.

В этом жанре автор был любим и знаменит, в масштабах семейного круга и общего стола, какой мог разместиться в масштабах однокомнат-

ной квартиры в Беляеве. Спонтанное это творчество, равное существованию, оплачивалось восторгом, восхищением, любовью тех, кто, между тем, выпускал свои худосочные книжки, оплаченные рублем, критикой, членством в Союзе писателей. То есть гений наш не был п и с а т е л е м. Как ни странно, его такое соотношение не вполне устраивало, хотя он и не показывал виду. Однако стал грозиться, что напишет ро́ман.

И вот он его написал, то есть этого самого «Николая Николаевича». О бывшем воре-карманнике, устроившемся допором спермы в некую лабораторию. История его любви органично переплетается с его трудовой карьерой, с историей страны и нашей многострадальной биологической науки. В каком-то смысле это превосходный производственный роман, мечта соцреализма. Впрочем, определить и описать его необычайно трудно: произведение выпадает из литературы, как из прохудившегося мешка. Очень смешно — вот, что можно было сказать с определенностью.

Но для критического описания, которое, как мне показалось, непрочь был услышать автор, такого определения было явно маловато. В это время у советского избранного читателя был в моде Камю и как раз была опубликована его повесть «Падение». Трудно было бы найти произведения менее сходные по духу и смыслу, но однако оно, единственное, годилось для сравнения. Произведения были, более или менее, равны по объему и приему. Оба написаны от «я» в форме диалога с невидимым и молчаливым собеседником. Но зато как проигрывал прославленный автор анонимному в оптимизме и жизненном напоре! Наш торжествующий надо всем советский быт одерживал очередную моральную победу над заунывно загнивающим Западом. Наш отечественный вариант, в пику ихнему экзистенциализму, следовало бы назвать «Вставание»...

Придя к своему другу похвастаться идеей сравнения его с Камю, я застиг его врасплох. Он был крайне смущен моим приходом, при этом он был в квартире один. Не сразу удалось мне выяснить причину. Он был раздосадован визитом сантехников в связи с засорением канализации. Пришлось демонтировать унитаз, а тот при этом треснул.

Еще более не сразу, а долгое время спустя, выдал мне друг тайную причину засора... Напуганный распространением повести в самиздате (по-прежнему без имени автора), решил он уничтожить самую улику, доказательство его авторства — рукопись повести. Ввиду отсутствия каминов в наших кооперативных квартирах, канализация есть единственный путь для секретных документов. Писаный же на чрезвычайно плотной и недостаточно мелко порванной бумаге, манускрипт забил фановую трубу. Благо на первом этаже, автор попытался справиться с аварией сам, но разнервничался, поспешил и лишь усугубил аварию. Пришлось вызывать. Люди, одаренные столь высоким остроумием, отнюдь не всегда любят сами попадать в юмористические положения. Смех и страх, перемешанные в определенной пропорции, порождают унижение или гнев. Это выражение гневного смущения на лице друга, когда он открывал мне дверь, было ни с чем не сравнимо и очень запомнилось мне.

Время спустя анекдот этот перестает быть столь уж смешным, хотя и относится к одному из самых смешных произведений русской литературы. Анекдот этот становится величественным. Никому еще не удавалось застичь воровато озирающегося автора за сожжением «Мертвых душ» или X главы и вряд ли кто присутствовал при рождении не просто произведения, пусть и гениального, пусть которому и суждено в веках, быть может, и стать чем-то большим, чем произведение конкретного автора, — не произведения, а — сразу ПАМЯТНИКА ЛИТЕРАТУРЫ.

Ибо, что такое, грубо говоря, «памятник литературы» в нашем сознании? Это произведение, пережившее все остальные и утратившее имя автора, а если имя автора и сохранилось, то как бы не человеческое, а мифическое, ибо про человека, носившего это имя, мы уж ничего определенного сообщить не можем. Гомер, Сократ или Шекспир не более люди для нас, чем «Боян бо вещий». На создание «памятника» уходили века, не

столько в смысле отшлифовки в народном сознании конечного варианта эпоса, сколько в смысле утраты имени и биографии автора, а также манускрипта и обстоятельств создания произведения. Вот на это, в основном, требовались века даже в те времена, когда самому авторству и имени не придавалось столь уж существенного значения, как в новейшую историю, когда имена стали значительно крупнее собственных творений.

Над «памятником литературы», после его автора, работает ВРЕМЯ, неустанно переписывая его, хотя бы и один к одному, как борхесовский Менандр.

Категория времени — самая ненавистная для революции. Что как не уничтожение самого времени влечет революционера? Борьба с календарем запечатлевается в первых же декретах. Время человечества выбрасывается на свалку истории ради идеала счастливого будущего, в котором времени уже не будет.

В нашем авторитарном образовании «памятник литературы» впрямую ассоциировался с памятником — такая чугунная или каменная книга, размером с могильную плиту, над которой время поработало больше, чем создатель, и стерло имя. Вещь почитаемая и нечитаемая. Издаваемая для профессоров или ими же и издаваемая ради собственных комментариев. Пусть они ее и читают, свой «Гильгамеш».

Литература перестала быть частью культуры. Она стала занятием. И культура перестала существовать и как самостоятельное слово: культура могла быть поведения и физическая, а также у нее могли быть Парк или Дом. Культура стала овощ. Или быт.

Работу веков мы производили в одночасье и вручную. Индивидуализм, родивший цивилизацию западного типа, например, саму фигуру великого писателя, в XX веке уже отчасти ложную, был нам чужд. Создавались уже не книги, а литературы на десятках языков. Отыскивались основоположники, клепались эпосы. Имя, настаивавшее на себе как на личности, из состояния личности выводилось в расход. Имя могло быть подтверждено лишь созданием эпопеи. Идеал создания монументальной книги мог быть и достаточно циничным (во спасение), и достаточно искренним (для бессмертия), вплоть до «Доктора Живаго» (за искренность и покаранного).

Любопытна и классична история «Тихого Дона» именно в этом, надындивидуальном смысле. Я не собираюсь оспаривать авторство этого литпамятника, более того, охотно его за Шолоховым оставляю. В истории с Шолоховым гораздо значительней и поучительней феномен оспаривания его авторства, чем факт его авторства. Сразу не сходятся две вещи: во-первых, признание и канонизация романа, в классовом отношении весьма сомнительного, в годы, когда смертью карались куда меньшие социальные прегрешения. Роман-то — почти белый, лишь в красную крапинку, чуть ли не позднее почти халтурно окрапленный... во-вторых, драматический перелом, слом личности автора эпопеи, происшедший уже после 37-го, на рубеже сороковых, слом, по свидетельствам, достаточно резкий и внезапный, наглядно выявившийся уже в послевоенные годы, превративший фигуру в советской жизни достаточно могущественную и самостоятельную, в нетрезвую функцию официальных установок.

Известный критик и литературовед Л. предложил мне версию перерождения автора знаменитой эпопеи, чем-то обоснованную, может, и не более обоснованную, чем предположения о других, более подлинных авторах «Тихого Дона», но для меня психологически куда более убедительную. Будто проявленная в каких-то случаях репрессий самостоятельность позиции Шолохова дошла до Сталина и обеспокоила его. Будто Шолохов был вызван для личной беседы. Будто ему было сказано, что может вдруг оказаться и другой подлинный автор «Тихого Дона». Что именно после этого разговора Шолохова стало не узнать. Что ж, не исключено, что угроза потери любимого детища еще страшнее высшей меры.

Если это и чистый миф, то важен и миф. Как миф он не менее убедителен, чем указание Крупской, что может быть и другая настоящая вдова. Разговорчики вокруг подлинности авторства тех или иных вершин соцреализма водились и по более мелким поводам: «Как закалялась сталь», «Далеко от Москвы», посмертные песни Джамбула, сказителя, не знавшего письменности, а потому неспособного оставить письменного наследия, — и прочее клеветничество, — все это для меня проявления определенной установки: обобществление продукта. За надличностный характер эпопеи Шолохов удостоен был официально всенародного признания — тому же и наказанию подвергнут: стиранию имени как усекновению главы.

Именно неотъемлемость имени от творчества, то есть личность, то есть индивидуальность, в малом случае осуждалась как пережиток, в крупном — каралась приговором.

Так что революция не только послужила стимулом для взращивания молодых литератур, но и русскую литературу поставила в положение младописьменной.

А потом и саму письменность. Лишившись для начала ятей, фиты да ижицы, сведя разнотравье типографских шрифтов к двум или даже одному, нам уже все равно, на каком языке то же самое читать — на русском или татарском.

И начали варить новую речь на открытом огне при постоянном социальном помешивании.

И родился новый язык, удивительный конгломерат советских и бюрократических клише с языком улицы, обогащенным лагерной феней. Единственно, что оставалось в таком языке родного, это мат.

Письменность уже была объявлена для ста языков, но у языка, на котором говорили все, ее не существовало.

Признание, слава, репутация, известность, место в литературном процессе и место в литературе — все это вещи качественно разные. Даже такие поэты, как Тютчев и Фет, стали вполне известны лишь после статьи Некрасова «Русские второстепенные поэты», опубликованной, когда Тютчеву было под пятьдесят, а Фету тридцать. А. К. Толстой был даже не этого ранга, а его совместное с Жемчужниковыми детище Козьма Прутков был, пожалуй, более всех знаменит, но вряд ли считался вообще *литературой*. Сегодня репутация Тютчева спорит с пушкинской, Фет — великий поэт, более бесспорный, чем Некрасов. А. К. Толстой великий писатель второго ряда, Алексей Жемчужников — просто поэт третьего ряда, а Козьма Прутков — чистый гений. Как писал его выдающийся последователь, наш современник Дмитрий Александрович Пригов в своей «Азбуке»:

Овидий — это первый век,
Онегин — лишний человек.
Пушкин — это чистый гений,
Пригов — это тоже гений.

Любопытно, что форма такой абсурдной азбуки: «Б — Больная Юлия», «Т — Татарин, продающий халаты и вату», — изобретена «третьим» Жемчужниковым — Александром, литературная судьба которого всегда очень занимала мое воображение.

Именно на этой «Азбуке» стоит виза его брата Владимира: «Сашенькины глупости», по коей «Азбука» не входит в свод сочинений К. Пруткова. Владимир, единственный из четверки братьев, отнесся ко всему делу всерьез, доводя наследие К. Пруткова до сознания просвещенной публики. Сашенька вообще на отшибе, его почти не упоминают среди авторов — он лишь «поучаствовал». Между тем, с более модернистских и авангардистских позиций, К. Прутков, конечно, куда больше и дальше «сатиры и юмора». Похоже, сами авторы не могли оценить своих более абстрактных заслуг в своем времени; более воспитанные на «пользе обществу», они скорее оправдывают, чем провозглашают Пруткова. Сашенькина же роль, в этой связи, вполне может быть пересмотрена. Хотелось бы этим заняться, пока что предположим... Может, он из всей блестящей братской команды был самый абстракционист и авангардист. Ибо «поучаствование» его каждый раз происходит на уровне зарождения жанра: первая басня, первая пьеса... Будто дальше эксплуатировать однажды абстрактно и всецело обретенную форму ему уже неохота и лень, и он отстраняется перед литературной настырностью братьев. Оттого и другие, найденные им фор-

мы остались в области «глупостей», что не были проэксплуатированы, пребывали в самих себе с самодостаточностью формы. Будто чувство формы у Сашеньки было из будущего века.

Это вторая, подпольная, андерграундная линия русской литературы была всегда и всегда даже не на втором, а на десятом плане, как и не литература вовсе. Она и начинается-то задолго до нашей великой литературы, но заслонена и затерта ею. Ее оттесняют и от фольклора («Заветные сказки», бессмысленные присказки) Кирша Данилов, Барков, Прутков... Всем им не отведена та роль, которую они не только сыграли, но и продолжают играть, не покидая никогда языка ЖИВАГО. Ими все пользуются, обогащаясь, да никто, кроме Александра Сергеевича, не посмел признать эту роль. По-видимому, великой литературе было удобно так. Но это уже ее номенклатурные черты.

Единственное, что можно и нужно сделать,— ИЗДАТЬ все это АКАДЕМИЧЕСКИ с аппаратом и комментарием в серии «Литературные памятники». Издать, чтобы успокоиться наконец на всякие запретные и иерархический счет.

Советское время особенно светится этим забортовым рядом. НЕПРЕРЫВНО живое слово сохраняется только там. У нас в России авангард был всегда, по крайней мере после капитана Лебядкина...

Обэриуты.

Николай Глазков.

Генрих Сапгир, Игорь Холин, Владимир Уфлянд.

Дмитрий Александрович Пригов.

Еременко, Кибиров, Рубинштейн...

Я спросил электрика Петрова:
«Ты зачем надел на шею провод?»
Петров же ничего не отвечает,
Висит и только ботами качает.

Тоже народное, но только — Олега Григорьева...

Поэзия этого рода, выходит, выстаивала и не кончалась. Потому что она никогда не была печатной. Устной, народной, под шум печатных станков.

Проза же прерывалась. В литературе, от которой требовали «памятников», угрожая пистолетом, проза смолкла.

Но, самое смешное в своей неумолимости, что возродилась она в виде «памятника», и первыми были «Москва — Петушки» в 1969 году.

Можно так, образно и лестно, счесть, что советская власть уплотнила время, сжала его репрессиями до плотности египетских веков, до структурных изменений породы под столь геологическим давлением верхнего эшелона. Мы всегда готовы польстить власти, признав за бесчеловечностью силу.

Нас так сдавило, что то, на что требовались века и тысячелетия, мы приспособились «созидать» за две-три пятилетки. Развитию этого тезиса я и хотел посвятить забытую статью. Так сжало нас время, что вот, в результате, и памятник.

Хвастать можно и страданиями, не надо забывать, как нас помучили. Тут нет достижения.

Достижения нет — а памятник есть. Поднатужимся. Какашка эпохи. Свидетельство.

Благородство — вот еще признак памятника. Родовой признак победы над историей.

От «Москвы — Петушков» разит благородством, а не перегаром. От Венички не воняет. Это чистая субстанция. Возгонка героя.

То, что на обложке стоит имя автора «Венедикт Ерофеев», больше свидетельствует об анонимности литпамятника, чем даже отсутствие имени. Потому что и герой поэмы — Веничка Ерофеев, но герой-то в этом случае — никак не автор. Так Печорин мог бы быть автором романа «Герой нашего времени».

Затем — «Николай Николаевич».

В 1980 году я читал анонимную повесть автора уже совсем другого поколения — «Венок доносов».

Каждый раз достижение автора бывало столь абсолютным, что не нуждалось уже в подтверждении в последующем творчестве.

И было это все написано на нашем с вами языке.

Прочтите следующий набор и попробуйте угадать, как такое может придти в одну голову...

«Гуляев, Сидоров, Каценеленбоген, фон Патофф, Эркранц, Петянчиков, Кырла Мырла, Яблочкина, положение в биологической науке, Лубянка, чифир, Герцеговина флор, «Привет холодному уму и горячему сердцу!», тов. Растрелли, НЭП, коммунист Бинеэон, Гиперболоид инженера Гарина, Коган-дантист, Бухарин, Рыков, Зиновьев, Каменев, Крупская, Землячка, Киров, Джамбул, Орджоникидзе, озеро Хасан, Челюскин, Леваневский, Чкалов, Колыма, Ромэн Роллан, Герберт Уэллс, «кадры решают все», «эмка», Анна Ахматова, Зощенко, астроном Амбарцумян, Каганович, Маленков, Молотов, Тито, маршал Чойболсан, Корнейчук, «Вечорка», «Гудок», «Пионерская правда», Женская консультация им. Лепешинской, Зоя Федорова, «Радищев едет из Ленинграда в Сталинград», «Буденный целует саблю после казни царской фамилии», Вот кто сделал пробоину в «Челюскине» и открыл каверны в Горьком, «ленинский огромный лоб», Сталин поет в Горьках «Сулико», Стаханов, Плеханов, Миша Ботвинник, мир внимает Лемешеву и Козловскому, Якир, Тухачевский, Егоров, березовая роща, Шверник, проф. Боленский, способ Лумумба — Троцкого, протокол 46, «у самовара я и моя Маша», бендеровцы, Блюхер, Лысенко, Перекоп, Папанин на льдине, «ужас из железа выжал стон», Карацупа и его собака Индура Ганди, папиросы «Норд» («Север»), «наше гневное нет», Кукрыниксы, член горсовета Владлен Мытищев, термитчица коврового завода Шевелева, Эренбург, Юра Левитан, Мартышкин, Норберг Винер-Карцер, Валерий Чкалыч, «Позволительно спросить братьев Олсоп, Пахмутова, Попов, Аврор, Андрей Ягуарович Вышинский, работницы «Трехгорной мануфактуры», «Паша Ангелина в Грановитых палатах примеряет корону Екатерины II», Вадим Козин, «кухарки учатся руководить государством», Джавахарлал Неру, «Запорожцы пишут письмо Трумэну», из карельской березы, Сурков, Фадеев, Хренников, носорог Поликарп, Сидор Помидорыч, Уланова, «Гуталин», «Друзья и враги» Симонова, «Музыкальная история», «На границе», генерал-лейтенант Денисов, артист МХАТ Трошин, Козловский, Николай Озеров, ОБХСС, «Хворум», сталинская конституция, Аркадий Семенович, Чапаев, в какой-то деревне Каменке, коллективизация, Максим Дормидонтыч Михайлов, Дунаевский, «мы покоряем пространство и время», Попович, Терешкова, Альф Центавр, Дзюба, арифметик Шапошников, «жди меня и я вернусь» Симонова, Чернышевский, Хабибулин, «ум — честь — совесть», Кукрыниксы, Рябушинский, Борис Эдер, Белинский, мудила из Нижнего Тагила, блядь с Курской аномалией, Махно, Родзянко, Галахер, Колыма, Четвертая глава, газ «Зелинский — Несмеянов», «Сулико», Курчатов, Алейников в «Большой жизни», Большой Георгиевский зал, Вучетич и Манизер, «Если завтра война, если завтра в поход, если черная сила нагрянет», Бурденко, инженер-майор Агаланов, «первый сокол Ленин, черный орел Абакумов», Дуров, кремлевский труп — вишневые куранты, Пронькин, Шепилов, «Березка», «Белеет парус одинокий...»

Почему-то именно так заканчивается этот ряд.

II. АВТОР БЕЗЫМЯННОГО ПАМЯТНИКА ЛИТЕРАТУРЫ

Но не разбился, а рассмеялся.

М. Горький

Белеет Ленин одинокий...

Ю. Алешковский

Итак, кому могло прийти такое в голову, поставить все эти, и сами-то по себе бессмысленные, слова в единый ряд? В данном случае, если рассматривать весь этот ряд как единый текст, у него будет четыре соавтора, включая эпоху. Но один все-таки главный. Это именно ему так досадил Валентин Катаев, что именно названием его романа заканчивается все перечисление. Разъясним хотя бы последние слова...

Еще в дописьменный свой период Юз Алешковский зачинает устную серию «миниклассики» бессмертным:

Белеет. Парюсь одинокий...

Рождено в бане. За ним последовало:

С печальным шумом обнажалась...
На севере диком стоит одиноко...

И т. д.

Это не просто ирония непризнанного над признанным, это ирония бесписьменного над письменным.

К классикам еще любовная. Как у А. К. Толстого к Пушкину:

Когда бы не было тут Пресни,
От муз с харитами хоть тресни.

Так что,

Белеет Ленин одинокий—

Это не ирония по отношению к четырнадцатилетнему гению Лермонтову и даже не нелюбовь к Ленину, а некая идиосинкразия к другу подпольщиков дворянскому мальчику Пете, герою прославленного романа для юношества дворянина Катаева, ученика Бунина,—тому Пете, которым нас с детства кормили с ложки наряду с Павкой и Павликом.

Чем объяснить у очень умного и зрелого человека такую долгую навязчивую до и под- и бессознательную неприязнь? Не умом же? А тем, что природный ум десятилетиями истязается одним и тем же, а именно и только тем, что не есть предмет не только изощренного, но и никакого ума. Ум восстает на новоявленный язык. Естественно—как желудок. Он—отказывается переваривать, исторгает.

Очищается.

«Первые книги, которые выйдут в России без цензуры,—говорил Пушкин незадолго до гибели,— будет полное собрание сочинений Баркова». Полтораста и еще пять лет спустя этот завет остается не выполненным.

Эти последние наши пять лет — пятилетка гласности — особенно наглядны. Цензуры не стало как никогда, однако она оставила за собой, по крайней мере, три пункта: военную и государственную тайну, пропаганду войны и насилия и порнографию. Военная и государственная тайна не выбалтывается, однако, нынче лишь до тех пор, пока она никому, включая ее носителей, неизвестна. Пропаганда войны и насилия либо вообще не свойственна психически нормальному человеку, либо стала такой нормой жизни, что никем не замечается, как наши лозунги. Порнография настолько традиционно не развита, что ее можно было бы и не заметить невооруженным глазом, как чуть завернувшуюся на ветру юбочку, если бы не сам цензурный запрет. Ибо под запрет попал язык, а не описание.

То есть мат, единственная оставшаяся в живых природная и родная часть языка нашего.

«Первые книги, которые выйдут в СССР при действительной свободе печати (не путать ни с цензурой, ни со свободой слова, ни с гласностью...),—скажу и я, все еще не погибая,—будет полное собрание сочинений Алешковского».

Как нерешительно и стремительно ширилась наша гласность — еще в 87-м нельзя было упомянуть имя Бродского, а в 88-м доносили за Солженицына. Рассуждались уже не книги (цензуры уже как бы не было), а судьбы (идеология оставалась). Сначала стало можно публиковать тех, кто умер, но тоже в последовательности: предпочтительнее тех, кто давно умер (Мандельштам, Булгаков), затем тех, кто при жизни за границей не печатался (Платонов, Гроссман), а потом уже, кто при жизни там напечатался, от чего и умер (Пастернак, Домбровский), затем уже тех, кто еще жив. Но и тут последовательное предпочтение: жив, но ТАМ не печатался (Рыбаков, Дудинцев), затем, хоть ТАМ и печатался, но зато жив ЗДЕСЬ (Искандер, Венедикт Ерофеев), затем даже так: хоть и уехал, зато на родине и не печатался (Саша Соколов, Лимонов), и лишь затем тех, кто и здесь печатался, и уехал, и там печатался (чтобы распечатать последний ряд, следовало для начала ТАМ и умереть, как В. Некрасов). Все это была уже застарелая политика, а не цензура—запретны были не тексты, а авторы. Тут тоже оказалась бездна нюансов, кто за кем. Но вот уже и Максимов печатает свой журнал у нас, а наши журналы заполнены эмигрантской литературой, как в свое время секретарской. Одной лишь современной литературе по-прежнему не оказалось места. Оказалось, что ее и нет, современной литературы.

Один лишь Юз Алешковский остался нераспечатанным, как и был, обведя собою границу нашей гласности. Или—заточенный в эту границу, как остров. Наша гласность ласково лижет его берег. Никто никогда и не думал бы, что именно этот берег так крут.

Юз Алешковский родился в 1929 году и эмигрировал в 1979 году на волне альманаха «Метрополь», где был впервые опубликован. Поскольку и этот альманах впервые вышел на Западе, то все, что опубликовал Алешковский: повести и романы «Николай Николаевич», «Кенгуру», «Маскировка», «Рука», «Синенький скромный платочек», «Смерть в Москве», «Блошиное танго» и др.— все это в Америке.

И это драматично и смешно, как сама его проза. Потому что прочесть его можно только в СССР, потому что читатель его—только СОВЕТСКИЙ человек, потому что Алешковский непереводим ни на один язык, кроме русского. Ибо написаны его книги на языке, на котором письменности до него не существовало. И словаря. Ни толкового, ни бестолкового. Алешковский и есть и письменность и словарь этого языка. Языка, на котором все мы, советские, как русские, так и нерусские, если уж не все говорим, то все живем.

И наши вкусы здесь ни при чем, как и продукты, которые мы потребляем.

Не сразу сварился тот советский язык, на котором выговаривает свои произведения Алешковский, но заварен он был враз, гораздо стремительней, чем теперь может показаться. Первая мировая и гражданская перемешали классы, народы и более мелкие социальные слои, прослойки и прослоечки (многие из которых в прежней жизни могли не иметь ни одного прямого контакта) до такой степени, что разделить их обратно не удалось бы и при самом благоприятном обороте истории. Этот мутный поток нового языка родился раньше, чем устоялись новые структуры власти. Эти новые структуры, в свою очередь, смешали язык революционной пропаганды с имперским канцелярским языком, и это новое наречие органически влилось в общий чан языка. Этот социальный воляпюк ревпропаганды, окопов и подворотен веселил молодых писателей 20-х годов, помнивших язык изначальный. «Рассказы Синебрюхова» Мих. Зощенко

(1921) писаны еще окопным сказом, а уже в 23-м он начинает писать рассказы языком совбыта. И если у Зощенко доминирует речь его героев, то у Леонида Добычина уже в 24-м эта новая речь становится чисто авторской, НЭП сообщает этой речи живое движение. Попытка сделать этот новый дикий живой язык и языком литературы продолжается до тех пор, пока ее не прекращает сверху уже сложившаяся сталинская диктатура. Именно она разлучила живой язык и литературу, разослав их по разным этапам, тем самым прекратив литературу. Далее следует уже история языка, не отраженная литературой.

История геноцида русского языка пока еще не написана. Она проклевывается лишь в форме редких сетований о его состоянии. Пока что складывается история геноцида людей, причем тоже в обратном порядке: партийцев, советской интеллигенции, крестьянства, дворянства, духовенства, то есть классов, то есть собственно интеллигенции, затем малых народов и наций... подбираемся к большему: к геноциду культуры, к геноциду окружающей среды, человека как такового, то есть к геноциду самой его природы, то есть самой природы, то есть Творения. О, если бы можно было ухлопать сразу самого Бога! — не потребовался бы столь хлопотливый и трудоемкий путь. Мы пишем нынче эту всеобщую историю геноцида и не можем ее охватить — тома сыплятся из наших дырявых рук. Мы не замечаем, что она уже написана, эта история — это наш язык, наша речь, мы сами, каждый из нас. То, что с ним и с нами, со мной и с тобой стало. Сказано: стиль — это человек.

История геноцида языка могла бы быть написана конкретно, научно. Этакий ГУЛАГ для слов. Язык как ГУЛАГ. Для начала как история партийных постановлений и установок. Потом как вымирание словаря. Потом как заселение его разного рода выдвиженцами, под- и переселенцами. Потом как быт порабощенной речи. Периодическая борьба за его чистоту — история чисток. Потом как история восстаний и подавлений языка. При всей гибкости и безответственности никто не был таким героем, как наш язык. Никто так не выстоял. Язык рассмеялся. И нет у тирании страшнее врага. Срок за длинный язык и анекдоты — частное тому доказательство.

Существует негласный тест на долгожитие тирана в России: до тех пор, пока впрямую не займется русским языком и евреями. Это и есть вершина пирамиды его власти, вершина падения. Руки тирана доходят до реформ в языке в последнюю очередь, от полноты. «Марксизм и вопросы языкознания», дело врачей и смерть...

Литературная биография Юза Алешковского начинается именно в этой точке, с вершины и нуля 1953 года:

Товарищ Сталин, вы — большой ученый.
В языкознаньи знаете вы толк...
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ — серый брянский волк.

Биографию советского языка он прошел вместе с народом, научившись говорить в 1932-м, учась писать в 37-м, бросив учиться во время войны, сев в тюрьму в 1949-м и благополучно выйдя из лагеря в 53-м дипломированным профессором советского языка. Язык к этому времени состоял из самой жизни, не смущенный и тенью культуры и литературы, но и сама жизнь удержалась лишь в языке, до завязки насыщенном лагерями и новой войною, газетными клише и соцреализмом. Язык этот находился в дописьменном состоянии. На нем все говорили, но никто не писал.

И Алешковский начал как сказитель — с устной литературы. Песня. Кроме великой народной песни про «большого ученого», он создал еще ряд, задолго до бардов и моды на них, в частности, «Советскую пасхальную», «Советскую лесбийскую» и великий «Окурочек». Это была поэзия, но была и проза. Тоже устная. Хохма, шутка, каламбур, афоризм — застольное «треканье». Для остальных это мог быть разговор — для него жанр. И в этом жанре он был признан в кругу как гений. Но никто в кругу

не заподозрил, что он — мастер, что он — работает, что его потребляют, потребляют не всего лишь просто свойственное нормальному человеку желание нравиться, но плоды его умственного и духовного труда. С годами восторг стал недостаточным гонораром и, осторожно попробовав бумагу в письмах друзьям, пропустив сквозь душу танки в Чехословакию, Алешковский сел «чирикать» прозу и начал сразу с «рóмана». Писался этот рóман, как посвящался, тем же друзьям, кому и письма.

Но и не с рóмана начал Алешковский, а сразу с памятника литературы. С помощью советской истории столетия развития языка оказались спрессованы в десятилетия, и за пятнадцать лет в одном «отдельно взятом за жопу» Алешковском советский язык прошел свое литературное развитие от песни до рыцарского романа, и СОВЕТСКАЯ литература наконец родилась! (В отличие от государственной советской и русской советского периода.) Мини-роман «Николай Николаевич» обладает всеми параметрами литературного памятника и по изначальной утрате оригинала, и необязательности имени автора, и по праву первой ночи регистрации ЖИВАГО языка.

Проза Алешковского несет в себе отпечаток изначального устного жанра — «треканья». Герой, повествуя от «я», рассказывает за бутылкой историю своей жизни невидимому, лишенному дара речи, дебильному собеседнику. Но если и в последующей прозе Алешковский не сумел преодолеть однажды обретенный им жанр и приговоренно за ним следует, то и заслуга его — не в жанре, а самая высшая — в языке.

Как бы пояснить, в чем состояло его достижение? В жизни великий готовщик, Алешковский часто прибегает в своих сочинениях к гастрономическим метафорам и уподоблениям. Попробуем и мы. Представьте себе огромный праздничный стол, на котором было накрыто все. Весь опыт человечества разлит по бутылкам, и века ушли на то, чтобы различить и разделить хмель как таковой по бутылкам, развить культуру виноделия. Шампанское, водка, настойки, коньяки, пиво и вина сотен сортов... сколько труда и ума ушло, чтобы определить и отстоять эти дефиниции! Не говоря о культуре потребления всего этого порознь... Теперь представьте вместо этого изобилия и многообразия одну огромную парашную бочку, куда все это слито, включая и парфюмерию... и мы это поварешкою оттуда хлебаем. Здравые и передовые и свободолюбивые заявляют: так пить нельзя! Так вот, попробуйте разлить эту парашу обратно в бутылки, причем так, чтобы в бутылке из-под шампанского оказалось прежнее шампанское, а из-под пива — пиво и т. д.

Между тем, именно этим мы занялись, начиная с оттепели, отделяя соцреализм от государственной литературы, а то и другое — от русской, пытаясь воскресить классическую традицию и разделить язык советской газеты, литературный язык, народную речь, жаргон, феню, мат друг от друга, возводя шаткие интеллигентские мостки через исторические провалы — не заметили, как и подморозило вновь. И милый сердцу Никита Сергеевич, стоило пошатнуться да покачнуться на этих мостках, для равновесия — замахнулся на язык (кто подстрекнул?), намереваясь ввести сверхдемократический закон «как слышится, так и пишется», и был смещен за столь крайнюю степень волюнтаризма: загрызла его «мышь» без мягкого знака, закусил им «заяц» через «е».

Алешковский же не стал заниматься безнадежным делом обратной очистки речи, окультуриванием остатних ингредиентов, трезво полагая, что на облагораживание языка уйдут не отпущенные ему столетия отнятой у него до рождения культуры, — он взболтал как следует всю эту тошнотворную смесь и выгнал из нее свой первач, по крепости не уступающий царской водке, и растворил в ней свой опыт советского бытия.

Пить это нельзя, но лечиться можно.

Главным препятствием Алешковского на пути к советской публикации в эпоху гласности является злоупотребление крепкими выражениями, проще — матом. А так, все остальное вроде бы и можно — все уже разоблачено и даже отчасти осуждено. Но — не проклято! А как же проклясть? — ставя точки, что ли?

Дело в том, что язык Алешковского однороден, слова у него равноправны, и употребление советской фразеологии на его страницах куда более непотребно и похабно звучит, чем вульгарные жаргон и феня. Благородные же кристаллы мата, единственной природной и принадлежной части русского языка, сохранившейся в советском языке, продолжают слать нам свет человеческой речи, как погасшие звезды во мраке планетария.

Трудно согласиться, что на языке Алешковского мы не только выражаемся, но и живем, но если притерпеться и принять, то — о чем же Алешковский?.. О том, как же это мы притерпелись и приняли то, от чего содрогаемся в виде слов, а не действительности. И Алешковский предстает тогда нам писателем чрезвычайно традиционным в оценках, повествующим лишь о смысле вечных общечеловеческих ценностей, моралистом и даже резонером.

Радость жизни — основная моральная ценность по Алешковскому. Извращается жизнь — извращается и ценность. В этом природа его гротеска и метафоры: метафора преувеличена, гротеск метафоричен. Все это шокирует, кричит. За криком можно не расслышать, под шоком не разглядеть. Между тем Алешковский говорит очевидные вещи. Что ж делать, если мы настолько принюхались, что и прижились, что не видим, не слышим и не обоняем? Неужели и так не слышите, а вот так не видите тоже?.. вот вам под нос — чего воротите, ваше же...

Повесть «Маскировка» — такая преувеличенная метафора. Событийность у Алешковского — невероятная. Невероятность же эта — наша с вами действительность, увиденная здравомыслящим человеком, с неискаженным чувством нормы, то есть человеком здоровым и нормальным, то есть человеком ужаснувшимся.

«Николай Николаевич» был написан уже двадцать лет тому. Это сочинение историческое (о периоде 1945—1956). «Маскировке» лет пятнадцать. Она вещь уже современная по тому времени: вторая половина семидесятых, народная гласность тех лет, задолго до того, как партия нам в очередной раз «открыла глаза». Гиперболы Алешковского уже могут быть опубликованы именно потому, что как бы уменьшились и оказались не такими уж... Многие преувеличения Алешковского оказываются пророческими, сбываются на глазах, хотя бы и в виде парадоксального факта. Журнал «Искусство кино» начал романом Алешковского «Кенгуру», написанным вслед за «Маскировкой». Сюжет романа — невероятное следствие по делу об изнасиловании и садистическом убийстве бедного животного в столичном зоопарке. Каково же было мое удивление, когда вскоре после отъезда Алешковского (навсегда!), прочитал я информацию в газете, кажется, «Московской правде», о чудовищном факте такого злодеяния в зоопарке и почему-то именно кенгуру... А недавняя война? Хусейновские надувные самолеты и танки, бункера и подземные аэродромы, а также его сводки о победах иракского оружия — что это как не «Маскировка», уже в мировом масштабе? И разве так уж невозможно, чтобы кладбище провалилось в секретный подземный цех? А как наивно нынче уже звучат сетования героя на отсутствие трескового филе в магазинах, на дороговизну картошки (7 р. ведро), на удвоение тарифа такси (20 коп.), не говоря об алкогольной дороговизне, не то что об его наличии... «Повышение цен на отсутствующие в продаже продукты и промышленные товары оказалось правильным политическим шагом, но не принесло желаемого экономического эффекта» («Маскировка», гл. 10). Сатира, там, где она всего лишь сатира, стареет быстрее всего, ибо — сбывается. Новый Павлов отрабатывает условные рефлексы уже не на собачках.

Тем не менее «Звезда» публикует это в чем-то устаревающее сочинение. И я благословляю этот ее до сих пор решительный шаг, дабы наши перестройка и гласность не оказались очередной «маскировкой» режима, чтобы не вступить нам в очередной исторический период повторения непройденного.

III. ХЕРР ГОЛЛАНДСКИЙ...

Наши беды непереводимы.

М. Жванецкий

Тут мне перехватывает дыхание, и я возвращаюсь к разгадке той загадки...

Та безобразная и бесконечная цитата — никем не сочинена, а представляет собой естественный и последовательный ряд слов и выражений, недоступных голландскому читателю и требующих дополнительного для него разъяснения. Все это выписано из романа Юза Алешковского «Кенгуру».

Я легкомысленно взялся помочь милой переводчице, прокомментировав загадочный список.

Проблема! Проблема хотя бы с точки зрения здравого смысла. И нам-то (каждому следующему поколению все больше) придется залезать в справочные издания (желательно устаревшие, легкомысленно выкинутые на свалку истории), чтобы объяснить западному читателю, с внятностью и точностью, к которой они приучены, суть того или иного недоступного им понятия.

Например: «Герцеговина Флор», Землячка, «Челюскин», Зоя Федорова...

То же ли это самое, что и наше детское усилие прочесть в комментариях к «Трем мушкетерам», сколько лье в луидоре или когда Ришелье любил Рекамье?

Почему-то — не то же.

Про «Герцеговину Флор» еще можно рассказать... Как Сталин разламывал папиросу, набивал ее табачком трубку. А что сказать им о «Челюскине»? Что это, пароход или исследователь, кто такой Отто Юльевич Шмидт и зачем его спасать первым Героям Советского Союза?.. Что сказать им о Землячке... Что она член КПСС с 1896 года, в то время как сама КПСС с 1952-го? Что такое ВКП и маленькое «б»? Или что zemlua по-русски означает «ёрс» (или как там по-голландски), а «землячка» — соотечественница по малой родине... или что она работала в наркоматах РКИ и НКПС... И что такое наркомат, и что такое РКИ, и что такое НКПС...

Лучше тогда о Зое Федоровой... Ее нет в энциклопедии. Что была она настоящая кинозвезда 30-х годов, что имела роман с американским военным атташе, за что и села, что дочь ее, красавица Вика, родилась там, а потом уехала к папе туда? Или что бедную Зою жестоко убили в собственной квартире при крайне странных и сомнительных обстоятельствах? Или что снималась она, уже пожилая красавица, в роли школьной уборщицы в детском фильме по сценарию того же Юза Алешковского и он ей признался в той любви, которую испытывал к ней до войны, а она ему сказала: «Дорогой мой, тогда все меня любили».

В «Войне и мире» у Льва Толстого есть место, описывающее мирное общение русских и французских солдат. Солдаты, простые люди, преимущественно крестьяне; понятие «народ» в 1812 году другое, чем сейчас. Обе стороны в совершенстве не знают язык друг друга, и им от этого удивительно весело. Это очень смешно — воспринимать чужой язык с точки зрения своего, только на слух. Им весело настолько не понимать друг друга.

Эпизод этот имеет прямое отношение к проблеме перевода вообще. Но особое значение приобретает он в советское время при переводе русской литературы советского периода. При попытке же перевести Юза Алешковского на иностранный язык мы окончательно попадаем в положение толстовских солдат.

Потому что сам советский язык является в каком-то смысле плодом переговоров. Так забавно и точно подмеченных Толстым. После револю-

ционных кровосмешений (кровосмещений) речи, отчасти отраженных и выраженных в литературе 20-х годов, отчасти представлявших если и не совсем естественное развитие языка, то хотя бы естественное его изменение, по его законам, — наступает время его стабилизации, отражающей стабилизацию сталинской диктатуры. 30-е годы, язык, в котором и рождается Алешковский.

Язык, как известно, — для общения и развивается лишь в общении, то есть сам язык нуждается в общении. В стране с уже опущенным железным занавесом язык общается лишь с газетой, унифицированной идеологией и пропагандой как бы в одну огромную газету, величиной во всю страну. В эту газету страна и завернута.

Слово поступает в язык сверху и переваривается всей страной. То ли это процесс над врагами народа (Бухарин, Рыков, Зиновьев, Каменев), то ли это трудовой почин шахтера или тракториста (Стаханов, Ангелина), то ли это протест против «происков империалистов» (Черчилль, Риббентроп, Керзон, Тито), то ли героический перелет или дрейф (Чкалов, Папанин, Челюскин, Леваневский), то ли это прогрессивные гуманисты, друзья советского народа и человечества (Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Джавахарлал Неру), то ли это достижения советского спорта и культуры, поразившие весь мир (Уланова, Лысенко, Ботвинник, Амбарцумян, Яблочкина, Кукрыниксы, но и Корнейчук, Фадеев, Симонов), то ли это набор обязательного всеобщего среднего образования, то есть вообще школьный (Радищев, Горький, Джамбул) — все это не конкретные исторические имена и фигуры, а СЛОВА, насажденные в народное сознание пропагандой, слова, по природе своей ничего не значащие для народа, ЗВУЧАНИЯ. Это такие гармонические ряды или даже трели, высвистываемые на мотив членов Политбюро (Каганович, Маленков, Молотов). Чуждые уху и сознанию, насильно насажденные слова и имена (одно и то же имя не сходило месяцами и даже годами), иногда звучали смешно и обретали народную этимологию, становились как бы частицами, вставными словами, паразитами речи, чем-то синонимическим (что Яблочкина, что Джамбул, что Чойбалсан, что Лумумба; что Дзержинский, что Буденный), то есть начинали выполнять ту же функцию, что и мат.

Это и есть одно из основных достижений языка Алешковского — зафиксировать и развить отношение русского языка к советской идеологии.

Поэтому попытка прокомментировать для иноязычного читателя все советские слова, употребленные Алешковским, была бы не только громоздкой, но и бессмысленной не только потому, что жизнь наша и опыт происходили по разные стороны Луны, не только потому, что этого никто, кроме нас, не поймет, но и потому, что и сами-то мы этих слов не знаем и не понимаем, а лишь катаемся по этому скользкому ассоциативному слою, как по льду. И комментарий требуется уже не только при переводе с языка на язык, но и при переходе от поколения к поколению. Кому еще что-то говорит слово «Лумумба», тому уже ничего не говорит слово «Паша Ангелина».

Советские слова в тексте Алешковского следует воспринимать как непереводимые в той же мере, в какой непереводим мат. Если непонятно, значит ругается, а звучит неплохо. «Маршал Чойбалсан» разве не «ёб твою мать», а Лумумба — разве не способ?..

Для ориентации восприятия иностранцем незнакомых слов разберу лишь несколько типологических примеров.

«Тов. Расстрелли» — товарищ (сокращенное тов.), революционное обращение, заменившее «господина» (господ больше нет), строго обязательное в обращении партийцев друг к другу (как «геноссе»); Растрелли — итальянский архитектор XVIII века, построивший очень много знаменитых зданий в Петербурге, в частности и Зимний дворец, который легендарно брали штурмом во время октябрьского переворота; расстрел (расстрелять, расстреливать) — основной способ казни в советское время, как правило, без суда и следствия.

«Паша Ангелина в Грановитых палатах примеряет корону Екатерины II» и «кухарки учатся руководить государством». Паша Ангелина — кажется, первая советская женщина-трактористка (традиция эта перейдет впоследствии к Терешковой, первой женщине-космонавту, тоже у Алешковского поминаемой), соответственно ее фотографии не сходили с газетных полос целую пятилетку, была депутатом Верховного Совета СССР, а сессии его проводятся в Кремле; Грановитая палата — едва ли не самая знаменитая комната в Кремле, каждому почетному гостю демонстрируемая: там трон, на нем «заседал» еще Иван Грозный, Екатерина II — великая императрица XVIII века, все еще уцелевшая как имя в памяти народной и не до конца изгнанная из школьных учебников истории в качестве жестокой «крепостницы»; естественно, что именно Паша Ангелина примеряет ее корону. Знаменитое высказывание Ленина о совершенстве будущего социалистического государства: «У нас каждая кухарка сможет руководить государством»; в 30-е годы широко распространяются всякого рода «Курсы» для скорого обучения, ликвидации безграмотности, повышения квалификации, курсы кройки и шитья и т. п.; поэтому не так уж невозможны и «курсы обучения кухарок руководству государством». Паша Ангелина ведь уже руководит, она член Парламента.

«Привет холодному уму и горячему сердцу!» — каламбур, произведенный из знаменитого, распечатанного в лозунгах высказывания Феликса Эдмундовича Дзержинского, первого Председателя ВЧК (Чрезвычайной Комиссии, будущего НКВД, будущего КГБ): «Революцию надо делать чистыми руками и...» — я и сейчас не уверен, что́ там было холодное, а что горячее: все это взаимозаменяемо.

«Вот кто сделал пробоину в «Челюскине» и открыл каверны в Горьком» — фраза гибридизирована. Страна была охвачена процессами над вредителями, шпиономанией; одновременно она, затаив дыхание, следила за героическим переходом ледокола «Челюскин», обязавшегося пройти «великий северный путь» за одну зиму, но потерпевшего аварию так, что его пришлось так же героически спасать; одновременно страна, так же затаив дыхание, следила за бюллетенями здоровья великого пролетарского писателя Максима Горького, как теперь известно, отравленного Сталиным, а тогда — врачами-вредителями.

Андрей Ягуарьевич Вышинский — знаменитый обвинитель на политических процессах 30-х годов, впоследствии министр иностранных дел. Отчество его «Януарьевич»; Януарий — редкое для слуха имя, данное его отцу по святцам; ягуар — свирепый, хищный. Отсюда и каламбур «Ягуарьевич», паспортизирующий экзистенциальную сущность Вышинского.

И т. д., и т. п., и т. п., и т. д., и т. п., и др. и др., и пр. ... тпру!

Приехали!

Что они в этом поймут?! Зачем это им!? Зачем им наша духовность?.. Как поведать им о нашей любви к Николаю Алейникову, о нашей гордости за первый в мире противогаз академика Зелинского, о том, какой глубокий бас был у Максима Дормидонтыча, о том, как курили мы папиросы «Норд», переименованные в «Север» вследствие борьбы с космополитами, или что Чойбалсана звали, оказывается, по имени Хорлойгин, а МНР звали Монголией, и какая же это прекрасная страна! какие в ней люди и степи... Как я могу им все это объяснить, если ихний руссист не знает даже, что такое «карельская береза», ни про Лысенко, ни даже Джавахарлала Неру он не знает, ни про Зощенко и Ахматову... про «ум, честь, совесть» они не знают — вот что.

Ну зачем им засорять голову тем, что мы сами так готовно из нее выкидываем? И что это объяснит им? И как нам самим себе объяснить, почему в нас навсегда застряли слова, ничего не значащие и в таком количестве?

Что из всех этих слов сохранится для нас в языке, когда наконец минует вся эта эпоха? Тайна. Опять загадка.

Вот, к примеру, загадка с детства занимавшая мое воображение. Почему замок — английский, горы — американские, булавка и булка — французские, а сыр и хер — голландский?

Какая нация могла бы предпочесть чужой ... своему? Из какого опыта (реального, исторического) могло родиться такое странное предпочтение?

Долго гадал и вот догадался... Петр! Петр Великий. Двухметровый Петр. Это ведь он навез голландцев, брил бороды, заставлял носить парики, делать книксены, сам звался Херр Питер и всем другим велел величать друг друга Херрами. Уж так его ругали, так возвеличивали, так честили... Два века миновало, забыли и голландцев, и Петра, а хер — остался жить в языке, отдавая должное историческим заслугам и того и тех — в виде самого глубокого почтения, которое только может оказать народ.

Что у нас с вами есть голландского?

А. Панарин

РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМАЦИЯ

Привычная наша метода отношения к общественным процессам, на которую очень сильное влияние оказали экономический детерминизм и понятие «непреложных исторических закономерностей», умертвила историю. Драматургия реального развития жизни — с ее непредсказуемостью, столкновением различных тенденций, искушением выбора среди тех или иных альтернатив — исчезла; вместо постоянно бодрствующего, чуткого к изменениям хода вещей исторического мышления «исторический материализм» сформировал пассивное «детерминистское сознание», совершенно не приспособленное к обстановке, когда решения принимаются в условиях риска, без обнадеживающего подмигивания со стороны «абсолютного разума», олицетворяемого «объективными законами» передовой формации.

Разумеется, речь вовсе не о том, чтобы вернуться к детской болезни исторического субъективизма, берущего за основу побуждения и мотивы отдельных «выдающихся личностей». Скорее следует говорить об общем строе характера, о ментальности народа, которая, как отмечают современные исследователи, опирается не на легко изменчивые конъюнктурные состояния психики, а на основные представления людей, заложенные в их сознании культурой, языком, религией,— на константы. Одним из первых эту мысль высказал Макс Вебер.

Как показывает история культуры, смена основных общественных установок происходит вместе со сменой верований. С этой точки зрения религиозная история, и в особенности история религиозных реформаций, является не просто частью человеческого прошлого, но в определенном смысле и «метаисторией», раскрывающей механизмы действия исторического выбора людей в переходные эпохи.

Представляется, что по целому ряду признаков и наше общественное сознание, в том числе и философско-теоретическое, обществоведческое, нельзя считать по-настоящему светским, секуляризированным. Еще Н. Бердяев тонко подметил, что в России материализм принял совсем иной характер, чем на Западе,— не вольнодумства, а псевдорелигиозной догматики. Не случайно в отечественном марксизме постоянно звучат взаимные обвинения в ревизионизме, то есть в ереси. Различие между ортодоксией и ересью есть различие религиозное, теологическое,— в рамках светских форм сознания, например, в науке, оно совершенно неуместно.

Вот и ныне, в перестроечную эпоху, сталкиваются два типа оценок «застойного прошлого» и обновляемого настоящего. Одни ищут причину деформаций нашего общества в нарушении священных положений великого учения и не менее священного революционного завета; другие призывают поскорее разделаться со священными заветами и догмами. Не ясно ли, что в этом споре сталкиваются два типа сознания: просветительское, ориентированное на земные заботы каждого человека, и псевдорелигиозное, которое требует, чтобы ему указали новый — на этот раз безошибочный — путь в землю обетованную, а соответственно дали и нового мессию. Оно жаждет не просвещения с его открытиями обескураживающих реальностей, а новой, реформированной церкви. Догматическая идеология

относится к этому типу сознания сочувственно: догматизму импонирует его жертвенный дух, неприятие «буржуазного индивидуализма» и «буржуазной цивилизации»; архаичное, религиозно-утопическое томление по раю на Земле, когда все противоречия будут разрешены и все проблемы сняты, представляется догматикам чем-то вроде «народного прочтения» Маркса.

На религиозный характер нашей ментальности указывает и издавна господствующее у нас манихейское видение «борьбы двух миров» — официальное доктринерство предписывало все без исключения проявления общественной жизни рассматривать в свете этого «основного противоречия эпохи». Разумеется, и светское сознание не может воспринимать мир в духе теории бесконфликтности. Вражда государств, их соперничество за территории, ресурсы, влияние на третьи страны — все это существует на протяжении тысячелетий. Но одно дело видеть в этом проявление эмпирической истории, другое — прозревать здесь подтекст, указующий на переход человечества от греховного состояния ко всеобщему и окончательному торжеству все равно — «соборности» или коммунизма, снимающему висевшее над людьми проклятие отчуждения.

Часто приходилось слышать, что проблемы объединения Германии по-настоящему разрешимы лишь в контексте общеевропейского процесса. Нет сомнения, что и «объединение» нашей страны — консолидация различных ее наций, классов и групп — возможно лишь в контексте общеевропейского и общецивилизационного процесса создания единого экономического и правового пространства, в рамках которого реализуется действительное единство человеческого рода. Возврат из тоталитаризма в демократию для нас, как в свое время для Германии, не является целиком самозамкнутым процессом. В этом смысле экономическое поражение нашей административно-командной системы однотипно с военным поражением Германии, после которого начался процесс воссоздания цивилизованных форм жизни. Поэтому решение вопроса о единстве мира — необходимое условие успеха нашей перестройки. В отрыве от общецивилизационного и общеевропейского процесса перестройке грозит потеря ориентации и падение в хаос — энтропию, которая, как известно, неизменно возрастает во всяких замкнутых системах.

Таким образом, вопрос о соотношении манихейского — закрытого, сектантски-самобытнического, и светского — цивилизационно-открытого сознания становится судьбоносным для нашего Отечества.

1

Как известно, основной вопрос всякой революции — вопрос о власти. И если перестройка в самом деле является *революционной*, то от этого главного вопроса невозможно уйти. Но вопрос о власти не сводится к тому, в чьих руках она в данный момент находится и кто ее отвоевывает. Второй, не менее важный вопрос касается природы, возможностей и границ власти. Традиции тоталитаризма сформировали особое понимание власти как ничем не ограниченной и ни перед чем не останавливающейся воли класса-гегемона. Для общества, сполна испытавшего на себе разрушительное действие такой «воли», вопрос о границах власти стал отнюдь не менее важен, чем вопрос о том, в чьих она руках. И с этой точки зрения основной философско-мировоззренческий вопрос нашей революции касается того, существует ли инстанция, которая знает интересы народа лучше самого народа и способна постичь «высший» смысл истории.

Впервые спор вокруг этого вопроса разгорелся в эпоху Реформации в XVI веке. Как известно, тогда существовала инстанция, присвоившая себе монополию на толкование Священного писания и воли самого господа Бога: Рим. Идеология католицизма исходила из невозможности прямого диалога мирянина с Богом, утверждая, что самостоятельно миряне не могут выработать «правильного» теистического мировоззрения и потому нуждаются в неустанной опеке церкви. Ясно, что этот принцип перманентной теократической опеки был не совместим с интересами поднимающегося третьего сословия, требующего самодеятельности и свободной предпринимательской инициативы. Лютер бросил церкви вызов, провозгласив «демократическую» иррациональность божественной воли, которая равным образом не познаваема для кого бы то ни было. В этом смысле нет никакой разницы между самим папой, вооруженным великим церковным учением, и неграмотным пастухом. Так произошел величайший после возникновения христианства идейный переворот, связанный с реабилитацией «града земного» и ориентированного на него обыденного здравомыслия.

Реформация изменила менталитет, дав новую картину мира, предопределила характер последующих революций, ход и последствия которых разительно отличаются в католических и протестантских странах. Революции в католических странах, не переживших Реформации, вместо того чтобы решать эмпирически очевидные проблемы, осуществляют доктринально выверенные проекты «переделки мира». Гражданское общество, скованное регламентациями и лишенное возможности решать свои проблемы на началах самодеятельности, по любому поводу адресуется к центрам власти. Власть, таким образом, выступает как единственный источник всех завоеваний... и всех потерь.

В протестантских странах, напротив, революции высвобождают общество из-под опеки государства, запуская механизм гражданской самодеятельности. Они носят характер народных демократических движений, доктринально не оформленных, ориентированных на разрешение реальных «земных» проблем, осмысление которых происходит на уровне массового «обыденного сознания». То, что стало прерогативой гражданского общества, уже не может стать поводом для бунта, ибо гражданам некого винить в своих бедах, кроме самих себя. Эволюция общественной жизни развертывается как процесс неуклонной замены «алгоритмированных» форм деятельности свободными — венчурными.

Со времен Реформации история Запада — это история двух миров, развивающихся с разной скоростью. До Реформации центр мировой цивилизации находился на католическом юге Европы. В обществах, только еще выходящих из средневековья, широко использующих внеэкономическое принуждение в духе военно-феодальной концепции богатства как захвата и экспроприации, могущество государства зависело от уровня его централизации. Это предопределило возвышение Испании, Португалии, Франции, ставших ведущими государствами Запада. Начиная с семнадцатого века центр мировой истории смещается с юга на север Европы, в страны, где победила Реформация. Англия, Голландия, государства Скандинавии и Швейцария резко вырываются вперед.

Если бы в основе богатства лежали концентрация и централизация капитала, если бы его рост был связан с механизмами, способствующими увеличению роли накопления за счет потребления, решающее преимущество жестко централизованных государств, позволяющих собрать в единый кулак инвестиционный потенциал нации, сохранилось бы и впредь. В самом деле, кто лучше авторитарных правительств, контролирующих всю общественную жизнь, может предотвратить распыление или проедание средств частными лицами? Кто успешнее осуществит экспроприацию традиционной мелкой собственности и отделение производителя от средств производства? Наконец, кто решительнее проведет политику модернизации в духовной сфере, разрушив архаику множества местных культур в ходе организованной сверху крупномасштабной культурной революции?

Если понимать развитие капитализма в духе теории насильственных экспроприаций, пролетаризации и модернизации, то самым эффективным будет государственный капитализм. Правда, при таком понимании статус третьего сословия следует пересмотреть. Его придется переместить из сферы гражданского общества в сферу государства, где оно будет выступать как особого рода мандаринат, насаждающий сверху новые — «рациональные» нормы жизни. Все именно так и было — до периода Реформации. Затем наступает резкий перелом: охваченные ею страны развиваются явно опережающими темпами. Стремительно нарастает процесс эмансипации гражданского общества и утверждения отношений свободного контракта. Процесс этот начался задолго до политических революций и связан был, как отмечают исследователи, с революцией в ментальности.

В католических странах общественная жизнь по-прежнему рассматривалась в духе противопоставления «града божьего» «граду земному». «Лучшие люди»

посвящают свои усилия исключительно «высшим целям», не соотносимым с повседневностью. Это либо героика войны, либо экзальтированное общение с Богом, что и было миссией высших сословий. Третье сословие в католических странах оставалось не просто малочисленным, оно постоянно находилось под идеологическим подозрением церкви как излишне преданное делам «града земного» и под бюрократической опекой государства. Этот маргинальный статус и полулегитимное существование третьего сословия не дают ему распрямиться; не случайно среди купцов и предпринимателей так велика была доля иммигрантов и «инородцев».

В странах Реформации видение мира и системы приоритетов существенно меняется. Первое, что их отличает,— это отделение духовной власти от политической. Религия становится сугубо личным опытом, не терпящим авторитарных посредников, а государство лишается ореола святости и теряет статус монопольного носителя высшей истины и общего блага. Третье сословие превращается из маргинальной группы в независимых граждан, обязанных своим положением только личным усилиям.

Здесь необходимо вспомнить концепцию «экономического человека». Это полезно не только в целях историко-аналитических и критических. Начав перестройку нашей хозяйственной жизни на базе рыночных отношений, мы должны уточнить свои представления об их историческом генезисе на Западе. Длительное время, оценивая «рыночную анархию» с позиций административно-командной экономики с ее амбициями тотальной регуляции, повсюду усматривали действие «неумолимых» законов концентрации и централизации производства. И в свете их капитализм оценивали как внутренне противоречивую, «непоследовательную» систему, не способную ни остановиться на принципах свободной рыночной конкуренции, ни перейти к плановому началу, устраняющему анархию производства. «Последовательно монополистический» социализм начисто уничтожил конкуренцию вместе со всеми другими проявлениями свободной рыночной инициативы.

А между тем живой нерв капиталистической рыночной экономики — свободные, не санкционированные государством гражданские рыночные инициативы. Что такое венчурный — рисковый капитал, с которым сейчас на Западе связан главный поток научно-технических новшеств? Это разновидность гражданских альтернативных проектов в хозяйственно-экономической области. Что такое правовое государство, признающее принцип «все, что не запрещено,— позволено»? Это государство, ограничившее свою регламентирующую деятельность строго очерченной и, по нашим сегодняшним меркам, весьма узкой сферой — остальное отдается на откуп самодеятельности гражданского общества.

Как показывает социологический анализ, католические и протестантские страны Запада и сегодня значительно различаются в своем отношении к такой проблеме рыночной экономики, как суверенитет потребителя. В протестантских, в частности англосаксонских, странах даже государственные предприятия, производящие товары и услуги, ориентируются на стихийный рыночный спрос. Вот почему такое внимание там уделяют маркетингу, изучению динамики потребительского спроса различных групп населения, открытию новых рынков.

В католических странах, и в частности во Франции, где доминирует авторитет государства, производство товаров и услуг, особенно в области информации, воспринимается не как удовлетворение интересов суверенных потребителей, а скорее как осуществление государственной миссии «воспитания граждан». Отсюда постоянное подчеркивание того, что коммерческие интересы для государственного предприятия находятся на втором плане, что главное — это служение обществу. Таким образом, служение обществу и служение «рядовому» потребителю выступают как альтернативные стратегии. Весьма распространены и «производство ради производства», оправдание существования убыточных предприятий ссылками на высшую социальную необходимость и т. п. Но кто же задает цели производству, если не рыночный потребитель? Ответ один: государственная бюрократия, которая, как представляется, лучше знает «подлинные интересы» потребителей, чем сами потребители,— в рамках теократической элитарно-авангардистской системы воззрение бесспорное.

Либеральные критики французской революции вплотную подошли к раскрытию тайны революционаристской ментальности. Как писал Прево-Парадон, «наделенный поистине безграничным мандатом в отношении употребляемых средств и времени, преследующий цель всеобщего счастья, демократический деспотизм требует невиданной власти над людьми, которая в народном воображении выступает как власть над обстоятельствами».

Времена, однако, меняются. И похоже, на наших глазах.

Преодоление первого раскола мира — процесс европейской интеграции или европейский процесс — началось по-настоящему лишь после второй мировой войны. Строительство «Общего рынка», в рамках которого интегрируются уже не только экономические, но и политические структуры, создает единое экономическое правовое пространство. Опыт европейской интеграции свидетельствует, что она ускоряется по мере высвобождения гражданских обществ из-под опеки государств.

Интеграция — это не процесс межгосударственных отношений, а свободное движение людей, товаров и капиталов, то есть взаимопроницаемость гражданских обществ. Не случайно интеграция сопровождается приведением внутреннего законодательства латинских стран в соответствие с эталоном в области прав человека и гражданских прав, сформировавшихся в протестантских странах.

2

В XIX веке происходит идейно-политическое размежевание внутри третьего сословия и выделение, а затем и политическое обособление «четвертого сословия» — пролетариата. Возникает марксизм — версия конца буржуазного мира и спасения «четвертого сословия». В марксизме явно ощущается воздействие религиозно-эсхатологической диалектики. «Нормальная» логика мира (которую марксизм называет формальной) состоит в том, что сильные торжествуют над слабыми, что самоутверждение первых вероятнее спасения вторых, что между «дном отчаяния» и «вершиной счастья» лежит множество ступеней, которые предстоит пройти всякому, кто хочет взобраться на вершину. Диалектика религиозно-эсхатологическая утверждает прямо противоположное. Применительно к пролетариату она, во-первых, заявляет о его абсолютном и относительном обнищании: чем больше рабочий трудится, тем выше его обездоленность, чем больше богатств он создает, тем беспредельнее его бедность. Ортодоксальный марксизм категорически отвергает процесс постепенных приобретений, улучшений и реформ. Сама мысль об этом объявляется опаснейшей ересью. Пока не настал «судный день» пролетарской революции и «воскресение из мертвых», действует неумолимая логика падения на дно отчаяния. Как пишет молодой Маркс (и с годами его точка зрения не изменилась), «...отчуждение обнаруживается в том, что утонченность потребностей и средств для их удовлетворения, имеющая место на одной стороне, порождает на другой стороне скотское одичание, полнейшее, грубое, абстрактное упрощение потребностей...». «Свет, воздух и т. д., простейшая, присущая даже животным чистоплотность перестают быть потребностью человека. Грязь, этот признак человека опустившегося, загнивающего, нечистоты (в буквальном смысле этого слова) цивилизации становятся для него жизненным элементом... человек лишается не только человеческих потребностей — он утрачивает даже животные потребности»[1].

Маркс, таким образом, изображает абсолютную, недоступную даже животным грань падения, ставшего неизбежным уделом пролетариата. Хаос его жизни — это уже не социальный даже, а прямо-таки космогонический хаос, отбрасывание к отображенному в древних мифах состоянию первичного предпорядка. Тем самым пролетарий оказывается в конфликтном отношении ко всей мировой истории, которая стала для него историей обесчеловечивания и абсурда. То, что для всех свет, для него тьма.

Между тем, когда читаешь исследования западных экономистов и демогра-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956 г., стр. 600—601.

фов, в том числе и современников Маркса, убеждаешься, что условия жизни рабочего класса, несомненно, улучшались. В Англии прошлого века совершенствовалось трудовое законодательство, сокращался рабочий день, отмечено значительное снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни (с 1828 по 1871 годы — почти на 15 лет). Вряд ли Маркс был вовсе не знаком с этими данными. Но, революционный максималист, он отвергал соблазны «частичных улучшений» и всякого рода реформ — все, что могло ослабить предельное напряжение между социальными полюсами, которое только и способно было дать энергию взрыва, необходимую для скачка из состояния несвободы в царство свободы. Подобно первосвященнику, живущему посреди новообращенных, Маркс неустанно предостерегает против смешения практической, эмпирической и конечной, эсхатологической перспектив, против самообольщений посюстороннего, относящегося к «этой», буржуазной, действительности. Принципиальное различие между пролетариатом и всеми другими угнетенными классами Маркс видит там, где открываются границы между «предысторией» человечества и ее финалом. Например, «если беглые крепостные стремились только к тому, чтобы свободно развить и укрепить свои уже имевшиеся налицо условия существования, и поэтому в конечном счете добились только свободного труда, то пролетарии, чтобы отстоять себя как личности, должны уничтожить имеющее место до настоящего времени условие своего собственного существования, которое является в то же время и условием существования всего предшествующего общества, т. е. должны уничтожить труд»[1].

Для крестьянина и ремесленника не существует абстракции труда как труда: он им дан вместе со всеми другими моментами человеческого существования. Труд является и самореализацией, и мастерством, объединяющим семью началом (так как труд и быт не были раздельны), а периодически выступает и в форме мистерий и празднеств (уборка урожая «всем миром», сенокос и т. д.). Для пролетария труд и жизнь противостоят друг другу, подобно тому, как замкнутый в своем индустриальном гетто пролетарий противостоит всему обществу. Поэтому на процветание других, на «мещанское» цветение жизни он смотрит с мрачной «иронией», предвкушая скорую вселенскую катастрофу. Здесь-то и возникает, пожалуй, основной парадокс марксизма, острейшее из его противоречий. С одной стороны, рабочий класс — пария общества, ничем не обязанный цивилизации, ничего не взявший от ее достижений; мало того, все эти достижения прямо направлены против него и выступают в его глазах как абсолютное зло. С другой стороны, именно этот класс призван поднять человечество на новую, невиданную еще ступень прогресса и благоденствия. Чем станет эта ступень — вершиной цивилизации или особым, постцивилизованным состоянием?

В марксизме, в особенности марксизме после Маркса, есть три варианта ответов на вопрос о том, что будет «после судного дня». Коммунизм выступает то как высшая ступень развития всей предшествующей цивилизации, то как цивилизация качественно нового типа, то, наконец, как постцивилизованное состояние, напоминающее первобытный рай или первобытный коммунизм на новом, высшем витке развития («отрицание отрицания»). Похоже, что именно последний вариант преобладает в этой революционаристской эсхатологии, другие выглядят скорее как компромисс, спровоцированный давлением привходящих обстоятельств.

Но как же со «дна отчаяния», из мерзости пауперского одичания подняться к вершинам вселенской правоты? У Маркса это восхождение нигде не прослеживается. Как любовная драматургия в классическом романе останавливается на бракосочетании героев, так и эсхатологическая драматургия Маркса останавливается на пролетарской революции. Что потом, в постреволюционную эпоху,— неизвестно, ибо диалектика учения запрещает всякую дедукцию будущего из прошлого и настоящего, адресуясь к иной логике — скачка, прорыва, превращения.

Воцарение паупера, его ничем не ограниченная, «не связанная никакими законами» диктатура означала бы низведение всех классов и сословий до пролетарского состояния, разрушение всего, что не было прямо адресовано пролетариату, а значит, почти всего — вот картина, которую нарисует мышление, не наделенное даром превращать камни в хлеб. А как же обстоит дело с экономическим детерминизмом Маркса, каким образом он совместим с превращением тотального зла в тотальное добро, полного поражения — в окончательное торжество? Представляется, что детерминизм «непреложных законов истории» служит в марксизме не столько основанием научной достоверности исторического прогноза, сколько оправданием смелой, нерассуждающей веры. Гарантированная история в чем-то напоминает дарованное католической церковью гарантированное спасение нищим духом.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 3, стр. 78.

Н. А. Бердяев провел исполненное глубокого смысла различие между религией Покаяния — религией свободного человека, берущего на себя вину за свое положение, и религией Обиды — рабского сознания зависимых и невменяемых, возлагающих вину за свое неудовлетворительное положение исключительно на других. Так вот исторический детерминизм Маркса выражал религию Обиды: признавая пролетария, с одной стороны, полностью невменяемым, не отвечающим за свое социальное падение, он, с другой стороны, обещает ему гарантированное воздаяние в «светлом будущем». Сколько-нибудь открытая, событийная, зависящая от человеческого выбора и усилий негарантированная история изгою цивилизации не подходит.

Реальную, эмпирическую историю исторический материализм отрицает дважды. Во-первых, в рамках одной, капиталистической формации любые качественные нововведения, затрагивающие положение пролетариата, признаются принципиально невозможными. Во-вторых, переход от капиталистической формации к высшей, коммунистической, не только заранее предрешен, но и предопределяет разрешение всех противоречий, накопленных человечеством в ходе его длительной предыстории. Это совсем как в богословии: с одной стороны, полная невозможность спастись здесь, в земном существовании, с другой,— гарантированность от какого-либо «падения», каких-либо противоречий и проблем после того, как конец света настал.

Сразу же после смерти Маркса началась борьба вокруг его философского наследия. Многое менялось и в Европе, и в Северной Америке. На рубеже 80—90-х годов прошлого века ни у кого из последователей Маркса уже не оставалось сомнения в том, что действительность и учение расходятся в стороны. Но разные партии и течения марксизма делали отсюда неодинаковые выводы. Тех, кого затронул процесс начавшегося «обмирщения» марксистской церкви, заботило несоответствие теории реальной действительности. Ортодоксы нового богословия ставили вопрос иначе: о несоответствии презренной действительности высокому духу теории.

Проблемы революционной метафизики, пожалуй, четче других в ту пору осознал Эдуард Бернштейн. Главный вопрос всякой Реформации — является ли воля Бога (или ее эквивалент — смысл истории) познаваемой — Бернштейн решает не по Марксу, а по Лютеру. История всегда выходит за рамки каких-либо «проектов». Перед лицом ее равны и владеющий учением марксистский клир, и непросвещенные миряне-пролетарии. А это требует безусловного доверия к практическому опыту рабочего движения. Бернштейн отмечал, что реформистские взгляды чаще всего «встречаются у людей, которые, принадлежа сами к рабочему классу, стоят в наитеснейшей связи с настоящим пролетарским движением, между тем как лица, принадлежащие к бюргерскому классу или же живущие в бюргерских условиях, которые либо не имеют вовсе соприкосновения с рабочим миром, либо знакомы с ним лишь по политическим, на известный лад уже настроенным собраниям, преисполнены пролетарски-революционным духом».

Другое «лютерово сомнение» Бернштейна относится к марксистскому тезису об избранности рабочего класса. Бернштейн отмечает противоречие, которого мы уже касались: с одной стороны, фатальное падение пролетария до предельного уровня, с другой,— необъяснимая убежденность в его интеллектуальном, моральном и социально-организаторском главенстве сразу после переворота. Террор, который станет осуществлять диктатура пролетариата, считал Берн-

штейн, «мог бы выступить единственно в роли разрушителя и потому с первого же дня, в который он был бы направлен против буржуазной демократии, принужден был бы действовать политически и хозяйственно реакционно... хотя он возводится в степень чудодейственной силы, ставящей промышленные отношения именно на ту высоту развития, которая признается непременным условием социального преобразования общества».

3

Россия на рубеже XIX—XX веков готовила свою Реформацию. Реформаторские идеи охватили часть прихожан и господствующей, православной церкви, и нарождающейся секуляризированной марксистской. В этот период наиболее осознанно реформаторские проблемы ставил Н. А. Бердяев. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с «новым папством» — теократическим умерщвлением жизни и подчинением ее той или иной «церкви», монопольной носительнице высших истин и окончательных ответов. «Проповедь максимализма, как социального, так и религиозного, слишком часто рождает ненависть вместо любви, окончательно всех и все разъединяет, пересекает все пути». «Вся жизнь закрыта для такого типа максималиста, он не способен почувствовать присутствие своей же идеи во всех проявлениях жизни, во всей культуре». Бердяева страшит теократическое пуританство как церковных, так и светских (социал-демократических) богословов, готовое объявить всю человеческую историю и культуру «неправильными», ненужными, совратительными, склоняющими в сторону от учения.

Почему же религиозная Реформация в России все же не состоялась?

Потому, что жаждущих получать готовые ответы, а не искать их было значительно больше. Потому, что в России от идеологии отворачиваются не тогда, когда она узурпирует свободу духа, давая на все готовые ответы, а, напротив, как раз тогда, когда ее посещает «методологическое сомнение», когда она готова сознаться в дефиците «патентованных средств». Как отметил недавно С. С. Аверинцев, «наша опасность заключена в вековой привычке перекладывать чуждое бремя власти на другого, отступаться от него, уходить в ложную невинность безответственности. Наша надежда заключена в самой неразрешенности наших вопросов, как мы их ощущаем». Открытие вполне естественной (следует даже сказать — принципиальной) ограниченности всякого учения вызывает у нашей паствы вместо эмансипаторского эффекта чувство презрения и ненависти к павшему кумиру. Если учение не дает на все готовых ответов, значит, это — лжеучение, и следует срочно отыскать новое, «подлинное». Именно в рамках такого типа ментальности произошел переход от православия к господству атеистического марксизма.

Надо сказать, что с самого начала, с 90-х годов прошлого века, марксизм проникает в Россию не только в ортодоксальном обличье, но и в реформистском (легальный марксизм, экономизм). Самое удивительное в том, что главные деятели русской Реформации сначала выступали как реформаторы марксизма, а затем, едва ли не в том же составе— как реформаторы православия (П. Струве, Н. Бердяев, С. Булгаков).

В качестве деятелей Просвещения, повергающих старых идолов, они были незаменимы; но и Просвещение в России на рубеже веков было особым — оно имело мало общего с эмансипаторским, вольтерьянским духом, который празднует освобождение на развалинах старых верований. Едва ли могли бы здесь возобладать здоровый скепсис, вольнодумствующая ироничность, самоуверенная раскованность разума, ощутившего свое превосходство над вековыми учреждениями. Истомившаяся и отчаявшаяся страна ждала не частичных улучшений, а п р о р ы в а к новому будущему. Состояние массового сознания характеризовалось особой экзальтированностью, отвергающей политический прагматизм любого толка. Как заметил однажды Бердяев, «история требует веры». Русская история требовала слепой исступленной веры, перевертывания «логики обстоятельств».

И еще одна идея Бердяева раскрывает, как мне кажется, роковое для судеб нашего Отечества противостояние. Речь идет о принципиальном противопоставлении индивидуального блага благу коллективному, которому и надлежит принести жертву,— об идее ж е р т в е н н о с т и. Противопоставление это имеет глубинные основания. Если народ ощущает себя живущим достойной жизнью, то его благо — в опыте индивидуальных благ множества составляющих народ граждан; если же он чувствует себя преданным историей, то благополучие отдельных его представителей воспринимается как предательство, отступничество и противостоит оно благополучию всего окружающего мира.

История русской централизованной государственности восходит к татаро-монголам: созданная во времена ига инфраструктура этатизма в нашей стране связана с процессами самоколонизации. Народ стал заложником государства, рост могущества которого был результатом закабаления провинций центром. Автономия и самодеятельность воспринимались как нечто противоположное государственному единству (влияние государственно-политического мышления такого рода ощущается у нас и до сих пор). Народ в таких условиях ощущает себя парией истории. В самом деле, если принцип самодеятельности чужд духу государственного строительства, то всякие новшества выступают как заимствованные извне (инородческие) или навязанные сверху. Формируется идеология н а р о д н и ч е с к о г о и з г о й с т в а: с одной стороны, государственные акции и реформы оказываются чужды народу, с другой—по законам компенсации,— сам народ-изгой наделяется особыми, мессианскими свойствами.

Бердяев первым указал на поразительное сходство русской народнической и древнееврейской апокалиптики. Древний «избранный народ» наблюдал благоденствие других, угнетающих его народов, с «иронией», предвкушая грядущую вселенскую катастрофу, которая должна стать его реваншем. Иудейский бог Яхве выступил как первый революционер, перевертывающий логику мира: ему предстоит возвысить над всеми наиболее униженный и слабый народ. Ясно, что такая перспектива, являющаяся прямым вызовом логике сложившихся исторических обстоятельств и обретенному здравомыслию, требует невиданного п о д в и г а в е р ы. Поэтому древнееврейская религиозность по своей исступленности, напряженности, противопоставленности «реализму фактов» не имела себе равных. К началу XX века в России, где старый христианский, православно-народнический мессианизм умирал, потребность в ином мессианизме сохранилась, а вместе с ней сохранилось и противопоставление святого народа-изгоя «буржуазной» истории, развращенному и бессердечному Западу.

Буржуазно преуспевающая Россия — «лик темный», то, что отпадает от Божественной (или исторической) благодати; напротив, буржуазно несостоявшаяся Россия — «лик светлый»: ее унижения — залог грядущего вокресения. Парадоксальна с этой точки зрения история русского марксизма: с одной стороны, в борьбе с народничеством русские марксисты безжалостно критикуют идеологию самобытничества и доказывают неизбежность капиталистического пути; с другой,— неизбежность эта выступает под знаком псевдорелигиозной, революционаристской апокалиптики. Капитализм придет неизбежно, но он, оказывается, не имеет самоценного, самодостаточного исторического значения. В России ему отводится всего лишь роль средства реализации того самого мессианистского призвания, которую «неправильно», «утопически» трактовало славянофильство и народничество. Для того чтобы российский пролетариат проникся «истинным» призванием, необходимо было покончить с бернштейнианской реформаторской ересью, грозящей переориентацией с конечных целей на текущие, «земные». Работу решительного пресечения ереси взял на себя Ленин. Книга «Что делать?» вошла в историю как начало решительного разрыва между реформаторским и контрреформаторским течениями российского марксизма.

Критика Лениным Бернштейна скрупулезно воспроизводит все главные реформационные темы и «закрывает» их в духе идеологии марксистского папизма:

О п о з н а в а е м о с т и с м ы с л а и с т о р и и («в о л и б о г а»); о б и с к л ю ч и т е л ь н о м п р а в е п а р т и и («ц е р к в и») н а т р а к т о в к у («с в я щ е н н ы х т е к с т о в») м а р к с и с т с к о й т е о р и и; о б о п р а в д а н н о с т и де-

ления на партийных вожаков и беспартийную массу («священников» и «мирян»)...

Реформаторская партия и реформаторские лидеры живут в обществе, подчиняясь установленным «правилам игры»: «истинный» революционер, подобно члену тайного ордена, живет фактически вне общества с постоянным сознанием своей инородности всему окружающему порядку, всем нормам, всей испорченности буржуазного мира. У него своя мораль, которую он ставит выше обычной морали людей, не видящих конечной, эсхатологической перспективы. Ленин заявляет, что слово «агент», «режущее демократическое ухо», ему нравится, «ибо оно ясно и резко указывает на общее дело, которому все агенты подчиняют свои помыслы и действия... Нам нужна военная организация агентов»[1].

4

Выше была названа проблема, не разрешенная Марксом: каким именно образом пролетариат, пария буржуазной цивилизации, возвысится до мессии? Никаких убедительных свидетельств в пользу этого парадокса никто еще привести не смог.

Возможность бунта, мести, разрушения легко просматривается, если исследовать состояния городских пролетарских гетто, появляющихся во всех странах на заре индустриализации. Фигура мстителя за униженных и оскорбленных издревле встречается в фольклоре всех народов, ничего специфически пролетарского в ней нет. Пролетариат как мессия обладает двумя особенностями. Во-первых, в отличие от традиционного народного мстителя, периодически вступающего в схватку с накопившейся несправедливостью, вмешательство пролетариата в борьбу с ней носит окончательный характер, завершает «предысторию» человечества. И, во-вторых, народный мститель, «перевертывая» статусы господина и раба, менял их местами, тогда как пролетарский мессия призван уничтожить самое неравенство людей.

Данные современной этнологии и структурной антропологии свидетельствуют, что идеологемы, связанные с реваншем слабых над сильными, являются древнейшим архетипом человеческой культуры, присутствующим в мифах, ритуалах, празднествах всех народов. И вопрос не в том, кто именно создает очередной мессианистский миф в тех или иных исторических условиях; главное — перманентное присутствие соответствующих установок в любой культуре прошлого и настоящего. Основываясь на конкретных этнографических изысканиях, В. Тэрнер указывает на диалектику «структуры» и бесструктурного состояния — «коммунитас» как характеристику общественного бытия человека. При этом «структурно высшие» слои, успешно утвердившиеся в рамках общественных иерархий, имеют тенденцию отстаивать и абсолютизировать момент структурности, тогда как «структурно низшие» склонны усматривать в сложившихся структурах только произвол и насилие. В этой среде и рождаются утопии, связанные с апологетикой бесструктурных состояний, оцениваемых как подлинные, единственно достойные человека. Эти установки, несомненно, несут в себе опасный нигилистический заряд, направленный против исторически закрепленных достижений цивилизации. Но без них всякая структура в конечном счете неминуемо становилась бы структурой застоя.

Все это наводит на мысль, что даже библейское прочтение Маркса или отыскивание корней Октября в древнееврейском монотеизме и мессианстве является модернизацией. Ритуалы «перевертывания статуса» — гораздо более древнего происхождения и при этом имеют универсальное значение, характерное и для культур, развивающихся вне иудео-христианской традиции. Как тут опять не вспомнить Бердяева, сказавшего: «Апокалипсис не есть только откровение о конце мира, о страшном суде. Апокалипсис есть также откровение о всегдашней близости конца внутри самой истории, внутри исторического еще времени...».

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 6, стр. 178.

Апокалипсис есть перманентное искушение сознания, для которого по тем или иным причинам нетерпима сама мысль об окончательности утвердившегося в мире порядка. Но между возможностью апокалиптики и ее практическим воплощением лежат преграды, без которых история человечества давно бы прервалась. Возможность превращения ритуальной апокалиптики в апокалиптику практического политического переворота, в основе которого лежит замысел окончательно расквитаться со всей предшествующей историей, доказана на опыте тоталитарных движений и режимов XX века.

Необходимо понять, что тоталитаризм не просто деспотия, хотя бы и невиданная по жестокости и масштабам репрессий. В основе тоталитаризма лежит глубокий религиозно-эсхатологический подтекст. Этот режим имеет две параллельно развивающиеся истории: реальную, эмпирическую и унаследованную от древности — символическую. Причем последняя всегда как бы предвосхищает, предугадывает первую. «Диктатура пролетариата» представляет собой попытку претворить символику в действительность и закрепить, удержать там вопреки ее поначалу очевидно эфемерному характеру. Для этого употребляются два главных ритуально предвосхищенных средства: максимальное подавление сильных, выдающихся, и постоянные кампании, имеющие целью «структурное упрощение» общества, упразднение в экономике, политике и культуре всего того, что способно озадачить «нищих духом» и породить новую их зависимость от способных и квалифицированных.

Мы ничего не поймем ни в марксовом прогнозе упразднения разделения труда, ни в кампаниях по уничтожению «спецов» в СССР, ни в оргиях хунвэйбиновской «культурной революции» в Китае, если не примем во внимание их глубинной связи с ритуалами структурных упрощений.

Ничего подобного не знает традиционный политический деспотизм, который пресекает попытки выхода на сцену «низов», навязывает (или закрепляет) неполитический образ жизни масс. Тоталитаризм, напротив, предельно идеологизирует и политизирует массовое сознание, доводя его буквально до экстаза.

Сегодня, когда вместе с гласностью на нас обрушились скрываемые ранее реалии революции с ее насилиями, убийствами, святотатственными посягательствами на культуру и мораль, мы воспринимаем это как непостижимый провал истории. Но в контексте соответствующего архетипа все эти ужасы выглядят ритуальными мистериями, в рамках которых разрешены акты, жестко запретные в повседневности. Не случайно В. И. Ленин назвал революции праздником эксплуатируемых и угнетенных.

Диалектика революционной диктатуры — диалектика компенсации. Эта диктатура — оружие слабых. С учетом принципа «инверсии статусов» государство диктатуры пролетариата неизбежно должно стать тоталитарным — осуществляющим невиданное в истории, всеобщее и перманентное насилие. Ибо его задача и состоит в том, чтобы перевернуть исконный, тысячелетия существующий «естественный» порядок вещей, при котором сильные и деятельные преобладают над слабыми и «нищими духом». (Речь о «слабых» и «сильных» не столько в социологическом, сколько в «антропологическом» смысле: сильные — это те, кто при нормальном ходе вещей всегда будут выигрывать, а слабые — это те, кто при соблюдении «правил игры», укоренившихся в гражданском обществе, обречены проигрывать.) Неусыпная бдительность революционного государства как раз и связана с постоянной возможностью прорыва естественного хода вещей в искусственно сконструированный космос, где слабым гарантируется выигрыш.

В развитии тоталитаризма просматриваются две линии. Одна из них относится к «диалектике обстоятельств», это своего рода диалог утопии и действительности. Усиление тоталитарных тенденций выступает здесь как компенсация неудач, связанных с утопическим прожектерством. Так, провал военно-коммунистической утопии безрыночного хозяйства породил взрыв народного недовольства в первую очередь со стороны крестьян, для подавления которого пришлось привести в движение невиданный ранее маховик репрессий. Экономический крах коллективизации, завершившийся катастрофическим голодом 1933 года, вызвал к жизни чудовищное насилие 1934—1937 годов и т. д. Циклы осуществления уто-

пического проекта и последующие разрушительные явления проясняют давно подмеченный парадокс тоталитаризма: чем масштабнее и глубже экономический крах, тем могущественнее политическая власть. В гражданских политических системах кризисы ослабляют власть, в тоталитарных — усиливают.

Вторая линия развития тоталитаризма связана с ритуалами «статусной инверсии»: поскольку естественный порядок вещей неизбежно возрождает в обществе неравенство, требуется непрерывное деспотическое вмешательство во все социальные процессы — для профилактики этого неравенства.

5

Мир переживает период второй Реформации. На Западе она связана с «неоконсервативной волной», идеологи которой восстали против «прогрессистов»-технократов и социал-демократов, объявивших себя «авангардной» силой, разгадавшей смысл истории. Неоконсерваторы взяли на себя задачу дискредитации этого самонадеянного «исторического разума», заявив, что и сегодня нет и не может быть инстанции, которая знает, куда нас всех «неудержимо влечет», кто обречен спасению, а кто — гибели или потесненню на «задворки истории». Неоконсерваторы призывают больше полагаться на себя, а потому выступают в защиту принципов самодеятельного гражданского общества — свободных рыночных отношений, широкой автономии регионов, не ждущих от центра ни даров, ни указаний, как жить, за опору на здравый смысл и народный опыт. Но на Западе неоконсервативная реформация пришла в момент двоевластия. Экономическая и в значительной мере политическая власть оставалась в руках сторонников либерально-рыночной системы, а власть духовная стала переходить к левым радикалам, лучше всех знающим конечный замысел истории. Неоконсерваторы остановили этот процесс и даже успешно повернули его вспять. И решающим условием этого поворота на Западе стал раскол «четвертого сословия» — того самого рабочего класса, чаяния которого и пыталась выразить социалистическая церковь.

Постиндустриальная революция на Западе, переход от энергоемкого, крупносерийного производства к наукоемкому, более гибкому и социально ориентированному, резко уменьшили разрыв между способами существования третьего и «четвертого» сословий. Именно на этом сдвиге базируется «неоконсервативная перестройка». Она совмещает два процесса: демонтаж механизмов государственно-бюрократического вмешательства в экономическую и социальную жизнь — возрастание автономии самодеятельного рыночного общества, и интеграцию пролетариата в это общество. Основой этих процессов стала распродажа денационализированных компаний в виде мелких акций, поощрение кооперативной собственности и мелкого предпринимательства, развитие других форм многоукладной (смешанной) экономики, в которой наметилась тенденция нового соединения труда и собственности. На основе широкого использования разнообразных форм кредита и лизинга (аренды производственного оборудования) на Западе произошел настоящий «взрыв» предпринимательства. Так, только в США ежегодно создается около 600 тысяч новых предприятий.

Речь идет о совмещении предпринимательской рыночной инициативы и продажи своей рабочей силы. Мы считали эти способы существования принципиально несовместимыми, однако действительность свидетельствует об обратном: более половины самодеятельного населения на Западе их совмещают.

Ясно, что эти процессы породили революцию в сознании «четвертого сословия» — единственного из всех, еще не пережившего *своей* Реформации. Сознание рабочего класса становится по-настоящему светским; но по мере его вхождения на равных в самодеятельное рыночное общество ему уже не хочется ни «выпадать» из истории, ни «кончать» с нею.

На Западе, таким образом, Реформация завершается торжеством повседневности над мифом о конце истории.

А что же у нас в стране? Она не пережила первую Реформацию, адресованную третьему сословию, теперь же ей предстоит сразу совершить вторую. Причем совместить первую со второй невозможно, поскольку третье сословие у нас ис-

чезло и все население целиком может быть отнесено к «четвертому» — редкий в истории пример сословного единообразия общества. Возрождение хозяйственной многоукладности и подъем страны на базе демонополизированной смешанной экономики, видимо, возможны лишь путем расслоения «четвертого сословия» и образования в его недрах корпуса, сочетающего труд и предпринимательство.

Путь невообразимо сложный, особенно если принять во внимание нынешний состав рабочего класса. Рабочую аристократию военно-промышленного комплекса (во всяком случае, в сегодняшнем ее объеме) рыночная экономика содержать, естественно, не будет; понятно, почему из этой среды уже сейчас выдвигается антирыночное лобби, проявившее себя, в частности, в деятельности Объединенного фронта трудящихся. Маргинальные, полумаргинальные и люмпенские силы, а также многочисленные группы неквалифицированных рабочих вряд ли способны выдержать конкуренцию на свободном рынке рабочей силы,— потому и они более восприимчивы к доктринальной «демократии равенства», противостоящей «демократии свободы». Видимо, главная надежда перемен — наиболее развитая и квалифицированная часть рабочего класса, тяготящаяся вездесущей опекой и принудительной уравниловкой. Эти люди — главная социальная опора структурного экономического сдвига, связанного с переходом от промышленной гигантомании раннеиндустриальной эпохи к современной гибкой наукоемкой экономике «малых форм», от государственно-монополистической, «госплановой» к саморегулируемой и самодеятельной экономике гражданского общества.

Дело крайне осложняется еще и бурно развивающимся процессом национальных движений и — параллельно — движения за гражданские права (в широком смысле слова).

Самоколониальный характер нашего общества бесспорен. Достаточно сказать, что до 97—98 процентов прибылей предприятий союзного подчинения (а на их долю приходится более 80 процентов объема производимой в стране продукции) вывозится из регионов. В их восприятии центр — гигантская монополия ведомств, потребляющих ресурсы *практически бесплатно*. К этому добавим превращение многих регионов в сырьевой придаток, выдворение сюда наиболее экологически опасных технологий, засилье монокультур, прямые запреты на строительство перерабатывающих производств на местах и т. п. В сочетании с предельной централизацией политических решений, ущемлением национального языка и культуры все это и питает массовые национальные движения.

Мишень этих движений и общедемократического движения за гражданские права одна — административно-командная система, буквально спеленавшая общество и парализовавшая его энергию. Но мировоззрение этих двух потоков существенно различается. В основе первого из них лежит философия *коллективного* спасения и *всеобщего* (национального) интереса. В тех случаях, когда интересы гражданина приходят в противоречие с идеологией коллективного национального спасения, их приносят в жертву. Идеология национально-освободительных движений явно тяготеет к этатизму, что прямо выражено в системе приоритетов: главной целью провозглашается создание независимого государства.

Мировой опыт многих бывших колоний проявил одну общую тенденцию: национальное государство, созданное ими, чаще всего приобретает авторитарный, а нередко (в мусульманских странах) и теократический характер. Изменится ли эта тенденция в нашем случае, когда метрополия представлена не демократическим, а тоталитарно-теократическим режимом? Не случится ли так, что народы поменяют одну административно-командную систему на другую, имеющую «национальное лицо»? Не выгоднее ли иметь систему противовесов, при которой центр федерации способен нейтрализовать авторитарно-абсолютистские и патриархально-попечительские поползновения местной власти?

Во всяком случае, приходится признать, что национально-освободительное движение зачастую склонно использовать мифологему «священного национального интереса» и «спасения». А это предполагает соответствующую идеологизацию массового сознания с помощью «образа врага», деления на «верных» и «неверных», религиозно-теократический принцип организации коллективного бытия.

В этой логике развития националистического этатизма решающую роль, бесспорно, будет играть его «русская разновидность». С одной стороны, Россия отнюдь не менее других пострадала от тоталитаризма — пострадала и экономически, и политически, и духовно. Поэтому логика национально-освободительного движения способна увлечь и Россию на путь борьбы с «метрополией». Правда, в этом случае метрополия перестает быть понятием геополитическим, но этот момент, надо признать, никогда и не был главным. Главное — противостояние административно-командной «механики» и самобытной народной «органики». Навязание сверху новации в идеологии и практике наиболее сильный удар нанесли именно по России, поэтому реакция самобытничества как в ее ностальгическо-романтических (в духе стиля «ретро»), так и в изоляционистских (от Запада) и даже сепаратистских (от Союза) формах не могла не возникнуть. Но наряду с оборонческим самобытничеством существует и другая — великодержавно-мессианистская его разновидность. С утратой аргумента, который позволял видеть в незападном пути России не отклонение, а первопроходчество в рамках новой формации, марксистский мессианизм терпит крах.

В течение столетий мессианизм был у нас наиболее устойчивой идеологией, лишь меняющей формы — от Третьего Рима до Третьего Интернационала... Но сейчас, впервые за многие годы, оказалась разрушенной вся его инфраструктура. Западное славянство, вдоволь хлебнувшее «реального социализма», неудержимо устремилось на Запад. Международное коммунистическое движение претерпевает небывалый по остроте кризис: оно распадается, и продуктами распада оказываются, с одной стороны, социал-демократизм, с другой — аполитичный «экстремизм безверия» или крайний экстремизм фашистского толка.

Что же остается? Национализм великого народа, загнанного в угол, внезапно осознавшего свое одиночество в мире, до предела униженного? Крах мессианизма выглядит в его глазах как конец той мистической истории, которая его возвышала, обнадеживала таинственным «великим призванием» — вопреки очевидным свидетельствам отставания. Народ, не переживший Реформацию, не умеет жить повседневностью. Осталось, правда, то, что можно назвать исторической совестливостью русских,— готовность вступаться за униженных и оскорбленных повсюду, где только слышится вопль о помощи. Но, надо прямо сказать, эта национальная совестливость, выступавшая в советское время в форме «интернациональной солидарности», слишком долго эксплуатировалась в великодержавных, гегемонистских и экспансионистских целях.

Неприятие западной цивилизации и сегодня может оправдываться серьезными аргументами «особого пути». Официальная «идеология перестройки» постоянно подчеркивает, что перестраиваться предстоит не только нам, но и всему миру. Тут намеренно смешиваются два плана. Первый — необходимость возвращения страны в мировое рыночное хозяйство, строительство правового государства, парламентской демократии. Здесь нам предстоит новое ученичество у Запада — без его прямой помощи и поддержки нам не выбраться из трясины, куда завела нас идеология революционного мессианства. Второй план — глобальный — связан с тупиками и противоречиями промышленного прогресса, отлучившего человека от природы и грозящего ему моральным и физическим вырождением. Достаточно подменить первый план вторым, чтобы наша перестроечная (остро критическая) ситуация приобрела благопристойную видимость цивилизованной всеобщности и даже кое-какие признаки «первопроходчества» (мы опять «перестраиваемся первыми»). На самом деле, прежде чем делать акцент на глобально-цивилизованном кризисе, нам предстоит пройти путь послушничества и реставраторства. Всякая подмена особенного глобальным способна сейчас только сбить с толку и породить новые попытки выдать отсталость за преимущество, а в недоразвитости усмотреть провиденциальный смысл. Новая дезориентация такого рода означала бы окончательную гибель.

Итак: состоится ли в нашей стране Реформация?

А. Якимович

ЭСХАТОЛОГИЯ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

В XX веке со всеми нами случилось что-то, чего нельзя ни забыть, ни простить.

М. Мамардашвили

Смутное время, эпоха агонии тоталитарной системы, говорит на своем языке. И там, где речь идет о призраке гражданской войны, о давнишних репрессиях, о сегодняшних эпидемиях национальной розни, о тупиках в экономике и в политической жизни, там и звучат красивые, несколько загадочные слова греческо-христианского чекана. Их богословско-метафизическая сосредоточенность испаряется в широком употреблении, и они просто обозначают очень высокую степень горестных эмоций и глубокое потрясение. Они подобны старинным дворцам и храмам, которые употребляются новой властью на новый лад — то есть скорее не в лад. Но и понятия, и здания имеют свой первоначальный и истинный смысл. Переводить значительные философские слова в каждодневном употреблении и думать, будто сама история культуры — это не более чем арсенал и каменоломня для сегодняшнего пафоса, сегодняшней боли, есть и ребячество, и варварство.

Слова и понятия, настроения и идеи, связанные с эсхатологической сферой, имеют совершенно особый смысл для литературы России. Вспомним.

Петр Чаадаев с горячностью утверждал, что Россия — страна никчемная и пропащая, и с такой же горячей верой доказывал, что она же — страна великого будущего и залог спасения для всего мира. С рационалистическими мерками трудно подходить к Чаадаеву. Он предельно непоследователен, у него концы не сходятся с концами; может быть, не так уж ошибалось правительство, которое объявило его сумасшедшим. Но от него и не надо ждать аристотелевой логики. Его ум иначе направлен и действует не столько рационально, сколько на эсхатологический манер.

Другой пример из того же ряда — Достоевский. Его очень занимало (точнее сказать, буквально не отпускало) парадоксальное двуединство добра и зла. Имеется в виду, в жизни человека и в человеческой природе. Смешаться, слиться воедино добро со злом не может, но оторваться, уйти от тьмы, оказывается, сам свет духовный не способен, и более того — не должен.

Исходная точка для очищения, спасения и просветления человека не что иное, как мрак и бездна греха и преступления. У человека иначе не получается. Только у ангела и ребенка получается иначе. Мысль Достоевского, разумеется, не нова для христианского мира, но она была им доведена до крайних пределов с отвагой, какой могли бы позавидовать единомышленники — например, Паскаль и Киркегор.

В романе «Подросток» есть совершенно «киркегоровский» вставной рассказ о некоем мудром человеке, который жил праведной жизнью отшельника и искал истину. Размышляя над библейской историей сотворения мира и над первоначалами бытия и дойдя до слов «И бысть свет», мудрый человек произносит загадочную фразу-вопрос: «А не бысть ли тьма?» В перспективе канонического богословия очень похоже на то, что он додумался до ереси. Но то не случайное завихрение мысли, не произвольное умствование. Странный, «возмутительный» вопрос отшельника по своей сути эсхатологичен. Речь идет о том, что свет несоединим с тьмой, хотя и неотделим от нее. Более того, до света и самой тьмы не было. Живописцы знают, быть может, лучше других, какая это парадоксальная и философская вещь — светотень.

В «Войне и мире» Льва Толстого изображена страна, которая явно проигрывает войну и вроде бы должна быть вот-вот поставлена на колени. Завоеватель не сомневается в том, что дело сделано,— а он-то знает толк в завоеваниях. Но тут начинается и происходит нечто не очень логичное. Наступающий крах неожиданно превращается в залог возрождения и спасения. Исторические идеи

Толстого много раз опровергались ввиду их «несерьезности» и «субъективности». Наука история, с ее научной логикой, не очень согласуется с великим романом. Так ведь и не обязательно им согласовываться.

Может быть, историка и должна раздражать «Война и мир», особенно если историк держится за советский «марксизм» (который, в отличие от европейского марксизма, прививает людям какую-то болезненную подозрительность и раздражительность). А вот для культуролога книга Льва Толстого просто бесценная находка. Дело в том, что она воплотила в себе эсхатологический миф, укорененный в России. Его суть в том, что для спасения и человеку, и народу надо сначала как следует прочувствовать, что спасения-то нет. Конец. Пропали. Дошли. Вот когда пропасть безнадежности уже охватывает людей, тогда только они и могут найти выход, которого никакой здравый рассудок не предусматривал. Невозможное становится реальным. Непобедимый и не побежденный Наполеон убегает из страны, где как будто нет места той логике и той стратегии, которыми он непревзойденно владеет.

После Льва Толстого и проза, и поэзия в России не раз еще говорили о странности таинственной российской судьбы: казалось, ей надо совершенно исчерпаться и прийти к полной катастрофе, как это было в 1812 и 1941 годах, чтобы найти в себе силу и свет спасения. Здесь немалый соблазн для историка литературы: как же, ведь аршином общим не измерить! Историк философии мог бы, однако, остудить этот пыл, напомнив о том, что есть и «аршин». Дело в том, что эсхатологическая идея — одна из коренных идей экзистенциалистской философии XIX—XX веков. Ортега-и-Гассет говорит о том, что смысл и перспектива бытия осознаются человеком лишь тогда, когда он потрясен безрадостной уверенностью в тотальной бессмысленности существующего; русский читатель слышит здесь что-то знакомое и даже «свое». Не случайно парадоксы Киркегора, Ортеги, Сартра как-то легче усваиваются в России, чем безупречные построения строгих философов — например, Витгенштейна.

Культура России имеет развитые, сильные, хотя и несколько запущенные к концу XX века эсхатологические корни. Ими надо заниматься всерьез, иначе печальна будет наша участь: придется и впредь слушать откровения про неизмеримость «общим аршином» и про «загадочную русскую душу». Подобные настроения Маркс констатировал в Германии до 1848 года и категорически определил их как «находящиеся ниже уровня истории».

Если оставить без внимания эсхатологический миф русской и советской культуры, то кому-то действительно может показаться, что русская душа не только загадочна, но запутана, бестолкова, нелепа и полоумна. Мистическая «русская история» Льва Толстого просто дика. Разлаженная мысль Чаадаева требует скорее лечения, нежели возражения. Душевные патологии Достоевского известны. С Гоголем та же самая история.

Тонкий и глубокий Чехов внушает серьезные подозрения своей непредсказуемостью, беспричинной меланхолией и совершенно иррациональными нотами надежды и ожидания чуда. Тоже русская болезнь... Вспомнить хотя бы поразительный рассказ «Студент»! В своем ли уме был этот самый студент? Почему в финале трагического, безысходного стихотворения 1922 года у Анны Ахматовой появляется мотив света и надежды? Человек унижен, растоптан, уничтожен. Поэт скорбит — а в итоге оказывается: «почему-то мне стало светло». Ну отчего светло — от полной беспросветности? Очевидно, надо быть немного Чаадаевым и немного Достоевским, чтобы такое понять. А русские читают с восхищением и благодарностью. Вот такие люди.

Одно из двух: либо принять за аксиому, что в основе российской ментальности лежит какая-то дикая нелепица (которую можно из деликатности назвать «загадочностью русской души»), либо уж заняться как следует таким вопросом, как вопрос эсхатологии. Для культуры России он всегда был одним из ключевых.

В 1919 году в работе «Апокалипсис нашего времени» Василий Розанов писал, что Россия сможет возродиться к новой жизни, но лишь после того, как она погибнет полностью и окончательно и превратится в «вонючее пустое место». Будет свет, но лишь тогда, когда наступит беспросветная тьма. В этом духовном экстремизме — то же отсутствие «школьной» логики, что и в словах песни, которую, возможно, Розанову пришлось слышать на закате дней: «И как один умрем в борьбе за это». Что будет после того, как «все, как один» умрут? Спасение приходит с гибелью...

Таково эсхатологическое сознание, отмеченное в одном случае гениальностью, в другом случае — варварством. Без понимания законов такого сознания для нас останутся закрытыми и немыми произведения русского искусства начала XX века, от Врубеля и Бакста до Ларионова и Татлина. Возникшие в одном и том же 1913 году эпохальные картины Малевича и Кандинского — «Черный квадрат» и большая «Композиция № 7» — воплощают в себе миф о гибели и спасении. Речь идет о «мировом распаде» и о финальной точке бытия — но, однако, не в том примитивном смысле, что всему конец. Совсем наоборот: конец одного является началом чего-то другого — «иного бытия». В том-то все и дело. Кандинский запечатлел своего рода распад материи, вселенскую катастрофу, притом вполне сознательно; так же не случайно и то, что потерявшая узнаваемый облик материя пронизана ликующими, взволнованными световыми потоками. Что же касается Малевича, то предчувствие новой жизни достигается у него за счет едва заметных, но очень значимых неправильностей в абрисе и окраске «черного квадрата», которые и превращают мертвую, застылую форму — своего рода надгробный камень бытия — во что-то новое. «Квадрат» оживает, теплеет изнутри, обещает какое-то будущее, какое-то развитие.

Русский религиозный экзистенциализм первой половины XX века говорил о новейшей истории, как о Конце, который и есть начало нового Начала. Однако Бердяев, Франк и другие были далеко, и в России их мало кто слышал. Не слышно было и тех, кто жил рядом, если только можно сказать «жил». Мыслители погибали в лагерях, как Лев Карсавин, умирали вскоре после освобождения, как Даниил Андреев, либо же были долгое время изолированы от читателей, как Михаил Бахтин.

Ни на что не похожий миф о «конце света» оставил Даниил Андреев. Его эсхатология — отдельная и огромная тема. Пока что достаточно сказать, что в андреевских вселенских катастрофах нет ничего безысходного, и предрекал он не всеобщую погибель, а, наоборот, освобождение мироздания от мрачных демонических сил (воплощенных или отраженных и в силах истории, в том числе и в советской диктатуре). Но эсхатология есть эсхатология. Она провозглашает, что люди и вселенная должны дойти до Конца, чтобы оказаться в Начале. Умиравший в лагерном лазарете Лев Карсавин написал: «Все в аду, но все спасены». Логика та же самая — чаадаевская, андреевская, розановская, и снова появляется тень Достоевского.

Те, кто был связан с культурной традицией XIX столетия, не нуждались в объяснениях или, тем более, оправданиях такой логики. К концу XX века в Советском Союзе сложилось, однако, иное положение. Отвычка от действительного философского образования, утрата связей с религиозной культурой (или хотя бы церковным бытом) вели к «оплощению» сознания. Новая интеллигенция, сформированная в советских условиях, воспринимает слова «эсхатология» и «апокалипсис» как синонимы. Выпускник дореволюционной гимназии такой ошибки не должен был допускать. Далее, советский интеллигент чаще всего понимает дело так, что указанные два слова обозначают что-то предельно ужасное и кошмарное. Таков один из итогов «шариковизации» человека в советскую эпоху: низовые, почвенные интуиции во многом утрачены, а высокая урбанистическая и университетская цивилизованность не усвоена. Получается промежуточное существо, которое выражается невпопад. Оно обитает не только в Москве, но и в Париже, и в Нью-Йорке, поскольку процесс-то мировой, а не локальный. Но СССР — то самое место на планете, где некоторые общие проблемы человечества приобрели крайнюю остроту к концу XX века в результате глубокого общего кризиса общества и человека. Пресловутая антропологическая катастрофа XX столетия впервые обнаружена и описана на Западе, но что касается ее острых проявлений и рекордных результатов, то здесь мы можем успешно соперничать с Западом.

Как известно, книга под названием «Апокалипсис», или «Откровение Иоанна», являющаяся частью Священного Писания, повествует о видении святого прозорливца, которому довелось лицезреть картину Конца света и Страшного суда. Итак, высший суд над человечеством. Именно с у д. Речь идет не просто о кошмарах и катастрофах, которые почему-то обрушились на людей. Речь идет о том, что всем воздается по заслугам, то есть правым — по их правоте, а виновным — по их вине.

Что же касается эсхатологии, то она есть часть философско-религиозной метафизики. Религиозная мысль озабочена тем, что же может — и должно — быть после Конца света: конечность земного бытия свидетельствует о наступлении иного бытия, ино-бытия, когда будут «иное небо и иная земля». Эсхатология означает обещание нового Начала; смерть и распад всего существующего не финальная точка существования, но скорее переходный момент.

Когда советские критики отважно прилагают слова «эсхатология» и «апокалипсис» (считая их, как уже сказано выше, синонимами) и так называемой чернухе, то есть к литературе и кинематографии страшного, отвратительного и низменного, то они, можно сказать, показывают свое удостоверение личности. Они поступают в точности так же, как персонаж Булгакова, который, почитав книжку Каутского, без долгих раздумий определил, что там «одна контрреволюция».

Разумеется, «искусство ужасов и гадостей» не имеет ничего общего с эсхатологией, ибо никакой перспективы инобытия там нет и быть не может. Апокалипсис тоже ни при чем, потому что идея апокалипсиса — это идея Высшего суда и воздаяния за все — плохое и хорошее. Искусство советского Смутного времени — около 1990 года — довольно часто обращается к традиционным архетипам преисподней или Триумфа смерти (например, в фильмах «Игла» или «Такси-блюз»). Но если говорить о собственно эсхатологическом начале, то его следует искать где-то в другом месте. Где именно?

Я начал бы с того, что обратил внимание на роман Анатолия Злобина «Демонтаж» — не самое заметное произведение восьмидесятых годов, но наделенное не только публицистической остротой. Там есть одна сцена — для исследователя исключительно интересная.

Речь идет о той сцене, в которой старик сторож, охраняющий гигантский памятник Вождю, взбирается по лестнице внутри статуи и поднимается на самый верх, к лику кумира. Здесь происходит то, что, с обыденной точки зрения, является служебной обязанностью старика. Но то еще и ритуал, если понимать происходящее метафорически.

Старик стирает грязь, пыль и птичий помет с губ, щек, носа и глаз колосса. Он выполняет свою работу посредством тряпки, смоченной в собственной моче. Если оставаться на уровне «прозы жизни», то такой своеобразный способ служения святыне объясняется просто-напросто тем обстоятельством, что старый человек не в силах донести ведро с водой по крутым лестницам на головокружительную высоту. Но кроме обыденной интерпретации должна быть и другая: ведь перед нами явно разворачивается нечто мифологическое.

Как это ни удивительно, злобинская мифологема заставляет вспомнить о фрейдистских истолкованиях искусства и литературы. Ритуал «омовения статуи» вполне очевидно связан с темой любовного единения жреца и кумира, с культом плодородия и возрождения жизни. Верный служитель культа пытается оживить Отца Народов посредством животворящей мужской влаги, символически обозначаемой содержимым мочевого пузыря. Но такая попытка не может не быть крайне двусмысленной. Какое же здесь может быть возрождение, какая жизнь? Дряхлый старик, который едва-едва может подняться по лестнице со своей тряпкой,— скорее вестник могилы. Он сам скоро уйдет в мир иной, он похож на посланника самой Смерти, которая прикасается к устам и очам Отца и Вождя.

Символическое оживление превращается в символическое уничтожение. С одной стороны, мы наблюдаем почтительное жреческое служение Статуе, а с другой,— здесь происходит бессознательное поношение святыни. Тряпка, напитанная старческой мочой, менее всего напоминает предмет священного культа.

Перед нами странный мир. Внешне он обычен: умер тиран, люди хотят и боятся перемен, кто-то хочет увековечить тиранию и прочее. Символическая значительность происходящего обнаруживается тогда, когда мы замечаем, что здесь противоположные понятия смешались и самые несоединимые смыслы перепутались. Сплелись воедино жизнь и смерть, «да» и «нет», поклонение и поношение. Потому и можно сказать, что достигнута финальная точка, своего рода Конец света. И не потому, что появляются всякие страшные вещи (ничего страшного как раз и нет). Суть дела в том, что наступил предел всего, и далее, что называется, ехать некуда. Когда старый холоп (в прошлом — охранник из НКВД) омывает лик Молоха вонючей тряпкой, то он своим благоговейным кощунством фактически исполняет пророчество Розанова о том, что России предстоит стать «вонючим пустым местом» и дойти до самого конца. А конец в эсхатологическом смысле — это не что иное, как невозможность дальнейшего существования в прежнем качестве. Здесь как раз тот самый случай: уже невозможно отличить преклонение от поношения, служение от издевательства. Надо заметить, что ритуалы поздних партийных съездов и заседаний Верховного Совета вызывают сходные впечатления.

А. Злобин вряд ли сознательно хотел подтвердить правоту розановского «Апокалипсиса». «Демонтаж» — роман о несостоявшемся демонтаже. Писатель изобразил не уход тоталитаризма, а его превращения: он ведь умеет меняться без изменений и двигаться без движений. Благовест «оттепелей» и «перестроек», доносящийся с высших колоколен,— это скорее наваждение. Суть же дела в том, что жизнь и реальность подошли к границе возможного и даже переступили через нее в запредельный мир. Такова эсхатология.

Это понятие требует очень внимательного отношения. Существенные вещи на дороге не валяются. Более чем наивно думать, будто «эсхатологические настроения» кишмя кишат в творчестве идеологических вольноотпущенников «перестроечных» лет. Разговоры о том, что «все у нас плохо» и «до чего же мы дошли», не есть мысль эсхатологическая — а может быть, и вобще она есть не мысль, а нечто вроде животного подвывания.

Мысль начинается там, где устанавливаются причинно-следственные связи. Например, литература и кино предпринимают исследование происхождения «человека пропащего», «человека потерянного». Александр Зиновьев уже в книге «Зияющие высоты» начал заниматься проблемой «псевдочеловека», то есть двуногого, утрачивающего критерии и признаки человеческой самости. В книге «Гомо советикус» он продолжил свои штудии и весьма впечатляюще изобразил породу мутантов, которые означают некий предел истории рода человеческого. Дальше этого предела, видимо, история пойти не сможет. Ей придется искать иные пути. Мутанты Зиновьева похожи на злобинского сторожа: они служат своему социалистическому богу, старательно его испоганивая. Другие же поносят социалистические святыни, но не отказываются им послужить. Перед нами — коллапс того, что Кант именовал «критическим разумом» и «практическим разумом». Упорядоченный мир, где белое было белым, а черное — черным, уступил место аморфному и зыбучему потустороннему миру.

Одни говорят, что Конец света уже произошел, только мы его не заметили. Другие предупреждают, что он надвигается, а третьи думают, что он происходит сейчас, у нас на глазах. Катастрофические ощущения можно изгонять, заклинать, отрицать. Можно выходить на

общественные трибуны с опровержением мрачных настроений, именуя их красивым словом «эсхатология». Но непрофессиональное самовнушение мало помогает.

«Откровения» о нашей катастрофе бывают неплохим материалом для эсхатологической мысли и для эсхатологического творчества. Но именно материалом, ибо мысль и творчество — это уже другое.

Очень характерным было, например, опубликованное в 1990 году письмо женщины, матери, которая, возмущаясь жестокостью и бесчеловечностью происходящих вокруг нас событий, заявила, что жестоких людей надо обливать бензином и поджигать. Такое соединение борьбы за человечность с бензиновым факелом (а можно и с автоматом, и с саперной лопаткой) является очень характерным признаком мутанта.

Массовое присутствие мутантов среди нас, или, может быть, в нас самих, и совершенно запредельные повороты гуманизма, социализма, справедливости, патриотизма и прочего вызывают ужас, растерянность и содрогание либеральных публицистов. У них более чем достаточно причин для этого. Они находят их в истории гражданской войны, сталинизма, коллективизации и «зрелого социализма».

Обращаясь к «партийной жизни» и «армейским будням», к статистике социального неравенства и детской смертности, к проблеме хлеба насущного и прочим проблемам, они обнаруживают такие факты, цифры, закономерности, которые как бы вообще ставят под сомнение саму возможность существования такого общества. Они видят маловероятное, необъяснимое общество.

«Мягкие» либералы говорят о необходимости всеобщего покаяния, «жесткие» либералы все более резко заговаривают о гражданском неповиновении и борьбе.

Естественно, появляются и программы практических действий — от экономической «500 дней» до политически-нравственной солженицынской «Как нам обустроить Россию?»

Но они не осуществляются, и не могут осуществляться. Синдром катастрофы подтачивает и сводит на нет все попытки экономической, социальной, политической инженерии. Было бы просто странно, если бы катастрофические умонастроения не завладели широкими слоями образованного общества. Но следовало бы опять заметить: синдром катастрофы — одно, а эсхатологическое мышление — другое.

Поэтому оставим в стороне вопрос о том, каким образом искусство изображает жуть и мрак жизни человеческой, а будем говорить о том, о чем говорить надлежит: каким образом изображается сама исчерпанность бытия, предел возможностей существования, догадка о «другом существовании».

* * *

Позднесоветская литература изобразила в избытке разнообразные мерзости, бесчеловечности, безумия и нелепости. Вообще литература конца столетия отличилась по этой части. Достаточно упомянуть новый роман Сильвии Жермен «Дитя-медуза», вышедший в Париже в начале 1991 года. Но дело в том, что ужасное и отвратительное — вовсе не самый надежный показатель присутствия эсхатологического.

Скорее таким показателем является ощущение того, что погибель не напрасна и даже нужна, ибо лишь с ней связана надежда на просветление. Персонажи Венедикта Ерофеева идут навстречу своему концу и даже, в известном смысле, сами себя приканчивают, когда уходят бесповоротно в мир алкоголя и безумия. Но тем самым они ведь по-своему спасаются от окружающей их «нормальной» действительности, которая для них гораздо страшнее и тягостнее, чем конец в подворотне или в сумасшедшем доме.

Полагаю, что настоящая, вполне серьезная эсхатология есть в искусстве таких писателей, как Татьяна Толстая и Валерия Нарбикова, Владимир Сорокин и Анатолий Гаврилов, Фридрих Горенштейн и Юрий Мамлеев, Евгений Попов и Вячеслав Пьецух. И с киноискусством тоже, так сказать, все в порядке — я имею в виду и искусство Андрея Тарковского, и фильмы Тенгиза Абуладзе, Вадима Абдрашитова, Киры Муратовой и других.

Причем именно в кино можно увидеть эсхатологическое начало самым наглядным образом. Наше кино умеет довольно впечатляюще показывать исчерпавшую себя, омертвевшую жизнь, и ее обитателей — конченых людей. Самый простой пример — «Письма мертвого человека» режиссера Константина Лопушанского. Там дело не в том, что изображается жизнь людей после ядерной войны; это еще не эсхатология и не апокалипсис, это пока что просто мировая катастрофа. Эсхатологичность появляется там и тогда, где и когда появляются многозначительные намеки на то, что конец — это еще и начало, а впереди есть что-то «другое», может быть — высшее может быть — даже Истина.

Что же касается литературы, то среди ее приемов есть такой, как эсхатологический смех — смех Венедикта Ерофеева, Евгения Попова, Тимура Кибирова.

Пьеса «Кот домашний средней пушистости» (по повести Войновича «Шапка») — трагикомическая история бедолаги-писателя, который пытается раздобыть дефицитную и престижную шапку через распределитель Союза писателей. Но там, конечно, заранее известно, кому что полагается. Пройдя через мытарства и унижения, искатель шапки гибнет, не достигнув вожделенной цели.

Собственно говоря, фабула построена по типу гоголевской «Шинели». Маленький пишущий человек, пешка идеологического департамента (в данном случае официально-писательского) добивается права и возможности получить любезную ему вещицу. Так сказать, меховую шинель для головы. Но сей предмет — символ высокого иерархического положения. Она не для «маленького человека», и она его губит, злосчастная шапка.

Герои Гоголя живут в таком измерении, которое похоже на преддверие ада. Кажется, еще один шаг — и мы уже в царстве бесов, призраков, пришельцев из могилы. В каком же измерении живут герои Войновича?

В пьесе есть вставной эпизод, который возникает снова и снова и получает тем самым некий особый смысл. Писатель средней руки, вознесшийся мыслью к Шапке Пыжиковой, сочиняет свой патриотический шедевр. Он описывает случай из числа тех, которые в течение многих лет удостоверяли героизм и величие советского человека. Корабельный доктор собирается сам себе вырезать аппендицит. Причина его решимости проста. Ему стало плохо у далеких берегов, и, хотя недалеко есть и гавани, и больницы (да еще и не чета советским), замполит корабля — так сказать, малый генсек — нипочем не разрешит отправить доктора на берег в чужой стране. Не положено, и мало ли что, да и Москва не допустит. Так что приходится выбирать — либо помирать от перитонита, либо себе самому живот распарывать.

В таких вот парадоксальных и немыслимых моментах, постоянно находимых советской литературой, ощущается некий «предел бытия». Реальный мир не может жить по таким законам. Он может быть плохим, ужасно плохим, и все же существовать в качестве реального. Но вот когда он уже ирреален — здесь все, конечная станция. Когда человек уже готов на мученичество не за веру, не за идею, не за другого человека, а по причине того, что «замполит не пустит и Москва не одобрит», то это ведь никакая не жестокость, не бесчеловечность, а что-то «за гранью». Начинается мир запредельный, и даже, может быть, не начинается, а продолжается. Начинался-то он еще в «Котловане» Платонова.

Здесь и возникает уже несомненно эсхатологическое ощущение исчерпанности и невозможности бытия. А кошмаров никаких не нужно, и у Войновича их нет. И ситуация добровольного харакири — это уже не гоголевское «преддверие ада», а нечто иное. Преддверие далеко позади — настолько далеко, что его уже можно принять за рай. Может быть, почти весь ад уже пройден, и не случайно возникает тема выхода из немыслимого измерения: она воплощена в эпизоде отъезда одного из героев пьесы — неугодного властям независимого писателя — в вынужденную эмиграцию. Впрочем, этот эпизод не кажется мне особенно существенным. Существенно то, что Войнович умеет смеяться особым смехом.

Его смех, с одной стороны, безнадежный, а с другой стороны, в нем есть облегчение. Автор «Шапки» и «Ивана Чонкина» словно знает, что изображаемый им конец человека — не просто конец, а конец конца — а это, говоря по-пушкински, дьявольская разница. После исхода может быть только новое начало, какое-то иное существование. Оно пугает своей неизвестностью, но в нем — выход.

Изображение исторического зла в позднесоветской литературе (от Войновича до Пригова) — не нагромождение каких-то всемирных преступлений, не бесовская вселенная, как у Солженицына, а скорее что-то из ряда скверных анекдотов. Вот корабельный доктор сам себя ножом полосует, а вот незадачливого «правильного» писателя несут в морг. В общем, мелочи советской жизни, не о чем особенно и говорить. Но — мелочи специфические и показательные. И не просто скверные анекдоты, а такие прескверные анекдоты, которые могут случиться только уже в отдаленнейших закоулках преисподней, возле ветхой и полуразвалившейся задней стены. Ее пытаются укрепить, заклеивая щели изъятыми у пенсионеров сторублевыми банкнотами и выставляя охрану из уголовно мыслящих стражей порядка, но не такие уж это сильные заслоны в данном случае.

У литературы и философии всегда было много хлопот с проблемой добра и зла. Подчас становилось безумно трудно их различать. Но то, что различать их необходимо, и в принципе можно найти и меру, которая позволяет это сделать, было чаще всего вне сомнения. Кант доказывал, что критерии есть. Гете показывал, как их искать. И так далее.

В конце XX века философия Запада и Востока занимается вопросом, который до того как будто вообще не стоял: а можно ли вообще пользоваться критериями различения каких-либо ценностей в современном мире, с его потребительством, его электронными миражами и его тоталитарными опытами, которые (все вместе и каждый в отдельности) довольно успешно отменяют самое реальность? Можно соглашаться или не соглашаться с парадоксами Жана Бодрийяра, но вопрос существует.

Наши независимые мыслители (такие, как Мераб Мамардашвили и Александр Зиновьев) уделили главное внимание «заплутавшему» сознанию человека, для которого не существует самой меры добра и зла. Такой человек становится героем на грязной войне, он создает систему законности, которая похожа на систему организованной преступности. Он готов поливать бензином плохих людей и горящий уголек подбросить.

Иными словами, он — мутант и живет в мире, где заканчивается эпохальная мутация исторической действительности. Мутация привела к тому, что

смешались, причудливо переплелись противоположные понятия и явления. Здесь общественное богатство (неделимое, не растрачиваемое на прихоти частного эгоизма) становится почему-то источником всеобщей нищеты. Самая абсолютная власть на Земле способна уничтожить все живое на планете, но не только не может накормить своих подданных, но даже, видимо, не может позволить себе предоставить им возможность кормить себя самим — ибо такая «самостийность» для нее, власти, смертельно опасна.

Драма героя позднесоветской литературы заключается не в том, что он отверг меру добра и зла или не нашел ее. Драма в том, что сама действительность отрицает эту меру. Чаще всего писатели изображают не концлагерь, не психбольницу, а что-то «из нормальной жизни». Точнее, из как бы жизни, потому что изображается, в сущности, потерянный мир, где смешалось все то, что в ходе истории человечества было разделено.

В романе Войновича «Москва 2042» герой посещает коммунистический город будущего. Среди его обитателей (они все довольно диковинны) есть и священник «коммунистической религии». Она учит, оказывается, что Бога не существует, а на небесах пребывает всемогущий Гениалиссимус, создатель и вдохновитель всех высших истин и заветов, которыми руководствуется человечество с древних времен до светлого коммунистического настоящего. Герою приходится вместе со всеми прочими «перезвездиваться», то есть осенять себя диковинным знамением, соединяющим в себе крест и пятиконечную звезду. Роман был написан за несколько лет до того, как коммунистическое правительство взяло курс на союз с церковью (иногда кажется даже, что дело идет к ее превращению в официальный культ).

Катастрофические и апокалипсические предсказания и догадки о судьбе России и русских людей оставили Гоголь и Достоевский, К. Леонтьев и В. Розанов. Интересно, поверили бы они, если бы им сказали, что русская литература XX века будет изображать человека, которому приходится вспарывать себе живот, чтобы начальству было спокойнее, и «перезвездиваться» во имя небесного Гениалиссимуса. Они изображали очень плохой мир, но все-таки то был реальный мир; а здесь уже нечто «загробное».

Принято считать, что апокалипсические и эсхатологические настроения (принимаемые за нечто целое) широко распространились сегодня и настолько захватили всех и вся, что им отдают дань не только либеральные публицисты и «альтернативные» писатели, но и партийно-почвенные «архаисты».

Действительно, «писатели-патриоты» уподобляют даже половинчатую и двусмысленную «перестройку» катастрофе. Лидер РКП образца 1990 года И. К. Полозков не менее того тревожится за судьбу страны. Публицисты-почвенники, группирующиеся вокруг «Нашего современника» и некоторых других изданий, исправно толкуют о распродаже страны, об опасности «малых» и «паразитических» народов, об угрозе разлагающего нас западного вольнодумия, мерилом которого считаются почему-то сравнительно невинные конкурсы красоты.

Что касается официальных деятелей продолжающей удерживать власть КПСС, то и они высказываются в очень драматичном духе о разных сторонах жизни страны, прямо преследуя при этом свои политические цели. С их точки зрения, катастрофично все то, что угрожает всевластию анонимных и всесильных партийных органов, давно уже сросшихся со всеми властными структурами — от торговли (а это тоже власть) до секретных служб (а здесь и говорить нечего).

Консервативно-охранительская пропаганда имеет склонность к нагнетанию тревоги. Речь идет о том, что положение опасно, положение ужасно и все летит в тартарары: армия, держава, нравы, снабжение и прочее. Падения в пропасть можно избежать лишь в том случае, если выполнить все то, что советуют патриоты и народные заступники — Полозков, «Наш современник» и Министерство обороны.

Здесь трудно запутаться, настолько все элементарно. Пропаганда, построенная по принципу «конец близок, все за мной», оперирует призраком катастрофы, но не имеет ни малейшего отношения ни к эсхатологии, ни к принципу апокалипсиса — Высшего суда (не путать с Верховным судом, ибо и здесь тоже «дьявольская разница»). Формулы донельзя идеологизированного сознания — не мифы культуры. Пугая, обещать спасение — один из самых ходовых способов политического гипнотизирования масс. Кто только им не пользовался, начиная от ассирийских царьков и кончая Гитлером! И Сталин был в этом плане не промах.

Когда один древний царек пугал своих подданных богопротивностью поведения другого царька, своего соперника, или когда Сталин пугал партийные кадры ужасами троцкизма, то можно говорить о том, что осуществляется психологическая атака самого примитивного свойства. Задача пугающего — внести некую оробелую растерянность и смятение в массовое сознание, чтобы не выпустить власть. Номенклатурные властители и жрецы патриотического культа, их пресса и их телевидение занимаются именно этим делом.

Нелепо думать, что «эсхатологические настроения захватили всех» и что все говорят о катастрофе. Эсхатологическое искусство повествует об устройстве мира, о его состоянии, о трагедии бытия и о последней надежде за порогом безнадежности. Психологический терроризм со стороны ЦК, РКП, ТВ, КГБ и прочих спасителей Союза и России призван убедить нас в том, что они должны сохра-

нить и усилить свою власть, что они должны править и командовать, а не то еще хуже будет.

Так что вовсе не об одном и том же говорят люди Смутного времени. Одни хотят понять, что же произошло и что происходит с миром. Другие хотят владеть этим миром и людьми, его населяющими. Два разных инстинкта: познания и власти.

Как всегда власть хочет опереться на познание и даже выдать себя за носителя высокого знания. Как всегда власть обнаруживает, что настоящее большое Познание мира ей не нужно. Оно — само по себе и трону не опора. Но развитое властолюбие — столь могучий инстинкт, что оно подавляет даже стремление к познанию. Художественное познание вникает в вопрос о том, как и почему запутался человек, и что будет с ним дальше. Властолюбие в красках, властолюбие в слове, властолюбие на экране телевизора искренне вопиет: моей державе плохо, спасайте мою державу и не троньте мой скипетр.

* * *

Советское мифотворчество издавна являло собой многозначительную пару к так называемому американскому мифу. Мистическое видение раннего советского коммунизма было видением светлого будущего, возникающего за порогом «старого мира», который должен быть полностью разрушен. Наивный советский миф имеет подобие в лице столь же наивного американского мифа XIX — начала XX веков. Суть последнего именно в том и состоит, что новый человек находит новую землю, осваивает и обживает ее, строит на ней новую жизнь. «Старый Свет», со всеми своими бедами, пороками и нелепостями, остался позади. Уолт Уитмен воплотил это умонастроение в поэзии. Живопись Америки дала к началу XX века свой особый, несколько грубоватый и угловатый, но очень искренний поэтический реализм, воспевавший свежесть, силу, надежду Нового Света. Например, картины Уинслоу Хомера. Музыка дала рэгтайм и ранний джаз — своего рода гимн новому свободному человеку.

На протяжении XX столетия американская культура заметно меняла акценты. Катастрофичность мирового развития после 1914 года не полностью обошла Америку. Изображение враждебных сил, ударов судьбы и бед, обрушивающихся на человека, вырастает в масштабах. Речь идет не только об искусстве Чаплина или Хемингуэя. Даже абстрактный экспрессионизм (с его неистовой американской моторностью) и поп-арт с его наивной дерзостью были своего рода «американским вызовом». Нате вам! Трагическое искусство Копполы и Формана, Воннегута и Сэлинджера повествует о том, как человек яростно сопротивляется бесчеловечным обстоятельствам. Он вовсе не обязательно побеждает. Американский герой в литературе и кино то и дело терпит поражение в конце XX века. Но он не сдается и не признает себя побежденным. Он боец, который действительно достоин победы, даже в том случае, когда враждебный мир сильнее его.

Что же касается пресловутой массовой культуры американского пошиба, то в ней «хорошие парни» просто на все сто процентов обязаны нанести сокрушительное поражение бандитам, гигантским обезьянам, коварным агентам Москвы и Пекина, демонам, космическим пришельцам, террористам и прочей нечисти, покушающейся на покой честных людей и на славных девушек, которые по праву должны принадлежать только «хорошим парням».

Позднесоветская литература и независимое искусство второй половины XX века практически не знают такого героя-бойца. (Официальная культура, пропагандистские поделки во славу номенклатурной системы и бравый Штирлиц в счет не идут.) Искусство повествует о том, что схватка позади, не сломленных нет и быть не может, поражение человека свершилось, и оно полнейшее. Человек разбит наголову бесчеловечными силами и обстоятельствами. Он не из породы победителей, как американский герой, а скорее из породы побежденных. Победителей вообще нет, они по ту сторону добра и зла. Но в том-то и дело, что это — не такой финал, когда следует с рыданием поставить последнюю точку и закрыть лицо траурным покрывалом.

Искусство позднего советского периода стало моделировать такую ситуацию, которая вроде бы вообще не имеет аналогов в мировой культуре. Возникает перспектива надежды и спасения, причем тогда, когда, казалось бы, никакой надежды нет и быть не может. Имеет место, так сказать, эффект Ахматовой: хуже быть не может, но «почему-то... стало светло». Вероятно, дело в том, что перед нами — не просто конец, как конец, а именно «конец конца» и «предел предела». Сегодня все знают слова Высоцкого: «Чую с гибельным восторгом: пропадаю...» Добавить к этому нечего...

Наша культура на наших глазах совершила важное открытие. В том, что она породила на свет (в искусстве слова и экрана, в живописи и в авангардных «акциях»), можно ощутить какой-то постоянный подтекст: с нами все кончено, нас доконали — а может быть, мы сами себя доконали. Но, оказывается, это не все. Сам конец тоже подошел к концу — а как говорил Ортега, смерть смерти и есть жизнь. Появляется эсхатологический свет из тьмы. Здесь перед нами — одна из самых интересных проблем позднесоветской культуры.

Эсхатологическое просветление не бывает обычным делом, оно всегда редкость и чудо. И все же чудо происходит, и познающий разум в состоянии зафиксировать и обрисовать этот процесс.

В мире журналов и книг

Долги наши...

В обращении «От автора», открывающем книгу о творчестве и судьбе Василия Гроссмана, Анатолий Бочаров вспомнил свою давнюю работу об этом писателе и счел нужным объяснить читателям, в каких обстоятельствах она создавалась:

«Когда я писал монографию о Гроссмане, вышедшую в 1970 году, на его имя еще падала тень от изъятия «антисоветского» романа «Жизнь и судьба», и о многом пришлось сказать не в полную силу, как бы реабилитируя опального художника. Теперь эти препоны сняты, и можно договорить то, что раньше подразумевалось. Да, признаюсь, я тогда еще и не был знаком со всеми его последними удивительными произведениями.

Я, конечно, знал, что это крупный писатель, но не предполагал, что настолько крупный. Публикация «Жизни и судьбы» и повести «Все течет» явила подлинный масштаб его таланта.

И пройденный автором путь предстал в новом свете».

Здесь, мне кажется, сказано, однако, не все, что стоило бы знать читателям новой книги А. Бочарова,— истины и справедливости ради эти строки надо дополнить тем, о чем автор счел, видимо, нескромным напоминать...

А. Бочаров стал заниматься творчеством Гроссмана в очень тяжкие для писателя времена, когда, как пишет в своих воспоминаниях Семен Липкин, один из самых близких и верных друзей Василия Семеновича, «телефон у него замолк, многие старые друзья его покинули», наверное, опасаясь, что их товарищ может последовать за арестованной рукописью своего романа и им дорого придется расплачиваться за эту связь. Что говорить, они повели себя дурно и постыдно, но, увы, сами их опасения, их страх были не лишены оснований — много лет спустя один из моих знакомых, тогда работавший в «директивных инстанциях», рассказал мне, что там обсуждался и такой вариант — не отправить ли за решетку не только роман, но и его автора.

Написанный в ту пору А. Бочаровым критико-биографический очерк — еще краткий, всего несколько листов — света не увидел, после экзекуции, учиненной над рукописью «Жизни и судьбы», об этом и речи не могло быть. И, хотя никаких надежд на издание книги о Гроссмане не оставалось, А. Бочаров продолжал над ней работать. И то, что в 1970 году его монография, к которой автор ныне относится весьма критически, увидела свет, было из ряда вон выходящим, редким счастливым случаем — проморгали власть предержащие, как и почему, даже трудно объяснить. Ведь тогда самого Гроссмана уже не издавали — после его смерти была напечатана лишь одна книга, в 1967 году сборник повестей и рассказов «Добро вам!». А вскоре, когда за рубежом опубликовали повесть «Все течет», даже на имя Гроссмана было наложено табу, его нельзя было поминать в печати — цензура, получив на этот счет строгое указание, бдительно следила, чтобы оно не нарушалось. В многочисленных критических обзорах литературы о войне, приуроченных к 30-летию Победы, Гроссман и его книги ни разу не называются — большого писателя как не было. Потом такая же история произошла еще с одним классиком нашей военной литературы, Виктором Некрасовым, вынужденным эмигрировать,— имя его даже из библиографических справочников вычеркивали...

Обстоятельная, в двадцать два с лишним листа монография А. Бочарова, отправленная в производство в октябре восемьдесят девятого года (напомню, что в Советском Союзе на страницах журнала «Октябрь» «Жизнь и судьба» была опубликована лишь в восемьдесят восьмом году, а «Все течет» — в восемьдесят девятом), не скороспелый отклик на стремительно взошедшую на литературном небосклоне звезду Гроссмана. Что греха таить, таких наспех скроенных, бойких критических статей о «возвращенной» литературе появилось немало; наивно было бы думать, что с наступлением гласности исчезнут конъюнктурщики,— не исчезли, просто переключились на новые объекты.

Книга же А. Бочарова — плод трид-

А. Бочаров. Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба. М., Советский писатель, 1990.

цатилетних исследований и размышлений, не прерывавшихся и тогда, когда рассчитывать на публикацию не приходилось. Если не бояться высоких слов — по-моему, они в данном случае вполне уместны,— эта верность критика преследуемому, выдворенному из литературы художнику была верностью Литературе, помогала сохранить подлинный профессионализм и не отступать от реального, гамбургского счета в оценках явлений текущего литературного процесса во времена, когда в соответствии с негласной табелью о рангах сплошь да рядом значение творчества писателя определялось занимаемой им должностью в департаменте изящной словесности.

Художник, творчеством которого занимается исследователь, так или иначе оказывает на него влияние,— даже споря с ним, критик усваивает или учитывает его опыт. Из всех писателей, о которых идет речь в книгах и статьях А. Бочарова, самым близким ему оказался Гроссман, его уроки — и отношения к жизни, к людям, и эстетические — были восприняты им с максимальным вниманием и очень много дали ему; проникновение в художественный и нравственный мир Гроссмана знаменовало для А. Бочарова обретение зрелости.

Серьезное, не спекулятивное истолкование творчества писателя покоится на глубоком, доскональном знании его биографии, общественной и литературной жизни соответствующей поры. Это условие обязательно, хотя не всеми соблюдается. Желание поразить читателей сногсшибательной концепцией, во что бы то ни стало опрокинуть общеизвестное, не утруждая себя мало-мальски серьезной аргументацией, оборачивается вопиющим антиисторизмом,— многие подобного рода построения и концепции при проверке даже лежащими на поверхности фактами рассыпаются как карточные домики.

Книга А. Бочарова отличается скрупулезной добросовестностью и плотностью фактографической основы. Дотошно сверены все редакции, прослежена авторская правка, отделена от нее правка, сделанная по требованию цензоров и редакторов (часто за этими требованиями стояли непререкаемые указания «инстанций»). Когда критик начал заниматься творчеством Гроссмана, еще была возможность встречаться и беседовать с Василием Семеновичем, и эта возможность не была упущена: в своей работе он опирается на признания и суждения автора (представляющие тем большую ценность, что Гроссман не принадлежал к писателям, за которыми гонялись журналисты, чтобы добыть интервью,— две-три коротеньких, в один абзац, заметки о творческих планах, записанные со слов писателя в те недолгие промежутки, когда он не был в опале,— вот и все, что осталось).

Разумеется, тщательным образом изучен А. Бочаровым архив Гроссмана. Я говорю: разумеется, потому что автор выступает в данном случае не как критик, а как литературовед, историк литературы. Критик вполне может миновать архив — его интересует главным образом результат, а не процесс, в общем-то ему нет дела ни до творческой истории произведения, ни до творческой лаборатории автора. А вот исследователю, литературоведу, который стремится постигнуть природу и направление художественных исканий писателя, многое открывают архивные материалы — рукописи, записные книжки, заметки, которые делались для себя, письма. Монография А. Бочарова еще одно подтверждение того, сколь плодотворна может быть такая работа.

Опираясь на сталинградские записные книжки Гроссмана, автор раскрывает, как шло осмысление первоначальных оглушительных впечатлений, почерпнутых во время ожесточенной битвы за город, как в хаосе страданий и крови постигались им движение истории, законы войны и человеческого бытия.

По архивным материалам А. Бочаров воссоздает крестный путь прохождения в печать романа «За правое дело». Он пишет:

«В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранятся 12 вариантов романа «За правое дело» — и ни одного «Жизнь и судьба». Из этих двенадцати, начиная с четвертого,— те варианты, что появлялись после обсуждения в 1949—1952 годах на заседаниях редколлегий, по замечаниям многочисленных рецензентов, консультантов, редакторов и разнообразного литературного и иного начальства,— истерзанный, измученный, латаный, перелатаный текст, чудом спасенный автором от разрушения под напором демагогии, зашоренности, перестраховки».

В книге подробно рассказывается, как выкручивали руки автору романа «За правое дело», как возникали новые и новые требования,— это убрать, это сгладить, это уравновесить, как старался отстоять, сберечь самое важное и дорогое затравленный писатель, как возникавшие у него надежды сменялись отчаянием, когда начинался новый, очередной круг мытарств и измывательств, именуемый доработкой. Цензурно-костоломная машина никого не щадила. И чем талантливее и честнее был художник, тем бдительней за ним следили, тем сильнее на него наваливались и тем труднее ему приходилось. Есть у Бориса Слуцкого нестерпимо горькие строки — это стихи не только о себе:

Лакирую действительность —
Исправляю стихи.
Перечесть — удивительно —
И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!
Чтобы с черного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.

Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю...

Да, это было безысходно мрачное время, под невыносимым давлением идеологической машины и честному художнику — вовсе не приспособленцу — приходилось чем-то поступаться в своих вещах, что-то убирать, припрятывать правду, чтобы не бросалась в глаза. Так было и с романом «За правое дело» (все-таки «с черного хода» он пробился в печать — это потом его громила официальная критика, а вот такие вещи, как «Тиргартен» и «Добро вам!», отредактированные и подстриженные, были в верстке сняты цензурой). Но при всех потерях и вынужденных смягчениях книга Гроссмана о Сталинграде опрокидывала некоторые незыблемые тогда официальные мифы. И представленная во всех невеселых подробностях драматическая история ее вынужденной правки на пути к публикации помогает лучше понять пафос гроссмановского романа, позицию автора, походя опрокидывая размашистые суждения некоторых критиков, утверждающих, что первая и вторая части дилогии никак не стыкуются, вторая перечеркивает первую...

И еще одно отличие задач критика и литературоведа — оно проявляется в решении проблемы: писатель и литературный процесс. Для историка литературы проблема эта очень важна. Конечно, и критик, чтобы определить место и значение привлекшего внимание произведения, сравнивает его с книгами, близкими по проблематике, жизненному материалу, художественному строю. Но большей частью это делается, как говорят при решении арифметических задачек, в уме, главным образом для себя, писать об этом не обязательно. Литературовед же должен раскрыть обнаруженные связи — и бросающиеся в глаза, и скрытые, подспудные — исследуемого писателя и с традициями, воплощенными в творчестве классиков, и с современными художниками, решающими сходные или близкие задачи. Без этого как определить своеобразие художника,— по-настоящему оно постигается только в сравнении. В работе А. Бочарова творчество Гроссмана рассматривается на очень широком фоне общего движения и развития литературы, выявлены и многозначительные переклички, и не менее существенные отталкивания (жаль, что в книге нет именного указателя, который продемонстрировал бы это наглядно,— из-за неразумной скаредности большинство наших издательств считают, что три-четыре странички, отданные такому указателю, непозволительная роскошь). А. Бочаров убедительно показал, что Гроссман двигался по пути, которым шли и другие честные писатели, стремившиеся осмыслить прожитые всеми нами темные и горькие годы. И может быть, поэтому автору монографии удалось раскрыть и самобытность Гроссмана, раскрыть, что на общем пути явилось его завоеванием, его достижениями, а ведь именно это конечная цель исследования творчества писателя.

Передать содержание литературоведческой монографии не просто. Хочешь не хочешь, приходится ограничиваться основными выводами, самыми общими характеристиками. С несколькими такого рода итоговыми соображениями А. Бочарова — это тоже лишь отдельные примеры — я хотел бы познакомить читателей. Вот некоторые из сделанных мною выписок:

«Основной круг философской проблематики дилогии — жизнь и судьба, свобода и насилие, законы войны и жизни народа. Считая, что война выявила коренные проблемы современности, обнажила основные противоречия эпохи, писатель видит в войне не столкновение армий, а столкновение миров, столкновение различных взглядов на жизнь, на судьбу человека и народа».

«Утверждение человеческого в человеке, составляющее пафос творчества многих писателей-гуманистов, стало у Гроссмана, можно сказать, и центральным предметом изображения, определявшим в конечном счете сюжеты всех произведений.

Как его проза предвоенного периода легко объединялась вопросом «В чем счастье человека?» (хотя и не только к нему сводилась), так в прозе последнего десятилетия его творчества с такой же основательностью можно выделить доминирующую тревогу за человеческое в человеке».

«...Объемлющая исторические смещения философичность, возбуждавшая столько редакторских и критических претензий, сделала дилогию самым мудрым произведением о войне. Надеюсь, каждому понятны и несомненная внутренняя связь между мудростью и философичностью, и различие между ними: мудрость — природный дар оценивать суть явлений, а философия — целостная система воззрений на мир.

Так что гораздо правильнее предположить «обратную связь»: на основе его воззрений и прозрений философы могут выстроить стройную и достаточно непротиворечивую систему. А эта система — идущая изнутри, а не почерпнутая извне — у него, несомненно, была, преломляясь в, казалось бы, разбросанных и стихийно возникавших размышлениях о природе добра и зла, закономерностях исторического движения, смысле человеческого существования, роли народа, социальной справедливости, взаимоотношения государства и человека, тоталитаризма и свободы».

«В интересе к жизни народа снова явило себя последовательное осуществление его народоцентристской философии: внимание к тому, как в народной толще отзывается все, что происходит на поверхности жизни и в «высших сферах», убежденность в том, что именно жизнь на-

рода представляет прямой, истинный и главный предмет искусства, а судьба народа служит самым верным критерием любых проектов осчастливить человечество, любых исторических преобразований, революционных сдвигов».

Характеристики эти точны и емки. Они обеспечены — так говорят о полноценной валюте — глубоким пониманием внутренних законов гроссмановского художественного мира, детальным анализом образного строя его прозы, множеством проницательных наблюдений над тем, как жизненные впечатления писателя претворялись в персонажей, в те или иные эпизоды повествования.

Я уже говорил, что Гроссман самый близкий А. Бочарову писатель, осмелюсь добавить, самый любимый. Я рискую употребить это слово — любимый, хотя им не принято характеризовать отношение критика к писателю, оно как бы бросает тень на критика, компрометирует его позицию, которая должна быть независимой. Видимо, предполагается, что любовь непременно ослепляет, от любви теряют рассудок — вольно или невольно критик становится рабом своего чувства. Любовь А. Бочарова трезва и требовательна. Он не умалчивает, не скрывает, что Гроссман в своих первых вещах отдал дань расхожим романтическим представлениям 30-х годов, эстетике «производственного романа», позднее, когда Гроссман уже отбросил ее, расцветшей в нашей литературе пышным и малопривлекательным цветом. А. Бочаров показывает, что в своем развитии Гроссман прошел немалый и непростой путь, освобождаясь от иллюзий, от въевшихся в общественное сознание стереотипов, уводивших от правды реальной действительности. Существенную роль тут играло движение самой жизни, ее суровая школа. Но, пожалуй, особенно важно, что талант Гроссмана изначально был замешан на гуманистических дрожжах, и это делало писателя бесстрашно открытым урокам жизни, он зорко различал добро и зло, не обманывался и тогда, когда добро было унижено и выглядело жалким, а зло торжествовало, выдавая себя то за здравый смысл, то за государственную или национальную необходимость.

Разумеется, нельзя себе представить эволюцию художника как прямолинейное равномерное движение из одной точки в другую, более глубокое, более зрелое понимание мира и людей не влечет за собой в обязательном порядке новую, более высокую ступень художественного совершенства, процесс этот необычайно сложен, удачи и неудачи зависят от множества факторов.

Один пример подобного рода сложности, на который А. Бочаров не обратил внимания, я хочу привести. Из всего написанного Гроссманом в войну наибольшей популярностью в ту пору пользовались повесть «Народ бессмертен» и сталинградские очерки. Принято считать, что у повести запас художественной прочности гораздо больший, чем у очерка, повесть — жанр более долговечный. Но перечитывая недавно эти вещи, я неожиданно обнаружил, что сталинградские очерки не утратили ни в малейшей степени живой силы, а повесть сильно поблекла. В чем же здесь дело? Написаны произведения в одно время, рождены одним чувством, одну и ту же задачу — пропагандистскую — ставил прежде всего перед собой автор, а нынче воспринимаются они по-разному. Суть, видимо, в этой пропагандистской задаче, которая, надо это непременно отметить, не была навязана Гроссману извне, а была его собственной — душевной потребностью, естественным проявлением патриотического чувства. Одолеть захватчиков — к этому звал писатель читателей — ничего важнее для него и для них тогда не было. Но пропагандистская цель — такова уж природа художественного образа — породила в повести схематизм и иллюстративность. А внутренней структуре очерка эта задача не была противопоказана, не вызвала деформаций. И сталинградские очерки читаются и теперь с неугасшим, неугасающим интересом и волнением...

Велики долги наши... Монографией А. Бочарова литературоведение, литературная мысль наша только начинают выплачивать свой долг одному из самых значительных писателей XX века.

В своей рецензии на роман «Жизнь и судьба», написанной еще тогда, когда книга Гроссмана не была у нас напечатана, Генрих Белль предрекал (сказанное им можно отнести ко всему творчеству Гроссмана): «Это могучее свершение не просто книга, это даже больше, чем несколько связанных между собой романов, у нее есть своя история и свое будущее. Сколько же еще предстоит породить исследований, статей, споров этому роману, появившемуся на свет спустя двадцать лет после того, как автор поставил точку!»

Так оно и будет, о творчестве Гроссмана наверняка напишут еще не одно исследование, не одну монографию — порукой тому волна статей и рецензий, появившихся после публикации у нас романа «Жизнь и судьба» и повести «Все течет». Но я уверен, что все эти работы будут так или иначе опираться на книгу Анатолия Бочарова, миновать ее никто не сможет. Потому что она заложила фундамент научного изучения творчества Василия Гроссмана.

Л. Лазарев

Из почты «Знамени»

Географические названия — памятники событий

Над широкой рекой,
пояском-мостком перетянутой,
городок стоит небольшой,
летописцем не раз упомянутый.

Н. Гумилев

Совокупность географических названий — топонимия — обладает способностью рассказывать нам о минувших днях. Она объективно отражает исторический процесс, указывает на миграции народов, их языки и природные условия прошлого и настоящего.

Многонациональный характер нашего государства, переселения народов на его просторах в течение столетий предопределили пеструю мозаику географических названий, сформировавшихся в разные эпохи средствами самых разных в генетическом отношении языков. Некоторые имена пережили тысячелетия. Дон, Дунай, Днепр, Днестр — наследие скифских времен. В далеком прошлом рождались имена Самарканд, Ереван, Колхида, Мерв. Основание Киева, «матери городов русских», историки относят к V в. Новгород Великий упоминается в VI в. Естественно, что многие топонимы, проходя через столетия, искажались, теряли связь с народами и языками, их создавшими.

С первых же послереволюционных лет топонимия Советского Союза стала подвергаться идеологической обработке. Десятки тысяч названий были заменены. Этот процесс, надо надеяться, закончился в середине восьмидесятых годов, когда появившиеся города Брежнев, Устинов, Черненко, Андропов вскоре исчезли с карты.

Об истинных масштабах переименований можно судить хотя бы по тому, что только в Москве из четырех тысяч названий площадей, улиц, переулков исчезли полторы тысячи. Примерно по такому же пути пошли и другие республиканские столицы и крупные города. Особенно печально, что «под нож» на десятилетия попали уникальные, нигде не повторяющиеся имена: Охотный Ряд, Сухаревская площадь, Ветошный переулок, Маросейка, Мясницкая улица в Москве. В Иваново переименовали Уводскую улицу (по реке Уводь), в Симферополе бульвар Крым-Гирея, в Ленинграде Каменноостровский проспект. На какое-то время исчезали Невский проспект и Марсово поле, в Одессе — Французский бульвар.

С удивительной легкостью расставались с известными со школьной скамьи именами больших и малых городов. В небытие уходили Петроград, Царицын, Нижний Новгород, Вятка, Владикавказ, Ходжент, Екатеринослав, Тверь, Пермь, Самара, Гянджа, Элиста, Луганск, Гжатск.

Подавляющее большинство названий населенных мест возникало стихийно. Преобладали здесь две важнейшие закономерности. Первая — наименование по признаку: Краснохолмск, Белая Дача, Согра (кочковатое болото), Такыр-Коль (голое озеро); Караганда (по кустарнику карагана), Юрмала (морской берег, взморье). Пятихатки и их таджикский аналог Пенджикент. Признак присутствует и в именах, отражающих ведущую производственную деятельность жителей города, поселка: Железногорск и его казахский собрат Темиртау, Нефтезаводск, Апатиты, Никель, Строитель, Зерноград, Энергодар, Текстильщик, Пахтаабад (пахта — хлопок).

В основе второй закономерности — перенос имени, фамилии, прозвища первопоселенцев, монархов, видных политических, военных деятелей, прославлен-

ных людей труда, науки, культуры, литературы в топонимию. Это давняя традиция, корнями уходящая в античное время. Еще до нашей эры несколько городов получили имя Александра Македонского. В Египте — город Птолемаид, по основателю династии Птолемею I. Столица Италии Рома (Рим) по преданию основан первым цезарем Ромулом. Испанский город Салдуба был переименован римскими завоевателями в Цезарея Августа, а со временем название упростилось в Сарагосу.

Такая традиция в нашей стране за последние 70 лет приобрела гипертрофированную форму. Зачастую города по несколько раз меняли свое наименование: Рыбинск — Щербаков — Рыбинск — Андропов — Рыбинск; Баталпашинск — Сулимов — Ежовск — Баталпашинск — Черкесск; Александрополь — Ленинакан — Кумайри; Владикавказ — Орджоникидзе — Дзауджикау — Орджоникидзе — Владикавказ. Многие названия, подобно бабочкам-однодневкам, жили недолго и быстро забывались. Город Сулимов просуществовал неполные два года. Кто, например, помнит, что Ашхабад (до 1919 г. Асхабад) в 1919—1926 гг. назывался Полторацком? Многие ли знают, что краевой центр РСФСР Ставрополь в 1935—1943 гг. был известен как Ворошиловск, а город Аулие-Ата в Казахстане в 1936—1938 гг. назывался Мирзоян (ныне Джамбул). Гатчина, расположенная в ближней окрестности Ленинграда, за два десятилетия претерпела цепочку трансформаций: Гатчина — Троцк — Красногвардейск — Гатчина.

Массовые переименования последних лет сломали исторически сложившуюся топонимию. Мотивированно переименовать мучительно трудно. Где взять, как найти новые оригинальные названия, отражающие какие-то исторические или географические реалии? Пошли по легкому пути: появились бесконечно повторяющиеся Советские, Молодежные, Октябрьские... Пострадала при этом практическая функция топонимов — адресная.

Попробуем определить количество повторов в топонимии населенных мест по трем основным группам новообразований. Они выделяются таким образом: восходящие к персоналиям; идеологизированные; восхваляющие нашу действительность. Их можно еще определить как лакировочные. Подсчеты выполнялись по алфавитным спискам отделений связи. Не учитывались имена сравнительно небольших поселков, деревень, хуторов, где нет почтовых учреждений.

Имя Кирова присвоено 150 городам, поселкам, железнодорожным станциям. Более 40 раз повторяется имя Куйбышева. Ему немного уступал Жданов. Названий, связанных с Дзержинским, — 33, с Калининым — около 100. Среди имен писателей на карте СССР чаще не Толстой, не Пушкин, не Достоевский, а Горький. Формы Горький, Горьковская, Горьковское, имени Горького, имени Максима Горького в разных областях страны повторяются 27 раз. Не думаю, что писатель был бы рад такой популярности. Известно, как он возмущался и протестовал, когда в 1932 г. вместо Нижнего Новгорода появился город Горький. В его доме по-прежнему говорили «Нижний Новгород» или просто «Нижний». Доктор филологических наук В. П. Нерознак на страницах «Русской речи» отмечал, что в свое время в «основе именной пирамиды лежал пласт имени Сталина — нескончаемые ряды названий городов, поселков, районов городских и сельских, колхозов, театров, университетов и т. д. Так сформировалась культовая идеология в топонимии. Для ее подкрепления в процессе переименования широко использовалось и имя Ленина». Здесь истоки топонимической Ленинианы. Подсчеты показали, что 337 названий только сравнительно крупных населенных пунктов СССР восходят к имени В. И. Ленина.

Большое количество топонимов сформировано при участии прилагательного **красный (-ая, -ое)**. Отдельные названия этого ряда выглядят несуразно. Как понять словосочетания Красные Станки, Красный Пахсир, Красный Комбайн, Красный Цвет, используемые для обозначения населенных мест? Противоречивым по смыслу оказывается Красный Аксай (Ростовская область) — «красный белый овраг, балка». Трудно указать на точное количество подобных образований, так как в русском языке, в славяноязычной топонимии вообще, лексема **красный** отражает цвет обозначаемого объекта и также соответствует понятиям «красивый, хороший». Издавна читались на карте названия Красная Горка, Красное Село, Красноярск. И все же можно утверждать, что прилагательное **красный (ая, -ое)**, несущее идеологическую нагрузку, формирует много сотен топонимов.

Городов, поселков, имена которых восходят к существительному **Совет**, насчитывается 58: Советабад, Советск, Советская Гавань, Советское. Кроме того, отмечается 38 Советских городских районов. Комсомол представлен в 125 названиях, Коминтерн в 17, коммуна, коммунар, коммунист, коммунизм в 50, социализм в 14, пионерская организация в 34.

Веселый в разных вариантах повторяется 99 раз, Воля и Приволье 83 раза, Светлый 67 раз, Заря 54, Дружба 50, Победа, Перемога 49, Отрада 47, Благодать и Благодарный 36, Солнечный 29, Рассвет 30, Свобода 27, Урожайное 20, Счастливое 12, Лазурное 11, Красивое 10, Богатое 9, Радостное 3.

Не нужно обладать большим воображением, чтобы понять, что жители поселка Благодать не обязательно пребывают в благодати, а в Радостном живут не только в радости. Такие названия как бы символы счастливой жизни народа, отражение его мечты.

Есть хорошее слово «мир» и есть старый город Миргород в Полтавской области, прославленный Гоголем. В прошлом Миргород был уникальным топонимом. Ныне от нарицательного «мир» образовано 114 топонимов. Из них только Мирополь и Миропольє отмечены в старом Географо-статистическом словаре Российской империи (1867). Чувство меры — один из элементов культуры — изменило тем, кто тиражировал название, потерявшее оригинальность.

Можно подумать, что тусклый топонимический ландшафт сформирован стихией народного волеизъявления. Но народ не спрашивали. Предлагались готовые решения. Примером кабинетных переименований может служить современная топонимия Крыма. После высылки татар с территории полуострова, на самом высоком уровне было принято решение ликвидировать татарские наименования населенных мест, об этом с горечью и недоумением писал Паустовский: «Сравнительно недавно в Крыму без всякой огласки... и без согласия населения поспешно переименовали почти все города, села и поселения, за исключением приморских. В новых названиях нет и намека на природу или историю Крыма. Новейшая карта Крыма, пестрит топорными, безличными, а то просто нелепыми названиями».

После окончания второй мировой войны волна переименований докатилась и до северных областей. В Ленинградской области исчез Шлиссельбург, точно отражающий свои функции: ключ — крепость, некогда контролирующая «путь из варяг в греки». Появилась Петрокрепость, но между тем издавна был известен Орешек. В Ленинградской же области исчезли Петергоф, Ораниенбаум — они сохранились только в названиях железнодорожных станций.

Кому-то не угодило уютное название Подлипки под Москвой, и появился очередной Калининский, а в 1938 г. город Калининград, объединивший ряд ближайших населенных пунктов. Через восемь лет город Кенигсберг был переименован тоже в Калининград. Кенигсберг — «королевская гора» возник в 1225 г. и был назван по замку тевтонского ордена. Нужно ли было лишаться столь древнего названия? Было бы целесообразнее сохранить его как уникальное, а также из уважения к памяти большого ученого, философа, космогониста и географа Иммануила Канта (1724—1804). Вся его долгая жизнь была связана с этим городом, здесь он и похоронен.

Не осталось названий немецких колоний в Поволжье, в Крыму, в степях бывшей Таврической губернии, где со времен Екатерины II обосновались выходцы из Германии, создавшие здесь образцовые крестьянские хозяйства. Сплошная замена иноязычных географических названий русскими привела к оскудению топонимической палитры СССР.

В Германии сохранились славянские имена городов Лейпциг, Хемниц, Дрезден. Все они получили удовлетворительные этимологические объяснения: Лейпциг сродни русскому Липецку, латышскому Лиепае, Хемниц — Каменску или Каменецку, а Дрезден связывают с нарицательным **«дрязг»** — первоначально «бурелом, валежник». У Даля отмечено **дрездиться** — «куститься». Верхнелужицкое «Дрезден» — «лесные жители, древляне».

В США топонимия в языковом отношении очень пестра и изобилует переие-

сенными из Европы, в том числе из России, названиями. Десятки русских географических топонимов на Аляске сохранились и по сей день. Здесь среди эскимосов все еще широко распространены русские личные имена. Ни в Германии, ни в США не изгонялись славянские названия. У англичан не поднялась рука на замену имени «Стратфорд-он-Эйвон» на «Шекспир». Население Великобритании нисколько не шокирует название «Оксфорд» («бычий брод») — города со старинным университетом (XII в.). А вот в Москве посчитали некрасивыми названия Коровий Вал и Коровий переулок.

Настало время пересмотреть географическую номенклатуру, возникшую искусственно в последние 70 лет. Инициаторами здесь выступают общественные организации, деятели науки и культуры, краеведы, люди, любящие свою родину, ее историю. Никто не хочет новых переименований, идет своего рода реабилитация свидетелей исторического прошлого народов, живших и живущих, оставивших следы в виде топонимов на карте нашей многонациональной страны. Нужно ли изъять все географические названия, появившиеся после 1924 года? Полагаю, ответ должен быть отрицательным, и вот почему. Прожитые нашими народами трудные годы не исключить из отечественной истории. И топонимы нового времени, хотя и не все, как-то отражают эпоху, хозяйственное освоение новых районов, этническую географию Советского Союза.

Процесс номинации нескончаем. Жизнь продолжается, естественно рождаются новые топонимы. Важно, чтобы они были лаконичны, соответствовали народной традиции, мотивированы. Но и мотивированность — категория исторически изменчивая. Переименования Тверь — Калинин, Мариуполь — Жданов, Нижний Новгород — Горький обусловлены тем, что в этих городах родился тот или иной деятель. Еще совсем недавно этого было достаточно. Сейчас подход иной. Калинин ведь родился в Тверской губернии, а не в Калининской; Жданов — в Мариуполе, Горький — в Нижнем Новгороде, а не в городах Жданове, Горьком. Кроме того, спустя десятилетия по-иному воспринимаются роль и значение этих деятелей. Неизбежен процесс переоценки ценностей и в топонимии.

В ряде случаев следует поставить под сомнение переименование географических названий, связанных и с именами русских писателей прошлого. Все же Пушкин учился в Царскосельском лицее, а не в Пушкинском. Лермонтов подолгу жил в Тарханах, а не в селе Лермонтово. Толстой умер на станции Астапово, а не в поселке городского типа Лев Толстой. Маяковский родился в грузинском селе Багдади, а не в Маяковском. Хватило же рассудка оставить в покое Мураново Баратынского и Тютчева, пушкинские Болдино и Михайловское, тургеневское Спасское-Лутовиново, некрасовскую Карабиху, аксаковское Абрамцево, блоковское Шахматово, есенинское Константиново, шолоховскую Вешенскую.

Советский Союз занимает, к сожалению, первое место в мире по количеству переименований городов, поселков, селений, улиц, площадей и других географических объектов. В подавляющем большинстве такие акции нельзя признать удачными. Старые названия — память народа, его история, один из элементов культуры. Террор против исторической топонимии разорвал звенья в цепи времен. Ныне она возрождается, как Феникс, из еще не остывшего пепла.

Э. Мурзаев

Советую прочитать

ИГОРЬ ШАЙТАНОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ КНИГ «АНОНС» ИЗДАТЕЛЬСТВА «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Всерии выходят небольшие авторские сборники стихов и прозы, каждый объемом не более двух печатных листов, в бумажной обложке. Всего их вышло уже девять. Тираж небольшой — от 4 до 10 тыс. Конкурсный отбор книг производит общественная редколлегия, которую составили С. Бардин, И. Жданов, А. Латынина, А. Лаврин (председатель), А. Мальгин, В. Пьецух, Е. Попов, В. Салимон... Редакционный замысел был заявлен в послесловии к первому сборнику:

«Главная задача серии — открыть читателю новые яркие имена, представить так называемое «задержанное» поколение, известное большей частью в узких литературных кругах, и дать возможность тем, кто приходит в литературу сегодня, сказать свое слово в свое время».

Сейчас паролем звучит в литературе вопрос:

— Печатался до 1985-го?

— Не печатался.

— Проходи. Свой...

Получается, что все непечатавшиеся — литературные родственники, что у них обязательно есть что-то общее и все они одинаково хороши, во всяком случае, лучше тех, кто печатался. Однако мы ко всему быстро привыкаем, а привыкая, начинаем забывать непреложность недавних литературно-идеологических запретов и уже удивляемся: неужели и это не печатали в те времена?

Взять хотя бы рассказы **Зуфара Гареева (сборник «Про Шекспира», 1990)** — разве не такие же появлялись повсюду, начиная с шестнадцатой полосы «Литературки»? Вчитываясь, напрягая память, припоминаешь: такие, да не совсем такие. Как будто те же чудики и тот же идиотизм жизни, но только чудики еще чудаковатее (не крыша ли у них поехала?), а идиотизм жизни еще более жесткий в своей циркулярной продуманности и еще более жестокий в своей озверелости.

Сходства с тем, что печатали тогда, представители новой литературы не скрывают. Они его всячески подчеркивают — полемически, пародийно. Тогдашние штампы, как идеологии, так и стиля, кусками монтируются в текст. Чаще это бывает в поэзии, но пародийная цитатность свойственна и новой прозе: «Хороша, хороша до жути весна в Подмосковье! Все течет, шевелится, вздрагивает. Осень тоже несказанно красива. Лес словно охвачен желтым пожаром. А тишина! Уши закладывает. Только слышно, как стучат молотки шабашников да визжат пилы, брызгая пахучей стружкой...»

Появление шабашников в подмосковном идиллическом уголке несколько настораживает. Но если учесть, что пейзаж из рассказа <...> (так! — И. Ш.) **Виктора Ерофеева (сборник «Тело Анны, или Конец русского авангарда», 1989)**, то неожиданность эта вполне ожиданна для читателя, сколько-нибудь знакомого с законами новой манеры. Переступая с одного благостно-пародийного штампа, не забывай — «под ними хаос шевелится». Продолжим цитату:

«За лесом, совсем рядом, Москва-река. Здесь это тугая, своенравная, почти горная речка. В июльский полдень она заманивает худощавых мужиков со следами бретелек от маек, нервных баб с глубоко посаженными, будто в лунки, глазами, плохо воспитанных пионеров и школьников. Некоторых из них благодаря ухищрениям река превращает в утопленников и волочит безвольные тела аж до самого Звенигорода, где они всплывают супротив загаженного монастыря, как подводные лодки, для острастки грешников. Когда-то в этих местах жил юный Герцен. Паутина нежной вуалью липла к нежному лицу бастарда...»

Теперь новая манера дана в полный разворот своего стиля. Сначала пародия обманчиво обещает привычную литературную идиллию, которая лопается при первых же некрасиво-бытовых подробностях — следы бретелек от маек на телах худощавых мужиков. Затем переход от неприглядности быта — к его жестокости, заурядной, обыденной и оттого не трагической, если считать по-старому, что трагедия требует очищения и сопереживания. Неприглядное и жестокое подается с удовольствием, ибо на данном литературном столе это — главное блюдо.

Ну и, наконец, еще один виток стиля, на котором пейзаж приобретает истори-

ческую глубину, или, как бы, вероятно, выразился один из теоретиков этой школы, топос окрашивается хроносом: является юный Герцен, сразу же сниженный в нежного бастарда. Вот, пожалуй, и все. Ничего сколько-нибудь литературно существенного нам не предстоит больше узнать о новой манере. Правда, еще мы узнаем, что ей свойственно неустанное дублирование, раскручивание однажды избранного приема, пока не возникнет ощущение полной опустошенности, бессмысленности происходящего и произносимого.

Эта манера открыта для подражания, что и подтверждено ее уже катастрофическим распространением. Хотя не все имитации, разумеется, равнокачественны. Манера предполагает достаточную литературную искушенность, изощренность... Я бы мог продолжать нанизывать еще какие-то слова, но, чувствую, стал бы это делать лишь с одной целью — избежать слова «мастерство». О том, почему его не хочется произносить,— чуть позже. А пока о достоинствах или, во всяком случае, об особенностях этого стиля.

Первое, чем он привлек мое, да и не только мое внимание и запомнился,— своей комической пародийностью и серьезностью намерений. Он раскрепощал слух и заставлял смеяться над установившимися языковыми обычаями. Он должен был произвести благородную работу по очищению литературного языка, и если он ее пока что не произвел, то в этом нет вины его создателей. Не они же виноваты, что и по сей день бодро сыплются штампы с самых высоких трибун: видно, ораторы новой литературы не читают и, следовательно, не подозревают, что самые их мудрые мысли никак не задевают сознания тех, для кого они выглядят речевыми персонажами Дмитрия Пригова или Льва Рубинштейна. На месте разного рода помощников и референтов я бы заказал полный комплект «Анонса» плюс разные другие такого же рода издания, чтобы впредь не писать для своих патронов постмодернистских текстов.

Помимо эффекта комического, литература эта делает ставку на эффект шоковый — на запретные темы, изложенные в запретных словах. Редакционные принципы серии «Анонс» в этом отношении оказались достаточно пуристскими и в отборе текстов, и в принятом решении прибегать к точкам, взятым в ломаные скобки. Мне не хотелось бы сейчас участвовать в уже ставшем острым споре о том, какие слова и в каком количестве можно употреблять в печатном тексте. Но ясно одно, пока существует запрет, а тем более языковой запрет, новая литература найдет, чем заняться. Она посвятит себя борьбе за свободу любого слова, она будет считать своей победой каждый случай, когда сумеет обойтись без точек и эвфемизмов.

Неизбежно, и, быть может, необходимо, но только не стоит преувеличивать литературной важности этого дела. Уже сейчас, когда область запретного сильно сократилась, когда то, что еще не удается напечатать, уже удается публично прочесть, все чаще срывается шоковый эффект: «Он эпатирует, а мне скучно».

Скучно, потому что в борьбе со старым штампом и в заботе о запретном слове новая литература пока что и исчерпала собственное представление о языковой свободе. Она осталась придатком, пусть бунтующим и ироническим, того самого, ненавистного ей мышления, в котором слово без надежды на встречу разминулось со своим обозначаемым. Этот порок демонстрируют писатели новой школы, его истолковывают теоретики, в том числе и М. Эпштейн, немало потрудившийся над сочинением лозунгов и манифестов нового движения. Впрочем, он более чем просто теоретик, он — один из главных персонажей новой литературы, поскольку ни Пригову, ни Рубинштейну не удалось так законченно смоделировать языковое сознание, которое М. Эпштейн воплотил вживе и въяве. Годами писать об иронии и ухитриться ни разу не проявить чувства юмора; увлеченно классифицировать поэзию, но ни однажды не обнаружить собственного слуха,— это ли не постмодернизм!

Омертвевшее слово оказалось опасным объектом изображения, поскольку нередко проявляло экспансионистские наклонности. Оно загипнотизировало новую литературу, лишив ее той языковой свободы, которая не имеет ничего общего с небрежностью, распущенностью, вседозволенностью и могла бы быть обозначена словом «мастерство».

Что же показалось мне наиболее интересным в девяти книжечках «Анонса»?

В прозе — небольшая повесть **Анатолия Гаврилова «В преддверии новой жизни» (1990)** из одноименного сборника. Дневник подростка, заканчивающего школу, мечтающего о военном юридическом училище и в ожидании будущей профессии выносящего—в мечтах—приговоры, и—в мечтах же—производящего расстрелы за уборной. В финале — двойная погоня за героем: по одному переулку — избивающий его участковый Удод, по другому — орава поселковых хулиганов: «Бей будущего мента!» Утопия — ведь он мечтает о том, чтобы все по закону, по справедливости,— но на грани антиутопии. В последние годы об этом мы много читали и рассуждали, но здесь — особая сегодняшняя наглядность, с которой поставлены лицом к лицу тупая обыденность и — единственная? — возможность ее исправления путем расстрелов за уборной.

До 1985 года не могли быть напечатаны и **«Шесть рассказов об исчезновении и смертях» Олега Шишкина (1989)**. Вернее, они едва ли могли быть написаны до того, как в 1984 году у нас был издан и сделался популярным аргентинец Борхес. В его манере исполнены

апокрифические переложения исторических тайн. А поскольку исчезновений и смертей в русской истории хватает, то автору и в будущем есть чем заняться. Рассказы эти читаются, что не так уж часто можно сказать о произведениях новой литературы в целом: их увлекательно интерпретировать, но прочесть...

Впрочем, сами творцы нередко говорят о том, что они пишут не произведения, а тексты. Два сборника поэтических текстов—**И. Кутика «Пятиборье чувств» (1990)** и **Сергея Соловьева «Нольдистанция» (1990)**. Образованные молодые люди, хорошо понимающие, что они делают, и еще лучше — что бы они хотели сделать. Об этом, кстати сказать, и стихи у них особенно удаются. В свое время шестидесятники довольно рано начали увлеченно писать о ненаписанных поэмах, а теперь пишут рассуждения о слове, тексты—о текстах, скажем, так: «Меж языком как свободою и тиранией // речи — слово, срастясь, дрожит как желе. // Произведение — не терапия, // а от руки ускользающий шлейф // текста как вихря мерцающих смыслов...» (С. Соловьев «Введение в контекст. Фрагмент»). Или так: «Смерть кончается. Начинаются причастные обороты».

Несколько особняком стоит **Сергей Гандлевский (сборник «Рассказ: Книга стихотворений» 1989)**, задержавшийся на той стадии, когда еще по старинке пишут стихи. Даже если в них рассуждают о слове, о невозможности слова: «...Молчание // Речь мою караулит давно. // Бархударов, Крючков и компания, // Разве это нам свыше дано!»

У Гандлевского преобладает знакомая разговорная интонация и даже подгитарная раскачка ритма, напоминающего об авторской песне. О той песне, которой так трудно сохранить себя в виде печатного текста, что, впрочем, можно сказать и о значительной части новой поэзии. Прекрасно, что в серии «Анонс» вышел сборник **Дмитрия Пригова «Слезы геральдической души» (1990)**, но в нем — лишь малая часть Дмитрия Александровича Пригова: так он сам обозначил маску собственной академической и официальной серьезности, с которой разыгрывает чтение простодушно-штампованных текстов:

Надо честно работать, не красть
И коррупцией не заниматься
Этим вправе вполне возмутиться
Даже самая милая власть
Потому что когда мы крадем
Даже если и сеем и пашем
То при всех преимуществах наших
Никуда мы-таки не придем
А хочется

Это уже не собственно литературный жанр. Привыкшие годами обходиться без услуг печатного станка, отвергнутые официальной словесностью поэты новой волны ответно отвергли ее, выработав свои формы: театрализации, действа. Текст — как сценарий для исполнения, для голоса. Поэтому следующий шаг некоторых из них — в драматургию — выглядит тем более естественным. Его и сделал **Виктор Коркия**, чья стихотворная паратрагедия **«Черный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили» (1989)** с успехом была поставлена в студенческом театре МГУ.

В полемике с наследниками Сталина новая литература нашла очень веский аргумент: «В отличие от чужеземных тиранов его и ненавидеть надо как-то уважительно, что ли. Тут неудобно валять дурака. Члены все еще одеревеневшие, и шея не поворачивается... А что Виктор Коркия?» — Задает вопрос в предисловии к паратрагедии Л. Баткин, чтобы сказать о пользе балаганного, смехового снижения истории — о карнавале по Бахтину или о капустнике по-студенчески.

Капустник — вот, пожалуй, наиболее уместное слово. Во всей новой литературе много от капустника. Это и понятно. Понятно при установке этих капустников на смеховое перевертывание, переиначивание. При их игровом характере, их вынужденности — в силу самих внешних условий — к, так сказать, домашней театрализации. И еще одно — при их убежденном противостоянии профессиональной литературе, в которую они прежде не были допущены.

В свое время Ю. Тынянов говорил о все еще не оцененном, не изученном эволюционном значении дилетантизма в литературе. Бывают целые эпохи, когда в силу нормативной или идеологической зажатости мышления, не допускающего никаких сдвигов внутри себя, эти сдвиги начинают совершаться вне того, что признается литературой. Дилетантизм приобретает эволюционное значение, ибо он готовит перемены.

Именно так я бы и оценил настоящий момент в становлении новой литературы. Лучше всего пока что получается ниспровержение и отталкивание от того, что навязано как литература, как уровень профессионализма. Серьезнее всего звучит размышление о том, как надо бы писать, как строить свои отношения со словом. Новое же еще только обещано, анонсировано, но уже осмыслено, названо — постмодернизмом. Ему посвящено немало работ, сначала на Западе, а теперь и у нас. Под его знаком прошла в марте 1991 года трехдневная конференция новой литературы в Литинституте.

Постмодернизм — говорящее слово. Оно говорит о том, что первый радостный период обновления в современном искусстве, именуемый авангардом, завершился. Авангард бунтующе-оптимистичен, он верит в скорое исполнение желаний, в новый язык, который непременно придет на смену реалистическому вышиванию гладью. Постмодернизм смотрит на вещи куда более мрачно, предрекает конец культуры и распространяет другой стиль всеобщего выши-

ванья — крестом апокалипсических метафор (или даже — метаметафор). Постмодернизм предложил небывалую эстетику — эстетику взрыва, имеющую дело с картиной нарушенных связей. Таковы они в действительности, таковы же и в культуре, настойчиво рефлектируемой постмодернистским сознанием, которое не только отражает предмет, но вторгается в него, фактом своего присутствия внутри объекта нарушая порядок привычных соответствий.

Не все же созидать и строить, когда-то нужно и ломать. Однако не все же и ломать... Дилетантизм, по Тынянову, имеет эволюционное значение, но не каждому умеющему хорошо посмеяться над нищетой нынешнего профессионализма суждено совершить свой шаг к новому мышлению. Претензии здесь неизбежны. Посмеемся и над ними.

А пока давайте следить за «Анонсом», поблагодарив издательство «Московский рабочий» за то, что оно еще 3—4 года назад явило читателю многое, обещанное другими литературными издательствами. Но там, видимо, твердо знают, что такое литература, и менять однажды усвоенного знания не собираются.

Во второй половине нынешнего года журнал «Знамя» предполагает провести «круглый стол» с участием ведущих писателей, философов, литературоведов и критиков, живущих в нашей стране и за рубежом, на тему: «Русская классика и Октябрьская революция: роковая причина или неуслышанное предостережение!» Мы очень рассчитываем на участие в этом обсуждении и наших читателей. Вопросы, которые вы хотели бы задать участникам дискуссии, ваши предложения и мнения по всему комплексу литературных, историко-философских, национальных, психологических проблем, которые могут быть затронуты по ходу разговора, просим высылать в редакцию с пометкой: «Для «круглого стола» «Русская классика и Октябрьская революция».

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-87, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 05.04.91. Подписано к печати 30.04.91. Формат 70×108 1/16
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,70. Уч.-изд. л. 23,17.
Тираж 421 000 экз. Заказ № 373. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.